

ISSN 0206-8680

КИНОСЦЕНАРИИ

1989

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сценарии

- 3 *Д. Воронков*
МЕМЕНТО МОРИ
- 26 *Р. Литвинова*
**ПРИНЦИПАЛЬНЫЙ
И ЖАЛОСТЛИВЫЙ ВЗГЛЯД АЛИ К.**
- 52 *Р. Хуснутдинова*
НЕ ПЕРЕВОДЯ ДЫХАНИЯ
- 73 *И. Агеев, С. Белошников*
**«ИЗБЕРИ СЕБЕ ЖИЗНЬ,
ЧТОБЫ ЖИТЬ...»**
- 112 *Л. Никонова*
ПЕРЕУЛОК
- 130 *В. Ивченко*
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
- 142 *В. Чиков*
НЕУЖЕЛИ ЛИСТОПАД?
- Точка зрения
- 163 *Е. Трубецкой*
Из книги «Смысл жизни»
- 168 *А. Шемякин*
«Человек отменяется»?
- 175 *М. Ямпольский*
Дискурс и повествование
- 190 **Наши авторы**
- 191 **Содержание журнала «Киносценарии» за 1989 год**

6

1989

ГОСКИНО СССР
СОЮЗ
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
СССР
МОСКВА 1989

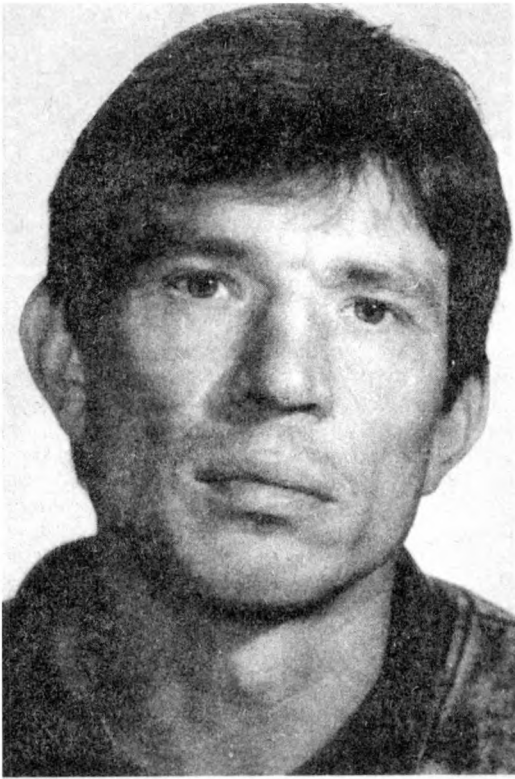
Главный редактор Е. ГРИГОРЬЕВ
Редакционная коллегия:
О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, А. ЛОКТЕВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ, В. СЫТИН,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ, С. ШУМАКОВ
Ответственный секретарь Н. РЮРИКОВА

Технический редактор Л. МАРКОВА
Корректор С. КАЛУЖСКАЯ

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

© «Киносценарии»

Сдано в набор 06.09.89. Подписано к печати 16.10.89. А-07954
Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 22,05
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типограф. «Сыктывкар»
Гарн. таймс. Тираж 54800 экз. Заказ № 2168 Цена 1 р. 20 к.
Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр»
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15. Тел. 205-30-01
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12.
Телефон 299-47-74.



**Дмитрий
ВОРОНКОВ**

МЕМЕНТО МОРИ

Я был уверен, что сценарий Дмитрия Воронкова автобиографичен. Что он написал свой дипломный сценарий о собственном детстве, прошедшем в не очень далекие времена на маленькой станции Помошная, в одной из железнодорожно-рабочих полу-резерваций, которыми заполнена страна.

Сценарий не сопротивляется такому мнению.

Острота подробностей убеждает, глубокая памятьливость вызывает уважение, взгляд на вещи и смел и жесток.

Детство во Воронкову заполнено людьми, которые живут преимущественно рефлексам. Эти рефлексы помогают выжить, а потом и перейти в чуть расширенный, но вполне и подобный, взрослый мир.

Свой — чужой, выгодно — невыгодно, терпимо — нестерпимо: этой «распасовкой» тоже можно жить.

Но почему даже и самой ничтожной мушке так не хочется погибнуть, почему так мгновенно и во всю прыть старается она ускользнуть от любого замаха, что ей в жизни? Значит, ей знакомо чувство гибели, и оно чем-то мучительно для нее?

Наверное, там, где таится чувство смерти, неразрывно сплавлено с ним и чувство вечности.

Кто ощутит это — пройдет из одного мироощущения в другое, следующее из нескольких доступных — не знаю, как мушке — человеку.

Рефлексы отпустят тебя к рефлексии, проломится хитин обыденной защиты, возникнет возможность самооценки и — в перспективе — кантовского озарения о звездном небе и нравственном законе.

Помни о смерти, и, может быть, ты вспомнишь о вечности.

В эту сторону направлен сценарий Д. Воронкова, и в этом, мне кажется, его своеобразие. На территории детства он нашел точку для философской, а не только житейской оценки.

Когда же оказалось, что Дмитрий Воронков родился на самом деле в Свердловске, а сам сценарий не автобиографичен, а целиком создан

так, как создаются истинные произведения — из таинственной творческой материи — стало окончательно ясно: мы приветствуем художника.

В. Голованов

Железнодорожный вокзал — единственная достопримечательность города Помошная. Собственно, городом его стеснялись называть даже местные жители: станция Помошная, поедешь в Одессу — мимо не проедешь.

Естественно, что главное место в архитектуре крупного железнодорожного узла занимает сама железная дорога. Она проходит вдоль главной улицы, повернувшись к ней спиной складов и погрузочных платформ, из-за которых выглядывают кран-балки и диспетчерские вышки. В городе даже ночью не бывает тишины: со станции слышны переговоры диспетчеров, вокзальные объявления, сливающиеся со стуком колес, гудками, лязганьем сцепок. Ночью со станции на город падает мертвый фиолетовый свет вознесенных ввысь сириусов, затмевающих звезды.

Тугой пучок железнодорожных ниток, сосредоточенных в центре города, к окраине постепенно распутывается, разветвляется на горки и тупики, на дальние дороги в Одессу, Москву, Ростов. В тупиках годами стоят забытые вагоны и вагонетки, платформы с истлевшими народно-хозяйственными грузами, вдоль этих линий можно встретить много чего железного, кирпичного, бетонного. Все это свале.о в беспорядке, ржавеет, сохнет и рассыпается в прах. Здесь всегда пахнет мазутом и креозотом от свежепропитанных шпал.

Пустая вагонетка в одном из тупиков, раздавив с тихим хрустом кусок красного кирпича, медленно покатила под горку, бесшумно качая из стороны в сторону маятник ручки.

Она ускоряла движение, грозя смести со своего пути обходчика, шагавшего по шпалам странной птичьей походкой. Обходчик медленно стучал парным стуком, напоминающим подголосок колокола. На голове его, по-глухаринуму склоненной набок, была кожаная шапка-ушанка, как будто не август на дворе, а поздняя осень. Вагонетка сбила бы его, если бы он не сошел с пути и не принялся завязывать шнурок на грубом ботинке, присев к рельсам. Вагонетка как призрак пронеслась за его спиной, а он, не заметив угрожавшей ему опасности, крихтя, встал, старательно высморкался в большой носовой платок и пошел по пути дальше, оглашая окрестность стуком.

Август на Украине — время теплое, радостное, но отмеченное уже предчувствием грусти: конец лета, конец праздника, конец каникул.

По шпалам шли четыре пацана. Их почти не было видно сквозь заросли посадки, только разговор, бессвязный, птичий, пробивался сквозь листву, обозначая путь.

Лесопосадка, заслонившая железную дорогу, со временем разрослась, почувствовала себя настоящим лесом с птицами и наивным мелким зверьем.

Показался высокий, до черноты загорелый Витька Дикий. Он был босой, в закатанных до колен джинсах, в пиджаке, надетом на голое тело. Рукава пиджака были закатаны полосатой шелковой подкладкой наружу, серой от грязи и пота. Из рюкзака за его спиной торчали палки, снасти для ловли певчих птиц, похоже было, что это винтовка. Все сидело на нем ловко и лихо, физиономия у него была симпатичная, веселая и хитрая.

Слева от него шел маленький Мишаня с ангельским лицом. Казалось, Мишаня всегда всему удивлен, так наивно он смотрел на мир. Справа, жестикулируя и сплевывая, шел белообрый длинный Димка.

Сенька шел сзади, ступая в ногу с Витькой.

— А Муцик пришел домой и брату нажаловался, — рассказывал Димка. — А у Муцика брат, знаешь, какой?! Заваливает в класс, берет Банана за грудки и вот так вот, одной рукой, прямо к Гоголю поднял. А Банан, ну ты же знаешь, маленький, ножками дрыгает, покраснел весь. Так братан еще потряс его так. Ну, мы думали, и все. А он еще в глаз как двинет и говорит: если братану еще двойку поставишь, с женой на улицу можешь не выходить...

— Ладно, чего, прямо в классе? — усомнился Витька.

— Ну, я тебе говорю! — обиделся Димка. — Он бухой был. А он и трезвый может. Банан вскочил, заорал, к директору побежал...

Откуда-то сбоку, из-под пиджака, Витька достал нож, срубил им ветку, свесившуюся над дорогой, и принялся на ходу обрезать с нее листья. Листья дорожкой ложились на полотно сзади, и Сенька, стараясь не наступать на них, сбился с ноги.

Димка собрался было рассказать еще что-то про Муцикова брата, но его уже не слушали.

— Вить, чего это у тебя? — осторожно спросил Мишаня. — Покажь?

Витька дочистил ветку, оставив несколько листиков на самом конце, отдал нож Мишане и понес ветку, как капельмейстеры носят жезл впереди военного оркестра.

— Четкая вещь,— уцепился Димка.— На зоне делали?

Витка промолчал.

— Просто ручка наборная,— сказал Сенька.

— Ага,— согласился Димка,— а лезвие старое.

— Дай, дай-ка еще подержать,— потянулся Мишаня.

— Да подожди! — дернулся Димка.— Здесь чего-то написано...

— Тихо...— сказал Сенька.

Все прислушались.

Ветер как будто пригладил верхушки, где-то стрекотала сойка, непрерывный надоедливый свист еще какой-то невидимой птицы пробивался сквозь шуршание листвы, и тут послышался тоскливый гудок дальнего поезда.

Пацаны сошли с насыпи в посадку.

— Я чего так подумал,— оправдывался Димка.— У Музика брата такая же ручка наборная, а лезвие из полотна.

— Из какого полотна? — не понял Мишаня.

— Ну, на пилораме, видел?

Скрипя осями, товарняк затормозил и остановился. На крышу последнего вагона залезли Сенька с Димкой, а когда поезд снова тронулся, растерявшийся Мишаня потрусил за ним, не решаясь запрыгнуть на ступеньку.

— Ну, ты что? — крикнул с крыши Димка.

Витька подтолкнул Мишаню к вагону, тот уцепился наконец за ступеньку и уже с середины лесенки, повеселевший, поглядел на поднимавшегося следом Витьку.

Поезд, разогнавшись на перегоне, гремел и трясся на стыках, оглашая окрестность веселым гудком, а пацаны бежали по крышам вперед, навстречу движению и ветру, почти летели, перепрыгивая пролеты между вагонами, и ветер звенел так, что уши закладывало.

— Данька! — заорал Сенька, перекрикивая звон и грохот.— Бурнаши мост подожгли! Прорвемся?!

— Прорвемся! — закричал сзади Витька. Полы его пиджака развевались, как крылья.

— Устало, забыто колышется час...— не слыша своего голоса, запел Димка.

Мишаня забыл себя от веселого ужаса полета, ему тоже захотелось петь, но слова выдуло из головы, так он и бежал с открытым ртом.

Витька лихо обошел Мишаню и Димку по краю вагона и с диким криком наступил на Сеньку, но тот неожиданно остановился и, повернувшись, выстрелил в Витьку. Витька, подкошенный пулей, с душераздирающим стоном упал, закатив глаза.

Сенька встал над ним, расправив плечи.— Был ты красным шакалом и подход как собака! — сказал он и выпустил в бездыханное тело оставшуюся обойму.

Витька не выдержал, расхохотался, а Сенька, перешагнув через него, рванул в обратную сторону, подгоняемый ветром.

Мишаня, увидев бегущего навстречу Сеньку, с перепугу залег, а Витька вскочил и понесся за Сенькой.

Поезд медленно катился к светофору. Лоскутики огородов, прорезавших лесопосадку, сменились пшеничным полем, за полем началось старое кладбище.

Пацаны сидели на вагоне, подогнув под себя ноги, и слушали Димку.

Димка рассказывал интересно, меняя голоса и показывая руками, а когда было надо, вставал или даже ходил, изображая.

— А она была большая, больше ее ростом, и глаза голубые. И смотрят. Ну и вот. Поставил ее в угол, а вечером родители собрались уходить...

— Куда? — на лице Мишани был написан ужас.

— Ну, надо им было,— Димка поморщился, задумавшись.— В кино. Да, в кино. Ты, говорят, Леночка, ложись спать, а чтоб тебе не страшно было, мы свет оставим включенным. И пошли. Леночка осталась спать. А у нее кровать вот напротив угла, где кукла стояла. И ей нравится, что кукла вот так смотрит. И она на нее смотрит. Смотрела, смотрела, и вдруг кукла подходит к кровати и руку протянула...

Увлеченные рассказом, пацаны не заметили, что поезд остановился, стало совсем тихо. Димкин голос в тишине зазвучал особенно зловеще: —...и говорит настоящим голосом: дай хлеба...

Всем стало не по себе, а Мишаня весь побелел, устоялся в одну точку и глотал воздух, пытаясь что-то сказать.

Витька оглянулся. Над вагоном, как отрезанная, торчала птичья голова обходчика в кожаной шапке, и крик его был страшным, крик не умеющего говорить человека.

— Шухер! — крикнул Витька.— Немой! — и бросился к лесенке на другой стороне вагона.

Обходчик едва успел забраться на крышу, а хохочущие пацаны уже стояли внизу, чувствуя себя в полной безопасности.

Состав тронулся и начал набирать ход, обходчик заметался.

Пацаны бежали за вагоном сколько могли.
— Эй, на пароме! — крикнул Мишаня. — Лом не проплывал?

Димка кинул в обходчика подвернувшемся комком земли, но комок развалился, ударившись о стенку вагона.

Витка остановился и запел, провожая глазами уходящий товарняк: — Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Песню допели хором, перекрикивая друг друга, а обходчик, вцепившись в крышу вагона, смотрел, как с непостижимой быстротой на него надвигается низкая арка пешеходного моста.

Линия проходила по ровной местности, слева был луг, справа пшеничное поле. С пригорка за пшеничным полем, где начиналось кладбище, веял ветерок, легкий и свежий.

— Да я под этим мостом раз десять проезжал, — врал Димка, — и нормально. Только волосы задевало. А Немой, он же ниже меня...

Витка улыбнулся: — Я там ни разу не проезжал...

Димка сообразил, что увлекся: — Ну почему...

— ...но знаю, — продолжал Витка, — что там над вагоном высоты еще метра два.

— Ну да, — сразу согласился Димка. — Я один раз вот так близко подъехал, так видно было.

— А мне кажется, — засомневался Мишаня, — что ему перекладина прямо в лоб катит...

— Нет, — успокоил его Витка. — Это издалека так кажется, а проехать можно.

— Да проедет твой Немой! — вспылил Димка. — Ничего с ним не делается. — Он ухмыльнулся, вспомнив чудную шапку обходчика. — Главное, даже летом в этой шапке...

— Он же на пенсии давно, — заметил Витка.

— Ну, — с готовностью подтвердил Мишаня. Образ немого обходчика давно волновал его воображение, и он выкладывал все, что знал. — А все равно обходчиком ходит, его гонят все, а он стучит. Даже где поезда давно не ходят. Он раньше в развалинах жил. Ну, когда они еще не развалины были. У него жена была и дочь...

— А куда они делись? — спросил Витка.

Димка запрыгнул на рельс, забежал вперед. — Он жену уморил, — рассказывал он. — Ему там, в развалинах, кулаки уши обрезали, он в шапке и ходит. Он дезертир. Его контузило на войне, и он убежал.

— Да нет, — поправил Мишаня. — Он на войне уши поморозил.

— Ну да, — поддержал Димка. — Его за это посадили.

— За это не сажают, — возразил Витка.

— Ну, он все равно сидел, — упрямылся Димка.

— Он сидел потому, что у моста поезд перевернулся, — сообщил Мишаня.

— Не транди, Миха, если не знаешь, — перебил его Димка. — Никакой поезд там не переворачивался. Он жену уморил, а дочка хотела под поезд броситься, у нее нога в стрелку попала. И ее зарезало.

Замороженные рассказом пацаны замолчали, пытаясь переварить услышанное.

Сенька задумался. — А чего он стучит? Он же глухой? Он же не слышит ничего!

Этот простой вопрос почему-то никогда не приходил пацанам в голову.

— Ну да... — согласился растерянный Мишаня. — Там другой, настоящий обходчик должен быть. Только он не ходит никогда.

— Может, он рукой слышит? — предположил Сенька. Он подобрал на краю насыпи ржавую железку и, закрыв глаза, постучал ею по рельсу.

— Зачем глаза-то закрыл? — засмеялся Димка. — Он же не слепой. Дай-ка я попробую.

Он забрал у Сеньки железку и тоже стукнул по рельсу пару раз.

— Черт его знает! — Димка сплюнул и закинул железку в пшеницу.

— Слушай, Димыч, — спросил Витка, — а зачем кукла хлеб просила?

Димка обалдело поглядел на него. — А-а-а... — вспомнил он. — В кукле шпион был.

— Как?! — Мишаня задохнулся от удивления.

— А так, — сказал Димка, — шпион был. У него там в руке автомат был заделан.

Пацаны свернули на тропинку к кладбищу.

Старая часть кладбища заросла акацией и вишней, ее побеги были везде: на дорожках и забытых могилах, а заброшенных могил было много. Холмики просели, сравнялись с землей, и кладбище потеряло первоначанный вид, представляя собой беспорядочную россыпь сохранившихся могил с крестами и памятниками из старого песчаника.

Надписи поблекли или стерлись, а где сохранились, можно было встретить забытую «ять». Росли здесь березы и дубы, посаженные, видимо, еще теми, кто лежал теперь под ними.

Тайник — сетку для ловли птиц — Витка поставил на ровной полянке под невысоким кустом боярышника, а веревку протянул в заросли, образовавшие растительный кров наподобие беседки. Под сетку он поставил подтайничник — маленькую клетку с певучей чижихой.

— Ну, я пошел. — Он закинул рюкзак на плечо.

— Куда? — удивился Сенька.

— Не знаю, — Витка огляделся. — На но-

вые могилы пойду, наверно. Или к Карасю. А может, на старое место...

Пацаны растерялись, они не ожидали, что Витька оставит их одних.

— Так хотели же вместе!.. — возмутился Димка.

— Зачем вместе? — удивился Витька.

Ребята молчали. Вместе — это было естественно для них.

— Зачем два тайника на одном месте ставить? — продолжал Витька.— Птички поодиночке ловятся, а не вместе.— Он улыбнулся и полез сквозь кусты.

— Так, значит... — растерянно начал Сенька.

Витька обернулся.

— ...за веревку дергать, когда под сетку залезет? — Сенька спрашивал чушь, он просто не мог еще свыкнуться с мыслью о предстоящей самостоятельности.

— Ну да,— успокоил его Витька.— Только не спешите. Он скрылся в кустах.

Сенька с Мишаней еще стояли, глядя вслед Витьке, а Димка, все уже сообразив, юркнул в куст и, когда за ним забралась пацаны, уже притаился, зажав в кулаке веревку, и глядел на тайник так пристально, как будто чижик уже сидел где-нибудь поблизости и оставалось только его поймать. Не глядя на Сеньку, он достал из кармана две спички, обломал одну и протянул Сеньке.— Тяни.

— Чего? — не понял Сенька.— Зачем?

— Чья короткая,— объяснил Димка,— того первая птичка будет.

— Ладно, чего ты? — возмутился Сенька. Ему стало смешно.— Поймать еще надо сначала.

— А чья первая будет? — не унимался Димка.

— Да твоя будет! — в сердцах согласился Сенька.

— А-а,— успокоился Димка и выбросил спички в кусты.

Димка глядел на тайник, как неопытные рыбаки смотрят на поплавок, напряженно и нетерпеливо. Таким же застывшим и пристальным взглядом глядели с фотографий усопшие на соседних могилах.

Мишаня тоже притих.

Сенька откинулся назад, в куст, набрал горсть репьев и, прицелившись, бросил Димке в голову.

Димка вздрогнул и, выдирая репья из головы, занял обиженно: — Ну на фига, Семьныч! Я голову мыл сегодня.

— А что ты, как китайский самолет ловишь? — засмеялся Сенька.

Димка насупил.— Плохое место. Нет здесь ни фига.

— Дикий лучше знает,— не согласился Сенька.

— Вот он и пошел где лучше,— проворчал Димка.— Мишаня...

— Чего? — встрепенулся Мишаня.

— Одна нога здесь, другая там,— попросил Димка,— сбегай погляди, чего там Дикий.

Мишаня кивнул и не раздумывая полез напролом через кусты, но напоролся на могилу — на него строго поглядела с фотокарточки пожилая женщина. Он испуганно отшатнулся.

— Тише ты, козел! — прошипел вслед ему Димка.

Мишаня, озираясь, обходил могилы, но вдруг, охнув, присел.

Меж тонких стволов кустарника он увидел недалеко ноги в кедах, рядом с ними рассекала траву тяжелая велосипедная цепь. Чуть дальше ровно вышагивали еще одни ноги и еще...

Мишаня залег и, стараясь не шуршать травой, заполз под широкую мраморную лавку, затаился.

Витька курил лежа, смотрел прищурившись в небо. Он следил за растущей серебристой полоской следа реактивного самолета, как будто для этого только и пришел сюда, а вовсе не за тем, чтобы ловить беззащитных птиц.

— Семеньч, герасимовские! — хрипло прошипел Димка и дернул веревку тайника. Сетка упала на подтайничник, и испуганная чижиха заметалась по клетке.

Пригнувшись, пацаны бросились к тайнику, Димка лихорадочно сматывал сетку, а Сенька схватил чижиху, но было поздно: ноги в кедах уже стояли рядом.

Пацаны встали. Герасимовские шли цепью, прочесывая кладбище. Их было человек тридцать, и цепь растянулась далеко, насколько хватало глаза.

Рядом с пацанами стояли Птюшек, его вечный адъютант Сашок и еще несколько герасимовских. Птюшек всегда, зимой и летом, ходил в черном матросском бушлате, под которым был спрятан, как знали все, солдатский ремень с залитой свинцом тяжелой пряжкой.

Герасимовские лениво болтали намотанными на руку велосипедными цепями, кто-то небрежно нес за скобу, прижимая к ноге, обрез. Вся эта свернутая в тугую пружину сила пугала, выглядела по-военному грозно.

— Братки, курить есть? — ласково спросил Птюшек, а Сашок начал спокойно сматывать Витькин тайник, который Димка так и не успел смотать.

Димка протянул Птюшке сигареты.

— Ничего не поймали? — Птюшек заку-

рил и положил Димкину пачку в карман.

— Да нет, проторчали тут,— неестественным голосом ответил Димка, провожая взглядом пачку.

Птюшек нагнулся, взял подтайничник и восхищенно стал рассматривать чижиху, поворачивая клетку.

Димка стрельнул глазами туда, где возле куста, в траве, лежал его пока не замеченный герасимовскими транзистор.

— Хорошая! — похвалил чижиху Птюшек и передал подтайничник Сашку, тот не глядя сунул его в мешок.

— Оставь! — несмело запротестовал Сенька, но тут же получил резкий обидный удар слева, покачнулся и все же устоял на ногах.

Птюшек мечтательно поглядел вверх на серебристую полосу самолета.

Димка незаметно ногой запнул транзистор подальше в кусты.

Герасимовские спокойно уходили, забрав с собой сетку и чижиху.

— Мужики, не наша же сетка...— безнадежно заныл им вдогонку Димка.

Птюшек обернулся всем телом, была у него такая манера, или так казалось из-за матроского бوشлата: — Чья?

— Дикого же...— объяснил Димка.

— И Дикий здесь? — притворно удивился Птюшек.

Сеньку колотило. Щека, по которой пришел удар, горела. Он играл желваками и так смотрел вслед уходящим, что Димка пожалел его:

— Да ладно, Семеныч, ну, получили по харе...

Чижик подлетел к чижихе, наткнулся на прутья клетки и не мог понять, почему ему нельзя быть рядом с ней.

Витька накрыл его тайником и в три прыжка оказался рядом.

Чижик бился, пытаясь улететь, но все больше запутывался в сетке. Витька распутывал лапки и видел уже краем глаза приближающуюся цепь, чувствовал острый холодок внутри.

— Привет, Дикий,— сказал Птюшек.

Витька не поднял головы, распутывая птицу: — Здравствуй, Толик.

Он держал испуганного чижика в ладони, ощущая бешеную дрожь его сердца, рассматривая головку с бусинками глаз.

— Хороший,— похвалил Птюшек.

— Хороший,— согласился Витька и подбросил птицу в небо.

Чижик, не веря своему счастью, взмахнул крыльями, провалился вниз и снова взмахнул, понял наконец, что свободен, и взмыл вверх, провожаемый Витькиным взглядом.

Птюшек посмотрел на Сашку, и тот под-

летел пулей, торопливо принялся сматывать Витькин тайник.

— Погоди, Сашок,— попросил Витька.

— Давай, давай,— приказал Птюшек, строго поглядев на Сашку, и тут же согнулся надвое, получив от Витьки пинок в пах.

Витька умудрился увернуться от удара слева, но напоролся на чей-то кулак.— Вот так ни фига! — сказал он и улыбнулся.

Дрался Витька с улыбкой и прибаутками, была у него такая причуда.

Велосипедная цепь ободрала ему щеку, больно хлестнула по плечу. Он поморщился, но снова оскалился и бросился вперед.— Имеем!

Отдышавшийся Птюшек с Сашком схватили Витьку за руки.

— И ты здесь? — весело удивился Витька и ударил пацана с цепью ногами в живот, одновременно стукнув Сашку головой в висок.

Сашок выругался, а Витька, освободив руки, снова вlepил Птюшке.

Образовалась свалка, из которой, казалось, Витьке не выбраться живым, но вдруг волна откатилась и замерла перед Витькой, оскалившим разбитый рот в дикой улыбке. В руке у него страшно торчал потемневший от крови нож.

— Еще? — поинтересовался он, как будто они мирно играли в очко и он банковал.

Птюшек стоял, крепко зажав пальцами пораненную руку. Он попытался поглядеть рану, но из-под ладони хлестала кровь. Рана была серьезной.

— Хватит,— процедил он сквозь зубы.— Ладно.— Он поглядел на Витьку темным взглядом и мотнул головой. Он не выносил вида крови.

Герасимовские ушли в глубь кладбища так же четко, выстроившись ровной цепью.

Когда пацаны разыскивали Витьку, он деловито собирался, сматывал сетку.

— Вить, у нас герасимовские твой тайник забрали,— сообщил Димка.

Витька молчал, и было не понятно, то ли он сердится, то ли не расслышал.

— И чижиху,— признался Сенька.

Витька поднял веселые глаза.

— Пацаны, а я такого чижика поймал! — он поцокал языком.— В ладонь не вмещается.

— Правда?! — удивился Димка.— А где? Дай глянуть!

Витька вздохнул.— Да-а... Эти козлы подошли, я выпустил.

Димка успокоился, включил транзистор.

— Слышь, Дикий, у моего бати сто метров нейлоновой сетки, он в Тюмени брал. Такой тайник сделать можно. Правда, она белая.

Витька взял подтайничник, посвистел ос-

тавленнной герасимовскими чижихе и положил клетку в рюкзак.

Главная улица хоть и состояла с одной стороны из железнодорожных складов, все же оставалась главной. Поэтому ее решили отделить от складов аллеей. Ее заасфальтировали, и она получилась узкая, да еще посередине, как виселицы, через каждые двадцать метров торчали фонарные столбы, и даже вдвоем, взявшись за руки, поallee пройти было невозможно, приходилось обходить столбы с двух сторон, а это, как известно, к спору.

Зато уж как удобно было ходить поallee пьяному брату Муцика. Когда он был не сильно пьян, то просто вилял между столбами на подкашивающихся ногах, а когда был пьян нормально, столбы не давали ему упасть, и каждый из них был им не раз нежно обнят.

Двор, где жили пацаны, составляли три дома, поставленные буквой «П». Они были сталинской постройки, четырехэтажные. Считалось, что квартиры в домах со всеми удобствами, но горячей воды на самом деле не было, в каждой квартире стояла обогревательная колонка системы «Титан». Поэтому с четвертой стороны двор огораживала линия кирпичных сараев, в которых жители хранили дрова для своих «Титанов». Поскольку в доме жили семьи железнодорожников, то на дрова обычно шли старые шпалы. За сараями возвышалась целая баррикада из шпал, просохших за лето. Они были сложены ступеньками наподобие крылечка. На ступеньках этого крылечка любили собираться ребята и девочки, покурить, поговорить.

Самой красивой из девочек двора по всеобщему признанию считалась Галя. У нее была стройная развитая фигура, черные блестящие волосы и теплые карие глаза.

В отличие от толстой Валентины она не курила, но очень любила поговорить, а когда говорила — улыбалась.

Другие девочки тоже покуривали, но не так, как Валентина, способная послать куда надо самую вредную старуху, посмевающую сделать ей замечание, а с оглядкой.

— У цыганки? — переспросила Валентина и раскрыла в ужасе глаза.

— Ну да, на вокзале. — Галя чистила, топилась рассказать все сразу, сглатывала слова. Главное было даже не то, что говорит, а как: милая южная интонация, с горловыми голубиными переливами. — Мы уже уезжали, поглядеть некогда было...

— Ты что? — строго сказала Валентина. — Никогда не покупай косметику у цыганок.

— Я уже утром посмотрела — кошмар! — Галя всплеснула руками. — Веки красные...

— Так конечно. Они из извести тени де-

лают, — объяснила Валентина. — Ой, Галька, ты дура!

— Ну да, — с готовностью согласилась Галя, — такая дура.

— Мне мать кофту у них раз купила, — вспомнила Валентина. — Я под дождь в ней попала, она так полиняла, я так плакала.

— Это с вырезом такая? — спросила Галя. Валентина кивнула.

— Ага, хорошая, — согласилась Галя. — У меня тоже есть, только у нее, знаешь, не здесь начинается вырез...

Сенька глядел на девочек из окна своей квартиры. Он жил на третьем этаже, откуда площадка за сараями хорошо просматривалась. Девчонки, думая, что невидимы, вели себя свободно, не стесняясь, подтягивали колготки; сейчас Галя, на которую, собственно, и глядел Сенька, расстегнула верхнюю пуговицу блузки, показывая, какой вырез у нее на кофточке. Сенька задышал глубже, приник к стеклу и увидел, как на площадку выехал Дикий на мопеде. С глушителя у него были сняты сетки, и потому мопед трещал оглушительно.

— ...а вот сюда, — закончила Галя и осеклась, широко открыв глаза.

Витька ездил купаться, на нем были одни плавки, на ногах — ласты, а глаза закрывала огромная со страшным зеленым носом маска для подводного плавания. Мало того что оглушительно ревел мопед, Витька сам еще издавал дикие крики. Он выжал газ и по доске, положенной на шпалы, как по трамплину, влетел между девочек на самый верх, оглушив их и обдав бензиновой гарью. Приземлившись на заднее колесо, лихо развернулся.

Девчонки завизжали и прыгнули со шпал. — Ты что, рехнулся?

Витька поднял маску на лоб, улыбнулся, и все увидели его покарябанную щеку, фонарь под глазом.

Валентина засмеялась: — Где это тебя звезданули?

— А это я нырял, Валюха! — Витька поехал прямо на Валентину. — За тобой, Валюха, нырял!

Валентина едва успела увернуться, засмеялась. — Кончай, Дикий, вон Галя, видишь, смотрит, зуб на меня точит.

Витька повернул мопед на Галю. — А мы ей сейчас автокатастрофу устроим... — Он понесся на всей скорости, но Галя даже не пошевелилась, и Витька с трудом затормозил около нее, оглядел восхищенно.

Девчонки демонстративно отвернулись. Витька посерьезнел. — Пойдем, здесь девочки, мне чего-то сказать тебе надо...

— Ой-ой, сказать... — засомневалась Галя.

— Галь, серьезно...— Витька посадил ее на бак мопеда.

Комната в однокомнатной квартире, где жил Сенька, была перегорожена двумя шкафами: старым, зеркальным, и новым, полированным.

В отгороженном углу стояла Сенькина койка, письменный стол, висела полка и клетка для птиц, пока пустая.

В другой половине стояла широкая софа, телевизор, висел ковер, а на коврике — иконка, оставшаяся от бабушки, украшенная рушником. Там жила Сенькина сестра с мужем Степаном.

В обеих половинах было очень тесно, поэтому сестра вечно возилась на кухне.

Степан лежал на софе и глядел в потолок, слушал, что ему рассказывает жена из кухни.

— Пишет, что все хорошо, — говорила она, гремя кастрюлями.— Живут пока в служебной, но папа уже там на хорошем счету.

— Да, он хороший специалист,— согласился Степан.

— Да,— подтвердила сестра.— Им через месяц однокомнатную обещают.

— Быстро,— засомневался Степан.

— Так там же дядя Жора,— объяснила сестра.— А мама устроилась санитаркой в тюрьме, пишет, что хорошая работа, от дома недалеко, где квартиру обещают...

— Все равно менять будем,— заметил Степан.

— Пишет, что ноги болят,— продолжала сестра.

Сенька видел, как Витька отвез Галю за угол сарая, из окна их не было видно, только торчало и медленно вертелось колесо Витькиного мопеда.

— Который это Жора? — Степан наморщил лоб.

— Георгий Константинович,— поправила сестра.— Он еще на свадьбу опоздал.

— Ну да, да,— вспомнил Степан.— Мы уже у наших гуляли.

— Он уже давно там,— продолжала сестра.— Он и техникум там закончил, сейчас в обменном бюро работает.

— Да? — Степан привстал с дивана.

— Давно уже,— подтвердила сестра. — С шестьдесят восьмого или шестьдесят девятого.

Сенька наблюдал, как Витька вывел Галю из-за угла, и они, как бы прогуливаясь, пошли к подъезду, где жил Димка.

Сенька догадывался зачем: это был единственный подъезд в их доме, из которого можно было подняться на чердак.

— Давно,— согласился Степан.

— Да, слава Богу уже. Степа, вынеси ведра,— попросила сестра.

— Сейчас, — отмахнулся Степан.— Так

послушай, мы тогда легко поменяться сможем?

— Конечно,— согласилась сестра.— Он даже и так обмен предлагал, только без удобств. Степан, вынеси, я уже два раза утаптывала.

— Ага,— задумался Степан.— А знаешь, лучше что? Надо Семену после восьми классов прописываться там...

Сенька отошел от окна, натянув кеды в коридоре, вышел на площадку, пробежал несколько ступенек вниз, но передумал и пошел наверх, на четвертый этаж.

Он поднялся по железной лестнице и открыл люк на чердак. Открыть его совсем было невозможно: толстая цепь соединяла ручку люка с верхней ступенькой и была замкнута висячим замком, но в щель, которую позволяла цепь, можно было видеть, что делается на чердаке.

Витька в плавках, обнимая Галю, расстегивал пуговицы на ее халатике.— Давай, Галь...

Солнце, зависшее над горизонтом, через чердачное окно освещало Витьку и Галю тревожным красным светом, пылинки в закатном луче окружали их светящимся ореолом. Даже грязноватый матрас, принесенный сюда неизвестно кем, в таком свете выглядел вполне пристойным ложем.

— Да ты разболтаешь,— смеялась Галя.— Отстань, Дикий...

— Ты что, Галя, кому я разболтаю? — удивился Витька и стянул с Гали халатик.

Галя надула губы.— Иди вон, к Вальке своей приставай...

— Да она курит! — возмутился Витька.

— Ну и что?

— Изо рта воняет,— поморщился Витька.

Галя тихо засмеялась и, выскользнув из Витькиных объятий, присела на матрасик.

— Как из пепельницы,— улыбнулся Витька и присел рядом.

— Что ты делаешь? — Галя часто задышала.

Витька поцеловал ее, и больше она ничего не говорила.

На площадке щелкнул замок, Сенька с шумом спрыгнул вниз.

Из-за обитой светло-коричневым дерматином двери вышел верхний Сенькин сосед по прозвищу Дермантин и, положив руку на перила, перекрыл Сеньке путь к отступлению.— Что скажешь?

Сенька, уличенный в подглядывании, молчал виновато.

— Что, и сказать нечего? — ухмыльнулся Дермантин.

— Что нечего? — не понял Сенька.

— Сказать нечего,— торжествовал Дермантин.— Как ты замок цементом замазывал и ручку пастой мазал...— Он машиналь-

но посмотрел на руку.

Сенька тоже посмотрел на руку Дермантина.

— А вот что здесь написано? — Дермантин показал на дверь.

— Где? — Сенька посмотрел. — Ничего не написано...

— Это я уже латочку поставил, — объяснил Дермантин.

— Зачем? — снова не понял Сенька.

— Ты мне тут дурачком не прикидывайся! — рассердился Дермантин. — Что здесь было написано?

— А что здесь было написано? — искренне заинтересовался Сенька.

— Не знаешь? — не верил Дермантин.

— Не знаю, — признался Сенька.

Дермантин замолчал, глядя на Сеньку подозрительно. — А что ты здесь делаешь?

Сенька показал на окно в подъезде. — А отсюда Венера видно.

Дермантин поглядел на окно. — Какую Венеру?

— Венера, — начал объяснять Сенька, — одно из самых ярких небесных тел на небосклоне в последней декаде августа...

— Иди отсюда, астроном! — оборвал его Дермантин. — Еще раз тебя здесь поймаю, никакая Венера не поможет...

Когда Сенька вернулся домой, там все еще обсуждался квартирный вопрос.

— Если Семен училище закончит, — мечтал Степан, — ему же обязаны будут дать жилье? Как молодому специалисту?

— Ну, вынесешь ты ведро, наконец? — взмолилась сестра.

— А ведь он тоже женится, ему ведь тоже семью надо будет строить? — Степан сел на диване. — Ты не знаешь, там пятикомнатные строят?

Сестра молча вынесла ведро в коридор.

Сенька прошел к себе, поглядел в зеркало. Он попытался сделать прическу, как у Дикого, но мягкие волосы рассыпались, падали на глаза. Сенька снял с плечиков костюмный пиджак, надел его, закатал рукава. Выглядел он смешно, на Дикого был совсем не похож.

В дверь позвонили. Сенька стал раскатывать рукава, они не раскатывались, он, чертыхнувшись, стянул пиджак, бросил его на койку и пошел открывать.

На площадке стоял Димка и молча вертел перед собой пачку «Кэмела».

— Сейчас, — сказал Сенька, прикрыв дверь и стал натягивать кеды.

— Ты куда? — спохватилась сестра. — Темно уже, Сеня...

— Ведро вынесу, — Сенька схватил ведро и вылетел за дверь.

Димка с Сенькой курили в подвале дома под тусклой зарешеченной лампочкой. Над головой проходили трубы отопления и канализации, стоять в полный рост было нельзя, и пацаны сидели на ступеньке, стряхивая пепел в пустое мусорное ведро между ними.

— На меня чего-то Дермантин наехал, — пожаловался Сенька. — Будто я ему ручку мазал, на двери писал. Чуть не пришиб.

— Чмо, — криво усмехнулся Димка. — Я ему еще сделаю.

Сенька поглядел на Димку, догадываясь, на кого зол Дермантин. — А за что ты его?

Димка скорчил брезгливую мину, сплюнул.

— Мужик как мужик, — рассуждал Сенька, — живет один, не трогает никого...

— Знаю я, с кем он живет, — пробурчал Димка.

— С кем? — спросил Сенька.

— Вот батя приедет... — сказал Димка и замолчал.

Сенька широко раскрыл глаза.

— Ты что?! Как! Чтобы твоя... — Сенька вскочил и больно ударился макушкой о трубу отопления. — Зар-раза! — выругался он. — Чтоб тетя Вера с Дермантином?!

— А так, — спокойно и зло сказал Димка. — Матрасик затащили на чердак, батя как лопух по поездкам... Матушка из своего подъезда на чердак, вроде белье вешать, а Дермантин из своего...

— Да вранье! — не поверил Сенька. — Там же замок висит! Ты видел?!

— Видел, Семеныч, видел, — успокоил его Димка. — У него от того замочка ключик есть. У тебя было когда-нибудь, чтобы волосы шуршали?

Пораженный Сенька молчал, поглаживая шишку на макушке.

— А у меня было, — сказал Димка.

Дома уже спали, когда Сенька вернулся. Не включая света, он прошел к себе, тихо разделся и лег.

Из-за перегородки донесся шорох. Сенька прислушался, подозревая, что за шкафами занимаются тем, чем занимались на чердаке Витька с Галей и тетя Вера с Дермантином, но ошибся.

— А двухкомнатную и трехкомнатную можно на шестикомнатную поменять, — мечтательно шептал Степан, — бывают такие обмены...

Сенька с головой накрылся одеялом.

По воскресеньям во дворе устраивали концерты.

Сенька сидел на дереве и натягивал проволоку для занавеса. Начал собираться народ, участники в сторонке проводили последние репетиции, готовили костюмы и реквизит. На табуретке стоял магнитофон, к нему протягивали провод из окна. Зрители перегова-

ривались вполголоса, а Витька тренировал двух пацанов, одетых клоунами, в огромных боксерских перчатках.

— Да ты не бойся его биты! — горячился Витька. — Он же присядет. А не присядет, значит, получит! А ты его, вроде, приласкать хочешь. Кто в это поверит?

Валентина приложила к спине Гали блестящий цирковой купальник и, вынув иголку из рта, принялась укорачивать лямки на плечах.

Сенька засмотрелся на Галю и не замечал, что сук, стянутый проволокой, согнулся и трещит.

— Э-э! — закричали снизу. — Обломает сейчас!

Все поглядели на Сеньку.

Он спрыгнул вниз, поднял голову. — Ничего, нормально.

Мишаня, в черных в обтяжку штанах и с бантом на шее, бежал из соседнего двора с цветком в горшке, предназначенном для номера, когда его остановил околачивающийся за сараями Шкепель. Это был здоровенный толстый парень с ленивым выражением на физиономии. Глядя на его лицо, можно было подумать, что он только что слишком плотно пообедал.

— Эй ты, бык! — окликнул он Мишаню.

Мишане очень не хотелось разговаривать со Шкепелем, особенно в таком тоне, но он трусил и остановился.

— Иди сюда, — приказал Шкепель, и Мишаня подошел.

Шкепель оглядел Мишаню с головы до ног, но как будто не заметил странного Мишаниного костюма. — Курить есть?

— Нет, — удивился Мишаня. — Я же не курю! — Он пожал плечами, жалея, что не курит и не может вырчить Шкепеля сигаретами.

Шкепель снова оглядел Мишаню и, убедившись, что тот не врет насчет курева, обдумывал, что бы с него взять. — Ну, дай двадцать копеек.

Мишаня растерянно провел рукой по тому месту, где бывают карманы, но их на театральных штанах не было.

— У меня нет, — смутился Мишаня. — У меня и карманов нет. — Он посмотрел на Шкепеля испуганно и честно.

— А ну попрыгай, — не унимался тот.

Мишаня попрыгал, держа цветок перед носом.

— А что звенит? — спросил Шкепель.

— Ничего не звенит, — признался Мишаня.

Шкепель прищурился. — А если я найду?

Мишаня пожал плечами и совсем скис.

— А ну, попрыгай еще, — потребовал Шкепель.

— Мне на концерт надо, — сказал Мишаня прыгая.

— Прыгай, прыгай.

Мишаня давно уже прыгал, когда к нему подлетел Димка.

— Что ты здесь распрыгался?

— Да у нас с Мишаней свои дела, — смягчился Шкепель. — Да, Миха? — Он обнял Мишаню за плечи.

Мишаня, не отдышавшийся еще после прыганья, кивнул.

— Свалил отсюда! — попер на Шкепеля Димка.

— А что такое? — удивился Шкепель.

Димка достал из кармана зажигалку, зажал ее в кулаке и нанес Шкепелю серию неожиданных ударов.

Шкепель растерялся. — Ты чего, озверел?! — на физиономии у него было написано удивление. Это было странно: Шкепель редко менял выражение лица.

— Понял, что такое?! — напирал на него Димка. — Пошел на фиг! Давай бегом, Мишаня.

Димка волок на площадку тяжеленный круглый стол.

— Я тут корячусь, — ворчал он, поднимая стол на пузо, — а ты тут скачешь! — Хотя Димка нес тяжелый стол, Мишаня едва поспевал за ним.

Шкепель так и остался за сараями с удивленной физиономией.

Участники концерта нестройно, но громко спели веселую песню «Арлекино» вместе с Аллой Пугачевой из магнитофона и под проигрыш ушли со сцены.

Вышел Мишаня.

— Братья и сестры! Мамы и папы! — бойко объявил он. — Друзья и соседи! Приглашаем вас на последний в этом сезоне торжественный концерт!

Зрители заулыбались, захлопали.

Мишаня потупил глаза и снова выступил вперед. — Итальянская народная песня «Санта Лючия»! — Мишаня снизил тон. — Исполняет Михаил Белецкий.

Публика снова захлопала: Михаила Белецкого знали и любили.

Мишаня покраснел. — Аккомпанирует Валентин Белецкий! — Он показал рукой наверх, где в открытом окне маячила нескладная фигура Валентина Михайловича, учителя пения и отца Мишани. Мишаня кивнул, и Валентин Михайлович скрылся в комнате, откуда донеслись звуки фортепиано.

Мишаня запел. У него был негромкий, но очень чистый девичий голос. Он стоял, вытянув руки по бокам, и сильно качал головой в такт песне. Она исполнялась на русском языке, и в ней пелось о дальней теплой стране, о синем ласковом море и прекрасной

бухте с белыми птицами в лазурном небе.

Сенька не участвовал в концерте, он стоял среди зрителей и смотрел, как в стороне девочки помогают одеваться Гале. Они отделили ее от зрителей поднятым за края покрывалом так, что над ним была видна только ее голова.

Галя, заметив нескромный взгляд, шепнула девочкам, они подняли покрывало выше, оголив Галины ноги. Сенька стал смотреть на ноги.

Рядом с Сенькой стояла Димкина мать в красивом крепдешинном платье. Дермантин оказался около нее как бы случайно, пробираясь поближе к сцене.

— Вера,— прошептал он,— я тебя жду сегодня...

Вера кокетливо нахмурила черную бровь.— Тише ты! Нашел место...— Она была вся поглощена пением Мишани.

— Верунька,— ласково прошептал Дермантин и невзначай задел ладонью ее теплый локоть.

Она невольно улыбнулась.

— Приходи,— с виноватой улыбкой просил Дермантин,— я тебе Венеру покажу. Из нашего окна Венеру видно...— Дермантин столкнулся взглядом с Сенькой, но не смутился, а весело подмигнул ему.

Сенька едва не улыбнулся ему в ответ, сдержался и стал смотреть на Мишаню.

Последний куплет Мишаня пропел на итальянском языке, старательно выговаривая вызубренные слова.

Публика захлопала, Мишаня раскланялся и показал рукой на окно. Валентин Михайлович со счастливым лицом поклонился из окна, чуть не вывалившись наружу от смущения и своей неловкости.

Димка с Витькой вынесли на площадку стол, накрытый зеленой бархатной скатертью. Под французскую музыку Галя исполнила на нем пластический этюд. Несколько упражнений были одобрены аплодисментами, а Сенька глядел как завороченный и хлопал громче всех.

Галя встала на колени и прогнулась назад. Мишаня вынес цветочный горшок, Галя поставила его себе на лоб, придерживая руками, застыла, и вдруг ее колени оторвались от стола, и она стала подниматься вверх с цветком на лбу, зависнув в воздухе в полуметре над столом. Публика ахнула, и только тут стало видно, что Галю поднимает Витька, спрятавшийся под столом. Он надел рукав под цвет занавеса, руки не было видно, и казалось, что Галя летит.

Витька вставал все выше и выше, поднимал Галю на вытянутой руке, поддерживая ее за то место, на которое Сенька и поглядывать боялся.

— Bravo! — крикнул Дермантин, и все захлопали.

Витька улыбался и легко держал Галю на руке, напоминая статую героя-освободителя.

Сеньке стало невыносимо горько, даже слезы навернулись на глаза. Ему хотелось, чтобы так не было, чтобы что-нибудь случилось, гроза, землетрясение, что угодно, чтобы Витька не держал так Галю. Чтобы сук, в конце концов, так сильно стянутый проволокой с занавесом, в самом деле обломился и ударил Витьку по лицу, в висок...

Но ничего этого не случилось и случиться не могло. Витька твердо стоял на ногах и крепко держал Галю.

Сенька повернулся и пошел с площадки не разбирая дороги.

Никто на это не обратил внимания, ему не глядя уступали дорогу, устремив восхищенные глаза на сцену, где раскланялись Галя и Витька.

Потом на сцену вышел Димка с гитарой.

— Прощай, прощай, моя любовь, прощай,— пел Димка,— не в силах больше я скрывать печаль, не целовать мне больше губ твоих, я буду только вспоминать о них...

Сенька опомнился у Димкиного подъезда. Он вошел и поднялся на самый верх, на чердак. Здесь все было по-прежнему: лежал матрасик, солнце заглядывало в окошко. Сенька подошел и распахнул створки.

Голос у Димки был немного гнусавый, но пел он с душой.

— ...уже не радует меня весна, а виновата в этом ты одна. Зачем звала, зачем клялась в любви? Ведь были ложью все слова твои.

Глядя вверх, Димка замолчал, открыв рот, на середине мелодии.

Что-то упало с крыши и глухо ударилось о землю.

Старый матрас лежал на асфальте, лопнув по шву и испустив тучу столетней пыли.

Сенька стоял на краю крыши, расставив ноги. Сверху он особенно четко различил болезненно скорченную физиономию Димки, испуг на лице его матери, гнев Дермантина и даже краску смущения на Галином лице.

Остальные лица были растерянными.

— Эй, слазь оттуда! — неуверенно крикнул кто-то, а Витька вдруг захохотал, схватившись за живот.

Это, видимо, было сигналом: на площадку выскочили два маленьких желтых клоуна и под смешную музыку из магнитофона стали с идиотским смехом лупить друг друга огромными боксерскими перчатками.

Ближе к центру железнодорожные постройки кончались. Там стояло несколько трехэтажных жилых домов, построенных пленными немцами, за ними — горсовет в стиле сталинского ампира. Железная дорога,

впрочем, не кончалась вместе со складами, а так и шла вдоль центральной улицы, вплотную примыкая к домам и горсовету. Напротив горсовета был памятник Ленину в натуральную величину и Вечный огонь, который зажигали по праздникам. За горсоветом располагались аптека, баня и пожарная команда, а после них уже ничего не было, только пути и широкая степь. Сюда, в эту степь, Витька и привез Галя на своем мопеде, пронесясь по городу со страшным ревом.

Они летели без дороги, прямо по степи, взмывая на буграх и кочках, Галина юбка развевалась как знамя где-то сзади, а ветер обдувал загорелые колени. Сидя на багажнике и вцепившись в худое Витькино тело, она дико визжала от страха и восторга, но ее крику не было места в пространстве, рев Витькиного мопеда покрывал степь до самого неба.

Все Витькино существо заполняла радость воли и жизни, он смеялся и рычал вместе с мопедом, полностью слившись с ним, нарезал по степи восьмерки, круги и всякие сумасшедшие фигуры, не имеющие названия в геометрии. Он мог все, и все ему удавалось. Он мог отпустить руль, мог ехать на заднем колесе или сидеть на сиденье на корточках.

— Дикий, хватит! Ну, пожалуйста, хватит! — взмолилась Галя, и Витька, сжалившись над ней, затормозил.

— Садись вперед, — приказал Дикий, и Галя легкомысленно согласилась, села на бак и вцепилась в руль, который казался ей надежнее Витькиного тела.

Витька разогнался и отпустил руль. — Держи крепче! — крикнул он ей в ухо.

Вначале Галя растерялась, но скоро почувствовала, что машина подчиняется ей, стало легко и радостно. Она оглянулась, чтобы поделиться этой радостью, и увидела, что Витьки нет. Она сидела на мопеде одна, а Витька хохотал далеко сзади.

Руки у Гали задрожали, она закрыла глаза и полетела, отделившись от мопеда, куда-то в сторону.

— Больно? — Витька не смеялся, очень осторожно гладил Галино поцарапанное колесо.

Галя молчала и не открывала глаз в приворном обмороке.

Витька наклонился и прикоснулся к колену губами. Галя села и улыбаясь потрепала его жесткие волосы.

Пацаны сидели на крыша вагона, Димка рассказывал.

— А цыганка ей нагадала, что ее сын умрет в день своей свадьбы от электричества. И вот он уже в армии отслужил и жениться стал. А мать в день свадьбы все розетки в доме колпаками заделала.

— Какими колпаками? — не понял Мишаня.

— Специальными такими колпаками резиновыми, — объяснил Димка. — И всем гостям велела свет не включать. Накупила свечей, и вот все сели за стол. А в это время началась гроза...

Мишаня взглянул на небо. Как будто услышав Димкины слова, небо потемнело, где-то вдаль загрохотало.

— И вот, — продолжал Димка, — они только рюмки подняли, а в форточку, она была за всеми гостями, далеко, влетела шаровая молния и прямо над столом летит. Ну, все, конечно, перепугались, под стол полезли. А мать как сидела, так и сидит, бледная вся. И молния прямо на сына летит и ударила его. Сразу насмерть.

Витька снисходительно улыбнулся.

— По натуре, Дикий, — обиделся Димка. — Это в Первомайском было в прошлом году. У невесты, главное, даже фата не обгорела, а он насмерть.

Поезд набрал ход.

— Ни фига себе муссон, — сказал Витька, задрал голову. Сверху падали первые тяжелые капли, и он натянул на голову пиджак.

— Блин, я болел недавно, — пожаловался Мишаня.

— Можно в люки спрятаться, — предложил Сенька.

— Если кому что светит, — закончил свой рассказ Димка, — то никуда от этого не денешься...

Его уже не слушали.

— Дернули! — Витька встал, и пацаны побежали к вагонам, где были люки.

Летний дождь всегда начинается неожиданно. То светило солнце, а то вдруг собрались тучи, грянуло слегка, ударил ветер и понес по полю широкую волну. По колосьям сбегали капли, и было тихо внизу, под колосьями. Наверху уже раздувало тучи.

Сенька неловко спрыгнул с лесенки вагона, хвост состава медленно уполз. Димка с Мишаней уже стояли на насыпи, он подошел к ним, прихрамывая.

— Зараза, — выругался Димка, отжимая рубашку, — надо было сразу в люки залезать. Ты что, ногу подвернул?

— Ерунда, — отмахнулся Сенька. — А где Дикий?

Мишаня дрожал весь мокрый.

— Не знаю, — сказал Димка. — Мишаня, он с тобой на вагоне был.

— Не, он сзади был, — возразил Мишаня. — Он там и остался, а я в люк залез.

— Теперь до станции докатит, — сказал Димка.

— Блин, я болел недавно, — снова вспом-

нил Мишаня и кашлянул два раза.

Димке тоже было холодно.— Что он, дорожку не найдет?

Сенька еще раз оглянулся.— Пойдем,— решил он, и пацаны сошли с насыпи.

— Сенька, нож возьми? — попросил Димка, когда они входили во двор. Он достал нож из-под рубашки.

— Откуда он у тебя? — удивился Сенька.

— Дикий дал поносить,— объяснил Димка,— а у меня родичи, ты же знаешь...

Сенька взял нож.

Дома Сенька достал кусок шкурки и стал шоркать старое лезвие. Степан лежал на диване, смотрел телевизор. Кончились «Новости».

Сенька вышел из своего угла посмотреть, что покажут дальше. Нож он держал в руках и не боялся, что родственники увидят его. Они давно не вмешивались в его дела. Он только не курил дома, потому что Степан не курил и чтобы не огорчать сестру.

Дикторша объявила старый художественный фильм. Сенька снова зашоркал.

— Валь! — крикнул Степан.— Что это — Брежнев?

— Ты думаешь,— сказала сестра, выходя из кухни,— я что-нибудь слышу?

Степан молчал, обиженный.

— Что ты спрашивал? — переспросила сестра.

— Ничего,— огрызнулся Степан.

— У меня же там вода бежит,— оправдывалась сестра,— Сень, ты мясорубку не видел?

— Нет, не видел,— Сенька разглядывал лезвие.

— Куда я ее положила? — сестра, озадаченная, вернулась на кухню.

— Набережные Челны раньше был,— объяснял Сенька Степану и ушел к себе.

— Тю,— удивился Степан.— Валь! А ведь Брежнев — хороший город. Там, знаешь, сколько нового жилья строят?

— Что?! — не расслышала сестра.

Разглядывая надпись, Сенька взял с полки школьный англо-русский словарь.

— Мemento,— бормотал он,— мemento,— и водил пальцем по строкам.

Такого слова в словаре не было, и тогда он стал искать «мори», но и его не нашел.

В дверь позвонили.

— Степа! — крикнула Валя из кухни.

Степан не ответил.

Сенька засунул нож в стол и пошел открывать.

Перед ним стоял запыхавшийся Димка.

— Семеныч,— затараторил он,— у тебя Дикого мать была?

— Нет,— сказал Сенька.

— А у меня сейчас была.— Вид у Димки

был испуганный.— Про Дикого спрашивала, я сказал, что нет.

— Что нет? — не понял Димка.

— Что не видел,— объяснил Димка.

Внизу хлопнула дверь в подъезд.

Димка бросился по лестнице на четвертый этаж.

Снизу, бледная, поднималась Витькина мать, тетя Надя.

Она была еще не старая, но всю жизнь работала путевой рабочей, а эта работа не убавляет лет. Она никогда ни с кем не ссорилась, была тихой и набожной. Фамилия Дикая ей не подходила.

— Сеня,— спросила она,— ты не знаешь, где Витя?

Сенька спрятал грязные от ржавчины ножа руки за спину.— Нет.

Тетя Надя так же медленно стала спускаться вниз.

За спиной Димки, стоящего на площадке четвертого этажа, открылась дверь, обитая дерматином, и из квартиры вышла его, Димки, мать.

— Дима? — мать смутилась. Из-за открытой двери на Димку глядел Дермантин и улыбался по-родственному. — Ты что здесь? — спросила она.

Димка насупился.— А ты что здесь?

— А я,— смешалась мать,— к Константину Матвеевичу по делам заходила. Ты же знаешь, у нас труба в ванной течет, а папы нет. А Константин Матвеевич — мастер на все руки.

— Ага,— прищурился Димка.— Мастер. Труба течет. А папы нет. Понятно.

— Ты как с матерью разговариваешь?! — возмутился Дермантин.

— Как хочу, так и разговариваю,— огрызнулся Димка.

— Не ссорьтесь,— успокоила их мать.— Иди домой, Дима,— она стала спускаться.— Я суп поставлю разогреть.

Димка с Сенькой курили в подвале.

— Надо в Одессу звонить,— предложил Димка.

— А может, он у Подгородней прыгнул,— предположил Сенька.

— Да уж пришел бы,— не согласился Димка.

Утром пацаны пошли искать Витьку.

— А ты точно видел, что он в люк залез? — спросил Сенька.

— А я и не говорил, что он залез,— оправдывался Мишаня.— Он просто сзади был.

— Да, я видел,— подтвердил Димка,— как

ты запрыгивал на наш вагон, а Дикий там оставался.

— А я так и говорил,— успокоился Мишаня.

Они молча шли по линии.

— А я помню,— сказал Мишаня,— как Карасю голову отрезало.

— Какому Карасю? — спросил Сенька.

— Галушке,— объяснил Мишаня.— У которого Танька гуляла. Вы тогда в лагере были, а Клецика в армию провожали.

— В прошлом году? — уточнил Сенька.

— Да,— начал рассказ Мишаня,— Карась вечером домой собрался, а Танька поддала, осмелела, я, говорит, еще с подружкой погуляю. Они тогда с Кнопкой заворачивали. Карась даже слова не сказал, ушел домой. Мужики еще возмущались: чего он так? Сына из садика забрал, пришел домой. А Танька полпервого пришла и еще говорит: а что такое? Он ее бить стал так, что потом даже на потолок кровь была.

— Ты видел, что ли? — усомнился Сенька.

— Это малый все рассказывал,— объяснил Мишаня.— При нем же было. Говорит, мама упала на пол и замолчала. А папа одел меня и к бабушке повел. Подвел к двери, позвонил, а сам говорит, что я сейчас приду. А он побежал сюда, на федоровский переезд. Он же помощником ездил. Подошел к последнему вагону, положил голову под колеса и ждал, пока поезд тронется. Его так и нашли на коленях.

— На коленях? — удивился Сенька.

Мишаня кивнул.

— Как он мог ждать? — возразил Димка.— Его бы машинист заметил.

— Ну, не заметил,— сказал Мишаня.

— Ну как, ну как? — горячился Димка. Он встал на колени и положил голову на рельс.— Вот отойди...

— Куда? — отходя, спросил Мишаня.

— Да можешь еще дальше отойти! — разрешил Димка.

Мишаня попятился еще дальше, вплотную к кусту шиповника, на котором покачивалось тело Витки, и сделай он еще шаг, он бы его увидел.

— Да ночью же было! — возмущился Мишаня и вернулся на насыпь.

— Да какая разница! — Димка встал, отряхнул колени.— Тебе фиг чего докажешь.

У развалин они остановились.

— Ну, здесь я его еще видел,— сказал Мишаня.

— Я же говорю,— стал доказывать Димка,— в Одессу звонить надо!

Сенька задумался.— В Барнаул! — передрознил он Димку и пошел обратно.

— Куда?! — переспросил замороченный Димка.— Так мы же вот куда ехали! Мишаня, где Москва?

Мишане стало смешно, Сенька тоже улыбнулся.

И они пошли домой.

— Ну, мы стояли,— рассказывал Димка,— Люська подошла, и тут Муцик на своей фросе выкатывает, такая лайба: вилка от «чезетты», шипы такие, заднее колесо от мотороллера — ну, улет! Ему и Люська самоотвод дала. И он давай перед ней круги нарезать и хотел на шпалы заехать, тут же Люська! А потом еще хотел на дыбы фросю поставить, и как... Ну, колесо, короче, в одну сторону, вилка в шпалу встряла, а Муцик в другую сторону,— Димка показал на куст шиповника.

Пацаны слушали Димку с удовольствием. Они прошли мимо куста и вдруг разом остановились, боясь посмотреть друг на друга.

Где-то рядом пела чижиha Дикого.

Сенька подошел к кусту и увидел перевернутую клетку и обезумевшую от голода и одиночества птицу. Он открыл дверцу, и она взлетела.

На полной скорости шел 133-й поезд Ростов — Одесса, а над ним кружила выпущенная Сенькой птица. Когда поезд прошел, пацанов на насыпи уже не было.

Во дворе, казалось, все было по-прежнему: светило солнце, дети гомонили и топтали клубы, старушки играли в лото.

— Семнадцать! — выкрикнула бойкая старушка.

Пацаны стояли в подъезде и обсуждали создавшееся положение.

— Может, матери его позвонить? — предложил Мишаня.

Димка поморщился.— Шуму будет... У меня, кстати, ее телефон есть.

— Дед,— объявила старушка.

— Сколько лет? — хором спросили игроки.

— Да нет,— сказал Сенька.— Если признаваться, то сразу надо было.

— Откуда я знал? — возмущился Димка.— А если б не случилось ничего, нам бы, знаешь, что за эти вагоны было?

Старушка достала бочонок.— Четырнадцать!

Игроки засмеялись.

— А вдруг его найдут? — тревожился Мишаня.

— Кто? — удивился Сенька.

— Ну, не знаю,— замаялся Мишаня.— Там Немой жил...

— Да никто там его не найдет!

— Но он же там лежит сколько,— с тихим отчаянием сказал Мишаня.

— Похоронить его надо,— решил Сенька.

— У меня хорошая лопата есть,— предложил Димка.

— Низ! — одна из старушек сгребла мелочь со стола.

Из красных вагонных досок с облупившейся краской со следами номеров и станций назначения Сенька мастерил гроб. Он подравнял с одного края разнокалиберные доски и сколотил донце, а с торца приладил боковину.

Мишаня слонялся без дела. Он подошел к уже наметившейся яме, которую копал Димка, и ком земли разбил у него на ботинке. Мишаня вернулся к Сеньке.— Давай, я буду гвозди держать? — предложил он.

Сенька обернулся к нему с гвоздями в зубах.— Ты лучше досок принеси.

— Ага,— Мишаня метнулся к развалинам, но сделав шаг в темный проем, отступил. Где-то там, в темноте, лежал мертвый Витька.— Я чего подумал,— сказал он.— Крест же надо сделать,— и рванул в посадку.

— Топор возьми! — крикнул вслед ему Сенька.

Уставший Димка поглядел на руки.— Я вот не понимаю, как он так упал?

Гвоздь у Сеньки попал в болт, согнулся и прищемил палец до крови.

— Ты яму выкопал? — Сенька пососал палец.

— Может, прыгнуть хотел? — Димка вздохнул и взялся за лопату.

Мишаня блуждал с топором меж больших берез, уходящих вершинами в небо, и не мог выбрать подходящей. В кустарнике зашуршало, Мишаня оглянулся, прислушался, пытаясь заглушить страх, попятился от зарослей и незаметно для себя вышел на насыпь.

Сзади послышался мерный стук. Мишаня замахнулся топором, вскрикнув, оглянулся и увидел уходящего по пути обходчика.

Димка снова посмотрел на ладони.

— Ну-ка, иди сюда,— позвал его Сенька.

Димка с радостью вылез из ямы, подошел.

— Ляг, примерю,— попросил Сенька.

Димка лег на сколоченное донце.— Дождь, что ли, будет? — предположил он, глядя в небо.

Птицы летали низко.

— Стороной пройдет.— Сенька отчеркнул черту у ног Димки и взял ножовку.

— А ты чего, так будешь делать? — спросил Димка, ухватившись за верхнюю боковину.

— А как? — не понял Сенька.

— Так здесь же под углом должно идти,— объяснил Димка.

— Чего под углом? — раздраженно спросил Сенька.

— Ну, стенки,— сказал Димка.— Вот эту верхнюю надо отпилить вот так. И потом доски приколотить...

Сенька бросил ножовку и пошел к яме.

Димка сел на досках.— Сень, ты чего? — Делай под углом.— Сенька поплевал на руки и взялся за черенок.

— Да ладно,— Димка встал с донца.— Я же просто так сказал, как делают.— Он отобрал у Сеньки лопату.

Из посадки вышел Мишаня.— Блин, она не рубится...

Сенька забрал у Мишани топор и одним махом срубил тонкую березку.

Гроб с Витькиным телом стоял на ящиках. Можно было простаться. Димка врубил каскетник, и скрипки грустно запели.

— По очереди будем подходить,— распорядился Сенька. Он первым подошел к Витьке, откинул угол простыни, поглядел и отступил на два шага.

Подошел Димка, а Мишаня остановился на полпути, не решаясь поглядеть на Витьку.

— Ну, ты что? — возмутился Димка.

Мишаня набрался смелости, подошел.

Склонили головы, помолчали.

Музыка рождала в Сеньке новое, неведомое и страшное чувство. Боясь поддаться ему, он скомандовал: — Вы с того края беритесь...

Они опустили гроб в неглубокую яму и встали рядом.

Что-то случилось: музыка заиграла выше и чище, птица пролетела низко над Витькой, а подрытая стенка ямы неожиданно обвалилась, засыпав могилу до половины.

Пацаны испугались, отпрянули, Сенька, застигнутый скорбным чувством, шагнул вперед, оступился, упал на колени.

Музыка резко оборвалась на середине высокой трагической ноты.

— Пленка кончилась,— сказал Димка.— Батя на конец записывал.

Он быстро закопал яму и схватился за крест.

Мишаня осмотрелся.— А может, туда дальше, в лесочек поставим? А то увидят...

— Тогда зачем? — удивился Димка.— Вообще тогда не надо. Можно просто вымерять точно от стены, и будем знать где... У меня рулетка есть.

— Ну да,— согласился Мишаня.— Вымеряем точно, а крест в лесочке поставим, там не видно.

Сенька положил на могилу Витькин нож, слегка присыпал его, взял крест и, подойдя к развалинам, коротким ударом разбил его об уголок, молча пошел к насыпи.

Мишаня с Димкой побежали за ним, но с поддороги Мишаня вернулся и забросил палки от креста подалее в кусты.

Был поздний вечер. Мишаня сидел в темноте на краю своей кровати и напряженно

глядел перед собой туда, где на стенке жел-
тло пятно от фонаря с улицы, зловеще ка-
чалась тень ветки.

В дверь позвонили, Мишаня вздрогнул.
Открыл Валентин Михайлович.

— Заходи, Надя, заходи,— засуетился
он.— Ну, что?

Вошедшая Витькина мать махнула безна-
дежно рукой.— Ничего...

— Сейчас чаек будет,— Валентин скрыл-
ся в кухне.

Надя тяжело опустилась на стул.— Не
вовремя я?

— Да что ты такое говоришь, Надюша? —
возмутилась Жанна, мать Мишани, и погля-
дела на Надю сочувственно.— Ты же
знаешь, ночь-полночь, мы тебе всегда рады...

Они были почти ровесницы, но Жанна вы-
глядела, конечно, лучше. Она следила за со-
бой, и работа у нее была кабинетная.

Вошел Валентин с чаем на жостовском
подносе.— Ну вот, сейчас чайку попьем...—
Он стал накрывать на стол.

— Миша спит? — поинтересовалась На-
дя.

— Давно уже,— сказала Жанна и посмот-
рела на дверь спальни с любовью.

— Вот ребенок,— завистливо вздохнула
Надя.— Ни забот вам с ним, ни хлопот.
Золото, не ребенок. А мой Витька...— она
сокрушенно покачала головой.

— Все ведь от воспитания зависит, На-
дежда,— объяснил Валентин.— В роддоме
они все одинаковые. Система нужна. Мы же
сами их калечим.

— Ну не скажи, — обиделась Надя.—
Витька у меня еще в роддоме грудь не
брал, нос воротил. Я, помню, у акушерки
спросила. Она говорит — значит, характер
такой...

— Ну уж, в роддоме — характер? —
усомнилась Жанна.

— А кто ж его воспитает? — продолжила
Надя.— Я на путях каждый день, отца нет,
а был, так из тюрьмы не вылезал, Жан-
ночка, кто ж его воспитает? Я разве что по-
нимаю? одному Богу его оставила, пусть он
воспитает. Ой, не слёз уже, ничего нету...

— Так что ж ты хочешь, Надюша,—
сказала Жанна.— От этого все и идет. А ты
говоришь — в роддоме...

— Да он дома хороший! — оправдыва-
лась Надя.— Всегда — мама, давай я помо-
гу, мамочка, давай поднесу... Весной на Пасху
я в Новоукраинскую церковь поехала — он
полы покрасил. И так что — всегда помо-
жет. Ну, уж как на улицу выскочит, и тут
Муцика брат сразу, и Шкалик, и Вален, и Та-
ракан, собьют его — все, нету сына.— Она
замолчала. Чай ее стыл нетронутый.

— Да ты пей чай-то, Надя,— напомнила
Жанна.

— Вот мед, если хочешь,— предложил

Валентин.

Надя как будто и не слышала.— В про-
шлом году с Тараканом в Днепропетровск
ухали. Я жду его: день нету, два нету, да
Господи, думаю, куда ж ты его занес, или чер-
ти его ухватили? А они до Анжелки поеха-
ли. Она в каникулы приезжала, голой зад-
ницей повертеть...

Жанна понимающе закивала головой, а
Валентин смутился.

— Ага,— продолжила Надя.— А та ж го-
родская, и они уже хвостиком за ней, я чуть
с ума тогда не сошла, думала, кончусь.—
Она задумалась.— Может, Миша слышал
что-нибудь от ребят? — Она посмотрела в
дверь спальни.— Что поехал куда?

Жанне не хотелось будить сына.— Он
вряд ли скажет. У них же,— она усмехну-
лась,— солидарность...

Валентин убирал посуду. Надя зашмыгала
носом, достала платок.

Жанне стало жалко ее.— Может, Валя,
ты с ним поговоришь? По-мужски?

Валентин растерялся, чуть не уронил
поднос. Глаза у него, как и у сына, были
удивленно-испуганные. Он пожал плечами.

— Миша! — позвала Жанна, открыв дверь
в спальню.— Проснись, сын, выйди к нам,
пожалуйста.

Мишаня вышел в трусах, жалкий, взлохма-
ченный.

— Сядь,— сказала Жанна и кивнула Ва-
лентину.

Тот откашлялся.— Давай, сын, поговорим
по-мужски. С глазу на глаз.— Он взглянул
на Жанну. Она подбодрила его взглядом.—
Может, кто-нибудь из ребят во дворе видел,
что Витя куда-нибудь едет?

Мишаня подавленно молчал.

— Ну? — строго спросил отец.

— Да,— пролепетал Мишаня.— Видели...

— Кто? — грозно спросил Валентин.—
Кто видел? — уголком глаза он глядел на
жену. Она отрицательно мотала головой. Ва-
лентин понял ошибку, снизил тон.— А во
сколько твой товарищ видел, как Виктор шел
к вокзалу?

Мишаня тоже посмотрел на мать. Жанна
кивнула ему.

— Он не знает,— стал фантазировать Ми-
шаня.— Может, это и не Витя был. Просто
похожий парень... Темно было, а он босиком
какого-то парня видел,— выкрутился Ми-
шаня.— Тот, который видел, он не с на-
шего двора.

Надя смотрела на Мишаню так внима-
тельно и так ему верила, что он опустил го-
лову.

— Ну ладно.— Жанна погладила Мишаню
по голове.— Иди спать,— распорядилась
она.— Если кто-нибудь из твоих товарищей
что-нибудь узнает про Витю, ты ведь ска-
жешь мне и папе? Ты ведь этим никого

не выдашь.

Мишаня кивнул и пошел в спальню.

— Так что, видишь, Надя, — успокоила Жанна. — Рано волноваться.

Валентин, довольный так хорошо выполненным поручением, понес посуду на кухню.

Мишаня с расширенными от ужаса глазами озирался в темной спальне. На цыпочках он подошел к шевелящейся шторе, отдернул ее и не заметил ничего, кроме желтого фонарного света. Он обернулся и увидел на своей кровати Дикого. Витка сидел, сложив по-турецки босые ноги, и улыбался страшной улыбкой покойника. Мишаня осел на стул и, чтобы не видеть этого веселого ужаса, закрыл ладонями лицо.

Первое сентября было одним из праздников, когда зажигали на площади Вечный огонь.

— Давай, Иван Данилыч! — крикнул мужик и достал из кармана телогрейки спички.

Неподалеку, в железной будочке, где стояли баллоны с пропаном, Иван Данилыч открыл кран. Мужик чиркнул спичкой, вспыхнуло пламя.

— Еще дай! — крикнул мужик. — Хорош!

Иван Данилыч замкнул на замок дверь будочки.

Было солнечно, по площади шли школьники с цветами и школьницы в белых фартуках, со стороны школы доносилась музыка.

Димка, вставший в связи с началом занятий непривычно равно, поднялся на четвертый этаж. Достав из разрисованной папки моток крепкого шпагата, он привязал красивую латунную ручку на двери Дермантина к ступеньке чердачной лестницы, позвонил в дверь и скатился вниз.

Дермантин попытался открыть дверь, но тщетно, он дергал ее до тех пор, пока массивная ручка не отлетела со звоном.

— Сопляки! — кричал Дермантин, перегнувшись через перила. — Сволочи! Я выловлю!... — он не находил слов. — Фашисты!

— Дружина, равняйся! — скомандовала старшая пионервожатая, и школьники повернули головы. — На вынос знамени пионерской дружины имени Семена Сашко смирно!

Запели горны, загремели барабаны, и знаменосцы вынесли красивое бархатное знамя.

В шеренгах стояли пацаны: Сенька с Димкой в шеренге восьмого класса, Мишаня — шестого. Был здесь и Шкепель.

Первоклассница с бантами прочитала стихотворение про школу, все захопала. Когда заиграл школьный духовой оркестр, десятклассники прикрепили первоклассникам школьные значки.

Выбежала девочка с колокольчиком, и классная десятого засуетилась, разглядывая строй. — Кто несет? Скорее!

— Дикий должен был... — донеслось из строя.

— Ну, его же нет! — возмутилась классная. — Мельниченко, давай ты.

Длинный альбинос Мельниченко, смущенно моргая белыми ресницами, посадил первоклассницу на плечо и понес к дверям школы. Красная от волнения первоклассница изо всех сил трясла колокольчик, он звенел, возвещая о начале учебного года.

Задней своей стороной школа примыкала вплотную к скотному двору, их разделял высокий, но редкий забор, сквозь который просовывали морды лошади и коровы, выпрашивая хлеб, свиньи подрывали забор снизу. Навоз и кучи соломы лежали с обеих сторон забора. Здесь, за школой, Димка мог смело курить.

Уроки кончились, школьники посыпались из дверей.

Мишаня, как в футляр, заложенный в новенький костюм, аккуратно, чтобы не выпачкать брюки, присел на бревно рядом с Димкой, поставил новый портфель на колени.

— Ольга Антоновна, — начал он, — нам сейчас рассказывала, что Гоголя похоронили, а он живой был...

Димка сплюнул.

— Так это давно известно. Лтрагический сон называется. У нас в Герасимовке еще лучше случай был. Муж говорит жене после свадьбы: когда я умру, ты шапку на меня надень. Она говорит: да ты что? Только поженитесь. Он говорит: нет, ты надень, а то я замерзну. Ладно. И вдруг он умирает. Ну, его похоронили, а шапку-то она забыла надеть на него. Как-то с покоса мимо могилы идет, глядит, земля шевелится. И голос такой из-под земли: шапку дай, шапку дай! Ну, она ничего. И вот ночью к ней кто-то стучится. Она испугалась и не открывает. Тогда он окно выбил, за руку ее схватил и потащил на кладбище. Она вырывается, а у него силща, как у трактора. Она кричала, он ее через все село протащил и на кладбище привел. Там могила разрыта, гроб открыт, и лещенка вниз в могилу. Он ее уже на шаг туда втащил, но тут односельчане прибежали и ее отобрали, тут пегух пропел, он вниз прыгнул, в гроб лег и крышкой закрылся. Гроб-то потом открыли, он мертвый лежит. Ей говорят: уж надень ты на него шапку. Она наде-ла. Он с тех пор и не встал. — Димка увидел уже краем глаза подходящих Шкепеля с его приятелем Пельменем, напрягся, но виду не подал.

— Земля шевелилась? — переспросил Мишаня.

— Ну да,— подтвердил Димка.

Шкепель уже стоял рядом.— Димыч,— спросил он,— а на фига зажигалку в руке зажимать?

Дима сразу ударил, но Шкепель ударил одновременно.

Драка образовалась неожиданно и была жестокой. Мишаня так и сидел на бревне с портфельчиком на коленях, глядел на драку снизу, и от ее жестокости ему стало страшно, он закрыл глаза; когда открыл, Шкепель и Пельмень быстро уходили, а Димка стоял с диким лицом и держал в руках Витькин нож, сзади Мишани стоял неизвестно откуда взявшийся Сенька.

— Это Дикого нож,— сказал Сенька,— на фига ты взял?

Димка отдышался.— Он Дикому не нужен, Дикий мертвый...

— Это Дикого нож,— возразил Сенька.

Мишаня переводил взгляд с одного на другого, так и не мог понять: жив Витька или мертв?

Он посмотрел в сторону, где участковый инспектор извлек из кучи соломы пьяного Муцикова брата и повел к школьным воротам.

— Конкретно! — требовал брат.

В окне школы, над доской, Мишаня увидел портрет длинноволосого Гоголя, читающего торжественным баритоном знаменитый монолог из «Страшной мести»: — «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелхнет, ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру...»

Весь мир для Мишани развалился на детали и частички, каждая имела необыкновенную важность и значимость, каждая говорила о чем-то, что-то предвещала. Обязательно каждую нужно было понять, чтобы сложить мир вместе, тогда откроется страшная тайна.

— «Редкая птица долетит до середины Днепра, — продолжал Гоголь. — Пышный! Ему нет равной реки в мире...»

— Я не врублюсь,— недоумевал Димка.— Об чем лай? Был Дикого, стал мой.

— Ну, ты умный,— злился Сенька.— Не стал он твой и не станет. Это Дикого нож.

— «Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир — страшен тогда Днепр!»

— Почему это не станет? — прищурился Димка.— Твой он, что ли, станет?

— И мой не станет,— возразил Сенька.— Это Дикого нож.

Димка сплюнул.

— Тыфу ты! Дался тебе Дикий!

— «И то все так сбилось, как было сказано: и донныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю...»

Все сложилось в голове Мишани. Он понял. — А как она увидела, — невпопад спросил он,— что земля шевелилась?

Димка внимательно посмотрел на него.— Ну вот что,— заключил он,— ты придурок,— сказал он Мишане,— и ты придурок,— он повернулся к Сеньке.— Я сейчас пойду и положу нож на место. И никаких дел с вами больше не имею.

Подойдя к развалинам, пацаны уже изда-лека увидели крепкий березовый крест. Могила была досыпана землей, был на ней аккуратный холмик, стояла банка с полевыми цветами.

Удивленный Сенька поглядел на Димку, но тот и сам ничего не понимал.

— Знает ведь кто-то,— растерянно сказал он,— заложил ведь кто-то...

Пацаны поглядели на Мишаню. У Мишани были круглые глаза.— Это Витька! — он наставительно поднял палец.— Он сам себе поставил!

Сенька, заглянув Мишане в глаза, испугался.— Ты чего?

— Это Витька,— с убежденностью сумасшедшего повторил Мишаня.— Сам себе. Вон, глядите, земля шевелится.— Он показал пальцем на могилу.— Он дышит,— шепотом сказал Мишаня и хитро улыбнулся.

— Тише ты,— сказал озадаченный Димка.— Успокойся...

— Это Витька! — провозгласил Мишаня.— Это я вам по-мужски говорю, с глазу на глаз.— Он рубил рукой воздух.

— Слышь, Димыч,— сказал Сенька,— помоему, его в больницу надо.

— Да успокоится он сейчас,— возразил Димка.

— Нет, я не успокоюсь! — вскипел Мишаня.— Потому что это Витька. Он маме дома пол покрасил.

— Он же заложит в больницу,— сказал Димка.— Может, двинуть его?

— Хоть бейте, хоть убейте,— настаивал Мишаня,— это Витька.

— Нет, Димыч, серьезно...— начал было Сенька.

— Друзья, я вполне серьезно! — Мишаня

жестикомировал и стал очень похож на своего отца.— Это Витька.

Димке все это надоело.— Ну, вы теперь кореша,— он усмехнулся.— А я не при делах. Делайте что хотите.— Он швырнул нож в траву и пошел к посадке.

Сенька стоял под больничным окном, затаенным сеткой от комаров.

— Я не знаю, как сказать,— говорил Мишаня из-за сетки,— потому что ты не поверишь.

— Я когда тебе не верил? — возразил Сенька.

— Я, правда, вижу,— признался Мишаня.— Даже днем иногда. Вот сюда приходит и смотрит. Помнишь, когда у него день рожденья был, на нем рубашка была?

— В клетку? — уточнил Сенька.

— Так вот, в ней,— подтвердил Мишаня. Сенька подумал.— А говорит чего-нибудь? Мишаня замялся.— Только ты не смейся...

— Я не смеюсь,— успокоил Сенька.

— Приходит сюда,— показал Мишаня,— руку вот так протягивает и говорит: дай хлеба.

— И что? — не понял Сенька.

— И все,— закончил Мишаня.

— Ты, главное, не разговаривай с ним,— посоветовал Сенька.

— Ага,— согласился Мишаня.

— А врачи ничего не знают? — поинтересовался Сенька как бы невзначай.

— Да они не верят. Думают, что я сумасшедший,— посетовал Мишаня.— Если бы поверили, знаешь чего бы было?

— А что? — Сенька поглядел прямо на Мишаню.— Что было бы?

— Шуму было бы. Не-е-ет,— замотал головой Мишаня,— тогда, выходит, все из-за меня. А, Димыч?

— Ну, он так и будет к тебе приходить,— припугнул Сенька.

— Нет,— Мишаня снова замотал головой.— Я таблетки пью.

— Ну и пей,— Сенька, не попрощавшись, пошел прочь.

В Димкину дверь Сенька решился позвонить не сразу. Дверь долго не открывали, в квартире что-то грохотало, наконец Димка открыл.

Он не ждал Сенькиного прихода, но сделал вид, будто между ними ничего такого не произошло. — Привет, Семеныч, проходи, — Димка прошел в комнату, залез на стул и стал отвинчивать от стены звуковую колонку.

Вещи в квартире были собраны и упакованы.

— Садись,— предложил Димка.— Кури,

если хочешь.

— А родичи? — удивился Сенька, увидев на столе сигареты и пепельницу.

— Им сейчас не до меня,— усмехнулся Димка.— Вчера суд был. Разъезжаемся мы. Им наплевать. Так что кури.

Сенька несмело закурил.

— Я с этой шлюхой жить не буду,— продолжал Димка.— С десяти лет ребенок сам выбирает, с кем ему жить. Я с батей останусь. Так бате однокомнатная положена, а ей со мной двухкомнатная. Я бате сказал, что пусть бы она к Дермантину шла жить, а мы бы с батей здесь остались. Все равно он один живет.— Он насупил, выворачивая из стены винт.

— Ты у Мишани был? — спросил Сенька.

— Чего я там не видел? — фыркнул Димка.

— Его из больницы не выпускают,— сообщил Сенька.

Димка молчал, не желая разговаривать на эту тему.

— К нему Дикий приходит,— продолжал Сенька.

Димка понял не сразу.— Дикий? Как это?

— А так,— объяснил Сенька.— Приходит, руку протягивает и хлеба просит.

— Хлеба? — удивился Димка.— Зачем?

— Ну, руку протягивает и говорит: дай хлеба.

Димка расхохотался.— Дай хлеба! Так и говорит?

Сеньке было не смешно.— Надо к Дикого матери идти,— сказал он.

Димка перестал смеяться.

— И все ей рассказать, — закончил Сенька.

Димка отвернул колонку, опустил ее на пол, вздохнул и сказал скучающе: — Ну, я еще тогда сказал: делайте что хотите. Ты что думаешь, она прослезится, чаем с пирожком тебя напоит?

— Если ты не пойдешь,— сказал Сенька,— я один пойду.

— Иди,— равнодушно сказал Димка и принял за вторую колонку.

Сенька затушил почти целую сигарету и вышел, перешагивая через собранные вещи.

Когда за Сенькой хлопнула дверь, Димка слез со стула.

Он догнал его на середине лестницы.— Фиг ты пойдешь! — Димка схватил Сеньку за воротник и прижал к стене так, что тот измазал побелкой плечо.

Сенька вырвался и сбежал вниз, на улицу.

— Иди, иди, закладывай! Чмо! — прокричал ему из окна Димка.

Сенька наклонился и, почти не глядя, швырнул в Димкино окно камень. Зазвенело разбитое стекло.

Игроки в лото и дети посмотрели на него.

— Витька Дикий мертвый! — крикнул

Сенька изо всех сил.

Его не услышали или не поняли сразу, потому что Димка успел поставить колонку на окно и на всю мощь включил музыку.

Сенька чуть не заплакал.— Витька Дикий мертвый! — снова крикнул он.— Я знаю, где он лежит!

На этот раз его услышали все, потому что громкая музыка кончилась и заиграла другая, записанная на конец, та, под которую хоронили Витьку.

— Витька Дикий мертвый! — выкрикнул Сенька прямо в лицо входящей во двор Галя.

Старушка уронила мешок, и бочонки лото посыпались на землю.

Галя попятилась.

— Мертвый Витька, — повторил Сенька.

— А я тут при чем? — пролепетала побледневшая Галя.

— Надю, Надю надо найти... — зашептали старушки и побежали куда-то, обходя Сеньку стороной.

Во дворе накрывали столы для поминок по Витьке. На Сеньку старались не смотреть, а те, кто увидел, перешептывались. Сенька прошел стороной под проволоккой, которую натягивал к концерту. Он смотрел вниз, и когда блестящая мишура, свисающая с проволоки со времени концерта, скользнула по его лицу, он вздрогнул, отмахнулся брезгливо, как от паутины в лесу.

За сараями Дермантин выводил из гаража свой «Запорожец». Гараж у Дермантина был сделан из половины кузова старого теплового. Дермантин открывал ворота, приваренные с торца, и, когда выводил машину, получалось, что тепловоз рождает легковушку. Сеньке это показалось странным, хотя раньше он этой странности не замечал.

Он пошел к центру города.

Вечный огонь не горел, и Сенька, заглянув в его пустую черную дыру, присел на край фонтана, в котором никогда не было воды. На дне фонтана зеленел мох, в бетонных щелях проросла трава, желтая листва уже покрывала его.

Небо было затянуто тучами, какая-то старуха серпом выкашивала вокруг фонтана последнюю траву для козы, которая была привязана у дерева и глядела на Сеньку наглым треугольным зрачком.

Соседи сидели за столами, когда Дермантин въехал во двор. Он помог вылезти из машины маленькой старушонке в черном, регентше из Новоукраинской церкви.

Все встали, и регентша чистым детским голоском пропела заубойный псалом. Под-

няли стаканы, помянули раба Божьего Виктора. Витькина мать приложила к глазам платок.

Сенька смотрел на поминки из своего окна, откуда его никто не видел.

Выпито было уже не по одной, соседи разговаривали о делах простых и житейских, все было обыденно, как будто поминки справляли каждую неделю. Витькина мать носила еду и посуду.

— Кушайте, кушайте. Кума, что вы не кушаете? — говорила она Жанне.

Степан тронул ее за локоть.— Да ты присела бы, Надя,— все хорошо...— Глаза его были влажны от выпитого.

Старухи разговаривали о своем.— Жива Наталья-то, жива.

— А говорили, что померла...

— Врут все. Я ее третьего дня на рынке видела, она живее нас с тобой...

Непьющий Степан захмелел, разгорячился.— Да разве ж в такой тесноте можно детей заводить? Нам даже кроватью некуда поставить... А пеленки?

— А пора бы вам уже, Степа, пора... — сетовала какая-то тетка.

Другая толкала ее в бок, делала страшные глаза и говорила шепотом: — Что ты к мужику привязалась, он-то при чем? То ж Валентина родить не может. Ей лечиться надо, то ж ее старики в Запорожье переехали...— Обе исподтишка глянули на Валю.— А гулять надо было меньше в девках-то...

Витькина мать, почувствовав Сенькин взгляд, подняла голову и посмотрела прямо на него. Конечно, она не могла видеть Сенькиных глаз за стеклом в неосвещенной комнате третьего этажа, но смотрела она так, будто видела.

Сенька отшатнулся от окна.

Сенька вышел из дому, когда все уже разошлись, посуда была уже убрана, и за столом спал только пьяный Муциков брат, бормотавший что-то, когда его пытались поднять.

Сенька долго поднимался по лестнице. Он думал, что придет к Витькиной матери, она будет в черном, и он все ей расскажет.

Она открыла ему дверь в старом халате, оглядела его пустым взглядом. Он не успел ничего сказать, она молча закрыла дверь. Растерянный, он постоял немного и пошел вниз.

Сенька сидел у разрытой могилы в задумчивости. Яма осыпалась, проросла на дне травой. Сенька механически брал горсть су-

хой глины и сыпал ее вниз. У развалин, как всегда, было тихо, все, казалось, было решено и сделано.

Они шли навстречу друг другу — Сенька и немой обходчик — и встретились наконец. Встретились и разошлись, каждый в свою сторону. Немой остановился, прислушался и сошел с насыпи. На полной скорости шел 134-й поезд «Одесса — Ростов». Немой повернул голову и посмотрел на Сеньку, который стоял недалеко, глядя на пролетающие колеса.

По заброшенной узкоколейке весело катилась вагонетка. Ее толкала сзади пацанва, а четверо ребят внутри тянули рычаг.

Димка держал в руках нож и объяснял Муцику: — Это у тебя из полотна. А вот у Дикого четкое лезвие было, ручка тоже наборная. Точно, Мишаня?

Мишаня улыбнулся и кивнул.

— Какая разница? — заспорил Муцик. — Главное, чтобы до сердца доставало.

Димка хмыкнул. — До сердца тебе и раскладной достанет. Если длиннее четырех пальцев, — он положил ладонь на лезвие, — то всегда достает. А то старое было, с желобком...

— Желобок проточить можно, — не сдавался Муцик.

— А надпись? — спросил Димка.

— Какую надпись? — не понял Муцик.

Димка поглядел на него снисходительно: — Старинными буквами...

— Ну, а у меня такой, — обиделся Муцик.

— Да нет, вообще, нормальный, — неожиданно согласился Димка.

Они подъехали к тупику, где вагонетку ждала вторая смена мелюзги.

Первая смена начала было толкать вагонетку обратно, но вторая смена возмутилась: — Э-э, вы, сейчас наша очереди! Надо по-честности!

— А мы не устали! — доказывала первая смена, продолжая толкать.

Димка выжал ручной тормоз, и вагонетка остановилась. Он встал. — Так. отошли от вагонетки.

Пацаны нехотя отступили.

— Кто не толкал? — спросил Димка.

— Я! Я! — закричали из тупика.

— Вперед! — скомандовал Димка.

Вторая смена подбежала.

Димка строго посмотрел на одного из пацанов. — Ты же только что толкал?

— Нет, — оправдывался нарушитель. — Я там сидел!

Димка щелкнул его по лбу. — В школе трандеть будешь.

— Димыч, — деликатно спросил Муцик. — А Дикого напополам перерезало?

— Это Карася, — снисходительно поправил Димка. — Вы тогда в лагере были. И то, голову только. А у Дикого просто царापина здесь была. Мы же его с Мишаней хоронили. Я вообще не пойму, как он так упал. Скажи, Мишаня?

Мишаня кивнул.

— Я вообще думаю, что его шаровой молнией убило, — предположил Димка.

— Когда шаровой убивает, — сообщил один из пацанов, — человек весь целый остается, а притронешься к нему, он рассыпается в пыль.

— Не надо мне ля-ля! — не согласился Димка. — Что я, не знаю, как шаровой молнией убивает? Если даже врачи не могли определить, когда его выкопали. Скажи, Мишаня?

— А как про Дикого узнали? — спросил Муцик.

— Это Семеныч застучал, — нехотя, но зло сказал Димка, — Мишаню вон в психушку заперли, почти целый месяц таблетками пичкали, он и то ничего не сказал. — Все уважительно поглядели на Мишаню. Мишаня скромно улыбнулся. — А Семеныч законил, — продолжал Димка. — Тут такой шухер поднялся... — он махнул рукой.

— Вы по рогам ему не надавали? — поинтересовался Муцик.

— Да ну, — сказал Димка, — связываться с ним. Я с ним никаких дел иметь не хочу.

Мишаня испуганно оглянулся. Сквозь ветки шиповника ему привиделось белое лицо.

Вагонетка уткнулась в тупик, хрустнув куском кирпича, который на всякий случай подкладывали под колеса.

Состав гремел на стыках, шел дождь. Сенька сидел на корточках, придерживаясь за крышу вагона, и смотрел вперед.

Впереди был мост, он стремительно надвигался, и Сенька встал, выпрямился и закрыл глаза.

Скрипя тормозами, поезд замедлял ход. На путях стоял Немой, размахивая шапкой. Когда Сенька открыл глаза, состав уже стоял.

— Вот так вот, Микола, вот так вот! — нервно повторял помощник, прыгая вокруг лопнувшего рельса. — Вот так вот, понял. Ведь сейчас же запрашивал, ты же слышал!..

Пожилой машинист стоял бледный.

— Да это бы все, Микола! — хлопнул себя по ноге помощник. — Понял? Все!

Сенькин вагон не доехал до моста каких-нибудь несколько метров, и теперь уже было ясно видно, что под мостом достаточно расстояния, чтобы проехать стоя на вагоне в полный рост, а ростом Сенька был невысок и, видно, не судьба была Сеньке проехать под

мостом, а тем более погибнуть под ним.

Сенька сидел за последним вагоном прямо на шпалах, когда обходчик прошел мимо него. Он уже снова надел свою вечную шапку и спокойно уходил по пути, постукивая молотком по рельсу.

Сенька смотрел ему вслед до тех пор, пока не услышал справа пьяное бормотание Муциковского брата и хриплый звук магнитофона, поющего голосом Высоцкого: — Эх, ребята, все не так, все не так, как надо...

Все действительно было не так, и как хоть что-нибудь сделать так, Сенька не знал.

Брат никак не мог вырваться на размоchenную дождем насыпь. Он почти вылез, но снова скатился вниз, жестоко хлопнув магнитофоном о шпалы. Магнитофон тем не менее продолжал играть.

Сенька поднял магнитофон, подал брату руку, помог вылезти. На насыпи тот снова упал и стал шарить по насыпи в поисках магнитофона.

Сенька протянул ему магнитофон.

— Конкретно! — вместо благодарности гаркнул Муциков брат, скатился через насыпь влево под откос и упрямо потащился куда-то ему одному ведомыми путями.

Тем самым Витькиным тайником, который Птюшек забрал когда-то у пацанов, и на ту же самую Витькину чижиху Сашок с приятелями ловили птиц, когда увидели идущего по кладбищу Сеньку.

После гибели Дикого Сенька пришел на кладбище впервые положить на могилу принадлежавший Витьке нож.

— Гляди,— сказал Сашок,— чмо идет.

— Козел,— подтвердил приятель. Он повертел пальцем у виска, засмеялся.

За соседним кустом Птюшек уламывал Галю.— Да ладно тебе, Галка, ломаться...— Он был как всегда в матросском бушлате, рука у него была перевязана, старый бинт потемнел.

— Да ты разболтаешь...— Галя смеялась, пытаясь вырваться из сильных рук Птюшека.

Но это было непросто, да и ей, видно, не очень этого хотелось.

Птюшек оглаживал ее со всех сторон: — Хорошая!

— Ну, ты нашел место.— кокетничала Галя.

Заметив Сеньку, Птюшек выпустил Галю и вышел из-за куста.— Эй, ты, пес,— окликнул он.— Иди сюда.

Сенька обернулся и увидел, что и здесь, на кладбище, все не так. Он, конечно, ничего не мог сделать: не мог драться с герасимовскими, каждый из которых был сильнее его, не мог отнять у Птюшека Галю, да и не

пошла бы она с ним, но и не принять вызова он тоже не мог.

Он пошел прямо на Птюшека, смело глядя вперед, чего Птюшек не ожидал, но на середине пути споткнулся как назло о расставленную снасть.

Он поглядел под ноги. В подтайничнике прыгала Витькина чижиха, та самая, что отобрали у пацанов. Он не мог отобрать Витькину сетку или подтайничник, но одно он сделать мог.

Сенька наклонился, поднял клетку и быстро, так, что никто не успел ничего понять, открыл дверцу и подбросил птицу вверх.

Птица летела в небе — хоть что-то в этом мире было так, как надо.

— Эй, ты чего? — возмутился Сашок.

Сенька посмотрел на Галю, повернулся и спокойно пошел прочь, а когда Птюшек догнал его, он резко наклонился, подхватил удивительно легко поддающуюся лавочку и не глядя треснул Птюшека по уху. Птюшек охнул, присел от неожиданности. Подбежавшего Сашка Сенька сбил ногой.

Такой лихости от него не ожидали. Герасимовские замерли на миг. Галя широко открыла глаза.

— Сука! — прохрипел Птюшек, и Сашок с приятелями снова кинулись на Сеньку, но и на этот раз ему удалось как-то отбиться, может, потому, что Галя глядела на него. И только когда навалились все вместе, он не устоял на ногах, упал, закрыв лицо руками.

Его били все, кроме Гали. Били жестоко, зло, ногами.

— Кончай, Толик, хватит уже! — крикнула Галя Птюшеку.

Разгоряченный Птюшек с пробитым ухом не услышал ее, герасимовские продолжали молотить бесчувственное Сенькино тело.

Его бы убили, если бы со стороны железной дороги не подбежал Немой. Мыча и расталкивая озверевших пацанов, он попытался отбить Сеньку, его оттолкнули, он упал, но встал снова, кинулся к дерущимся, снова получил удар в грудь, сел на землю.

— Толик, миленький, не надо! — снова попросила Галя.— Кончай!

Птюшек оглянулся. У Гали была высокая грудь, и бедра были плотно обтянуты юбкой.

— Ладно,— успокоился Птюшек, трогая разбитое ухо.— Запомнит.

Не обращая внимания на возмущенное мычание Немого, герасимовские пошли по дороге к линии.

Галя задержалась около Сеньки, присела, заглянула ему в лицо, не убили ли, потрогала голову.

Птюшек махнул ей рукой, и она пошла за

пацанами. Она шла последней, и волосы ее красиво раздувал ветер.

— Прощай, прощай, моя любовь, прощай...— звучало в затухающем Сенькином сознании. Он так и не сказал Гале, что любит ее. Да и не нужна была ей его любовь.

Немой перевернул Сеньку, обмыл ему лицо, наливая воду на морщинистую руку из банки со старыми полевыми цветами, стоящей на могиле.

Сенька открыл глаза, сел, посмотрел на Немого, но не удивился, как будто он ожидал его увидеть рядом.

Вспомнив драку, он заиграл желваками, посмотрел в ту сторону, куда ушли герасимовские, уводя Галю, и вытащил руку из кармана.

В руке его крепко, до побелевших костяшек, был зажат Витькин нож, который он так и не достал в драке.

Сенька улыбнулся. Он вспомнил, что выпустил птицу, и понял, что остался жив.

— Слышь, дед,— сказал он, положив Немому руку на колено.— Ты не ходил бы по путям. Неровен час — собьют.

Немой помог Сеньке встать.

— Ничего, все нормально,— отстранил его Сенька.— Сам виноват, иди, дед.

Он подошел к Витькиной могиле, положил нож и присыпал его землей, потом не спеша стал сматывать Витькин тайник, оставленный герасимовскими на земле.

Издали послышался стук. Обходчик шел по пути и стучал, делая в жизни то, что было в его силах.

1989 г.





**Рената
ЛИТВИНОВА**

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ И ЖАЛОСТЛИВЫЙ ВЗГЛЯД АЛИ К.

Сценарий дает насыщенную картину жизни одного человеческого существа. Его радость (редкую), печаль, любовь, страх, растерянность, муку самосознания, попытки спасенья, гнет юдоли — все это есть. И все завершается на наших глазах — тридцатидевятилетняя Аля умирает, исчерпав свой маленький, собственный путь.

Ее оставили оба: ангел правого плеча и демон левого — то есть все. В этом смысле сценарий глубоко религиозен: на Алю (и на нас отчасти) дышит бездна, где без опоры человек лишь истерзанная пылинка, обнаженный и обожженный комочек плоти.

Было бы пошлостью по отношению к этому сценарию и к такого рода драматургии приспособлять определения «милосердие», «немилосердие», «некоммуникабельность» и даже «что с нами происходит?». Это все о другом. Это особая ветвь человековедения, которой занялись вдруг почти исключительно женщины (Муратова, Петрушевская, некоторые женщины в поэзии) и в которой основной объект рассмотрения — Оставленные.

Был вскрик на кресте — «Отец мой, зачем ты меня оставил?»

Авторы этого направления растягивают во времени трагическое мгновение этого восклицания и помещают в него целиком, или почти целиком, жизнь отдельного человека.

Общий атеистический фон выступает здесь мерцающим обеспечением страданий главного персонажа.

Прислониться ему в этом обеспечении некуда, хотя обозначения и приметы человеческих отношений вынуждены сохраняться. Здесь тоже разлом. Исходом — либо психический сдвиг, либо смерть, либо смутная улыбка предзнания.

Почему занялись этим направлением именно женщины? Может быть, потому, что женщины — вечные носительницы таинственного плода — ближе к идее заступничества. По крайней мере, в наши дни.

В определенном смысле это жанр-молитва. Поэтому и странность и извивы псевдосюжета, балансность или небалансность псевдокомпозиции — все это условно в данном случае.

Иногда этому направлению труднее найти слушателя, зрителя, режиссера, однако суть это не изменяет. Они продолжают, даже и вне надежд.

В. Голованов

Пролог

Ну что, хорошо, ну, а как это сделать? — тихо и осторожно спросил сын Али, буд-то кто-то мог подслушать.

Девушка пожалала плечами.

— Я так не могу уйти. Она же мне ма-ма! — нотационно, словно он сам «мама», произнес и стал ловить взгляд девушки.

Она сидела за его письменным столом. Она поглядела на старую настольную лампу с зеленым абажуром, и у нее сжалось сердце. Она не знала, что ответить.

Сын огляделся: в его небольшой комнате по-женски маминой рукой было поставлено много ненужной мебели, здесь был даже сервант без посуды — мешался у самой двери. Над кроватью висел ковер — как он только поглядел на него, тотчас стало стыдно, что он так живет.

— Вот, — уже тверже сказал он, — собрать вещи и уйти. Это бесчеловечно... — Он уже принял решение, и все его слова — это была уже какая-то придуманная дань матери. — Скоро она придет. Нет, я так тоже больше не могу жить. А жить здесь вместе...

— Ну, решай сам. Нет времени. Да или нет. — Она поднесла руку к лицу и стала греть камень на кольце.

— Да, я хочу уйти, но мне ее так жалко! — Он встал и посмотрел на часы. — Надо успеть уйти, пока ее нет. Объясниться с ней я не смогу. Это будет скандал. Я уже устал от этого, меня уже трясет от этой жизни с ними, здесь можно... Ах, какие подлые слова я говорю! Но ведь это так. Мне жалко ее оставлять с бабкой...

— Я не понимаю... — сказала девушка тонким голосом. — Ты же хотел уйти.

— Да. — Сказал он, сел к столу и на большом листе бумаги сверху написал: «Мама! Я ухожу из дома и буду жить с... (тут он остановился и внимательно посмотрел на девушку, как будто забыл ее имя; он увидел ее лицо и дописал) Сашей. Я люблю ее и не могу без нее жить. Я позвоню».

— Очень глупая записка, — вставая, с довольным лицом, сказала Саша.

— Да... — подтвердил он. Лицо у него было такое, будто что-то внутри у него оторвали. Он долго прохаживался с загибающимся белыми полями листом бумаги. Он искал

куда его положить, а девушка стояла и ждала его в коридоре.

— Положи его на кухню! — крикнула она. Таким голосом она разговаривала, когда все было хорошо — веселым.

— Нет, бабка прочтет, — непонятно ответил он.

Он положил его в комнате на узкую белую постель. Здесь пахло мамой — он опять заперевживал, чувствуя свою негодность и подлость.

Потом он извиняясь, весело стал смотреть на девушку, пока они ехали в лифте. Едва он покинул квартиру, он как бы «на одну ступень» освободился.

На улице он посмотрел, как на его девушке развевается шарф, а потом взглянул на окна своей квартиры.

Этот мальчик, ему было девятнадцать лет, имел красивое лицо с раскосыми глазами. Им можно было любоваться. Он закурил, кривя ровно-овальное лицо с пребелой кожей.

Уже стемнело. Они сидели у девушки дома. Он не мог ни есть, ни пить поставленный перед ним чай. Он посмотрел в оконную черноту, пользуясь таким ориентиром, он решил:

— Пора звонить.

Девушка шевельнулась, положив голые белые руки на стол. Она с жалостью стала наблюдать, как он набирает номер телефона. В комнату зашел какой-то их приятель. Он тоже остановился. Сын поднял руку, чтоб все замолчали. Все посмотрели на его раскрытую ладонь.

Трубку взяли. Он услышал голос матери.

— Мама! — Только виновато сказал он и больше ничего не успел сказать. Он что-то выслушал, и все.

— Как она неправильно поняла! — с отчаянием сообщил он всем. — Бедная, я с ней ужасно поступил, а она сказала, что я ее унизил запиской. Она сказала, что я ей больше не сын!

— Я тебя останавливала, не надо было ей сразу звонить, это неумно, — сказала девушка.

Они сели пить чай.

— А как твою маму зовут? — спросил приятель, чтобы хоть этим вопросом принять участие.

— Аля.

Все застыли, наклонив затылки.

Некоторые сцены из Алиной жизни после ухода сына.

Часть 1.

Одна.

Комната Али на рассвете. Она пока спит. Без сына Али стала сама как ребенок. Что она была за человек — наивный и нелепый. Человек, который забыл и забросил себя. Увидевшего ее во сне поражало лицо старенького ребенка, обиженного, терпящего несправедливость. Лицо, уже несколько подпорченное вечной болезненностью, отстраненное — лицо само по себе. «И уже никто мне не нужен, — как бы говорило оно, — уйди-те от меня. Я сама». И страшная жалость охватывала смотрящего.

Перед самым рассветом она начинала просыпаться. Испуганно моргать глазами и смотреть в упор на будильник. И так до самого звонка, через каждые полчаса она приглядывалась к стрелкам, все более распалая себя и раздражаясь. К утру у нее было совсем нервное, помятое лицо. Она все-таки с трудом вставала, накидывала короткий старый халат и шла умываться, даже не взглянув на свое отражение в зеркале.

Ставила на огонь разогревать себе чайник и надолго уходила в комнату, чтобы там, одеваясь, задумываться о чем-то, сидя на стуле. Лицо ее «прочищалось», одно плечо задиралось выше другого, глаза не мигали. Света она не зажигала, ориентируясь по памяти. (Рассвет еле брезжил.) Она надевала ту же одежду, которую сняла с себя вчера и оставила брошенной в кресле.

А если было холодно, она доставала из шкафа совершенно несовместимую по цвету с ее кофтой фиолетовую жилетку и, не глядя, надевала сверху.

И как ни характерно для некоторых людей безразличие к себе, это совсем не подходило ей, Але. Ей вот-вот исполнялось тридцать девять лет.

С утра она рассмешила свою мать. Та, отсыпаясь днем, рано выходила пить чай и смотреть на дочь. На этот раз мать вышла, выключила полувывкипевший чайник и села в углу, дожидаясь.

Во время чаепития Аля так о чем-то задумалась, что выронила ложку и тут же стала доставать ее из-за стола. Опустившись на оба колена, она уже подняла ложку, но отвлеклась. Под столом лежало объемное черное пятно. Аля остановилась, не понимая,

что такое? А потом, низко нагнувшись, стала ощупывать его пальцем, пока не поняла... Поступок, совершенно ребячий, ничуть не разыгранный, а искренний, подсмотрела мать и зачем-то громко стала хохотать. Зная, что Аля может обидеться, мать все-таки не успела подумать об этом и не сдержала себя.

И вот в чем проявилась Алина «испорченность» жизнью — ее лицо искривилось. Она тут же разозлилась, распалаясь в одну секунду. Повернув свое покрасневшее лицо, она несколько раз повторила: «Грубая женщина!»

— А сама-то какая! — ответила мать, одновременно и с жалостью и с гневом оглядывая ее.

Работала Аля в полуподвальном помещении с длинным коридором, крытым серым жирным линолеумом. По стенам стояли лавки для больных. Лампочки мигали над низкими потолками. Все в этой поликлинике, поработав год, жаловались на головные боли.

Аля имела свой отдельный шкафчик. Там у нее хранились тапочки на смену и белый халат. Рассеянно посматривая по сторонам, она шумно скидывала с ног сапоги.

Низко опустив голову, засунув выше запястий руки в округлившиеся карманы, она проходила мимо посетителей. И никогда не придерживала за собой дверь в кабинет по рассеянности. Все знали, стук означал ее появление. Все в кабинете на мгновение поднимали головы и, досадуя, тут же отворачивались, лениво здоровались кивками. Из этого следовало — все были уже давно на месте, уже работали, а она приходила позже всех. Чувствуя их неприязнь, она тихо-тихо проходила к своему столу.

К концу рабочего дня пришел мужчина лет сорока.

Это был подполковник в отставке, Анрик, которого она знала уже лет десять. Он часто приходил к ней подлечиться, но сегодня он пришел без звонка, непонятно зачем.

Он взял тон развязного «своего человека со всеми». Это был единственный мужчина, с которым Аля часто виделась, хотя и не по своей инициативе. С годами она потеряла к нему всякий интерес и уважение и только немного удивлялась и по привычке выполняла все его просьбы.

В отставку он вышел год назад и стал ходить в штатском. Из жадности он не купил себе новой одежды и donaшивал старое. И если бы не военная привычка к порядку, подтянутости, чистоте, наряд его мог бы вызывать жалость или недоумение. Один и

тот же пиджак (от «привычки» сидеть на одном и том же теле он в точности повторял фигуру Анрика, а полы его даже закруглялись по бедрам), коротковатые, узкие брюки, перешитые из военных, и неизменная тряпичная сеточка в руках. На дне ее болтались ключи.

Анрик был одинок и редко жил у себя дома. Он всегда появлялся откуда-то и загадочно скрывал, у кого он живет. Но он появлялся веселый и, как определяла Аля, «чистенький».

Анрик подходил к Але и широко улыбался.

В метро Анрик стал жаловаться, морща белый ровный лоб:

— Я так устал. Я бы где-нибудь прилег. Я пойду посплю, пока мы доедем. И где бы сестра? — Освободившееся место было в трех шагах от него. Он жалобно посмотрел на Алю.

— Иди, иди, садись, конечно, — поняла она его, пожалев, — я не хочу сидеть. Я привыкла стоять. Иди, что ж ты?

Он как раз этого и хотел, но замялся, а потом пошел, сел и тут же закрыл глаза. Але не пришлось и в голову обидеться, она только, чтобы не стоять рядом с ним, отошла к окну.

Их разговор в кухне.

Анрик: Я люблю чай из простого стакана с подстаканником. Подстаканника у тебя нет?

Аля: Да нет. У матери где-то есть...

Анрик (очень расстраиваясь каждый раз, что нет подстаканника): Это нас армия приучила. А знаешь, к чему она нас еще приучила? (Восторженно.) Нас, мальчишек еще тогда?

Аля: Ну к чему?

Анрик: К подсолнечному маслу! Я знаешь, как ел и теперь так есть люблю! В суп обязательно подливаю масло и в кашу гречневую. С ним мне все вкусно. Хочешь, попробуй. Даже обязательно попробуй.

Аля морщится.

Анрик: А-а-а-а, вот так-то, деточка! (С восторжеством. Смотрит очень внимательно, заварился ли чай. Нет, еще недостаточно хорошо, это можно прочитать по лицу Анрика. Он захлопывает крышку и деловито спрашивает) А варенье какое-нибудь, хозяйка, дашь?

Аля: Дам.

Анрик: А-а-а-а-а! (Очень довольный.) Я люблю чай крепкий, только что заваренный. Ты что себе чашку не поставила? Ставь!

Аля: Да я не пью, это ты пьешь, а я не люблю.

Анрик: А где мамаша? Тогда я с мамашей попою, зови ее сюда! Эй, небось опять бока пролеживает!

Аля: Не надо ее звать.

Анрик (наливая с наслаждением заварку, вытягивая носом ее запах): Опять что-то? Надо с ней побеседовать! (С неослабеваемой энергией реагирует на все.)

Аля: Мне тут ее подруга звонила из другого города и начинает вдруг отчитывать меня. Как вы себя ведете со своей мамой, вы ее довели, она мне письмо написала, пожаловалась. Все письмо пропитано слезами, что ей жизнь не мила и что она хочет повеситься.

Анрик испуганно смотрит на нее.

Аля (уже расслабляясь): Ты представляешь мое состояние? А я об этом даже ничего не знаю. Хоть бы она это как-то выразила, а то такая довольная ходит, а на меня пишет... Нет, я не понимаю. Я ведь и не подозреваю!

Анрик (задумываясь): Нет, она этого не сделает. Она очень жизнелюбивая женщина. (Он трясет руками и плечами, показывая, какая она женщина.) Я бы с ней вообще после этого не разговаривал.

Она сидит некоторое время молча. Анрик занят: он маленькими глотками отпивает, как дегустатор, чай и устало улыбается. Аля сидит у окна и рисует себе что-то шариковой ручкой на ладони. В доме очень тихо.

Анрик (наливая из чайника последние капли в чашку): А что твой доклад?

Аля (испузанно вздрагивает, видно, что это для нее большая тема. Она начинает беспокоиться, торопливо обяснять): Надо, надо писать. Надо сесть. Только зачем мне поручили? Я докладывать не могу, мне просто плохо становится. Ладно, не напоминай, надо, надо.

Анрик: Ладно, тогда вот что (он тянется к своей сумке, достает оттуда кулек, из него — брюки. Разворачивает прямо над столом и начинает рассказывать), вот они мне уже жмут страшно. Я понял, что вот тут в поясе надо надставить. Вот, гляди, пожалуйста, не отвлекайся, вот тут надставить. Я принес нужный кусочек материала, и ты вот тут расшей и прострочи. Я тут долго разбирался, и ты, как женщина шьющая, должна разобраться. Первое, тут отрезать...

Анрик уходит. Мертво в квартире. Аля, не зажигая света, подходит к двери матери. Прислушивается, но там — ничего. Непонятно. Она открывает дверь и всматривается в темноту. Шторы в комнате не закрыты, из окон несет сквозняком. Потом она различает, что мать смотрит на нее почти в упор со своей «панцирной» кровати и молчит. Аля недоуменно пожимает плечами и

говорит первое попавшееся:

— Ты жива тут?

— Жива, жива, — отвечает мама. При этих словах кровать под ней покачивается и скрипит.

— Ага. А то... тихо, — и Аля закрывает дверь.

Она идет к себе. Зажигает верхний свет. На столе посреди комнаты стоит швейная машинка. Разложены какие-то недошитые вещи. Стулья и тумбочка — все со стопками сложенных платьев, тетрадок, журналов.

Аля слышит, как пищат полы в коридоре. К ней заглядывает мать, как ни в чем не бывало. Ее лицо оживленно, ей очень любопытно, чем занимается Аля. Аля понимает это и тут же оскорбляется. Мать стоит и не решается даже войти, но все поглядывает с робкой улыбкой примирения.

— Мама, — слабо говорит Аля, — что ты? — Да я хотела спросить, можно у тебя взять твоё молоко?

Аля не понимает, то ли это какая-то полуигра, то ли все, что говорит ей мать, надо расценивать как сложившиеся отношения.

— Зачем ты спрашиваешь? — еще тише говорит она, но даже не может поймать взгляда матери, та уже что-то рассматривает на стуле. — Бери, конечно.

Они вместе выходят из комнаты. Мама уходит явно неохотно.

— Ты что, не хочешь уходить? — наивно спрашивает Аля. — Что ты хочешь посмотреть?

— Я? — та снисходительно и хитро смотрит на нее. — Я уже все посмотрела, — расценивая это как свой успех, отвечает она. — Ты опять ничего не сделала, все так же на прежних местах.

— Я еще успею. Мне некогда, я потом сделаю. И отстань от меня, пожалуйста!

Аля закрывается в ванной комнате. Здесь тепло, течет вода, шумит, ярко-желто светит лампа. Аля принесла с собой настольные часы, бутерброд, воду в стакане и книжку, уже всю исчитанную много раз, раздувшуюся и покореженную от воды. Она ложится с ней в полную ванну, загораживается занавеской и начинает читать.

Она долго листает книгу. Не может решить, откуда начать. Наконец она останавливается где-то на середине.

Вдруг кто-то начинает трясти дверь снаружи. Аля вздрагивает, половина книжки опускается в воду. Эта ее неловкость проклятая, она даже не знает, куда ее положить, так как табуретка заставлена стаканом, часами и тарелкой с объедками. Ведь ей было так хорошо здесь, и тут раздается громкий панический голос мамы:

— Аля, Аля! — Мощные рывки за ручку так, что образуется щель туда в черноту, в квартиру.

— Что? — спрашивает Аля. Старуха, удивляясь ее спокойствию и кротости, кричит: — Открой, тебе звонят!

Действительно, им звонили очень редко.

Аля вышла и большим голосом спросила:

— Алле?

— Алле, — слабо отозвались на том конце. И молчание.

— Алле, — Аля села на стул, прижимая к мокрому волосам трубку.

— Алле, Аля? — Очень ровный, невыразительный голос этот нельзя было спутать ни с каким другим.

— Лена, это я.

— А, — с длиннейшими паузами проговорили там. — Здравствуй. Это я, Лена. — И опять молчит. С ней нельзя было разговаривать, не задавая никаких вопросов. Она просто молчала и дышала в трубку, как будто отключаясь и вообще ничего не думая. Но за этим ее молчанием стояли страннейшие и интереснейшие мысли и нерассказанные истории.

— Ну, что, — четко выговаривая каждое слово, начала Аля, зарядившись терпением, — как ты живешь? — Аля краем глаза видела, как мать, сокрушенно качая головой, заходит в ванную, пока ее нет. Она отмахивается от пара, наполнившего комнату, и вскрикивает, вынимая из раковины книжку...

— Странно, что никто друг другу уже не радуется, — заметила Лена глухим нерасходным голосом.

Аля задумалась над ее словами. Потом она опустила голову и вежливо ответила:

— Нет, я о тебе часто вспоминаю. Это правда. Просто со мной что-то происходит, все очень плохо, я совсем одна. — Просто душно начала она оправдываться. — Что ты молчишь? — Уже чуть раздраженно спросила она.

Лена не торопилась с ответом.

— Подожди, — сказала она. — Я сейчас принесу радио.

— Радио? — удивилась Аля. — Ну, принеси.

Лена долго отсутствовала, вернулась, тяжело дыша, стала крутить ручку настройки:

— Сейчас, — времени для нее не существовало. — Ну, вот. — Она нашла музыку. — Нет, — ей что-то в ней не понравилось, она перевела на «человеческие голоса» и стала говорить параллельно с ними. — Я не могу... здесь...

— Не можешь говорить, да?

— Не кричи. Мать тут только и горазда подслушать, — и она стала, верно для конспирации, произносить ничего не значащие

слова, — ага, ага, ха-ха, — тем самым выводя Алю из себя.

— Кто там? Уже ушли?

— Нет, — голос у Лены был низкий, тупой, выматывающий. — Родственница прошла. Ходит. Ну, что ты здесь ходишь? — Аля услышала, как она стала притворно-ласково обращаться к кому-то. — Скрылась.

— Ты мне что-то хотела рассказать? — громко, как к глухой, обратилась Аля.

— Да! Да! — вдруг с волнением низким плюющим шепотом зачастила она, — хочу, — и она счастливо засмеялась, не разрешая себе произнести большего по телефону. Але передалось ее волнение и счастье, она засмеялась и сказала:

— До чего мы дошли, стали радовать только такие ничтожные... — Она не могла подобрать определяющего слова, — штучки!..

— Я вчера прыгала через ров с одним человеком, — все-таки осмелела Лена. — Тоже было хорошо. Я расскажу. Давай завтра.

— Давай погуляем где-нибудь!

Они встретились днем в одном из городских парков и ходили друг за другом по дорожке, разговаривая. Внешне они составляли полную противоположность. Лена была большая, высокая, даже дородная женщина лет тридцати трех, а впрочем, нельзя было точно определить ее возраст.

И если лицо Али было совершенно детское — беспомощное, растерянное, обиженное, то у Лены на гладком лице сохранялось одно и то же застывшее «мощное» выражение. Если она и морщилась, то только едва-едва заметно, между бровями. А так никаких сомнений на ее лице не отпечатывалось, одна лишь медленная мысль и упорная сила. Именно этой силой оно и притягивало к себе. Его можно было бы назвать и красивым: смуглое, но с какими-то желтыми пигментными пятнами, черные брови вразлет, большие глаза, узкие, ярко и неровно накрашенные губы, полный, круглый подбородок, открытый чистый лоб и едва намечающиеся под глазами тени.

Одета она была в совершенно немодное платье из такой материи, из которой делаются платки с бахромой — яркие цветы были раскиданы по светлomu полю. И от того, что платье было светлое, бросалась в глаза его несвежесть. Оно обтягивало всю ее полную фигуру, а на коленях были болячки, которые постоянно бывают у детей...

При всей своей косноязычности исходящей от нее нерастраченной энергией Лена завоевывала внимание и вызывала бурю эмоций у своей подруги.

— За мной стал ухаживать один мужчина, — Лена говорила без интонаций, — он, наконец, не такой старый, как все мои кавалеры,

— она ухмыльнулась, — правда, он худенький и вот такого роста, — она показала воображаемого человека ростом где-то себе по нос.

— Такой незначительный? — подивилась наивно Аля. Глаза ее светились чисто женским любопытством.

— Да, он незначительный, — бесстрастно и жестоко согласилась Лена, — но я решила не замечать этого, потому что мне с ним интересно, и он очень умный и изучает искусство...

— А он кем-то работает?

— А ты знаешь, я и не спрашивала, нет, я спрашивала, но он вилает, — тут она сделала глубокую мрачную паузу. — Я вот еще знаю, что он где-то в массовках снимается, это его интересует, хотя я подумала, что несolidно. Да, он очень неверный и вилующий. Но мне показалось, что он так чисто ко мне относится. И всегда встречается со мной и водит меня гулять то в парк, то еще куда-то. Вчера он подавал мне руку, чтобы я не упала, когда мы там нашли один ров, — Лена остановилась и неожиданно перешла к другой теме, но, видно, для нее это было все о том же...

— Как бы ты мне посоветовала, я хочу избавиться от одного человека. Я всеми силами возненавидела его. Я ненавижу и презираю его, и мне даже нисколько его не жалко, потому что он подл, мерзок, он — чудовище.

— Какое еще чудовище? — Аля очень была удивлена. — А зачем его убивать? Я ведь так поняла?

Лена кивнула, удивляясь простоте этих слов.

— А что он такого сделал? — сворачивая с дорожки к деревьям, спросила Аля.

— Сейчас, сейчас все расскажу, — тупо проговорила Лена. — Меня прямо захлестывает, и я не могу по порядку. Ну так вот, этот мужчина. Давай я тебе расскажу всю правду. Он слабый, безвольный, неверный, это я правильно про него догадалась с самого начала. Он потом мне сам признался в этом и рассказал, какой он дурной человек... Но дело все в том, Аля, что я, кажется, его полюбила и теперь ничего не могу с собой поделать, и он мне говорил о своем чувстве. И я ему ничего такого не позволяла, я вообще очень строга к этому и ни-ни, но я стою с ним где-нибудь чуть ли не в подворотне, я, взрослая, и не могу с ним распрощаться, а он такой хитрый... Я и стала приводить его в дом к нам. — Тут она замерла и стала оглядываться вокруг. Было пусто. Они зашли уже вглубь парка.

— А ты знакома с моей матерью? — как бы невзначай спросила Лена, проходя вперед и не оборачиваясь.

— С твоей мамой? Я же никогда не была

у тебя, но, кажется, видела... Она такая у тебя веселая. Очень хорошая.— Вспоминала свои смутные впечатления Аля.

— Да, она веселая и молодая еще...

— А сколько ей?

— Пятьдесят,— сухо ответила Лена и отвернулась.

Аля поняла, что она сказала что-то не то, и замолчала.

— Сколько я ее помню,— заметила Лена,— она все время брови брила, и эти места, надборья, у нее всегда блестели.

— Ха! Да подумаеть, какая ерунда! — рассмеялась Аля, но осеклась, заметив, что Лена совсем помрачнела.

— Я хочу тебя пригласить к нам,— сказала она,— и ты увидишь, какая она хорошая на самом деле и какая она...— И тут Лена задрожала.

— Что с тобой? — Аля приблизилась к ней. Что-то жалкое и человеческое промелькнуло на лице подруги.

— Дело все в том,— заявила Лена,— что я как-то спряталась за занавеску, и никто не знал, что я дома. И он, этот мужчина, который за мной ухаживает, пришел к моей матери, и они смеялись надо мной. Вот что! И я пришла тебе сказать...

— Не верю, что ты рассказываешь...

— Ты мне не веришь? Я спрячу тебя, и ты увидишь, потому что он приходит к ней постоянно, а ты говоришь...— И тут губы ее задрожали.

— Да это какой-то бред,— тряхнула головой Аля.

— Нет, ну я тебя приглашаю за занавеску!..

— Да ты что, мне неудобно, разве так делают?

Далее разговор не имеет смысла приводить. В Але победило сострадание к подружке, вместе с тем, что она совершенно во все рассказанное не поверила. И она согласилась пойти с Еленой за занавеску, чтобы не оставлять ее без участия.

Часть 2.

Рассказ о второй Алиной подружке, Галине, и о том, как та повела ее креститься.

Крещение было назначено Галей на воскресенье.

Уже рано утром, едва рассвело, они ехали в почти пустом троллейбусе, но не садились. У троллейбуса был такой маршрут, что он все время заворачивал. Стоять было неудобно, но Аля объяснила:

— Нет, нет не сядем. Сидеть холодно,— но на самом деле ей именно стоя хотелось говорить Гале.— Я не могла заснуть всю ночь и все-все встретила, и рассвет, и кто первый пройдет под окном и про тебя многое

подумала. И рано пошла в ванну, вымылась, но я... прости, все потешалась над собой, что я такая дурная, что еду вдруг креститься, от всех это скрываю, я же почти не верю. Вот видишь, сколько во мне плохого, я даже поймала себя на том, что мне просто любопытно посмотреть и тебя обижать не хочется. Мне с тобой хочется дружить, ты очень добрая.— Галя при каждой ее фразе менялась в лице, то холодела, то страдала, то радовалась. И выражения их лиц были в этот момент очень схожи.— Но я решила, что сделаю это, пусть на всякий случай, и пусть тебя это не оскорбляет. Это все от безнадёжности моей. Это же так просто, что у меня появляются такие мысли, вдруг поможет.— Аля говорила с ней, как с равной, и это была ее ошибка. Она тут же настроила Галю против себя.

— Но тебе же не везет? — спросила та прямо, вспоминая, что это самый главный повод к крещению.

— Да-да. Мне очень не везет. Ты же знаешь, у меня сплошные неприятности. И очень давно они начались, Галя. И я их не исправляла, а как? Я только все время надеялась на лучшее. А этот случай на работе, кто на меня так несправедливо донес и меня так несправедливо наказали. Мне же просто нужны деньги, я не отработала, а кто-то донес... Кто? Мне уже начали шептывать разное, а мне от этого только хуже...

— Да. Люди вокруг потеряли всякую жалость,— тут же подхватила Галя.— Я ведь тоже работаю, и такие же женщины рядом со мной. Они все озлоблены, потому что им так же не хватает денег, а они устают на работе, и их никто не жалеет. Они ничего не успевают. Они очень быстро кончатся, как люди. И они не видят выхода...

— И я,— простодушно узнала себя Аля по этой «схеме». Они уже и разговаривали одними и теми же словами, продолжая и подхватывая мысли друг друга. Делали те же жесты руками, одинаково сжимали губы, и уже было непонятно, кто на кого больше влиял и кто от кого что перенял.— Я тоже зла,— уже наговаривала она сама на себя.

— Ты не зла!..

— Но ведь я тоже так же, я уже ничем не отличаюсь от них. У меня очень давно обиды... Я помню обиды с раннего детства. С тобой бывало такое, что мать отказывалась от тебя? А мне тогда было лет шесть, и я запомнила, как мы с матерью ехали в поезде, и контролер стал проверять билеты, а она из экономии не купила мне. И она стала ему врать, что будто бы «эту девочку ее попросили просто перевезти незнакомые люди» прямо перед отходом поезда, и что она ничего не знает, и что «пусть уж я перевезу ее, не трогайте, смилуйтесь». А ты пред-

ставляешь мое состояние, когда я сижу рядом и знаю, что она моя мама. А мама сидит и при мне же отпирается и отказывается от меня. Я заплакала, и тут же дело решилось в ее пользу. Ну, я потом спросила ее, что же ты отказывалась от меня, а она, представь, ничего и не поняла. Для нее это было как тьфу, она наоборот была рада, что сэкономила деньги, она умилилась на мой вопрос и стала объяснять что-то, а потом отмахнулась. А я это запомнила на всю жизнь. А она теперь страдает и не может понять, почему я к ней невнимательна. А она ведь мне чужая...

— Нет, так нельзя,— не поняла этого Галя.

— Нет! Скажи, как бороться с такими людьми, грубыми, чтобы они поняли.

— Никак не бороться,— уже знала ответ Галя.— Бедные несчастные люди. У них нет ничего светлого в жизни, а у матери есть только ты. И их всех, кто вокруг тебя, их надо пожалеть. И тогда они изменятся...

— Нет,— как о чем-то проверенном возразила Аля,— чем больше я им делаю добра, тем они делаются опаснее, неблагодарнее. Нет, мне уже никого не надо.

— Что? Ты больше не хочешь помогать людям? — строго спросила Галя.

— Но... Но за что же они так ранят меня? — с болью воскликнула она.— Я вот что точно знаю, и мне все это рассказала жизнь — все-все несправедливо здесь,— горячо заговорила Аля,— в этой жизни. И скажи,— она опять и опять вспомнила про себя и про свое, все мешая в голове,— за что они на меня донесли и неужто им всем мало? Что я им сделала? Нет у них жалости, что ли? А? — И она взяла Галю за отворот пальто, требуя ответа.

Галя только страдала от этих слов. Ей хватало своих таких же воспоминаний, и она не имела сил возражать.

— Я хочу того, что совершится сегодня,— с благодарностью продолжала Аля.— Спасибо тебе, пусть, как ты говорила, снимутся с меня грехи моих родителей и плохие дела, которые я когда-то совершила. И кто-то, может, простит меня, и все поправится.

— Да-да! — Галя растрогалась и стала открывать свою большую сумку. Достала оттуда живые цветы, обернутые в прозрачную бумагу, и подала их Але.

— Это ты мне! — пораженная спросила она, не принимая, но и не отталкивая.

— Такой день,— серьезно сказала Галя,— тебе, конечно.

Какой-то мужчина, недавно вошедший на остановке и наблюдавший за ними не более десяти секунд, довольно громко проговорил:

— Блаженные, точно,— и тут же вышел. Они услышали, и им обоим только понравилось это определение, сближающее их

еще больше и общей обидой и тем, что они так похожи. И они засмеялись ему вслед.

В церковь они пришли одни из первых. Служба еще не началась, но уже пришли какие-то люди, скромно жавшиеся по стенам. Они беспомощно смотрели на каждого проходившего мимо, и Аля тут же примкнула к ним, встав так же у стены и приняв такую же позу. И это чувство «братства» ей доставляло радость.

За высокими окнами церкви падал снег. Было очень красиво. Тихонько ступали вокруг старушонки, и если бы они вели себя как-то не так, то все равно Аля простила бы им это, не захотела бы заметить. Она была заражена каким-то особым настроением так сильно, что ни о чем не думалось. Лицо ее было покорно. Ей уже мысленно хотелось ходить точно так же, тихо и легко, и она мысленно уже подлаживалась под их походку, запоминала, как они размашисто и ловко крестятся.

Галя отошла и весело разговаривала с продавщицей свеч, верно, самой главной из всех этих женщин при приходе. Та ласково кивала и с любопытством издалека глядела на Алю, будто они говорили о ней.

И вот все зашевелились, увидав на секунду показавшегося в дверях батюшку. Галя незаметно подошла, обняла подругу и сообщила ей что-то на ушко. Алю это сообщение поразило как громом. Она потемнела лицом и воскликнула:

— Так дорого! — все обернулись к ним, и Галя пришла в замешательство. Она взяла свою подругу за плечо, но та отшатнулась и стала быстро-быстро объяснять,— я не могу... у меня нет столько... я не взяла, я не знала... так много. Уйду сейчас, уйду,— с отчаянием в голосе зачастила она.

— Сколько тебе не хватает? — медленно, в упор, с металлом в голосе, уже не нашептывая, спросила Галя. Дело ее жизни рушилось. Она встала напротив, перегородив Але проход.

— Да вот у меня... Но нет,— оборвала Аля.— Я не могу себе позволить. Этак у меня ничего не останется.

— Я добавлю.

— Но я не могу принять.

Галя подбежала к продавщице свечек, что-то торопливо объяснила ей, наваливаясь грудью на стойку, указывая глазами на подавленную, сомневающуюся Алю. Та выслушала и нарочито громко сказала: «Ну что ж, Бог это запомнит, не я. Потом принесет».

Все собравшиеся в церкви наконец-то сняли пальто, оставшись в скромных нарядах. Их приняли на руки стоявшие за

спинами торжественные сияющие крестные. Собрались в круг, в центре — батюшка.

— Это он? — тихо спросила Аля и стала рассматривать его. Раньше она представляла его себе большим, крупным, даже полным. Этот же был невысок, коренаст и тих в голосе. Он подходил к каждому, и рядом стоящему не слышно было, что он говорил. А когда он подошел к Але, назначил ей имя:

— Анной, подходит? Будешь, да? Согласна. Ну-ну.— Когда он отвернулся, она тут же заблела его лицо и стала разглядывать тех, кто вместе с ней стоял сегодня в кругу.

Девушка. Сзади нее — толстый мужчина, которому было очень жарко, молодой с круглыми холеными щеками. Он несколько не смущался, даже что-то советовал девушке в спину и тяжело отдувался. Когда к ней подошел поп, она подняла брови. Была еще женщина с дочерью. На дочь все смотрели. Она была одета в синее, наверное, свое поудетское платье, которое ей очень шло. А мать ее Але не понравилась. Ей показалось, она все портит своим видом и поведением, словно издевается над собой и над всеми. Она насмешливо кривила губы, «мол, что за комедия», и как-то шутя отвечала священнику. И после священника она не останавливаясь что-то болтала дочери. «Зачем пришла?» — удивлялся каждый.

Потом женщин отвели за перегородку. Все разделись и, дрожа не от холода, а от волнения, стали поджидать попа. Все переглядывались между собой, а женщина спрашивала у дочери: «И что, это тоже снимала?» Поп в это время крестил младенца.

Когда он пришел, Аля ступила в третий таз, он налил ей на голову воды так, что потекло по волосам на спину. Некрасиво перекрестил. Аля уступила очередь другой. И когда она подняла повыше голову, чтобы все стекло, то увидела в верхнее окно, что на улице совсем побелело.

Аля одевалась. Ей стало свежо, сама того не замечая, она заулыбалась и в щели перегородки стала отыскивать Галю. Она уже уходила, а дочь все вытирала спину своей маме, и та опять насмешничала, и дочь стояла красная. «Не понимаю», — вслух подумала Аля, глядя на них.

Галя накинула ей пальто, и они быстро побежали через двор в другую церковь, где шла служба. Их всех впустили в боковую дверь, так как в церкви было полно народу и нельзя было пробиться с общего крыльца. Крестные встали в первом ряду, как особенные.

Эта церковь была намного просторнее, красивее, выше. В ней блестело больше золота и присутствовали несколько священнослужителей. Начали причащаться. Аля вставала

на носки и наблюдала, что ей предстоит... Она не могла сосредоточиться и все оглядывалась вокруг. Восторженные лица действовали на нее, ей самой искренне хотелось иметь такое же лицо. Улыбка сама сложилась у нее на губах, и она уже не отрывала взгляда от рук священника, который поил с ложки причащавшихся и подносил крест. Она подняла голову, чтобы рассмотреть его лицо (он стоял на возвышении), но успела заметить только черные круглые глазки, и тут же подошла ее очередь. Она быстро шагнула к нему, словно кто-то толкнул ее в спину. И нагнулась, повторив в точности движения всех, кто был впереди нее. Но священник медлил и как будто специально заставлял ее разогнуться. Он твердо поглядел ей в глаза и вдруг зашипел: «Губы сотри...» — сам же тыльной стороной руки смазал ей помаду и тут же поднес и толкнул ложкой в губы, и она проглотила вино.

Это было так неожиданно, грубо. Глаза у Али заблестели. Она потеряла ориентировку, и ее отодвинули к стене. И уже оттуда ей вдруг попало на глаза лицо той самой насмешливой женщины с дочерью, которая так раздражала ее недавно. И сейчас Аля похвалила ее: «Все правильно». И тотчас «сделала» себе такое же выражение.

Пробравшаяся к ней Галя не сразу узнала ее, так резко она изменилась.

Галя после службы вышла очень довольная, она еще раз выполнила свой радостный долг, став чьей-то крестной. Она записала себе это в заслуги и похвалила себя.

На обратном пути от жары, не смея расстегнуться на морозе, Галя все запахивала на себе платок, пальто и все ждала, когда Аля позовет ее на торжественный обед.

По дороге домой Галя, уже как своему человеку, рассказывала Але совсем неизвестные моменты из ее жизни, как верующего человека. Она рассказывала, что часто ездит в монастырь, а позавчера ночевала у одной известной старицы — матушки, и что всю ночь ей под иконами являлись лики святых, «оттого что спала она в Божьем месте». Но Аля ей не верила. Она чувствовала, что вот, висит крест, но не чувствовала никаких перемен.

Когда они приехали, мать приоткрыла маленькую щель из своей комнаты, разглядывая, кто пришел, не здороваясь и думая, что она никому не заметна и что делает она это тайно. Эти хитрости Алю тотчас неприятно поразили, и сработала ее обычная реакция — она резко отвернулась.

Галя засуетилась, спрашивая тапочки, еще

не сняв пальто. Она волновалась. Аля спохватилась, что одним из условий обеда было позвать мать к столу. Тогда она повернулась и, пересиливая себя, громко сказала, вглядываясь в щель:

— Мама! Это Галя. Переоденься и выходи к нам, будем обедать.

— Очень приятно,— откликнулась мать, закивала, сжимая рубашку на горле.— Это та самая Галя?... Хотя она в первый раз слышала о Гале.

— Ах, какая приятная женщина! — завосторгалась Галя, и, понизив голос, сказала: — Тебе надо с ней помириться.

Они втроем дружно сдвинули к окну стол в светлой большой Алиной комнате. Постелили даже скатерть. Мать не понимала, по какому случаю собрались, но с готовностью подыгрывала и не спрашивала, боясь раздражать дочь.

Она по приказанию дочери переделалась в яркое, шелковое летнее платье. Оно трогало своим несоответствием с холодной погодой. Мать надушилась старыми духами, накрасила губы и гладко расчесала волосы, разделив голову пробором на две половины. (Прическу эту она завела себе с шестнадцати лет.)

Галя обманывалась — она радовалась, что все так мирно, тихо, от того, что она присутствует здесь. Совсем недавно она хотела защищать мать подруги, но сравнив их, когда они стояли рядом, растерялась. «С такими людьми нельзя веселиться», — вздрог почему-то подумала Галя.

Выпили... Мамино лицо пошло красными пятнами, стало агрессивным. Она вдруг заметила, что ей никто не предлагает ничего вкусного.

— А что ж, и мне можно было бы положить,— она указывала на свою тарелку... Потом заметила, что Галя играет ее старой рюмкой, и, не в силах уже сдержаться, но крайне ласковым и притворным голосом заговорила:

— Вы не болтайте рюмкой-то... Она стоять должна, что тут такого?..

За столом завязался разговор, который привел к тому, что Аля осталась у себя в комнате, а крестная, как и хотела, увела мать для примирительной и ознакомительной беседы, составив в своей голове ряд тем, на которые они поговорят.

Оставшись одна, Аля закрылась и стала переодеваться в домашнее. Сняв кофту, она увидела и вспомнила про крест, купленный ею в церкви, и поглядела в зеркало, как он смотрится на ней. Ей было жалко снимать, но и носить его она не могла.

На руке она рассмотрела, как грубо

сделан крест, и он показался ей чересчур толстым, но все равно она не могла его оставить где-нибудь в ящике стола. Она положила его в сумку в отсек, куда прятала важные бумаги, чтобы никто не заметил на работе. И чтобы также оправдаться перед Богом (непонятным, с сегодняшнего дня появившимся в ее жизни), она произнесла про себя: «Я ношу сумку с собой везде, на работу, а больше никуда и не хожу, так что он всегда будет со мной».

Она нагрела чайник и стала ожидать всех к чаю. Никто не возвращался, и Аля легла на диван у окна. Она не выпала и быстро задремала. И тут же ей приснился, верно, под влиянием церкви, бородатый мужик в овчинной коричневой и ободранной шубе, с очень грозным лицом. Лет ему было сорок. Он стоял у кирпичной стены и глядел в упор. И вдруг, ничего не говоря, он взлетел метра на два от земли и повис в воздухе. Аля ахнула. Мужик висел, раздвинув руки и распластав подол шубы, как на воде. Он висел лицом, ладонями, животом вниз и опять же в упор смотрел и хмурился. Всю его фигуру колыхал ветер, шевелил бороду и челку на лбу.

В это время беседа двух женщин приближалась к самой кульминации. Старуха посадила Галю напротив — на маленький полированный табурет. «Ну, если она со мной так хочет поговорить...» — думала она, тут же проникнув в замысел Гали. Сама она села в свою провалившуюся кровать на одеяло. Мать упиралась двумя крепкими и полными руками в края кровати, не шевелилась, а только гневно подергивала плечами.

— Ну вот, оглядитесь, как я тут живу,— начала она несколько пласивым голосом,— Вы чувствуете, как дует от балкона, самая холодная комната! — сказала она, изобразив крайнее чувство неприкаянности на лице.

Галя огляделась. Комната была узкая и темная от того, что громоздкая старая мебель была расставлена в ней неправильно и только загромождала ее.

На полу была постелена ярко-зеленая с красными полосками ковровая дорожка. Стояли тумбочка со старым телевизором, большой многостворчатый шкаф, старая радиолка, вторая кровать — мужа; фотографический портрет мужа был прислонен к стене у кровати. На столике лежали газеты и тетрадки.

— Хожу на кухню греться, там можно и чай попить; но когда нет Али. Она раздражается и кричит на меня, на старую мать! А сколько я для нее сделала. И ведь

все, что есть у нее, это я дала! Только вы ей ничего не говорите.

— Я не скажу,— сказала Галя, более того, она тут же проговорилась,— мы сегодня с ней ходили в церковь, креститься, и я думаю, ваши отношения поменяются. И вы тоже должны быть сдержаннее...— Сказав это, Галя испугалась, но тут же посмотрев на мать, поняла, что нельзя не сказать. Что она — хочет добра. И что Галя тоже хочет добра. Так что все правильно.

— Покрестилась? — вдруг нахмурившись, спросила мать. — Зачем? А вдруг кто узнает!

Галя твердо: — Ну и что.

— Да ну вас! — Махнула старуха с таким пренебрежением. — Это, конечно, вы придумали? — Она тут же разгадала в Гале верующую, но даже не задумалась о том, что обижает ее. — Господи, и чем же они занимаются?!

Галя сделала крайне оскорбленное лицо и хотела что-то сказать, но старуха перебила ее громким голосом:

— Вот послушайте меня...

— Нет,— возразила Галя,— вы должны сначала понять...

— Вот вы послушайте меня,— перебивая, начала мать,— с Алей я уже все поняла. Вы ей не нужны.— Здесь Галя замерла.— Ей никто не нужен уже. Вот у нее никого нет и ей не надо. Она такая же, как ее отец, тяжелый характер, несостоявшаяся, должности никакой не занимает. Послушайте меня, бросьте!.. Все от нее шаркают, даже сын ушел!

— А что же с ней будет, если я ее брошу, кому она тогда будет нужна! — Галя задрожала, принимая на себя такую миссию.

— Да заболит и умрет,— просто сказала мать.

Галя всего-навсего думала, что без нее Але будет очень плохо и одиноко. Она вздрогнула:

— Да что же вы такое говорите?

— А вот увидите, все будет так. Она слабая.

— Да как же я, зная это, могу ее оставить? Как я буду жить потом после этого... если все случится... как вы говорите? — стараясь укорить и призвать к состраданию, спросила Галя.

— А что, вы лучше о себе думайте, вот как сын ее! Да зачем вам это надо, уж берегите себя. У вас не лучше... И вы также забудете свою вину. Все забывается. Вы понимаете. Человек как бы со временем черствеет, что ли. Он становится жестокий,— она произнесла все это мягко и с сожалением.— Так что живите, как вам удобнее. Это и будет лучший поступок. Это я вам говорю, потому что хочу вам добра.

— Да нет! Как же я смогу потом почер-

стветь?.. После всего.

— Вот мне муж часто снится... Уже несколько раз приходил ко мне,— очень спокойно сказала мать, подняв блестящие глазки к потолку.

— Ну?

— Ничего не говорит. Приходит, и все.

— Куда приходит?

— Ну вот ко мне в комнату. Я сплю, смотрю, дверь открывается, и он входит и молчит. И хотела бы с ним поговорить, но так разволнуюсь, что просыпаюсь и ничего не успеваю.

— Ну и как он выглядит? — спросила Галя.

— Хорошо выглядит. Побрит, молодой, в хорошем костюме.

Они помолчали. Мать сказала, перейдя на плаксивый панический тон:

— Вот кому сказать! Как дочь относится ко мне, хуже чем к собаке; когда она здесь, я выйти никуда не могу!.. Она даже этому Анрику подносит чай, а матери жалеет. А Анри натуральный идиот, самый настоящий идиот! Не успеет в дом зайти, дверь закрыть, сразу же ему чай подавай, а от меня она всю еду прячет. Пред вами ей неудобно вид показывать, а так мы питаемся отдельно. Я даже и не знала, что она вдруг меня позовет,— мать пожалала плечами и заулыбалась.

Часть 3.

Возвращение к первой подружке, Елене. Сцена за занавеской.

Женщины поднимались в лифте. Аля была одета совсем небрежно, а в ее раскрывшейся сумочке Лена увидела ломтик сошедшегося лимона между страницами книги. Аля любила пить чай обязательно с лимоном, и, когда он у нее был, она возила его с собой, даже по половинкам. Лена покачала головой, оглядела ее и спросила:

— Что же ты никак не приоденешься? Все хуже и хуже,— она пошевелила пальцами в карманах своего пальто.

Аля вздохнула, придумывая ответ:

— Нет средств,— сказала она и посмотрела в потолок, потому что знала, что иногда ее взгляд почему-то вызывает сочувствие.

— Понятно,— Лена взяла ее за руку выше локтя и вывела из лифта.

Лена включила свет в маленьком коридорчике. Сразу со всех сторон прямо в лицо полетели мухи. Это были редкостные зимние мухи, расплодившиеся в квартире от тепла и духоты. Лена сняла с себя короткую шинель и увидела, что Аля не

раздевается и думает о чем-то нехорошем.

— Что стоишь? — Лена толкнула ее. Аля сняла перчатки, погляделась в овальное зеркало, повешенное очень высоко, не для ее роста, сняла пальто, не вешая.

— Идем, — сказала Лена, взяв его у Али из рук, и, вся подавшись вперед, пошла в темную комнату. Аля старалась идти не за ней, а по стенке: вернее, в темноте. Достигнув штор, плотных на ощупь, края покрывали пол, Лена отогнула их, уложила, утрамбовала на подоконнике пальто и позвала за занавеску Алю. Они присели, уперевшись носками в пол.

— Я скажу, оставь меня. Оставь, пожалуйста. Замолчи, не подходи ко мне, можешь со мной не разговаривать... — шепотом сказала Аля, схватившись за шею.

— Что такое? — переспросила Лена.

— Это я скажу... матери, а потом сделаю паузу и продолжу, глядя ей прямо в глаза, хотя это так бессмысленно, потому что она... такая примитивная, состоит из одних хитростей, но жизнь-то она мне попортила. Я скажу, не мучь меня... — Аля повернула к ней свое худое личико и опять задумалась, не кончив фразы.

Через некоторое время она опять прошептала:

— А ты слышишь, что-то пищит? Слышишь?

Лена приглядывалась.

— Это часы, — сказала она. — На столе. Они перестали ходить, но начали вот так... — Лена опять с трудом подбирала слова, при этом не делая жестов, не меняя напряженного выражения лица и неудобной позы. — Их надо встряхнуть, — заключила она, но для этого надо было выходить из-за занавески, осторожность и волнение охватили Лену, и она осталась тихо стоять рядом с подругой. Но теперь ее стал мучить писк, о котором напомнила Аля.

Вдруг в прихожей что-то грохнуло, сквозь дырки занавесей они увидели желтый свет, и обе женщины схватились друг за друга, как бы боясь, чтобы одна из них не выбежала наружу. И вскоре стало отчетливо слышно, что там кто-то не один. Ударились об пол упавшие сапоги, и разговорчивая Аля подвинулась, что все это происходило без единого звука, молча, как-то тайно.

А потом она услышала вздохи, глубокие и тяжелые. Свет эти люди не зажигали и вошла в комнату совсем близко к занавескам.

Але с каждой секундой становилось все тяжелей и тяжелей стоять и сохранять тихое дыхание, и теперь уже не приходило в голову, что можно опять присесть на подоконник. Она услышала, как кто-то

по-мужски ударяет пятками по полу. «Ведь женщина не может ходить и бить ногами в пол с такой силой», — пронеслось в ее голове. Она со стыдом заглянула в дырку в занавеси и сразу увидела поблескивание предметов на круглом столе, переведя глаза, Аля заметила женщину на стуле у стены с открытым свежим лицом, насколько можно было судить в сумерках комнаты. Она приглаживала, видимо, с мороза застывшей плоской ладонью и без того гладкие, зачесанные назад и собранные в пук густые красивые волосы. Теперь она выпрямилась на стуле, положила руки на плотно сжатые колени и ясным взглядом стала наблюдать за тем, вторым.

Второй и был Ленин жених, и он никак не мог усесться, похаживал, демонстрируя малый рост, казавшиеся на нем «полуигрушечными» брюки, где все, как на настоящих, только очень широкие; а рубашка, наоборот, облепляя его грудь, сковывала его круглые плечи и тонкие руки; пятки его как-то особенно стучали об пол...

Вот он шумно вздохнул, мучаясь фальшивой тишиной и одиночеством, привалился к покачивавшемуся буфету. Там что-то задрожало.

Мать Лены негромко засмеялась, наклоняя гладко убранную красивую голову, прищурила глаза. Аля машинально отшатнулась от шторы — вдруг прищур относился к ней?

По легкости шагов Аля поняла, что поднялась женщина. Прошла в следующую комнату с распахнутыми дверями. Она зашумела чем-то и подошла к высокому старому фортепьяно, стоящему в глубине комнаты. Она открыла его крышку.

Свет в эту комнату проникал только узкой полоской — она доходила до самых ножек стула, на который села мать. Время пришло, у нее отогрелись руки, и она стала небрежно наигрывать что-то такое грустное, щемящее. Все это доносилось из темноты, и видны были силуэты вещей и покачивающаяся в такт прекрасная голова женщины.

«Боже. Как же?» — очень членораздельно произнесла Аля из самого своего детского сердца и примолкла, так как Ленин жених отошел от шкафа, встав на ту самую перекладину, что разделяет комнаты. И было видно по всему его нерешительному виду, на его молодую душу действовали эти, и правда, красивые звуки. Он вытянул маленькие ладони из карманов серых брюк и заслушался.

Она продолжала играть, но уже совсем небрежно, и стала оглядываться на него бессмысленными глазами.

Жених отошел к ней в комнату, попа-

дая ногами в скрипучие места в полу. Она бросила играть, убрала руки с инструмента как-то слишком рано.

Аля тут же села на подоконник на мягкие пальто и поглядела на Лену. Та не поворачивалась. Аля взяла ее за локоть и пожала его несколько раз, мол, «не смотри». Лена медленно пошевелилась, повернула лицо. Из глаз у нее катились две черные слезы, оставляя за собой борозды.

Часть 4.

Как Але не повезло — она познакомилась со стариком, умеющим гадать.

Аля шла по улице, зашла в магазин. Она бесцельно стала рассматривать образцы материалов на витрине, только чтобы занять себя. Незаметно шептала: «Вот этот ничего. Да-а, но дорогой...»

Потом глаза ее устали от пестроты, она перевела взгляд на продавщицу и стала незаметно рассматривать ее. Продавщица заметила это и удивленно подняла брови, встав вполоборота, по-королевски.

Аля отвернулась к зеркалу, неудобно прикрепленному прямо к стене. Ей не понравилось в своем отражении все: тени под глазами и под носом (искусственный свет «убивал» ее лицо и бледнил его), ее пыльное узкоплечее пальто, бесформенная сумка.

Она вышла на улицу, сначала пошла в одну сторону и поняла, что ей не надо туда идти. Она вернулась к входу и остановилась, не зная точно, куда же теперь. Она отступила к стене, освобождая путь прохожим. Она расстегнула пальто, часто задышала, беспричинно улыбаясь просто от того, что появился румянец и стало свежо. Она заметила, как неразборчива в своем движении «туда-сюда» толпа, и зрачки ее стали мелко двигаться во все стороны, не останавливаясь ни на чем.

Тут она заметила, что через улицу неторопливо идет старик в клетчатом пиджаке. Она увидела его именно из-за этого пиджака рыже-бежевого цвета, из-за его крупной броской клетки. Волосы у него были белые, а на макушке за их прозрачностью была видна коричневая блестящая кожа головы. Контраст составляли малиновые вислые губы. Он шел равнодушно до тех пор, пока не увидел ее. Он как бы «притормозил» свои шаги и взгляделся в ее бледное слабое лицо.

Аля тут же отвернулась и побежала в ту же самую сторону, в которую она раздумала идти минуту назад.

Бокowym зрением она увидела, как метнулся за ней песочно-клетчатое пятно.

— Старик же он!.. — подумала она, убыстряя бег.

Она так пробежала метров пять; увлеченная скоростью, постепенно забыла, почему так спешит, забыла о старике.

Она вспомнила, что идет не в ту сторону, и повернула назад. И тут она столкнулась с ним. Он уже в упор стал разглядывать ее и что-то стал спрашивать у нее, поднимая свои холодные рыбы глаза.

— Что? Что?.. — спросила она у него.

Он раздельно произнес:

— У вас есть время?

— Время? — делая ударение на этот вопрос, переспросила Аля.

— Ну да, — спокойно ответил он, идя с ней рядом шаг в шаг.

Она подчинилась этому взятому им ритму движения и, наклоня голову, простодушно спросила:

— Время... А что вам надо?

— Да мне действительно сейчас нечего было делать, — говорила Аля, поднимаясь по узкой лестнице вслед за стариком. — Я просто никак не могла решить, в какую же сторону мне пойти.

Старик ничего не говорил, выслушивая ее. Он вел себя, как очень умный старик. И сейчас, пока она не видела его лица, оно у него как-то неприятно сосредоточилось.

Он стал открывать дверь, загораживая собой замок. Аля рассеянно глядела по сторонам и говорила:

— Смотрите, красивый у вас балкон с лестницей!..

Старик пропустил ее вперед в свою квартиру и медленно сказал:

— Вот первая моя просьба ко всем — надевайте безразмерные тапочки.

Аля послушно закивала, пригибаясь к полу, стала стаскивать сапоги.

В комнате было душно, шторы на окнах по обеим сторонам были прибиты к стенам и не пропускали прямого света.

— Не любите яркого света? — учтиво и с пониманием спросила Аля.

— Нет, не люблю, — с величественной осанкой старик вошел в свой полумрак. Он что-то резко раскидал на своем столе и зажег настольную лампу на покачивающейся ножке.

Аля присела боком за стол и облокотилась на него локтем. Она стала рассматривать красивую старинную мебель у стен.

— Я ценю эту квартиру за тишину, — бесстрастно сказал старик, ушел, вернулся, сел на стул напротив.

За окном закаркали вороны, из рам подуло холодом.

— Ну, — равнодушно спросил он, хлопая по столу белой сухой ладонью, — что будете пить? Хотите коньяк?

— Нет,— волнуясь, в сравнении со стариком, ответила Аля,— мне... что-нибудь сладкого...— Она, как бы извиняясь, улыбнулась и положила обе руки на колени, как школьница.

— Сладенького? — оживился старик на секунду, встал и зазвенел бутылками в низком шкафчике.

— Ха! — сказала Аля, когда он налил ей,— вы что, выпивоха, да?

— Я? Никогда этого в жизни не было со мной. Я только угощаю.

Они подняли стопки.

— За что? — спросил старик.

— Ваше здоровье,— ответила Аля. Они выпили. Аля поморщилась, стала вертеть головой, и взгляд ее упал на картину над столом.

— Это что, вы? — растерянно спросила она, увидев на портрете огромного размера изображение старика.

— Да,— сказал он,— портрет мне льстит.

— Да...— протяжно и не очень вежливо согласилась Аля, так как на нем губы не были столь малиновые и бесформенны, как в жизни. Старик там был изображен в костюме, при галстук, сложив ручки на коленях.

— Не надо было вас в галстук, наверно, рисовать...— заметила она.

— Да, вы правы,— покладисто согласился тот.— Этот портрет рисовали семь лет.

Аля сочувственно кивнула.

Они еще выпили.

— Я знаю этого художника,— сказала Аля.— Он что, ваш друг?

— Ну да,— расквашиваясь на стуле, кратко ответил старик.— Очень давнишний.

— Я знаю, у него случилась какая-то трагедия...

— Да, у него пропала жена.

— Как пропала? — Глаза у Али расширились.

— По всему,— горячо заговорил старик,— это очень продуманное исчезновение. Она пропала ближе к сумеркам. Она подгадала специально день его рождения. Она заранее продумала каждую деталь. Что вы думаете!.. А, кстати, в книжке есть ее портрет.— Он подошел к шкафу, достал красивое издание, полистал и протянул, раскрыв посередине.

Это был портрет женщины с круглым лицом, черными волосами и черным нервным взглядом.

— Обычная совсем,— сказала Аля, захлопнув книжку.

— В последнее время, я вам доложу, я с ней разговаривал. Вот я будто говорю, а она и не слышит меня..

— И он что, теперь живет один, ждет ее? — спросила Аля.

— Да что вы. Конечно, не один. Он взрос-

лый человек...

— Ну почему, вот вы же живете один,— сказала Аля.

Старик расхохотался.

— Я? Один? — И он продолжал хохотать, ничего не уточняя.

Аля ссутулилась.

— Я не живу с женой вот уже лет восемнадцать,— сказал он,— но у меня сильное чувство ответственности, понимаете? Я продолжаю о ней просто заботиться.

— А дети у вас есть? — как будто вдруг вспомнив, спросила Аля.

— Да! — восторженно заговорил старик.— Она такая у меня умница. Заведует отделом. Я скажу вам, мне повезло с дочерью!

— Ну, давайте выпьем за вашу дочь,— мрачно сказала Аля. Выпив, она заметила: — Странно мы познакомились...

— Ничего странного. Вы просто отличаетесь от толпы.

— Ничего подобного,— сказала Аля, но больше возражать не стала как бы от усталости. Она наклонила голову и постепенно начала краснеть. Она почувствовала это, еще сильнее застеснялась: схватила обеими руками за щеки и быстро-быстро проговорила, как маленькая,— ах, меня от вашего вина... боже, покраснела!..

Старик еще выпил, не приглашая Алю, и сказал:

— Вот, знаете, вас не назовешь красивой, но есть в вас что-то такое.

— Ой-ой, не говорите, я совсем закраснею,— сияя глазами, воскликнула Аля.

Старик потер руки и стал наклоняться вперед, чуть не падая со стула.

— А вот если вы так быстро краснеете, значит, у вас с сосудами не в порядке, да?

— Как это не в порядке? Я ничего об этом не знаю...— рассеяно сказала Аля.

— А вот дайте вашу руку,— старик еще сильнее съехал со стула, подвинув почти плотную свое белое морщинистое лицо, пахнущее тонким одеколоном.

Аля отстранилась и взамен протянула ему свою ладонь.

Он схватил ее, крепко сжал, всматриваясь в ладонь, как в лицо, тонущее в полумраке комнаты.

— Плохо видно,— заскрипел он стулом.

— Ну? Что там? — не вытерпела Аля.

— Слушайте,— сказал старик страдальчески,— вам действительно себя надо беречь...

— Беречь? — нервно вскрикнула Аля и испуганно отдернула руку.— Зачем?

— Ну, у вас действительно что-то с сосудами...— туманно пояснил он, видя, какое действие производит он своими словами. Он опять потянулся за ее рукой, взял и заговорил, как по написанному.— Ну вот, у

вас на руке написано, что нервы ваши на пределе. А этот ваш предел может дойти до бесконечности, то есть, до трагического. Вас нужно беречь. Вы хорошо спите?

— Да,— покорно ответила Аля.

— Засыпаете быстро?

— Да...

— Вот это-то вам и надо беречь в своей жизни; спокойствие, спокойствие, спокойствие... Вот вы мне ничего не говорите, а ведь по вашей руке написано, что у вас какое-то страшное потрясение.

— Нет никакого потрясения,— сказала Аля, но по ее лицу было понятно, что она обманывает.

— Зря вы не говорите,— сказал старик.

— Ну, а что там еще написано? Сколько продлится моя жизнь? — задала дежурный вопрос Аля.

— Это я вам не буду говорить,— уже совсем напугав ее гадатель.

Аля побледнела, а он и не заметил этого, как будто это был принцип его гаданий — чего-то недоговаривать. Он все вертел ее худую руку, добавляя:

— Ну, вот у вас самая средняя линия жизни. Все среднее... — как бы про себя бубнил он, не находя ничего интересного,— но и это неплохо.— Он поднял на нее глаза.

Она отобрала у него руку. Он спохватился и заговорил, откидываясь на стуле:

— Вот я вам должен говорить комплимент, а я вам сказал правду.

— И что,— с надеждой спросила Аля,— все это сходится? Я что, мало буду жить, и вот вы промолчали об этом?

Старик не понимал таких «детских» вопросов, он рассуждал как-то не по-человечески, не жалостливо, а по-научному. Он думал, что он вправе ответить так:

— Более того, это все всегда сходится, это так и есть! — И он налил в рюмки вина.— Ваш тост!

Аля очень хотела ему сказать: «Дурак». Вид у нее был совершенно беззащитный. Она подняла рюмку прямо к лицу старика и сказала:

— За то, чтобы все, что вы тут мне сказали, оказалось ерундой!

— Ага,— отреагировал старик.

Аля стала подниматься, старик тоже поднялся и суетливо заговорил:

— Щечку, щечку вашу,— и стал тянуться к ней лицом, чтобы поцеловать.— Щечку, щечку,— Аля вдруг схватила рукой за его лицо, чтобы остановить.

— Вы что, пристааете? Да? — спросила она с отвращением, оглядывая линию морщин у его рта.

Она молча одевалась. Старик тоже стал одеваться: он снял с плечиков вешалки белый коротенький плащ, шурша, влез в него.

Аля и старик вышли на улицу, и она побегала от него, даже не прощаясь. Но, кажется, старик был этим доволен. Руки опустились в карманы.

Некрасивым бегом отделившись метров на двадцать, Аля прижала руку к груди, так страшно болело.

В этот вечер Аля не выдержала и сама позвонила сыну.

Он долго не подходил к телефону. Сначала подняла трубку его девушка. Аля бросила трубку. Походила. Еще раз набрала номер. Подошел ее родной сын. Она сразу узнала его.

— Это твоя мама,— сказала она, улыбаясь.— Я так соскучилась по тебе, правда. Она замерла, ожидая, что он ответит.

Он закричал:

— Ну-у-у! Мама! Я тоже!

— Наверно, плохо там тебе без меня. Никто о тебе не заботится...

— Мама! Приходи к нам в гости.

— Нет... Я не могу, это же ее квартира?

— Ну хочешь, ее там не будет, просто придеешь, посмотришь, как мы живем.

Аля молчит, колеблется. Ей очень хочется увидеть сына. Сына это понимает и начинает уговаривать:

— Ну правда, давай, посмотришь... Во сколько?

— Давай в пять часов. Я поеду после работы...

После работы она в метро бежит с большой сумкой. Она очень торопится и боится опоздать. У нее приветливое радостное лицо. Она не обращает внимания на тех, кто толкает ее, не уступает дорогу.

Она прибегает ровно в пять и стоит под электронными часами. Она беспокойно и радостно смотрит по сторонам, готовясь тут же увидеть сына. Она перекладывает из руки в руку тяжелую сумку, потом догадывается поставить ее на пол.

Сердце у нее тарактит. Она вглядывается в народ, который ползет в метро лавиной, из дверей на нее дует ветер. Она пожимает худыми плечами. Она уже в полной растерянности.

Так проходит полчаса. Часы показывают 5-30. Тут она видит сына. Он делает радостное лицо, но она не улыбается ему в ответ.

— Я...— говорит она, перебивая его,— я так! Готовилась к сегодняшнему дню! Я собралась тебе... вам, еды. Я бежала. Я носилась с этой сумкой, а ты, значит, позвал просто так, то есть, ты не ждал,— она отдает ему

в руки сумку. Она просто готова заплакать. Сын не знает, как отвечать. Она отворачивается и уходит.

Он как бы заново видит ее после долгой паузы, какая она у него — в старом уже, коротком черном пальто, в вечных сапогах на толстом каблуке, ее худые локти, белое лицо и острый подбородок в профиль...

Тогда под лампой он начинает разбирать сумку, что она передала ему. Все у нее аккуратно завернуто, видно, она подумала, что, как и куда положить. Всего передала немного: несколько яблок, несколько пирожных...

Часть 5.

Смерть Миши и самые светлые моменты в жизни Али, связанные с ним.

Был один вечерний звонок. Аля подбегала, взяла трубку и сразу же начала плакать, и мать тут же вышла и стала смотреть на нее. В первое мгновение Аля не могла сообразить вообще ничего, а потом она повернулась спиной и стала сухо переспрашивать: «Как туда проехать? Как-как?» — и она стала быстро записывать на бумажке. А когда она, вздыхая, повесила трубку, мать, преграждая ей путь, паническим голосом закричала: «Кто умер!» Аля вздрогнула от такой пронизательности матери, тут же прониклась к ней еще смутной неприязнью. Но, стараясь держать в такой горестный момент и вести себя примерно, кротко ответила, что: «Миша... ты, наверное, поняла, умер Миша».

— Ах,— жалобно вскрикнула старушка и схватилась за шею, и, глядя на нее, у Али опять полились слезы, но матери хотелось подробностей.— Когда? — Мать безжалостно повела себя; она не желала оставлять ее одну, не узнав подробностей.

«Как она может идти за мной?» — мелькнуло у Али, и ей даже показалось, что мать чуть ли не ломает дверь, которую она прикрыла за собой.

— Эгоистка,— сказала мать, проникая за ней в комнату,— я ведь тоже хочу знать.

— А зачем тебе знать? — спросила Аля.

Мать отшатнулась от нее, как настоящая актриса на сцене, и Аля узнала этот ее прием.

Они постояли молча, и, конечно, мать, как бы забывая обиды, начала первой:

— Это кто тебе позвонил, это его брат? Да? — И она, увидев, что Аля кивает, произнесла запальчиво,— ах, какой хороший человек, какой хороший человек!.. Не забыл про нас.

— Да...— сказала Аля и покраснела.

— Когда он умер? — Ее лицо, ее поза с «зажатым» рукой горлом, со сверкающими глазками, выпрямленные брови — все казалось Але игрой и поводом для участия в чем-то интересном.

— Он умер несколько дней назад, и завтра его хоронят.

Аля посмотрела на нее холодно. Села и стала набирать чай-то номер.

— А ты пойдешь? — спросила мать. Аля пожалала плечами, вся сосредоточенная.

— И я тоже пойду,— загораясь, сжимая руки, сказала старушка и стала глядеть перед собой, и глаза ее увлажнились. Она отошла и приготовилась слушать, куда звонила дочь.

— Сынок,— вдруг очень жалобно выговорила Аля в трубку, глубоко и часто задышала — дыхание у нее перехватило,— да! Это я! — она стала словно выжимать из себя,— ты знаешь, твой папа умер...— И тут Аля стала махать-махать рукой в сторону матери, и разрыдалась прямо в трубку. Не переставая плакать, она вскочила. Держа в одной руке телефон, вышла и закрылась в своей комнате.

Старуха ушла к себе несколько не обижаясь. Она, глубоко вздыхая, со скрипом легла в свою «панцирную» провалившуюся кровать. Туфли она сняла, сложив одна на другую, вытянула ноги и свесила с края кровати. Замерла. Потом включила настольную лампу без колпака, горела одна голая лампочка, как в учреждении, бросая резкие тени. Она надела очки, взяла большую конторскую, старую, еще сохранившуюся с прошлых лет, с желтыми листами в клетку, тетрадь. Пролистала ее с бережностью и удовольствием, ища конец записей. Судя по записям, это были стихи — написаны они были аккуратно в столбцы. Она нашла последнее стихотворение с крупно выведенным названием «Пришла весна», со вздохом перечитала его. Следующая страница была пустая. Сверху старушка вывела титульное слово «Мише». Она опять задумалась, вздохнула и поглядела на шкаф: что на нем лежит, прикрытое съехавшей бумагой? Начала писать: Ушел из жизни человек...

Старушка встала рано. Аля уже ушла на работу. Дверь ее комнаты была заперта, мать подергала ее, отошла, набрала по телефону «время» и стала торопливо собираться на похороны.

Ничего особенно черного у нее не было. Пальто даже зеленое с рыжим воротником, чулки одни — темно-рыжеватые, и только на голову она надела сплошночерный короткий платок. Нет, у нее не было тяжести на душе, наоборот, лицо ее

было свежо и благочестиво спокойно. Она хорошо выглядела в этот день.

Она шла с готовностью, бодрым шагом и не хотела опаздывать. Из-под куцега платка торчала голая толстая шея, уже красная от холода. В этот день был мороз и под ногами поскрипывало.

Она сошла с трамвая у кладбища. Трамвай уехал. Она перешла рельсы. За красивой старинной оградой стояла церковь. Бежали, но не успели к трамваю две старухи, маленькие, немного ниже матери, веселые, как две блаженные.

— Бабки! — не удержавшись, крикнула мать. Те с живым интересом и послушно подошли к ней. Вблизи было видно, они что-то жевали. Не дожидаясь вопроса, они сказали, что «мы здесь каждый день!» — заболтали, приветливо и даже не заглядывая в глаза, а так, сами по себе, опустив между колен в длинных юбках мешочки.

Мать прибежала на похороны Миши радостная. Сначала она увидела толпу людей, стала искать глазами знакомых и вдруг увидела мать Миши. Та, скванная, почему-то расстегнутая и без шапки, ходила одна между провожающими. Она развернулась и широкими шагами, твердо ступая на каждую ногу, пошла прямо на Алину мать. Та бросилась к ней, и Мишина мать поглядела на нее отсутствующим взглядом и спросила:

— Ну ты знаешь... Миша... — И потянула ее за рукав вниз. Потом она подняла лицо, поправила висячие волосы со щек и стала разглядывать старуху. — А ты молодец, — сказала она, — хорошо выглядишь.

Алина мать, оставшись одна и прижимая к себе нарядные зеленые ветки, стала оглядывать людей вокруг. Перед ней стояла женщина в хорошей длинной шубе и, будто бы совсем о постороннем, разговаривала с другой богатой одетой женщиной. Потом она вдруг увидела девочку лет тринадцати и стала пристально приглядываться к ней: та очень мерзла, скучала и ходила между памятниками, прижимая руку ко рту и дыша в нее. Потом она облокотилась о дерево, прижала к нему ладонь, тряхнув головой, прыгнула обратно на дорожку и подбежала к женщине в шубе.

Там, дальше, кладбище было совершенно пустое в такой мороз. Аля все еще не приходила, и мать ее так и оставалась стоять одна, как-то бедно и ярко одетая, не привлекая внимания. Все ждали выноса и разговаривали все тише и тише между собой, поворачивая голову к закрытым дверям сторожки, на крыльце которой сидела расстегнутая, лохматая Мишина мама,

и ее кто-то, тепло одетый, полный и застегнутый на все пуговицы, нарочито важно начал уводить куда-то в сторону.

Вдруг дверь открылась и оттуда быстро посыпались мужчины, отскакивая и уступая место чему-то надвигающемуся и плоскому.

— Ты понимаешь, — говорила мать Але уже дома, — ты зря опоздала, да уж, конечно, как он тебя помучал и попался тебе такой в жизни — прямо неудача, но я поглядела на все: жена у него богатая, привезли его в таком хорошем богатом костюме, я даже ахнула, но его пронесли, а вот так бы я его не узнала. Какой же он маленький, лицо все обтянулось...

Аля махнула рукой, чтобы мать замолчала, но та только с жалостью проследила за ее жестом, ее так и распирало, и не могла она молчать; разжигаясь своими воспоминаниями, заговорила, глядя в завески и себе в руки, а на самом деле перед ее глазами вставали картинки похоронного утра.

— Мои еловые ветки пригодились больше всего. Ими накрыли могилу, и так неожиданно хорошо получилось, что даже мать его спасибо еще раз сказала. Она мне говорит, «молодец, что пришла». Я обхватила ее и говорю, что он мне зятем был! Но он, конечно, нагрешил, испортил многим жизнь, иначе бы был жив. Я, Аля, его даже поцеловать не могла, такой он худой, словно и не Миша это! Я только поглядела на него на прощание и не запомнила даже.

Аля встала и вышла, не дослушав. Мать ее есть уже не хотела, она спрятала миску в холодильник, выключила свет и села на кухне в темноте, подперев лицо руками.

Потом она пошла к себе и включила телевизор, легла в свою кровать на высоких железных ножках, которые поблескивали в полутьме, и быстро задремала от усталости.

Аля услышала музыку из комнаты матери, решила переодеться. Открыла створку шкафа, погляделась в зеркало. Лицо ее состояло из одних теней. Она провела пальцем по тени правого глаза.

Она легла спать, заведя часы. Под впечатлением рассказа матери ей снилось «худое, обтянутое, не Мишино лицо» с открытыми глазами. Вот голова с затылка. Потом голова повернулась — у нее было Алино лицо. Оказавшись на месте Миши, она не моргала, не дергала головой, а только покорно поглядывала...

Часть 6.

Это очень важный и правдивый эпизод из Алиной жизни. Этому рассказу надо верить!

Алин голос, очень взволнованный, сочетаясь с изображением сцен, которые она рассказывает:

«Мы с ним познакомились на работе. Мне кто-то сказал, что пришел работать новый врач. Я сидела спиной к окну, писала истории болезней, и от этого сообщения даже отвлеклась и перестала записывать. Вдруг стукнула дверь, я вздрогнула и посмотрела. Я посмотрела на него, он полузашел, поставив одну ногу в наш кабинет, а другой оставаясь в коридоре. Я посмотрела на него и тут же увидела и себя со стороны: как я сижу, ровно выпрямившись, у меня была высокая пышная прическа, и волосы были связаны сзади во что-то такое... Я посмотрела на него, и мне сразу захотелось, чтобы он запомнил мой взгляд и меня, поэтому я посмотрела на него, наверно, черт знает как странно! Не надо мне было так, но ведь все по глупости, а потом я быстро наклонила голову и стала что-то писать, писать и не видеть строк, а видеть, как он стоял в дверях, и какое у него было лицо, и как он отреагировал. А он что-то спросил у врача и ушел.

А потом мы случайно встретились в городе и уже больше не расставались.

Я переехала к нему. В одной комнате жила его мать, в другой — его некрасивый, но добрый брат, а в третьей, средней — поселились мы.

Была зима. Страшный мороз. Он рано утром встал, пошел на работу. Я посмотрела, на батарее лежали толстые стельки из его уже давно старых ботинок. Я их еще вчера положила сушиться. Я испугалась, что он схватит воспаление легких, положила эти стельки в свою сумку, понесла их ему на работу.

Стую в коридоре и не знаю, как отдать. А он смеется, такой худой, глаза серые, блестят, в белой рубашке и в белом халате нараспашку, и тут я ему сую стельки и, как это у меня голос сел, свищу ему шепотом: «Стельки, твои стельки....» Он так рассмеялся.

Когда я жила с ним, я была очень худая. Я вот стою худая у окна, наблюдая за тем, как он собирается на работу. Я уже сама давно собрана, держу в руках пальто; вот он ходит по комнате, сонный, собирает свои носки по полу. Я тяжело вздыхаю и говорю: «Опаздываем», говорю занудным нехорошим тоном. Я подмечаю, что он ходит все время вокруг кровати и так и норовит упасть в нее и никуда не идти.

Я ему — помеха. Меня это очень удивляет. Я прохожу перед самыми его глазами, чтобы помешать ему лечь.

Он морщится. Я говорю ему: «Я отношусь к тебе, как к ребенку, ну по-другому никак не получается. Почему ты такой...»

Я стараюсь себя чем-то отвлечь, открываю одну за другой книжки, которые свалены на трюмо. В одной из них я тогда и нашла свои неоконченные и неотправленные письма к Мише. Все эти отрывочки я писала на нескольких листах бумаги, и они были даже не разорваны между собой. Они лежали свернутые сразу под обложкой книги. Я стала читать их про себя, а потом решила, почему бы не прочесть их ему, ведь они написаны ему. Я стала читать, сама поражаясь их наивности. «Что же за человек мог писать их? Дурочка разве что...» Я спросила:

— Хочешь, я прочту тебе письма к тебе, когда я уезжала?

Он задумался, и по его лицу я поняла, что, конечно, сейчас не время. Я тут же их свернула и поспешила сказать:

— Хотя нет, не надо. Они такие дурацкие, прямо стыдно, пойду выкину.

И тут он испугался за них и оживился, вынул их из моей руки и сказал:

— Нет, нет, не надо, это мои письма.

Я стала их читать вслух, не переставая улыбаться и хихикать:

«Здравствуй, мой Мишенька. Я никак не могу тебе дозвониться и совсем уже соскучилась. Сейчас я опять бегала на почту и звонила тебе, но там никто не подходит, тогда я поговорила с бабушкой, но это неинтересно. Да, я по тебе очень скучаю и тоскую, что ты там один или делаешь что-то не так, плохо ешь или грустишь и, не дай бог, заболел. А сегодня я не спала полночи, был страшный ветер, а мы живем в просторной хорошей комнате на самом берегу. И, представь себе, по крыше кто-то быстро-быстро пробежал, легко, как черт. А потом кто-то шуршал нашими пакетами на веранде под дверью. И мне показалось совершенно явственно, что даже сдвинул крышку с нашей кастрюли с вегетарианским супом, оставшимся с обеда, а потом опять поскакал по крыше, и будто бы их было уже несколько... Еще я услышала, как кто-то скромно, стараясь не шуметь, поднимается к нам по лестнице. И я вдруг поняла, что это ты приехал и ищешь меня, голоден — посмотрел, что в кастрюле. И боишься всех перебудить. Я встала, хотя мне было страшно, отодвинула занавески и долго высматривала тебя, но видела одни только белые поручни на веранде. А когда я легла, то стала очень подробно вспоминать тебя...»

Тут я закрыла свое лицо этим письмом, и, хохоча, стараясь скрыть свое стес-

нение, спросила, уже точно зная, что все равно дальше этот отрывок читать не стану.

— Ну, читать дальше вслух?

— Ну, конечно! — Он сразу проснулся и улыбался ласково.

— Нет, нет, нет, этого я читать не буду.

Я пропустила целый кусок и спросила:

— Могу только прочесть через абзац.

Хочешь?

«А по крыше так кто-то скакал, что проснулись все. Я хочу отметить, что с нами поселилась одна девушка, студентка, и я так этому рада. Она такая смешная, ей 23 года — в данный момент она уехала в город на пароходе покупать фотопленку. Она очень чистая девушка. Ее дед прожил до 96 лет, и к старости у него мерзла голова — он повязывал себе платочек и как-то ушел гулять и поверх него надел еще и кепку. Он умер, но я верю, что...»

— Дальше это письмо обрывается, — сказала я. — Есть другой отрывок.

«Четыре дня были ветры и дожди, теперь началась жара, и я плохо себя чувствую. Лежу в постели. У меня тянет и больно стучит сердце. Здесь мне тоскливо без тебя, я скучаю.

Рядом — гора, на ней пасется коза, очень похожая на нашу кошку. Она мечется туда-сюда и бекает очень тревожно, как человек. Еще есть собака, кошка, худая-худая, рыже-черная и маленькая, но есть наш сыр отказалась, и голос у нее хриплый. Вот сейчас внизу какая-то женщина кашляет совсем как моя мама.

Ветра здесь действительно сильные, дуют в разные стороны...»

— Точка поставлена неясно, письмо оборвано, — я подняла голову.»

Если бы Алю спросили, что бы она хотела повторить в своей жизни, то она тут же начала бы вспоминать один случай в саду. И Миша был молодой с веселым добрым лицом, в просторных брюках и в широкой белой рубашке, которая болталась на его прямых плечах. А Аля была наряжена в белое батистовое платье по шиколотки. Ее светлые волосы мелко вились. Она шла чуть впереди.

Он шел за ней, покорно опустив голову и считая ее шаги.

Так они вышли в сад на узкую песчаную дорожку. Сияло солнце. На каждом дереве пели птицы.

Они быстрыми шагами достигли самой середины сада.

Это был настоящий цветущий сад. И на самой его середине Аля резко остановилась и достала из широкого кармана своего платья горсть зерна. И громко стала сзывать к себе птиц. Все они замолчали на

своих ветках и присмотрелись. Аля кинула горсть зерна себе в рот, и птицы стали слетаться прямо к ее прекрасному запрокинутому лицу и выхватывать корм с ее губ. И ведь надо было уметь так ловко их кормить, чтобы они не расклевали лицо. Наконец их собралось столько, что уже нельзя было и подойти к ней. Остались видны только ее ступни и подол широкого платья.

Тонкий голос Али за кадром, вместе с изображением сцен, о которых она рассказывает:

«Я иду с занятий. Я жила в таком месте, что никому со мной не было по пути. И никто со мной заранее не договаривался, как с другими, подождать друг друга. Поневоле я даже была одинокой.

Я плелась из школы одна. Идти было недалеко, и я не торопилась. А когда уже смеркалось, то мне надоело, я, чтобы подогнать саму себя, вслух говорила:

— Что же ты идешь еле-еле? Тебя же ждет попугай! Да-да, — тут же отвечала я сама себе. — Я именно к нему и спешу, потому что он сидит совсем один в своей клетке, — так я сама себя заряжала и бежала домой.

Дома никого еще не было. Тихо. Запах. Свет везде выключен, темно. Комнату нашу едва «освещает» незашторенное окно.

Уроков я не делала. Я все слонялась, слонялась по квартире.

На кухне я клеила «золотинки» от конфет и проверяла, все ли целы. Их накопление на стене меня очень занимало. Каждая новая бумажка вызывала во мне восторг.

После осмотра стены я садилась на пол и перебирала из ящика уже сто раз пересмотренные свои старые детские книжки, тонкие, все в картинках. Помню, пол был пыльный. А я включала радио и ложилась спиной на него и под музыку говорила: «Я умерла». И лежала с закрытыми глазами, вытянув лицо, представляя себя умершей.

После слушала какую-нибудь радиопостановку... Подходила к зеркалу, к окну.

Чтобы не заниматься уроками, я придумывала всякие развлечения для себя. И вот что открылось во мне...

Я брала в руки свой набитый учебниками портфель. Прижимала его крепко к груди и начинала раскручиваться вокруг себя с огромной скоростью. Я достигала того, что меня начинало кружить по всей комнате, и постепенно ноги мои отрывались от пола, уже не в силах справляться со скоростью. Я со свистом вращалась вокруг люстры, боялась задеть ее или врезаться в стену, так как носило меня по

большим и по малым кругам. Мне оставалось только увертываться, но иногда я больно ударялась плечом о стену и вскрикивала.

Летела я по комнате, на улице же боялась упасть — то есть мне даже самой не верилось, что могу удержаться в воздухе. Поэтому я не рисковала. А когда дух совсем перехватывало и, чувствуя, что скоро придут мать и отец, я выпускала портфель. Резко легчало — менялась моя линия кружения. Я сбивалась и падала на пол или на кровать.

Сейчас мне все продолжает казаться, что если я попытаюсь порепетировать, и если мне предоставить комнату побольше, то я смогу сделать все в точности, настолько я ясно и до каждой мельчайшей подробности помню мои «кружения по потолку».

Часть 7.

Когда Аля решает пробудить совесть у своей подруги Елены, и из этого ничего не получается.

Аля пошла в гости к Лене. Как раз Ленин жених во дворе выгуливал собачку, когда Аля пробегала мимо него. Он приветливо позвал:

— О! Здравствуйте! — Хотя совсем не был представлен Але. Та остановилась, переминаясь с ноги на ногу. — Вы к нам? — Улыбась, спросил этот человек, снимая с руки варежку.

— Да, — сказала Аля.

— Угу-угу, — энергично подхватил жених, который, видно, уже перестал быть им. Он вытянул голую руку по направлению к подъезду, — проходите, проходите, я еще поброжу.

— Хорошо, побродите, — согласилась Аля.

Лена открыла ей двери. Аля тут же спросила:

— У вас что, есть собачка?

Лена нахмурилась, сняла с нее пальто: — А что?

Они сели в кухне. Аля простодушно начала:

— Лена! Я пришла узнать у тебя про это... дело! Как ты? — И она, уже заранее сочувствуя, подалась к ней. — Ты ведь не звонила.

Та вся встрепенулась и резко перешла с низкого голоса на совсем тонкий.

— Ты что, не знаешь, ведь мать моя пропала, — в лице ее напряглося.

— Что ты говоришь? — печально, невпопад воскликнула Аля и вдруг испугалась, — как пропала?

— Ее уже ищут, нас всех вызывали. Но она, и мне не больно об этом говорить, была блудливая дама, ушла как-то и не вернулась. Может, она так захотела.

— И что же? — Аля ничего не поняла.

Подруга ее сморщилась и сказала:

— Давай не будем об этом говорить.

Она поднялась. Аля увидела, что на подруге юбка ее матери, которую она видела будучи за занавеской. Лена сняла чайник, заварила заварку. Аля стала гадать, что еще на ней надето нового: вот она стала разглядывать руку — на пальце новое кольцо.

— Ты как-то не вовремя, — сказала Лена.

— Но она хоть что-нибудь оставила, хоть записку, — не унималась Аля.

— Нет.

— Ты знаешь, есть такие люди, они по фотографиям определяют, что с человеком случилось.

— В каком смысле?

— Ну, стоит ли искать его. Ты понимаешь, надо же что-то предпринимать! Что ты на меня смотришь?

Лена застыла многозначительно с дымящейся чашкой.

— Как это произошло? Я должна знать. Я же твоя подруга, — заговорила Аля. — Несчастный случай, да?

— Да, несчастный случай, всего скорее, — промямлила Лена и резко встала.

Дверь треснула в прихожей, и сначала в кухню вбежала собачка, а уже за ней румяный жених. Он скромно потер руки и спросил:

— Чаек? — Тут он огляделся, что-то сообразил. Тихо ступая, он вымыл руки на кухне, взял из шкафа самую большую чашку, налил себе покрепче чаю, стал собирать со стола в блюдечко что-нибудь вкусного: печенье, конфеты. Наконец, составив порцию для себя и разогнувшись, он учтиво, по-светски сказал:

— Да что ж вы не едите, не пьете, — и закивал и заулыбался.

Лицо Лены смягчилось; жених, продолжая кланяться и кивать, попятился. Чашка его прозвенела где-то в коридоре — он ушел пить чай куда-то в комнаты.

Лена залпом выпила чай, желая показать, что чаепитие и «прием» окончен.

Она проследила, как Аля надевала свои заляпаные в грязи баретки в коридоре. Опять Аля была одета кое-как: под пальто она подкладывала подстежку из клетчатой материи.

— Она ж совсем не греет, — не удержалась Лена.

— Нет. Здорово греет, — Аля посмотрела на спокойное и строгое лицо подруги.

Аля накинула на голову шарф и, не застегиваясь, подгоняемая Лениным недовольным видом, вышла на лестницу. Там, между этажами, поставив сумку на подоконник, она потеплее запахла, глядя, какая за окном разыгралась метель.

Аля пришла домой, мать с ней не поздоровалась, хотя специально вышла из своей комнаты и прошла зачем-то в кухню.

Аля закрывалась у себя в комнате. Она легла, запустив руки в волосы. Вот прошаркала мать мимо ее двери. Полная тишина.

На улице уже стало темно, прежде чем Аля встала, зажгла лампу и при ее тусклом освещении стала рыться у себя в ящиках. Она выложила коробочки с красками. В некоторых краски были уже так стары, что совсем рассохлись, не выдавливались, а только крошились из тюбиков.

Под кроватью она нашла довольно большой ватманский лист, разрежала его пополам.

Она все разложила у себя на полированном столе, зажгла верхнюю лампу. Низко наклоняясь, перегораживая себе свет своей же головой, она стала выводить черным жирным карандашом чье-то лицо.

Работа над портретом протекала у нее совсем непрофессионально и непонятно: она все время тяжело вздыхала, что-то припоминая, далеко откидываясь на стуле от нарисованного, сильно щурилась, закрывала глаза, опять как бы что-то припоминая.

Потом она стала раскрашивать лицо — лицо ужасное, страшное, дикое и в то же время с каким-то несчастным воспаленным взглядом, который совсем случайно получился у Али «не сводящим глаз» с любого места, откуда бы на него ни смотрели. Лицо принадлежало женщине, все больше и больше похожей на Ленину пропавшую мать. Вот Аля стала ставить ей по всему лицу едва заметные красные точки, утопающие в белизне бледного лица.

Аля вскочила, стала расхаживать по комнате, соображая что-то. Потом выбежала в коридор, взяла баллон с распылителем и стала брызгать им на лицо нарисованной. Распылитель засыхал в белый прозрачный налет — точки стали совсем неразличимы. Потом она стала рисовать ей волосы, но не такие приглаженные, как видела в жизни, а разделенные на какие-то слипшиеся пряди, одна падала на лоб, пересекая вздернутую бровь.

Потом она нарисовала разноцветный тяжелый фон. Бросила, страшно вдруг устав. — Бедная ты, бедная, — сказала Аля своей нарисованной. Она дорисовала ей обтягивающее платье синего цвета, одну руку, и

опять стала разговаривать с ней: — Можно ли иметь совесть, так взять и забыть тебя. И не мучиться. И знаешь, прогуливать собачку с веселым видом, — Аля обращалась с ней на ты, ничуть не страшась ее ненавидящего взгляда, а видя только в этом свое отношение к происшедшему. — Как они смеют не помнить. И это все так странно, что с тобой произошло. И мне так жалко тебя, хотя ты была не права, когда так поступала. — Аля вздохнула. Прилегла на кровать и стала оттуда обращаться к картине. — Я хочу, чтобы они не забывали, понимаешь. А что я в силах сделать? Просто они теперь будут смотреть на тебя, и у них не хватит сил, чтобы снять тебя. А глядя на тебя такую, нельзя не содрогаться. Вот так. Это я по себе сужу, хотя они — другие люди... если они выгуливают собачек, и у них на лицах все нормально... не понимаю, — заключила она и задремала...

Уже наступил рассвет, когда какой-то шорох вдруг помешал ей спать, Аля открыла глаза.

Над самой головой, глядя ей прямо в глаза своим страшным реальным взглядом, висела Картинная Женщина. У нее не хватало одной недорисованной руки — смотрела она с укоризной. Ее как будто шевелили проходившие по комнате струи воздуха, но она каждый раз зависала снова над головой Али. И она чуть ли не дышала ей в лицо, ожидая полного Алиного пробуждения.

Она неожиданно соскочила с потолка, касаясь его чуть ли не спиной, и Аля увидела ее удаляющейся к окну. Спина ее была измазана в побелке — это виделось на ярко-синем платье. И она сильно болтала недорисованным обручком руки, словно он ей не принадлежал. Вот она остановилась у окна, повернувшись плоским профилем, и растворилась...

Аля встала. Пошла умылась. Она слышала, как на улице лопатой уже кто-то разгребал снег. Еще совсем рано. Она села и стала дорисовывать руку у портрета.

Оставив его сохнуть, она стала одеваться. Все то же, оставленное с вечера на кресле: старый свитер, который еще мог послужить, как считала Аля, шерстяные чулки.

Она подошла к столу, взглядевываясь в портрет, взяла лист, стряхнула налипший распылитель. Завернула его в бумагу, не сворачивая в рулон.

По раннему снегу она пришла в дом к своей подруге, неся портрет двумя пальцами, как пластину (настолько он был легкий).

Она позвонила в дверь. Ей не сразу открыла Лена. От нее пахло постелью.

— Ты что? — спросила она опять, как ребенка.

Аля посмотрела на нее, глубоко задумавшись: отдавать ей картину или не отдавать.

— Я тебе принесла подарок,— сказала она значительным тоном. И сама прошла в комнату.— На, повесь его на стенку. Только при мне, чтобы я увидела.

Вышел заспанный Ленин жених, опять гулко шлепая об пол пятками.

— Что вы так громко ступаете? — весело спросила его Аля.— Не отбивается ничего? Он учтиво pokrивился.

— Ничего,— сказал. Прошел в ванную, пустил воду.

Лена взяла у нее картину, развернула и стала разглядывать.

— Что это за кошмар? — Наконец выдавила она.

— Ну что ты! Это не кошмар. Это моя картина, бери-бери.

— Да...— протянула Лена.— Вряд ли она мне понадобится...

— Ее вешают на стену. Как она еще по-другому может понадобиться? — с ненавистью ответила Аля, но не уходила.— Повесь, повесь,— зашептала она, не зная, как еще можно подействовать на заторможенную Елену. Та растерялась. Аля зашла к ней в комнату и наивно показала пальцем:

— Вот сюда,— целя прямо над кроватью.— Как раз очень пусто.

— Аля,— вдруг мрачно позвала ее подруга.— Ты что, а? Я тебя сейчас затрясу, я...— И она потянулась к ней, чтобы схватить за отворот пальто. Шурша оберточной бумагой, Аля отступила. И на всякий случай загородилась острым локтем.

— Ты что, ударить хочешь? — спросила она и с вызовом и как-то беззащитно. Ее детское лицо стало совсем некрасивым, как у старушки.

Лена равнодушно помолчала, ответила:

— Нет, что ты, не хочу.

Они опять помолчали, слушая, как плещется жених.

— Ну ладно,— сдержанно сказала Аля. Глаза ее блеснули.— Я пошла. Мы, верно, с тобой больше не увидимся...

— Тьфу-тьфу-тьфу,— сказала Лена.

— Вот в чем дело,— продолжала свое Аля.

— Главное жить. И чтоб все было спокойно,— сказала Лена житейским тоном.

— До свиданья,— сказала Аля, хотя ей полагалось сказать «прощай», но она постеснялась произнести такие высокие слова в этом доме. Они были бы бессмысленны и смешны. Поэтому Аля лишь официально кивнула, сама открыла замок и вышла на морозную лестничную клетку.

От одного взгляда на картину становилось жутко. Лена откинула ее, испачкав красками пододеяльник.

Ночью Лена проснулась. Как будто кто веткой стучал в овальное окно. Она привсталала на локте. Поднялась в ночной рубашке. Стучали в крайнее узкое полукруглое окно. Лена побоялась подходить к нему близко. Прижав голые полные локти к талии, чтобы сохранить в себе постельное тепло, она встала в трех шагах от окна. Она отпрянула, так и не поняв сразу, что же это такое: будто бы там кто-то стоял, будто бы стоял на коленях. Она даже признала, что колени эти молодые, круглые, женские. И закричала. Отлетела на расстояние от подоконника и опять поглядела — но больше ничего там не виделось.

С женихом они даже решились и растворили окно. Подул холодный, мокрый ветер — была оттепель. Черная пустая площадь под окном. Прокричала ворона. «Давай закроем»,— сказала Лена, отталкивая плечом жениха.

Они опять легли, тесно прижавшись друг к другу. «Завтра пойду в церковь,— сказала Елена, облегченно вздыхая от этого решения.— Надо только выкроить время и узнать, когда пускают, а то я ничего не знаю. Это, говорят, очень помогает. Все спокойно».

Часть 8.

Совершенно будничная. Встреча с Галей.

Галя работала в подвале на складе при большом магазине. Она сидела в узкой комнате и пересматривала поступившие в продажу ботинки. Она еле могла выйти из-за стола, заваленного коробками с обувью. Она наклонялась, подбирала очередную упаковку, разглядывала ее со всех сторон и что-то заносила в ведомость из прозрачной бумаги.

Галя сидела в шапочке и аккуратном полулатнике. Над головой свисала голая слабая лампочка, освещающая все бумаги на столе плоским светом. За шкафом с документацией, прилипшей даже к стеклам, сидела ее напарница, тоже женщина немолодая с ярко подрисованными губами. Она прислушивалась, работает ли Галя.

Галя трудолюбиво шуршала за шкафом, а когда она смолкла и загремела стулом, та крикнула ей нетерпеливо:

— Встаешь?

Галя появилась из-за шкафа и сказала: — Приду сейчас.

— А ты куда? — спросила ее напарница.

— Ну мне надо наверх,— уклончиво ответила Галя, не позволявшая себе обижать людей, не обращая внимания на их вопросы.

Она стала подниматься по узкой каменной лестнице, которая переходила в цементное помещение, заставленное коробками. Здесь она и увидела Алю.

— Ой,— обрадовалась Галя.— Ты ко мне наконец-то пожаловала! Какая ты моло-

дец, — похвалила она ее. — Что ты не на работе?

— Да я заболела что-то... — пожаловалась Аля. Она вся ссугулилась, следуя за подругой.

Галя начала заветную для нее тему:

— Ну, ты ходишь?

— Куда? — сначала не поняла Галя.

— В церковь ходишь? — спросила она.

— А-а-а-а... Почти не хожу, — сказала правду Аля, потому что еще ни разу не была на службе после крещения, — времени не хватает. Надо ехать в центр, далеко. Я и так устаю... — Она виновато замолчала. — Ты знаешь, я не чувствую, чтобы мне это как-то помогло или что-то изменилось. Может, он, — сказала она многозначительно о Галином боге, — что-то еще от меня хочет?

— Надо, надо ходить, вот что.

Они прислушались — за шкафом разда-лось:

— Опять завела, о гос-с-споди... — И на-парница с насмешливым лицом вышла из комнаты, из самых лучших побуждений — не мешать.

— Вот видишь, какие люди, — с досадой сказала Галя. — Грубые, невнимательные, злые, но они так несчастны, и их нельзя осуждать. Работа у нее трудная, зарплата маленькая, и потом у нее нет того, что есть у меня...

Аля взялась за голову:

— Так все болит. Я, наверное, точно заболела...

Галя погладила ее по руке и спохватилась:

— А тебе ничего не надо купить? Может, халатик какой или купальник, пойдем посмотрим...

— Спасибо, — благодарно сказала Аля. — Зачем мне купальник?

Галя вынула из сумки отпечатанную бумажку. — Это святое письмо, бережет от злого.

Аля порылась у себя, не зная, что же подарить крестной — подарила кусок мыла в красивой обертке.

Галя стала ее провожать — они поднимались по лестнице вверх, когда она притиснула ее к стене и начала горячо рассказывать:

— А ты знаешь, я была в Прибалтике. Там мы жили в одном монастыре. Мы туда приходим, встречает нас женщина несказанной красоты. Вся в черном, добрая, накормила нас. Мы поели и сразу же пошли им помогать работать на огородах. И так хорошо там, так покойно! — восклицала она, поднимая свое белое лицо. — Воздух чистый! Потом мы пили чай с их вареньем, разговаривали. Лица у всех поразительно красивые. А девушка, что была со мной, тоже очень красивая, хочет идти в монахини и готовится. Тебе и не описать, какая это была счастливая поездка.

— Да ты что, — только и смогла отреаги-

ровать Аля, смутно представляя себе монастырские огороды и холодный чистый воздух. Она поднялась еще на две ступеньки и вдруг спросила:

— Господи, где же мой сын теперь?

Часть 9.

День рождения Али.

В этот день она позвала Анрика, мать и Галю.

Она накрыла вместе с матерью стол белой скатертью. Мать сказала, пробуя двумя пальцами на ощупь скатерть:

— Не надо бы новую. Для такого идиота, как Анрик этот. — Она знала, что Аля не послушается, но все-таки не удержалась и высказалась.

Мать заранее была настроена враждебно к Анрику. Враждебность ее возросла, когда она увидела, что он будет пользоваться чистой скатертью, и еще сильнее возросла, когда он появился первым. И ей надо было им заниматься, так как Аля переодевалась.

Анрик пришел, все тот же, самоуверенный и нагловатый. Не обращая особенного внимания на мать, он встал у зеркала, расчесался и, не обращая ни к кому конкретно, спросил:

— А где же именинница?

— А где же ваш подарок? — спросила враждебно мать. Он снял пальто и, похлопывая себя по карманам, с удивлением уставил на мать.

— Подарок? — переспросил он.

— Да. Подарок, — ответила бабка.

Он достал из сеточки тонкий букетик, подарил его старухе и, огибая ее, прошел в ярко освещенную комнату с серебриющимися бокалами на четыре персоны на столе. Она пошла за ним. Одет он был совсем непарадно, а как обычно: в тесных брюках, в пиджаке и темной рубашке. Бабка тяжело вздохнула, начала:

— А что же вы, Анри Возгенович, никак не женитесь?

— Да кому я нужен! — весело откликнулся он, забрасывая одну ногу на другую. — Вот вам я нужен? — глупо и самодовольно улыбаясь, как бы «пошутил» он.

— Мне? — Бабка пожала плечами. — А мне-то вы на что? У меня муж покойный есть. А вот сколько женщин одиноких, — завела она нравоучительно и настырно. — Вот будете вы болеть в старости. И нечего вам будет даже укусить в доме... в смысле еды. Один-одинешенек будете. Выть научитесь, — с радостью закончила она.

— Ну ты как, развлекла гостя? — спросила Аля, внося на подносе пирог. Она была одета в голубое платье, все в оборках, улыбалась. Старательно поставила на стол блюдо. Анрик

недовольно дернул ногой. Вынул из оттопыренного кармана дутую из синего стекла пепельницу. Поставил ее на стол:

— Для гостей будет.

— Ха-ха-ха,— засмеялась Аля, крутя в руках подарок.

Когда все собрались, Галя предложила: — Может, погасим свет.

Они погасили свет, зажгли несколько свечек. У старушки выделялись щеки и здоровый нос, глазки сильно блестели и лицо все было напряжено. Анрикова пошлая наружность попала целиком в тень, его выпуклые глаза были полуприкрыты, а на тонких губах играла ухмылка. Галя сидела, подавшись вперед и выпрямив спину, как ученица. Одна ее сухая маленькая рука держала вилку с наколотым хлебом, другая обхватывала коленку в шерстяной юбке. Аля себя плохо чувствовала, дышала ртом и все улыбалась каждому, стараясь сделать вечер веселым.

— Ну что, давайте шампанского? — спросила она, оглянувшись на мать.

— Мне немножко,— закричала та.

— А можно мне не ухаживать сегодня за Алей? — спросил Анрик, играя роль разбитного друга, своего человека. Он вытер рот салфеткой, а руки стал как бы демонстративно вытирать о край скатерти. Аля сделала вид, что не заметила. Мать ее зорко и с ненавистью впиалась взглядом в глупого Анрика, тот налил себе фужер и сказал:

— А давайте выпьем... я тут узнал о таком несчастье... давайте за Михаила,— он встал, все подняли головы.— Я его не знал,— начал нравоучительно Анрик,— но видел однажды. Очень приятный человек, хоть Аля с ним и рассталась. Очень его жалко!

Все с неловкостью встали. Тяжело вздыхая — никто не мог возразить, Аля помрачнела.

Одна свеча треснула, пламя ее наклонилось и погасло. Алино лицо ушло в темноту, и Анрик сказал:

— Не вижу, не вижу твоего лица!

— Ну и хорошо,— отозвалась она.

Анрик пропустил это мимо ушей и продолжал:

— Я видел его когда... прошлой зимой. Он приходил в этот дом как славный и добрый друг. Вначале он ко мне отнесся невнимательно, но потом рассказывал столько историй. Очень жалко его.

— Не могу, не могу это слушать,— заговорила Аля.

Анрик обескураженно остановился и поставил фужер на стол.

Мать провожала Анрика в коридоре. Тот уже надел шапку, когда она доложила ему:

— Вы знаете, Анри Возгенович, я ваш подарок сразу хотела потихоньку засунуть вам обратно — в рукав пальто, чтоб вы больше не дарили таких пепельниц.

Анрик ничего не отвечал, трусливо оглядываясь. На прощанье они зачем-то пожали друг другу руки.

Последние сцены из жизни Али, болезнь и угасание.

Алина болезнь обострилась, и ее положили в больницу...

Не включая свет, экономя электроэнергию, в полутьме ее мамаша собирала свертки в сумочку. Алина комната с распахнутой дверью уже не привлекала ее своей запретностью и потеряла всякий интерес. В дочеринном холодильнике все завяло, но мать боялась пока это выкидывать, надеясь, что, возвратившись, дочь поймет, что мать ничем не пользовалась. В этом она видела свою заслугу и независимость. Еще мать сохраняла чистоту во всех комнатах, чтобы, опять же, дочь похвалила ее. И вот сейчас, увидя какой-то сор на полу, она не поленилась, а подняла его, положила себе в карман с тем, чтобы выбросить на улице.

Мать Али накинула пальто и вышла из дома на белый снег. Сапоги скрипели. Она ровно дышала, раздумянилась. Никого она теперь так не любила, как свою дочь,— заходя на территорию больницы и продвигаясь, боясь поскользнуться, между серыми корпусами. Она неожиданно для себя заплакала, но очень быстро вытерла слезу и вошла в нужный корпус, сбивая снег с каблуков.

Она уже всех здесь знала. Не скрывая, что только что плакала, кивнула гардеробщице и даже специально перед ней еще раз вытерла уже вытертую слезу. Та сочувствующе покачала ей головой и издали спросила:

— Ну как?

Старушка подошла к ней и пожаловалась: — Ну что, гонит меня, не велит приходиться, грубит. Но что поделаешь, надо терпеть.

— Да,— согласилась гардеробщица, принимая у нее пальто.

Мать перед зеркалом надела темный платочек, громко высморкалась, натерев до красноты крупный нос, и, жалостливо поглядывая на каждого, кто бы ни шел ей навстречу, стала подниматься на второй этаж.

Она встретила санитарку. Та уже ее знала. Бабка сунула ей что-то завернутое в фольгу:

— Здесь четыре сосиски, перекусишь,— сказала она. Старая санитарка не обижалась такому дару. Она закивала и деловито спрятала сверток под халат.

Мать постучалась к Але. Она лежала в огромной, заставленной множеством других кроватей, на которых лежали и болели другие

женщины, палате. Алина кровать стояла у стены, головой к окну. Больница была на окраине, в окнах виднелось шоссе и серый лес из поломанных сухих деревьев. Аля не поднималась с подушки. Мать села на стул, шурша принесенной в свертках едой.

— Мне кто-нибудь звонил? — спросила Аля, морщась на темный «театральный» плащечек матери.

— Нет, нет, никто, — кротко отозвалась мать, стараясь ее не раздражать. — Вот тебе пюре с котлетками.

— Да я не хочу, — сказала Аля.

— Как не хочешь, съешь, — настырно проговорила старуха, как истинная мать.

— Да невкусно ты готовишь, — сказала Аля.

— А где ж денег на вкусное взять? — отозвалась мать.

Аля отвернулась.

— Какая же ты дурная, — сказала она.

— Как ты ко мне относишься, — укоризненно протянула мать, — неблагодарная, э-эх! — Она все свернула и стала копаться в ее тумбочке.

— Вот тут, понимаешь, есть совсем безнадежные больные, — сказала Аля, ей уже было не важно, с кем делиться, — и знаешь, что они все переживают напоследок? Они итоги какие-то подводят, жалеют о каких-то целях, планах. Моя же жизнь — сплошная нелепица. Я в ней не могу разобраться. Я же не живу, я существую, вот что. Я слабею с каждым днем, мама! И мне очень жаль тебя, старуху. Как ты одна? И какой смысл всего? То есть я его не могу уловить.

Старуха с жалостью поправила ей одеяло в ногах.

— У меня такая апатия, — сказала Аля. — Но ночью мне стали снится платья, которые я хотела бы приобрести. То, как я иду по солнечной улице, на тонких высоких каблучках, и вся обтянутая красивым черным платьем. То я на каком-то приеме и у меня в руках бокал с чем-то вкусным, и я в длинном платье до полу, а плечи и спина открыты. И столько вариаций! — Аля улыбается. — Ну, ты прости, если что не так, — сказала Аля.

— Я сейчас приду, — мать увидела проходящего врача.

— Нет, не приходи, я хочу одна полежать.

Старуха ушла, как бы уступив свое место Алиному сыну. Тот пришел румяный с улицы. Она схватила его руку и попросила:

— Скажи ей, пусть она больше не приходит. Она мучает меня! — Аля отвернулась к стене.

Сын нахмурился.

— Она позорит меня, носит какие-то сверточки санитаркам. Мне стыдно, — Аля поглядела ему прямо в глаза.

— Хорошо, я скажу, — не выдержал сын.

— Вот у меня не получается, а надо быть сильным, сильным, сильным, — вдруг заметила Аля.

В коридоре мать догнала крупную женщину-врача. Та, отдавая на ходу приказания другим врачам, остановилась:

— Ну, мы ее переведем в другую, отдельную палату, — сказала она безразличным тоном. Заранее скорбящий вид матери не внушал ей доверия, и она не вступала с ней в откровенные разговоры.

— Очень жалко мне одну женщину, — говорила та же самая врач у себя дома, сидя за круглым столом. Здесь у нее было тепло, кипел чайник. — Очень жалко мне эту женщину, — врач закурила, держа крупную руку у усталого прищуренного глаза.

— Какую женщину? — спросил муж, сидевший на лавке напротив. Она равнодушно поглядела на него и заговорила:

— Что... женщину одну жалко, лежит у меня. Аня, нет, Аля... Ладно, я стала какой-то равнодушной теперь, когда умирают старые, черт с ними, но она, молодая такая, приятная, на нее обращаю внимание.

— А что такое? — Посерьезнев, спросил муж. Она так же в тон ответила ему:

— Я не могла ее никуда пристроить... в хорошее место, у них нет свободных мест. Ты же знаешь! А что мы... у нас ее не вылечим. Там надо одно, другое делать, пройдет время. Будет поздно. И так уже катастрофически много прошло времени.

— Ну что, умрет?

Врачиха только молча покачала головой: «месяц-два...»

— А что, — с большим сомнением начал муж, — где-то ее, думаешь, спасли бы?

— Да. Могли бы, — она раздражалась на его попытки оправдать ее вопросами, вставленными в ее честный, по крайней мере, рассказ.

Так была поставлена окончательная, официальная, но сказанная в домашнем доступном тоне, точка в маленькой несчастной жизни Али К. И мы уже не узнаем продолжений всех оборванных немногочисленных ее связей.

И все дальнейшие описания, к сожалению, не могут ни изменить, ни остановить событий — они бессильны, бесполезны, их можно опустить.

Аля лежала уже в отдельной узкой палате. Матери, на Алину муку, позволили постоянно

находиться при больной. Для нее поставили специальный мягкий стул, на котором и сидела старуха.

Але все мерещилось, что перед ней сидит не мать, а Лена и что-то ест из стеклянной литровой банки (такая у нее была привычка — всюду носить за собой банку с едой). Але спрашивает у нее:

— Ну что, вкусно? — И видит, Лена вздрагивает.

Вздрагивает мать и низко наклоняется к ней, вглядываясь в худое лицо. Але спрашивает у нее:

— Мне никто с работы не звонил? Вот откуда мне никто не звонил еще!

Але начинает водить рукой по воздуху перед собой, словно прочищая для себя воздух, чтобы лучше разглядеть. Мать хватается за руку, прижимает к постели, потому что от этого жеста ей становится жутко.

Але чувствует теплую полную руку матери, пожимает ее. Пожимает несколько раз, хочет подняться, но только в груди у нее от этого что-то напрягается и шумит.

И тут у Али появилось такое ощущение, будто она лежит в теплой ванне, откуда только что была выпущена вода. И все вокруг приятно белое. Она слышит шум труб, такой приятный домашний звук, по которому она так соскучилась. И она для удобства поворачивает голову, смотрит в ослепительную

стену ванны и видит, что стена не плоская, а с углублениями, белая и сверкающая. И она начинает сливаться с ней, становится чем-то однородным, потому что чувствует, что уже больше ничего не шевелится у нее в сердце, оно не стучит. Все замерло, как при вздохе. И только где-то с краю уходящая жизнь показывает ей черный сумеречный кусок палаты, от которого ее всю передергивает...

Вошла ночная дежурная сестра. Она важно отворила дверь, неторопливо вошла, поглядывая, когда же повернется к ней широкая спина Алиной матери. Но та была глуховата и не могла слышать чужих шагов. Сестра, не теряя достоинства, обошла стул и первым делом обратилась к старухе:

— Ну что? Спит?

— Пожала мне несколько раз руку,— спокойно сообщила мать,— значит, попрощалась и умерла.

— Как? — закричала сестра.— Что ж вы не позвали?!

Мать значительно поглядела на нее, поправила черный платочек, пожалала плечами и сказала:

— А зачем?



Роза
ХУСНУТДИНОВА

НЕ ПЕРЕВОДЯ ДЫХАНИЯ

На картине была изображена молодая женщина в богатой одежде, с тюрбаном на голове, скачущая на тонконогом жеребце. За ней следовала группа всадников. Вокруг простирался пустынный пейзаж. Лицо женщины выражало волю, решимость, целеустремленность.

- «Мать Чингиз-хана», Рерих!
- Да это сама Дина!
- Предводительница!

Так переговаривались три женщины: две из них сидели на тахте, покрытой паласом, третья стояла у стены, к которой были прислонены картины в деревянных рамах. Женщинам было от 40 до 45 лет. Хозяйку квартиры звали Дина, она была одета в длинное свободное платье, на голове у нее был повязан шелковый платок. Вторая женщина — армянка, ее звали Нунош. Она была одета в черную кожаную юбку и широкую темно-синюю блузу, ее черные, спадающие на плечи волосы были вздыблены надо лбом. Третья — элегантно одетая женщина с коротко стриженными пепельными волосами, с бледным лицом и огромными синими глазами. Ее звали Лиля.

Дина (*решительно*). Это прекрасно, но... может, пока выпьем чаю? (*Уходит на кухню.*)

В наступившей тишине Нунош и Лиля переглядываются: из соседней комнаты явственно раздается чей-то храп.

Когда Дина возвращается с подносом, на котором расставлены пиалки с чаем и блюдце с изюмом, Нунош с лукавством спрашивает, кивнув в сторону соседней комнаты:

- Это кто там у тебя?
- Дина прикрывает дверь.

— Родственник. Летит из Приморья в Уфу. Сказал, задержка рейса. Вижу в первый раз. Кажется, он мой троюродный брат.

Нунош (*всплеснув руками*). Когда это кончится? Им же нет конца! Сколько у тебя этих двоюродных, троюродных?

Дина. Двоюродных — двадцать шесть, недавно считали.

Нунош. А где Гузель?

Дина. Сидит в библиотеке целыми днями!..

Лиля (*подходит к телефону, звонит*). Петя, я буду дома через час. Папа не звонил? Ну, хорошо! Не скучай, маленький, почитай что-нибудь... (*Вешает трубку, берет сумочку, начинает одеваться.*) Мне пора! Я еще обещала к Варваре Петровне забежать, она очень сдала после смерти мужа... Картинки твои — прелесть! Смело можешь выставлять!..

Лиля целует Дину и Нунош, выходит за дверь. Нунош поднимает с полу еще одну картину, разглядывает ее.

Нунош. Хорошая улочка! Где ты ее увидела?

Дина. Не помню уж... может, и не видела вовсе...

Нунош (*задумчиво*). Да. Иногда человек и не был где-то, а ему кажется, что был... Наша бабушка все свои платья перекраивала наново, и почему-то получался национальный голландский костюм!.. Почему! Никто не знал... (*Помолчал.*) Брумбер все звонит?

Дина. Звонит.

Нунош. Ну и что?

Дина. Каждый раз всерьез доказывает, что ему необходимо жениться на восточной женщине. «Мне надо быть спокойным за свой семейный очаг!»

Нунуш. Знаешь, я вчера ездила к своим и узнала, что мой бывший, ну, Женя, — заболел. И помчалась к нему!

Дина. Домой?

Нунуш. Домой. Каждый раз, когда я его вижу, сержусь задним числом и на себя, и на него, не могу примириться с этим характером.

Дина. С кем он сейчас?

Нунуш (*махнет рукой, с досадой*). Всегда это что-то случайное!..

Дина. Не надо тебе туда ездить, ты только расстраиваешься.

Нунуш. Нет, почему же! Мы всегда радуемся друг другу, мы родные, что бы ни было!

Дина. Тогда, может, не надо было расставаться?

Нунуш. Что ты! Долго с ним — невозможно! Ну ладно, все! Мне тоже пора домой! Если бы нам жить поближе друг к другу! Нечеловеческая жизнь! Я даже подумываю, а не купить ли мне мотоцикл? (*Смеется.*) Представляешь, подъезжаю к издательству на красном мотоцикле!

Подруги целуются, прощаются. Нунуш уходит.

Лиля с набитыми сумками в руках выходит из лифта старого дома на широкую лестничную площадку, звонит в дверь.

Ей открывает женщина лет 80, одетая тщательно, с аккуратной прической, с сигаретой в зубах.

Лиля (*целует ее*). Варвара Петровна! Вы же обещали не курить!

Варвара Петровна. Что делать, милая! Когда работаю — забываюсь!

Лиля вносит сумки в комнату, обставленную мебелью начала века, с круглым столом, с абажуром над столом. На стенах комнаты — картины, фотографии в деревянных рамках. В углу, на тумбочке, — включенный телевизор, на столе, поверх скатерти, — исписанные листки бумаги, газеты, яблоки в вазе, недопитая чашка чая.

Лиля (*выкладывая из сумки продукты*). Курица. Масло. Сыр. Фарш. И «Новый мир».

Варвара Петровна. Спасибо, милая. Но фарш больше не покупай. Мы с Иваном Александровичем всегда покупали мясо только на рынке. Дешевле обходилось. По крайней мере, меньше тратились на лекарства.

Лиля (*покосившись на исписанные листки на столе*). Как вам работается?

Варвара Петровна (*возбужденно*). Целую главу сегодня накатала! Про то, как Иван Александрович впервые встретился с Вересаевым... Ты смотрела вчера телемост между нашими женщинами и американскими? Ну, не знаю, где только нашли таких наших! Нервные, дерганые! Орут как на базаре! Надо все-таки владеть собой! Ну, я потом выключила телевизор, села работать.

Варвара Петровна подходит к столу, перебирает бумаги, высыпает из картонки пожелтевшие фотографии, показывает Лиле.

— Видишь, какая я была! Это в Ленинграде, это в Крыму, в Ялте, а это вот — в Ташкенте. Я, Иван Александрович и твой отец...

На фотографии сняты двое мужчин в довоенных широких плащах и шляпах и ослепительно улыбающаяся женщина с короткой стрижкой, в платье с галстучком.

Лиля (*разглядывает фотографию*). У меня такой нет... Дадите переснять?

Варвара Петровна. Ради бога! Это мы возле домика, где нас поселили. В районе Чиланзара! С нами жили еще две узбекские семьи. Теснота была — страшная, зато пойдём в гости к твоему отцу, он жил тогда у Алайского базара, в кабинете — стол красного дерева, вдоль стен — книжные полки, чувствуешь: мы в Москве! Угощал, правда, тоже лепешками и зеленым чаем, зато какие разговоры! Ваня всегда говорил: «Илья Вениаминович — энциклопедист!» И красавец какой был! А что случилось с его библиотекой, Лилечка? Какая была библиотека!

Лиля. Папа подарил ее Ташкентскому университету!

Звонит телефон. Варвара Петровна берет трубку.

— Алло? Маечка? Да, милая! Да, пишу! Про Дзигу Вертова! И про Маяковского! Ну, все, что помню, Маечка! А в чем дело? Я буду писать свое, ты — свое! Не беспокойся, не совпадем! Мы с тобой по-разному смотрели на жизнь, да-да, дорогая!

Варвара Петровна вешает трубку, качает головой.

— Странная какая Майка! Лилечка, сейчас я угощу тебя кофе...

— Не могу, Варвара Петровна! Мне пора!

— Сколько я тебе должна? За продукты?

— Ну что вы, Варвара Петровна!

— На иждивение еще не перешла! Тружусь! И пенсию свою получаю! — Варвара Петровна грозно сдвинула брови и сунула деньги в Лилину сумочку. — Вечером позвони!

В вагоне метро едет домой Нунуш. Обращает внимание на сидящую напротив молодую женщину с красивым, но несколько ожесточенным лицом. Рядом с женщиной в коляске — малыш. Малыш хнычет, пытается обратить на себя внимание матери, но та сосредоточенно смотрит перед собой.

Нунуш (*дружелюбно, обращаясь к женщине*). Что-то ему здесь не нравится!

Женщина, мельком взглянув на нее и на малыша, продолжает сидеть все так же безучастно и отчужденно.

Ребенок начинает плакать.

Нунуш (*не выдерживает, мягко*). Да возьмите же его на руки!

Женщина отворачивается от ребенка, от Нунуш, смотрит в сторону. На остановке поднимается и катит коляску к выходу с такой силой, что ребенок испуганно хватается за края коляски.

Нунуш, улыбаясь ребенку, выходит вслед за женщиной и, придержав ее за локоть, говорит:

— Дайте я вам помогу!

Женщина, остановившись, поворачивается к Нунуш и говорит раздельно, четко, с жесткой интонацией:

— Отстаньте, не ваш ребенок! — И быстро уходит, с яростью двигая впереди себя коляску с малышом.

Нунуш смотрит ей вслед, беспомощно вздыхает и, дождавшись следующего поезда, входит в вагон, едет дальше.

Нунуш открывает ключом дверь и входит в свою квартиру. Это — две небольшие комнаты, кухня и коридор, заставленные баулами, сумками, корзинами, чемоданами, стопками книг, обувью всевозможных видов, игрушками, но во всем этом есть, что называется, «художественный беспорядок».

Посреди большой комнаты сидит брат Нунуш — Ашат, лет 40. Он сидит, опустив голову, в глубокой задумчивости. Услышав стук открываемой двери, поднимается, идет навстречу Нунуш, целует ее.

Нунуш (*обрадованно*). Бужончик! Что-нибудь случилось?

Брат. Все хорошо.

Нунуш (*раздеваясь*). Мама как?

Брат. Ругает Амбарцумяна, сдает новую книгу, устраивает на работу Жору, спасает Арама — все как всегда!

Нунуш. А папа?

Брат. Простудился. Сегодня уже встает.

Нунуш. Ты по делам приехал?

Брат. Да.

Нунуш (*заправляет пледом тахту, поднимает с пола куртку, рубашку, ботинки*). Есть хочешь?

Уходят оба на кухню.

Нунуш, несколько прибравшись в комнате, садится на тахту, ставит перед собой на табурет пишущую машинку, достает отпечатанные листки бумаги, прочитывает их, задумывается, продолжает печатать.

В дверь нетерпеливо, часто-часто звонят, потом ее открывают ключом и входит подросток лет 12, с бело-розовым лицом, с блестящими каштановыми кудрями и сияющими голубыми глазами. Это сын Нунуш — Ага. Он с порога швыряет портфель в угол комнаты и кричит:

— Победа! Четверка по истории! Хочу есть! Хочу курицу! Хочу две курицы! Бу-

жон! — бросается Ашату на шею. — Я достал новую монетку! Остров Кука! Ни у кого нет!

Нунуш стягивает с сына куртку и говорит: — Руки черные! Морда грязная! Кто это тебя исцарапал?

Заталкивает сына в ванную, спрашивает встревоженно:

— Кто тебя бил?

— Никто. Кто меня может бить?!

Слышится плеск воды.

Нунуш на кухне подходит к брату и говорит:

— Покажи, что привез!

Брат вытирает руки полотенцем, идет в комнату и, раскрыв чемоданчик, достает папку с рисунками. Показывает рисунки сестре.

Нунуш разглядывает рисунки.

— Вот этот — замечательный! Пиши: «Собственность сестры»!

Лиля открывает ключом дверь и входит в свою квартиру из двух комнат, кухни и коридора, заставленных книжными полками, увешанных всевозможными рисунками, в том числе, детскими, гравюрами, репродукциями картин. В коридоре, возле книжной полки, на полу сидит мальчик лет восьми — Петя, читает стопку отпечатанных на пишущей машинке листочков. Увидев входящую Лилю, радостно восклицает:

— Мама!

— Значит, сегодня ты не пошел в школу, потому что у тебя заболело горло? — строго говорит Лиля. — Но ты сидишь на полу! Горло полоскал?

— Да!

— Сколько раз?

— Один.

— А я — сколько сказала? Через каждый час! Марш в постель! Сейчас согрею тебе молока.

Петя, забирая с собой отпечатанные листки, залезает под одеяло.

— Мама, а что такое «век-волкодав»? Я тут нашел: «Мне на плечи кидается век-волкодав»...

— Это стихи замечательного поэта Осипа Мандельштама! — отвечает Лиля из кухни.

Она вытаскивает из холодильника курицу, наливает в кастрюлю воду, разогревает молоко. Выливает горячее молоко в кружку, несет сыну.

— Пей!

Петя (*отпив глоток*). Mam, когда я вхожу в класс, мне тоже кажется, что на меня сейчаскинется какой-нибудь волкодав!

Лиля. Не выдумывай!

Петя (*отпив еще глоток*). Mam, а сколько я еще не буду ходить в школу?

— Пока не поправишься!

— Mam, а можно я буду делать уроки дома,

а в школу пойду только в конце четверти, чтобы мне отметки поставили?

— Нельзя!..

Входную дверь открывают ключом, и в квартиру входит человек 47 лет, крупный, большоголовый, с сосредоточенным выражением лица.

— Папа! — радостно вскакивает Петя с кровати, но тут же умолкает, увидев, что Юрий Борисович, сняв шляпу и пальто, коротко поздоровавшись с женой и сыном, проходит в соседнюю комнату и прикрывает за собой дверь. Через несколько секунд оттуда доносятся звуки фортепиано. Пьеса Шумана.

— Мам, можно я пойду к папе?

— Нет. Папа хочет побыть один! — шепотом говорит Лиля и, обняв Петю, прибавляет: — В воскресенье пойдем гулять все вместе!

Квартира Нунош. Она сидит на тахте, покрытой пледом, печатает на машинке. В другом углу комнаты, за маленьким столом, сидят Ашат и Ага, делают уроки.

Ага (*переписывая из учебника задачу*). Бужон, когда ты научишь меня водить машину?

Бужон (*листая журнал «Декоративно-прикладное искусство», заглядывает в тетрадку и хлопает его по шее*). Пиши нормальными буквами! Что за иероглифы?

Ага. Так интереснее! Когда ты научишь меня водить машину?

Бужон (*снова возвращается к журналу*). Когда приедешь в Ереван!

Ага. Тогда поехали в Ереван!

— Сейчас?

— Конечно, сейчас!

— Собирайся!

Звонит телефон.

Нунош подходит, рассеянно спрашивает: — Да? — Тут же лицо ее озаряется радостной улыбкой. — Через полчаса? Хорошо! Еду!

Опускает трубку, идет к платяному шкафу, вынимает оттуда нарядное платье с белым воротничком.

Бужон (*удивленно*). Уходишь?

Нунош. Концерт Филадельфийского оркестра!

Бужон. Тебе же завтра сдавать рукопись! Опять ночью будешь сидеть?

Нунош (*весело*). Конечно!

Накидывает на голову шаль, хватая сумочку и выбегает из квартиры.

Зал филармонии. Только что кончилось первое отделение концерта. Публика выходит из зала. На сцене — стулья и попугаи с нотами. Где-то ряду в десятом сидят Нунош

и человек лет 50, с умным насмешливым лицом.

Нунош (*тихо*). Удивительно! Я уже не надеялась, что на свете есть такие люди, как ты!..

Мужчина (*улыбнувшись, слегка смущенный*). Ну, брось, брось...

Нунош (*меняя тон*). Ну, как там у тебя на работе?

Мужчина (*сразу хмурясь*). Ох, о чем-нибудь другим давай, а?

Звонит звонок. Публика снова заполняет зал.

Лиля, лежа на тахте, смотрит вверх одеяла на мужа, сидящего за письменным столом. Юрий Борисович перелистывает тетрадь с пожелтевшими страницами.

Лиля (*шепотом*). Юра, ты был в институте? Юрий Борисович (*обернувшись, секунду смотрит на нее, потом отворачивается*). Был...

Лиля (*осторожно*). Какие-нибудь неприятности?..

Юрий Борисович (*медленно, не глядя на Лилю*). Нет, никаких особенных неприятностей нет... Наоборот!

Он опускает иголку на пластинку проигрывателя. Звучит еле слышно музыка.

Лиля (*не выдержав*). Юра, что происходит? Я не понимаю! Ведь все уже позади! Тебе вернули лабораторию! Ты можешь делать все, что хочешь! Откуда такая мрачность?

Юрий Борисович (*потирает крутой лоб пальцами, как бы разглаживая его, и говорит с усилием*). Как ты не понимаешь, Лиля! Ведь те семь лет, что я не работал в институте, пока я вычитывал чужие диссертации, переводил с иностранного ненужные мне статьи, наука не стояла на месте... Возможно, я отстал!

Лиля (*страстно, убежденно*). Ты был лучшим специалистом в своем институте! Об этом знают все!

Юрий Борисович (*помолчав*). И потом... вокруг меня — те же люди, которые закрывали лабораторию. Они пожимают мне руки, поздравляют с возвращением... Но ведь именно они голосовали тогда за закрытие темы... Я не могу смотреть им в глаза... А они — могут! Вот что меня удивляет! Как будто ничего и не было!

Лиля. Начнешь работать, и все это станет неважным!

Юрий Борисович (*пожимая плечами*). Может быть...

Ночь. В квартире Дины погашен свет. Плевмянница Гузель, девушка лет 25, спит на диване в большой комнате. В соседней ком-

нате, поменьше, рядом с письменным столом спит на тахте Дина.

Вдруг во сне она начинает стонать.

...Ей видится яркий южный полдень в чужой стране. Из окна отеля виден сад. Перед самым окном стоит экзотическое дерево с разлапистыми листьями. На ветке раскачивается желтая птичка, верещит пронзительным голосом. На подоконник из сада прилетает огромная лиловая бабочка.

В дверь комнаты стучат, и входит человек в белом костюме, в золотых очках, с пробором в русых волосах. Он говорит, обращаясь к Дине:

— Я из посольства. Как вы себя чувствуете? Хотите воды? Вам уже сказали? Ваш муж... Выпейте еще воды!.. Не вставайте!.. Я, собственно, хотел узнать... В связи с этим несчастьем... Вы продолжите поездку? Или вылетите в Москву? Билет на самолет... куда брать?

Дина видит, как из ванной, из окна, из всех щелей в комнату ползут откуда-то ящерицы, змеи, лягушки, какие-то неведомые пресмыкающиеся... Крики птицы в саду становятся все пронзительнее...

Дина закрывает уши ладонями и говорит:

— В Москву!

...Дина просыпается. У ее постели стоит встревоженная племянница Гузель в ночной рубашке.

— Ты так кричишь!

Дина (*слабо улыбнувшись*). Больше не буду!..

Утро. Кабинет редакции, где работает Лиля. За тремя столами сидят сотрудницы, читают рукописи.

Перед столом Лили сидит, развалившись, модно одетый бородач с румяным моложавым лицом, лет 50, с вкрадчивыми манерами. Он говорит Лиле:

— Косыночка на вас прелестная! Ну, а что вы мне скажете хорошенького?

Лилия (*перелистывая папку с рисунками*). Я уже вам сказала, Вадим Петрович, ваш материал принят. Заполните бланк! (*Протягивает ему листок*).

Бородач (*начинает заполнять листок, потом вскидывает голову*). А что вы лично мне скажете хорошенького? Лично вы! Лично мне!

Лилия (*сухо*). Лично мне сказать вам нечего!

Бородач (*вздыхнув*). А может, нам выпить по чашке чая? Или — кофе? Как тут у вас самовар — работает?

Лилия. Работает. Но включать не буду.

Бородач (*протягивая руку и трогает кольцо на пальце Лили*). Какое прелестное кольцо! От мужа? От поклонника?

Лилия (*отдернув руку*). Вадим Петрович, вы мне мешаете!

Бородач (*вздыхнув, поднимается*). Ну что ж, тогда прощаюсь! Но надежды не теряю!

Художник, попрощавшись со всеми, уходит.

Одна из сотрудниц (*покачивая головой*). Говорят, он с третьей женой разводится!

Вторая сотрудница. С пятой! Но Главный к нему благоволит!

Первая. Потому что сам такой же! Одного поля ягоды!

Лилия (*подходит к телефону, набирает номер*). Юра, ты дома? Пойдете с Петей гулять? Надень ему шарф! Пока! (*Вешает трубку, задумчиво смотрит в окно на несметную толпу, движущуюся вдоль улицы*).

Первая сотрудница (*покачивая головой*). Лилия, ну нельзя же так! Ты звонишь домой через каждые полчаса! Что с ними может случиться?

Лилия (*убежденно*). Все! Абсолютно все!

Кабинет одного из центральных книжных издательств. Перед редактором сидит Дина и маститый писатель лет 70, прекрасно одетый, с большим чувством собственного достоинства. Редактор, человек лет 40, с лицом боксера, одетый в модный белый свитер и джинсы, говорит, хмурясь:

— Видите ли, в ближайших два года вряд ли удастся опубликовать эту книжку! Тут живые поэты борются за место в плане... А уж — кого нет...

Маститый писатель (*запальчиво*). Но это настоящий поэт! Очень одаренный! Очень талантливый! Я настаиваю! Вы обещали! Еще два года назад! Когда мы с Диночкой принесли вам эту рукопись...

Редактор (*снисходительно улыбувшись горячности Маститого*). Мы вас очень уважаем! И понимаем ваши чувства! Но, поймите, наши планы перегружены! Кстати, вы в курсе? Мы с вами вместе летим в Йемен!.. Делегация советских поэтов!

Маститый (*в приятном удивлении*). Мне ничего не сообщали!

Редактор (*кивая*). Летим, летим! Это уже решено! (*Встает, протягивает руку*.) Ну, до свидания! До встречи! Буду стараться, но ничего не обещаю!

На улице.

Маститый (*поддерживая за локоть Дину*). Сами видите, какие они бюрократы! (*Остановившись, глядяваясь в нее*.) А вы все такая же! Прелестно выглядите! Обедали? Я еще не обедал... страшно голоден! Может, зайти пообедать к литераторам?

Дина. Может, все-таки в Союз писателей обратиться? Ведь они должны быть заинтересованы!..

Маститый (*вздыхнув*). Да! Все так сложно!
Ну так как, пойдём обедать?

Дина. Спасибо, нет...

Маститый. Ну, тогда до свидания! Звоните, Диночка! (*И легкой юношеской походкой писатель направляется к ожидающей его машине.*)

Нунуш, в пальто и вязаной шали, стоит в коридоре школы, разговаривает с учительницей.

Учительница. Как вы это объясните? Пришел на урок с птичкой и выпустил ее в классе! Во время урока! Закричал: смотрите, это чудо природы! Он у вас со сдвигом, честное слово!

Нунуш (*пытаясь говорить мягко, улыбаясь*). Но это действительно красивая птичка — японский амадин! Мы ее купили на птичьем рынке!

Учительница (*неодобрительно смотрит на нее*). С дисциплиной у него — ужасно! Может посреди урока встать и выйти из класса!.. Может, ему в ереванской школе это разрешалось, у нас — не разрешается!

Нунуш (*мягко*). Я обязательно поговорю с ним! Но, по-моему, с ребятами он уже ладит, да?

Учительница (*убежденно*). Вы его балуете! Откуда, например, у него золотая монета?

Нунуш. Ну что вы, она совсем не золотая! Из латуни!

Учительница. А он сказал, из золота!

Нунуш. Ну, он пошутил, так просто сказал!..

Учительница. Вот-вот, у него все так просто!.. И потом... Чего только у него нет! И марки, и монетки, и игрушки!.. Конечно, если у вас такие средства...

Нунуш. При чем тут средства? Я сама такая же, как мой сын! Если я вижу что-нибудь интересное и в эту минуту у меня есть деньги, я покупаю!

Учительница (*качает головой*). Уроков он совершенно не делает!

Нунуш. Ну что вы! Я сама с ним делаю уроки! Почти каждый день!

Учительница. По математике, видимо, поставят двойку за четверть!

Нунуш (*беспечно*). Что же делать!.. Вчера по телевизору показывали Шаталова, вы видели?

Учительница. Шаталова! У нас — обычная школа! Извините, мне надо на урок! И, пожалуйста, ходите на родительские собрания! (*Поворачивается, уходит.*)

Нунуш (*весело смотрит ей вслед*). И не подумаю!

Нунуш входит в свою квартиру, сбрасывает пальто, проходит на кухню, ставит в кастрюле воду, вынимает из холодильника

курицу. Проходит в комнату, садится за пишущую машинку, начинает печатать.

Звонит телефон.

Нунуш (*подходит*). Да. Здравствуйте, Константин Петрович! Спасибо, все в порядке! Мама? Тоже хорошо. Когда? Хорошо, передам! (*Вешает трубку, садится печатать.*)

Снова телефонный звонок, теперь между-городный.

Нунуш (*поднимает трубку*). Мама? (*Дальше разговор идет на армянском языке. Потом снова по-русски.*) Ушел по делам. Вечером позвоним! (*Вешает трубку, продолжает печатать.*)

Снова звонит телефон.

Нунуш (*берет трубку*). Дина? Да, родненький! Нет, сегодня не могу, вечером должна зайти к Ашхен, она ждет. Передай Хелле от меня привет! (*Вешает трубку, садится снова печатать.*)

Один из выставочных павильонов Союза художников. В приемной, возле девушки-секретаря, стоит Дина, прислонив к столу завернутые в бумагу картины.

Девушка (*кончив записывать*). Развешивать будем завтра.

Дина прощается. Идет к выходу. Мимо нее к столу девушки-секретаря проносят свои картины еще двое художников.

Дина, выходя, слышит, как один из них возмущенно говорит секретарше:

— Что значит «три картины»! Я привез десять! Их можно смотреть только вместе! Что значит «таковы правила»?

Секретарша. Что вы тут все права качаете?

Шум и перебранка усиливаются.

Дина выходит из дверей павильона и на ступеньках встречает художника Шавката.

Шавкат. Дина! Как я рад тебя видеть! У меня прямо было предчувствие. Видел сегодня во сне свою бабушку из Уфы. Ну, как ты? Принесла работы?

Дина кивает.

Шавкат. Давно пора! Здорова?

Дина опять кивает.

Шавкат (*посмотрев вокруг, на каменную набережную, на новые высотные дома*). Какие страшные дома понастроили здесь, в самом центре Москвы! В них есть что-то враждебное человеку... Хочу уехать в Азию... Пригласили на весну... Вот, после выставки и поеду... Там есть один домик в горах... Поживу, напишу! Ну, рад был тебя видеть! Встретимся на выставке!

Шавкат, попрощавшись, уходит в здание выставочного павильона.

Дина ловит такси, уезжает.

Нунуш и Лиля с сумками в руках входят со стороны Кутузовского проспекта в арку дома.

Поднимаются по лестнице на четвертый этаж.

Нунуш. Дина к Хелле поехала, а я позвала тебя, потому что боюсь одна. Не знаешь ведь, что увидишь! Все-таки девяносто лет! Она же умирала, уже совсем на ладан дышала... И тут нашлась эта нянька! За двести рублей в месяц! *(Звонит в дверь.)* Она ее просто воскресила!

Им открывает опрятно одетая женщина лет 55, в светлом платье, в белом фартучке.

— Как хорошо, что пришли! Ашхен Абгаровна так вас ждала! Ашхен Абгаровна, смотрите, кто к вам пришел!

Лиля и Нунуш входят в прихожую некогда прекрасной, но сейчас несколько обветшалой квартиры, обставленной старинной мебелью. Проходят по натертому паркету в большую комнату, где в кресле, накрытом белым чехлом, сидит старая армянка, аккуратно причесанная, с подвитыми волосами, в атласном халате, смотрит телевизор.

— Катя, кто там? А, это ты, Нунушка! И ты, Лилечка! Здравствуйте, милые! Проходите!

Нунуш *(поцеловав ее, говорит весело)*. Ашхеночка, ты прекрасно выглядишь! Профессор, как тебе идет твоя сиреневая прядка! Какая же ты у нас молодчина! Я горжусь тобой!

Ашхен *(оглядев их с ног до головы, говорит безапелляционно)*. А вы, девочки, плохо выглядите! Бледные! А ты, Лилечка, особенно! Нет, вы только посмотрите на эту курицу! *(Показывает на экран телевизора.)* Изображает из себя английскую леди! Что это за актрисы! Что за походка? Неужели у нас из двухсот шестидесяти миллионов нет ни одной актрисы, которая могла бы ходить прямо, не сутулиться? Катя, поставьте, пожалуйста, чай! Пить будем в столовой! *(Величественным жестом показывает на овальный стол.)*

Лиля разглядывает картины на стенах, статуэтки, японские вазы, старинную лампу. На одной из стен зияет светлый прямоугольник — видимо, здесь недавно висела картина.

Лиля вопросительно смотрит на Нунуш. Нунуш. Ашхеночка, а куда девался Кончаловский?

Ашхен *(махнув рукой)*. А-а, приходится продавать все понемножку!

Входит Катя с подносом, на котором расставлено угощение. Сервирует стол во второй комнате.

Ашхен. Идемте пить чай.

Катя помогает Ашхен перейти в столовую.

Ашхен *(раскладывая салфетку на столе)*. А как вам Набоков, «Защита Лужина»? Помоему, замечательная вещь! Я получила такое удовольствие!

Лиля и Нунуш переглядываются.

Ашхен. А как вам интервью с Маргарет

Тэтчер? «Чашечка кофе на завтрак и стаканчик соку!»

Нунуш. Ашхеночка, я не видела это интервью, но она мне не нравится!

Ашхен *(удивленно)*. Как же вы живете? Ничего не читаете, ничего не смотрите!

Дина останавливает такси на окраине Москвы, возле парка, у двух высотных башен. Это — дом для престарелых. Дина идет по луговой тропинке, входит в ограду дома.

Идет по гладкому линолеуму длинного коридора, останавливается возле комнаты, на которой табличка с именем и фамилией. Стучится, входит.

В комнате, обставленной не только стандартной мебелью, — есть здесь вещи, привезенные, видно, и из бывшего дома — у окна, в кресле, сидит женщина лет 75, с коротко стриженными белыми волосами, с резкими чертами некогда прекрасного лица. Под глазами — темные тени. Она поворачивает голову, слабая улыбка появляется на ее лице. — Диночка!

Дина подходит, целует ее, протягивает букетик цветов, вынимает из сумки апельсины, яблоки, банку соленых огурцов, пачку овсяного печенья.

Дина. Сейчас мы с вами устроим пир! Хотите, сначала выпьем соку?

В дверь стучат, и в комнату входит старушка лет 80, с кротким улыбающимся лицом. — Хелла, идemте обедать!

Хелла *(махнет рукой)*. Сориночка, не могу, у меня гостья!

Сорина *(улыбается, щурится)*. А кто это? Не вижу!..

Хелла. Это Дина... Дина!

Дина. Здравствуйте, Сориночка!

Сорина. Диночка, здравствуйте! А вы знаете, что она совсем не ест! Не ходит ни на обед, ни на ужин, просто не знаю, что с ней делать.

Хелла. Сориночка, не ябедничайте! Идите лучше обедать с нами!

Дина. Хеллочка, а может, принести обед из столовой сюда?

Хелла. Да не буду я есть эти овсяные супы! Открой мне лучше банку с солеными огурцами! И ветчину!

Сорина. Ну, приятного вам аппетита! *(Выходит.)*

Хелла *(выпивая сок из бокала, кивает на дверь)*. Добрейшее создание! Она мне очень помогает! Но — идеалистка, каких свет не видел. Все ей нравится, все замечательно! Сестры — чудо! Врачи приветливые! Еда прекрасная! Вид из окна — изумительный! Хотя она его и не видит, совсем слепая!

Дина *(подходя к окну)*. Но вид, действительно, чудесный!

Хелла. Вид-то, может, и чудесный! И пансионат ведь считается привилегированным!..

Но если знаешь, что на кухне воруют, что медсестры спят, когда ты их зовешь ночью, что врачи абсолютно равнодушны к твоей судьбе, вид из окна не спасает...

Дина. А как вы вызываете нянечку или сестру?

Хелла. Надо дернуть вот за этот шнур... Но ты попробуй, дерни!

Дина пытается оттянуть шнурок вниз, но это ей не удается, «сигнализация» не срабатывает.

Хелла (*машет рукой*). Оставь! Не в этом дело! Что расстраивает, так это... (*Кивает на рукопись, лежащую на письменном столе*.) Я вот читаю Сориночке свои воспоминания, начиная с тридцати седьмого года, с того времени, как я приехала в Союз, так она всплескивает руками и говорит: «Какой ужас! Этого не могло быть!» Не верит! Если не верит моя ровесница, то как поверят молодые? (*Вздыхнув*.) Ну, конечно, все равно надо писать, все до конца, все, как было, как у кого сложилось после реабилитации... Вот, получила от Хавы письмо, пишет, что мается со своей хозяйкой, в деревянном доме, где надо топить дровами... Не подала в свое время нужных документов и осталась без квартиры, без средств... Нам хоть пенсию назначили, хоть квартиры дали...

Дина (*перебирает на столе конверты*). А от кого еще письма?

Хелла. Эрик с Ниной написали из Ленинграда: будут проездом в Москве, обещали зайти... (*Смотрит на Дину*.) Ну, а как твои дела?

Дина. Взяли несколько картин на выставку... Скоро откроется.

Хелла. Ну, а как с Сашиной книжкой? Дина. Пока неясно!..

Хелла (*горестно*). Сколько смертей перевидала, но эта — самая несправедливая! Лучше бы я умерла!

Дина, отвернувшись, смотрит в окно.

Хелла. А помнишь, как вы меня сюда перевозили? Три года назад! Он на руках меня сюда внес! Подошел к окну и закричал: «Какая красота! Какой лес! Мы с вами в этом лесу будем встречаться! Я вам назначаю свидание в этом лесу!»

Дина не отвечает, стоит неподвижно, глядя в окно.

Хелла (*трет пальцами виски*). Голова очень тяжелая! Снотворные дают какие-то слабенские... Скажи Галке, пусть принесет мне чего-нибудь покрепче! Совсем не сплю! Книгу ведь дописать надо! А если не спишь, то и работать не можешь...

Дина. А может, ко мне поедете, Хелла? Поживете у меня недельку, другую.

Хелла. Да у тебя, небось, полно родственников?

Дина. Сейчас — только племянница!

Хелла (*покачивая головой*). Не надо! Не надо себя баловать! Надо сказать себе — это мой дом! И — привыкать к нему! (*Декламирует на немецком языке*.)

Я ничего не вижу впереди.

Лишь смерть ко мне протягивает длани,

Но змеи безрассудных упований
Еще живут и мечутся в груди...

Хелла. Это стихи Мейергофера, австрийского поэта, я его когда-то очень любила.

Дина выходит из здания, идет по тропинке, оборачивается, ищет Хеллу в окне дома. Видит где-то наверху ее лицо, бледное пятно в темном прямоугольнике окна. Дина прощально машет рукой, идет к остановке.

Метро. В полутемном вагоне едет домой Дина. Напротив нее мужчина читает книгу, две женщины едут с закрытыми глазами — так устали. Дина тоже закрывает глаза. Видит...

...Серое асфальтовое шоссе меж заснеженных полей. По шоссе едет микроавтобус. В нем — Дина, две пожилые женщины и четверо мужчин. И — прикрытый одеялом гроб, в котором везут мужа Дины, Сашу. Мать Саши сидит у изголовья, неподвижно глядя перед собой. Ей — лет 60. Сашина тетя, Августа Васильевна, с крупным грубоватым лицом, в шали, лет 55, сидит рядом с сестрой, протяжно вздыхает, приговаривая: «Ах ты, господи! За что же, господи!»

Все остальные в машине молчат.

Машина проезжает мимо указателя деревни. Снова поля. Потом впереди возникает указатель деревни «Шопша». Деревянные избы по краям дороги, центр с разрушенной церковью, без креста. Универмаг из бетона, продовольственный магазин. У остановки автобуса стоят несколько человек.

Августа Васильевна (*встрепенувшись, говорит водителю*). Остановите, пожалуйста, на минуточку!

Водитель останавливает машину.

Августа Васильевна (*обращаясь к сидящим возле гроба мужчинам*). Ребята, снимите-ка крышку!

Мужчины снимают крышку гроба, становится виден Саша, с охапкой цветов на груди. Мать Саши снова начинает плакать.

Августа Васильевна (*в расстегнутом пальто, в шали выходит из машины и останавливает мужчину, пересекающего дорогу*). Пантелеев! Никита! Здравствуй! Куда идешь?

Мужчина (*уважительно*). Здравствуйте, Августа Васильевна! Вот, в магазин иду!

Колбасу, говорят, завезли!

Августа Васильевна. Никита! Подойди-ка! Попрошайся! Племянника вот в Ярославль хоронить везу. Помнишь Сашку-то? *(Не выдержав, плачет.)*

Никита *(подходит, заглядывает в машину, снимает шапку)*. Так я ж его помню! В клубе выступал! Стихи читал! *(Обернувшись, Никита зовет двоих других мужчин, распиливающих дрова во дворе дома.)* Кузьма! Егор! Подите-ка сюда!

Мужчины, бросив пилу и топор, идут к дороге, подходят, заглядывают в машину, снимают шапки.

От магазина бежит продавщица, женщина в белом халате с надетой поверх халата душегрейкой и в норковой шапке, издали кричит:

— Августа Васильевна! Здравствуйте! Идемте-ка в магазин! Там колбасу привезли! Я уж вам хотела оставить! — Но, почувствовав что-то неладное, продавщица умоляет. Заглядывает в машину, вскрикивает: — Дак кто ж это, господи, Августа Васильевна! Дак это ж ваш племянник! Приезжал ведь! Ох, родимый! Да за что же это такое! И что же нам теперь делать! Да где же мать-то его родимая!

Августа Васильевна *(обрывая)*. Да тише ты, Нюра, тише, сестра-то моя здесь, рядом с ним сидит! Не видишь, что ли! Подходят еще женщины, старушки, ребята.

Одна из старушек *(показывает рукой)*. Я его вот таким, вот таким помню! Глаза-то у него были больно хороши! Лучистые-лучистые! Прямо как у ангела!

Мужчины стоят молча, время от времени покашливая, женщины продолжают причитать.

Водитель *(оборачивается, говорит бесстрастно)*. Опаздываем. Там ждут.

Августа Васильевна *(громко рыдая, забирается снова в машину, закрывает дверцу, говорит мужчинам)*. Накрывайте крышку! Те снова накрывают гроб крышкой.

Машина трогается с места.

Все это время Дина сидит не шелохнувшись.

Люди на дороге удаляются, становятся видны все меньше и меньше, теперь по краям дороги опять — заснеженные поля, перелески, березовые рощи.

Звучит голос Саши:

А тяжесть слов — она убьет
до срока,
Незванный час, неожиданный час
пробьет,
А мне б остаться птицею
высоко,
Что то и знает — только
что поет!

Проезжают мимо белой церквушки, возвышающейся над голым зимним лесом.

Дина входит к себе в квартиру. В прихожую из комнаты выходит Гузель, берет у Дины сумку, помогает раздеться.

Дина. Никто не звонил?

Гузель. Звонил какой-то Айрат, сказал, что наш родственник. Из Стерлитамака. Не может устроиться в гостиницу. Позвонит попозже.

Дина кивает.

Гузель. У Хеллы была?

— Да.

— Есть будешь?

— Нет. Принеси только чай с лимоном.

Дина проходит в свою комнату, за рабочий стол, включает настольную лампу, начинает работать. Иллюстрации к детской книжке.

В дверь звонят. Гузель идет открыть. На пороге — человек лет 45, в пальто, в шляпе, с портфелем в руке.

— Дина Бакировна здесь живет?

Дина выходит из своей комнаты.

Мужчина *(взволнованно, смущенно)*. Здравствуйте, Дина Бакировна! Вы меня не узнаете? Мы с вами на выставке Хаммера познакомились. Напротив рисунка Гогена, помните? Моя фамилия — Яблочкин... Иван Иванович Яблочкин. Вот, решил навестить вас... Узнал ваш адрес и... — умоляет, вконец растерявшись.

Дина *(спокойно, приветливо)*. Проходите, пожалуйста!

Через некоторое время за накрытым столом сидят пьют чай Дина, Гузель и Иван Иванович.

Иван Иванович *(доверительно, шепотом)*. Вечером пришел домой, нашел Толстого, сел читать «Казачи» — удивительная вещь.. Мама умерла год назад, мы с ней без слов понимали друг друга, а вот не стало ее и поговорить не с кем! Извините, я смешно выгляжу. У вас так чудесно!. Ну, не буду злоупотреблять вашим терпением, засиделся я у вас, спасибо вам большое! Я пойду!

Иван Иванович, поднявшись из-за стола, откланивается церемонный поклон Гузели и Дине, направляется в прихожую. Надевает пальто.

— До свидания! Я вам еще позвоню! Можно?

— Звоните! Конечно! — кивает Дина.

Закрывает дверь за Иваном Ивановичем, идет в свою комнату, садится за стол, принимается за работу.

Входит Гузель, усмехается, присаживается возле Дины и говорит:

— А если он вор? Или какой-нибудь аферист?

Дина (*продолжая рисовать*). Ну какой же он вор?

Гузель. А если он ухаживать за тобой начнет?

Дина (*пожав плечами*). Ничего страшного! Гузель. Он же нам никто! Ни родственник, ни знакомый! Кто его знает, кто он!

Дина. Просто одинокий человек.

Гузель. Если каждый одинокий будет вот так врываться в чужую квартиру!

Дина. Зачем обобщать? Пришел человек, посидел, поговорил — чего пугаться?

Гузель. В конце концов, он отнял у тебя время!

Дина. Времени всегда не хватает!

Звонит телефон.

Гузель (*подходит, берет трубку*). Алло? Да, я. Хорошо. Передам! (*Вешает трубку*.) Айрат. Из Стерлитамака. Сказал, что устроился у Рината. И слава богу!

Дина (*кивает, продолжает рисовать. Потом зовет*). Гузель! А как у тебя в институте? Познакомилась с преподавателями?

Гузель. Со своим руководителем познакомилась. По-моему, ему все равно, есть я или нет. У него есть еще аспиранты... один из Новосибирска, второй — из Киева...

Дина. Никто тебе не понравился?

— В каком смысле?

— В прямом.

Гузель (*усмехнувшись, декламирует*).

Двадцать первое. Ночь.

Понедельник.

Очертанья столицы во мгле.

Ведь придумал какой-то

бездельник,

Что бывает любовь на земле!

Гузель (*выходит, потом возвращается, вполне серьезно*). «Любить? Но кого же? На время — не стоит труда. А вечно любить невозможно!»

Дина (*с улыбкой смотрит на нее, потом, помолчав, говорит*). А помнишь, как мы с тобой чуть не утонули? На Белой. Тебе тогда было два года. Твой папа пришел с работы и говорит: «Поедем кататься на лодке!» Спустились к пристани, нашли лодку, сели и поплыли... Вдруг ты увидела на воде кувшинку и потянулась. Я захотела сорвать — и вывалилась из лодки. Твой папа меня вытащил...

Гузель задумчиво, заинтересованно слушает Дину.

Два часа ночи. На кухне в своей квартире сидит Нунош, плотно прикрыв дверь в коридор, печатает на машинке. Улыбается.

Дверь распахивается, и на пороге возникает рассерженный брат Нунош, голый по пояс:

— Нуношка, имей совесть! Заснуть невозможно! Строчишь как пулемет!

Нунош. Закройся подушками. Как Ага. Он ведь спит! Послушай, как здорово! (*Начинает читать на армянском языке*.) Возникает голая каменистая земля. На фоне этого пейзажа появляется старая армянка. Армянин. Еще люди. Горы. Козы. Овцы. Крыши. Дома. Целое селение.

И вдруг картина оживает, люди начинают кричать, ругаться, плакать, смеяться, обниматься, плясать.

— Он действительно великий писатель! — говорит брат Нунош.

Утро. В квартире Лили у постели Пети сидит молодой врач в белом халате. Смотрит на Петю, который оглушительно чихает и кашляет.

Врач. И когда это у него началось?

Лиля (*расстроено*). Час назад. Они с отцом позавтракали, потом отец ушел на работу, Петя начал собираться в школу, уже пальто надел — и вот, пожалуйста! Чихает, не переставая! Я просто уверена, что, если бы ему не нужно было идти в школу, он бы не расчихался!

Врач (*задумчиво смотрит на Петю. Поворачивается к Лиле*). У вас телевизор работает? Включите, пожалуйста!

Лиля включает.

Врач. Детское кино! Как раз! Пусть смотрит! Ему надо отвлечься. А завтра я к вам загляну! Лекарств пока никаких!

Нунош достает из почтового ящика газеты, мельком взглянув на одну из них, останавливается, хмурится. Поворачивается к выходу.

Нунош поднимается в лифте, выходит на лестничную площадку, звонит в дверь.

Ей открывает мужчина с мягким выражением лица, в свитере и джинсах. Удивленно улыбается.

— Это еще что за явление?

— Прости, что не позвонила! Ты один?

— А с кем же мне быть?

Нунош (*иронически*). Ну конечно!

Целуются. Видно, что они рады друг другу. Входят в квартиру. На стенах — афиши, фотографии певца, музыкальные инструменты.

Нунош. Ну что, очень расстроен? Я прочла!..

Он. Не впервой!.. Да ну все к лешему! Расскажи лучше, как ты!

Нунош. Я — прекрасно!

И тут возникает давнишний рефлекс — отчужденность.

Он (устало). Ты всегда так говоришь! Нууш. Давно я тебя не видела. Представляю, что вокруг тебя творится! Я же говорила тебе: на твои концерты будут ломиться.

Он. Но ты же не ходишь на мои концерты!

Нууш. Приду! Когда у тебя?

Он. Через неделю. У архитекторов.

Нууш. Ну, мне пора! А то Ага не кормлен...

Он (вдруг). Послушай, ты никогда не говорила, кто его отец!

Нууш (смеется). Похож на тебя. Но ты — лучше! Ты лучше! Ну все, привет! Я пошла, пока кто-нибудь сюда не явился...

Он (качает головой). Дурочка!

Нууш. Угу!

Нууш уходит. Дверь в парадной хлопает.

Нууш печатает на машинке. В дверь звонят. Она идет открыть и останавливается в изумлении.

— Айк?

Входит высокий человек с воспаленными глазами, с сумрачным выражением лица. На нем плащ, шарф, в руке — чемоданчик.

Айк (иронически). Я прямо из Внукова! У тебя есть кофе?

Слегка расстегнув плащ, Айк ставит чемоданчик на пол в прихожей, проходит в комнату, садится на стул.

Нууш уходит на кухню.

Айк. На пленум приехал. Не знаю зачем. Хотя на шведский переводить, вчера звонили.

Нууш (принесла ему кофе). Но это же хорошо, Айк!

Айк (отпивая глоток, мрачно). Получается, что я пишу для шведов. Для немцев. Для американцев. Англичан! И даже для греков. А своему селу, о котором все это, ничем не могу помочь. Для кого я пишу, для своих или чужих, ты мне можешь ответить?

Нууш (убежденно). И для своих, и для чужих! На сколько ты приехал? Хочешь, пойдём к Андрею?

Айк. Никуда не пойду! Сегодня же вылетаю обратно! Я не хотел ехать. (Допивает кофе, оглядывает комнату и говорит мягче.) Видел Маро... У кого-то квартиру отнимают — бежала в горсовет. Жанна д'Арк (с горечью и нежно смеется)...

Нууш. Ну ты же знаешь — она всегда такая!

Айк (хмуро). Только сел писать новую вещь. Только настроился... Теперь на месяц откатился обратно! Очень трудно идет! Не знаю почему! Никогда так не было! Начну писать — кажется: правда! Перечитываю — вижу: не то! Может, я разучился писать?

Почти не сплю.

Нууш молча смотрит на него.

Айк. Очень медленно идет. Не знаю что делать... (Смотрит на пишущую машинку, на листки бумаги.) Что это? Кого-то еще переводишь?

Нууш. Это ты.

Айк (вскакивая). Послушай, мне еще в ВААП надо было! Пойди вместо меня. Как мой представитель. В конце концов, ты — мой переводчик.

Нууш. Может, пойдём вместе?

Айк. Я тебя прошу! Если надо что-то подписать — пусть вышлют в Ереван! Я лечу обратно! Если останусь — собьюсь! Мне надо работать!

Нууш (качая головой). Тебе бы поехать куда-нибудь, переключиться...

Айк (посмотрев на нее). А ты изменилась! Мне кажется, ты мало работаешь! Наверное, ходишь по гостям! На концерты!

Нууш. И очень хорошо делаю!

Айк (поднимаясь). Как Ага?

Нууш. Ничего...

Айк (опять хмурясь). Ты никогда не говорила, кто его отец.

Нууш улыбается.

Айк (в изумлении). Почему ты улыбаешься?

Нууш. Ничего, ничего...

Айк (направляется к двери). Ну ладно, я полетел. (Обернувшись, посмотрел на Нууш.) Без денег, наверное, сидишь?

Нууш. Ничего! (Внезапно.) Послушай, я всю жизнь тебя перевожу, ты это понимаешь?

Айк качает головой, выходит, закрывает за собой дверь, потом возвращается и говорит:

— Иногда мне кажется, что ты — единственный человек, кому я могу сказать все... Абсолютно все!

Пауза. Айку делается неловко от этого признания.

— Оревуар! — говорит он дурашливо и уходит.

Нууш остается одна.

Встает, подходит к телефону.

— Это ты? Все-таки я везучая! Как у тебя со временем? Выкroiшь полчаса?

Сквер в центре города. На скамейке сидит Нууш и ее друг.

Нууш. Моя подруга написала рассказ, как двое годами все мечтали выбраться на природу...

Мужчина (кивая на кустик возле скамейки). Вот наша с тобой природа! (Помолчав.) Можно было поехать на дачу, но у меня в семь собрание... А что тебя так расстроило?

Нууш. Мой автор приезжал. Мрачный,

усталый. Ругал меня: мало, говорит, работаешь... И ничего не мало!

Мужчина. Ну не разговаривай с ним, раз тебе неприятно!

Нунуш. Как это «не разговаривай»? Он же такой писатель! И прекрасный человек! Но ко мне — несправедлив!

Мужчина (вздыхнув). Каждый к кому-то несправедлив!

Нунуш (поворачиваясь). И ты — тоже?

Мужчина (улыбнувшись). Ненамеренно, ненамеренно...

...Нунуш заглядывает в зал, где идет репетиция оркестра. Ее друг — дирижер. Оркестранты, видимо, недовольны.

Голос одного из музыкантов. Что мы, до ночи здесь будем?

Дирижер (гневно). Будем!

Недовольный шум на сцене усиливается.

Дирижер (властно). Попрошу снова отсюда!

Взмахивает палочкой. Оркестранты начинают играть.

Нунуш входит в свою квартиру. На кухне брат, обвязавшись фартуком, жарит рыбу. Ага в свитере, в джинсах, кроссовках лежит, свесив ноги, на тахте, с книгой в руках.

Увидев Нунуш, спрашивает:

— Нано, что в жизни самое главное?

Нунуш (легко). Любовь, конечно!

Ага (возмущенно). Глупости!

Нунуш (снимая пальто, переодевая туфли). Ну, давай вспомним, кого мы любим! (Загибает пальцы.) Ты, Маро. Бужончик. Папа...

Ага (включаясь). Маленькая Маро. Арч.

Нунуш. Дина, Лиля, Игорь Васильевич.

Ага (загнув все пальцы). Десять человек! Много? Или мало?

Брат Нунуш (выходя из кухни). Мало! Пошли есть карпа в сметане!

Нунуш (обнимая его). Как хорошо, что ты приехал!

Дина поднимается по лестнице, останавливается перед дверью, выкрашенной белой масляной краской, звонит. Ей открывает медсестра в белом халате.

Дина. Я — к Галине Дмитриевне.

Медсестра впускает ее в коридор. Дина идет по пустому коридору, заходит в палату с табличкой «Дежурный врач».

За письменным столом сидит женщина лет 50, с усталым лицом, в белом халате. Поднимается навстречу Дине.

— Диночка! Привет!

Целуются.

Женщина (подходя к столу, вынимает из

ящичка лекарство в упаковке). Ты это для Хеллы просила?

Дина (поглядев, кивает, потом вынимает листок). И еще вот это... Там у них нет...

Женщина (просмотрев листок). Этого, кажется, и у нас нет. Сейчас схожу посмотрю... Посиди! (Выходит.)

Дина подходит к окну, смотрит во двор. По саду прогуливаются больные. Видно, это психоневрологическая больница.

Женщина (возвращается в кабинет, говорит удрученно). И у нас нет... А что, она совсем не спит?

Дина. Говорит, что нет.

Женщина (задумчиво). Я думаю, просто она никак не может привыкнуть к этому казенному дому...

Дина (кивая за окно, на прогуливающих-ся больных). Как много молодых!

Женщина (кивает). Да, больше половины! (Вздыхнув.) Скорей бы в отпуск! Так устала, что сама сплю только со сновторным.

Дина. Куда в отпуск поедете?

Женщина. Хотим на байдарках, на Север. Чтобы — ни одного человеческого лица!

Лиля, Юрий Борисович и Петя — на прогулке, за городом. Проходят мимо соснового бора, за которым виднеется дачная улица.

Петя (поднимая сосновую шишку). Mam, какой дом выбирать?

Лиля. Какой понравится! А весной приедем и спросим у хозяев: «Сдаете дом?» И на все лето поселимся! Нравится тебе здесь?

Петя (оглядываясь). Нравится! А тебе, пап?

Юрий Борисович. И мне!

Петя (убегает вперед, разглядывая дома и дворы). Mam, а можно я с балкончиком дом выберу?

— Можно!

Петя, припрыгивая, убегает дальше.

Юрий Борисович (глядя ему вслед). Какой он все-таки хрупкий! Я в последнее время стал как-то тревожиться за него... Не знаю почему... хотя он и кашляет меньше... Стал как будто крепче... Все-таки он еще такой маленький!

— Помнишь, у Юрия Казакова рассказ «Во сне ты горько плакал...» Не помнишь? Там человек, мужчина, чувствует, как душа его ребенка все больше и больше отделяется от него... А сыну всего полтора года.. Я это очень хорошо чувствую! Иногда, когда мне тяжело, я стараюсь не разговаривать с Петей, мне кажется, ему это сразу передается!

Лиля (взяв его под руку). Он тебя так любит! И уважает!

Юрий Борисович (со вздохом). Как долго ждать, когда он вырастет, когда с ним

можно будет говорить обо всем! Все-таки мы с тобой поздно поженились!

Лиля. Но все-таки ведь поженились! *(Засмеявшись.)* Мне как-то в десятом классе цыганка на Алайском базаре в Ташкенте нагадала: ты, мол, бриллиантовая, богатой никогда не будешь и славы не добудешь, зато замуж выйдешь за замечательного человека! Она была права!

Юрий Борисович сжимает пальцы Лили, подносит руку к губам, целует.

Вечер. Из-за ствола дерева Лиля смотрит, как Юрий Борисович и Петя, сидя неподалеку на лесной полянке, беседуют друг с другом. И такая нежность во взгляде Юрия Борисовича, и такое восхищение во взгляде Пети! Так размеренны, рассудительны, похожи их жесты, что на глазах Лили показываются слезы. Если бы это мгновение длилось и длилось!..

Но вот издали слышится свист приближающейся электрички. Лиля выбегает из-за дерева, кричит, «мужчины» вскакивают, и все трое бегут к станции, к поезду, уносящему их в город...

...Вагон электрички, битком набитый людьми. В проходе, зажатые со всех сторон, стоят Лиля, Юрий Борисович и Петя... На их лицах — одно: когда кончится эта поездка?

Дина достает из почтового ящика конверт, распечатывает его, вынимает из конверта письмо и фотографию. На ней снята загорелая улыбающаяся женщина в купальнике, которая стоит на палубе гигантского корабля и держит в руке сверкающую живую рыбку.

Дина с письмом и фотографией в руке входит в свою квартиру, садится на стул, читает письмо. Потом звонит по телефону:

— Алеша! Я получила письмо от твоей мамы! Она пишет, что находится в районе Сейшельских островов!

В ответ из телефонной трубки слышится пьяный голос.

Дина *(остревожено)*. Алеша, что с тобой? Голос из трубки бубнит все так же нечленораздельно.

Дина вешает трубку, потом поднимает снова, набирает номер.

— Нунош? Ты можешь сейчас подъехать на Кировскую? С сыном Миры что-то случилось! Значит, у метро!

Дина снова набирает номер.

— Лиля? Ты мне очень нужна!

Квартира, где живет Алеша, сын подру-

ги Дины, Лили и Нунош. В комнате — беспорядок. Возле дивана — пустые бутылки из-под шампанского, на диване сидит молодой человек лет 26, высокий, с белокурыми длинными волосами, со слабой улыбкой на лице. Это Алеша. Он снисходительно наблюдает за действиями Лили, Дины и Нунош, которые стараются привести комнату в порядок.

Подруги проходят на кухню, здесь — горы невымытой посуды, засохший хлеб на столе, пустые консервные банки. Дина открывает холодильник, видит, что он пуст. Заглядывает в кухонные шкафчики, говорит:

— Ничего! Один сахарный песок! Как он питается?

Нунош *(одеваясь)*. Я сейчас сбегаю в магазин!

Дина *(убираясь на кухне, разговаривает вполголоса с Лилей)*. В школе отличник был, в институте — отличник, всегда такой выдержанный, спокойный...

Лиля. А когда Мира вернется из рейса?

Дина. Месяца через два.

Лиля. А где знаменитый биолог?

Дина. На биологической станции. Он редко приезжает. Мира сама к нему ездит. Официально они не разведены...

Через час. В прибранной комнате за столом, накрытым свежей скатертью, обедают Алеша, переодевшийся в чистую рубашку, и подружки.

Алеша ест курицу, запивая бульоном из чашки. Вид у него довольный, несколько виноватый.

Дина. И сколько дней ты не ходил на работу, Алеша?

— Неделю.

— Но почему?

— Да неохота стало ездить! Грызутся там все! Я думал, математика — чистая наука, а оказалось!.. То «эти» против «тех», то наоборот! Надоело! Если не дадут отдельную комнату для работы — уйду!

Дина *(кивая на проигрыватель)*. Иголлка сломалась!

Алеша кивает.

В дверь звонят, громко и бесцеремонно.

Нунош поднимается и идет открыть дверь. В прихожую входят трое парней, одетых неряшливо, небрежно, один из них — с хохолком на голове, двое других — небриты, в руке у одного — карты, у второго — бутылка с пивом.

Тот, что с хохолком. Старик, ты где? О, у тебя дамы? Это что-то новенькое! Мы к тебе на всю ночь!

Парни проходят в соседнюю комнату, располагаются.

Алеша *(слегка смущенный)*. Это — соседи... Им негде собраться...

Дина. Играешь с ними в карты?

Алеша. Да нет, только смотрю...

Из соседней комнаты раздается голос одного из парней:

— Старик, принеси нормальные стаканы! А то мы из хрустальных ваз начнем пить!

Нунуш срывается с места, влетает в комнату, где трое пришельцев разместились в глубоких креслах, и говорит:

— Немедленно убирайтесь отсюда!

Парни продолжают играть в карты.

Нунуш (*громко*). Вы что, не слышите?!

Парни недовольно встают, направляются к двери. Тот, что с хохолком, оборачивается к Алеше:

— Старик, не ожидал! Неинтеллигентно как-то!

Дверь захлопывается, подруги смотрят на Алешу.

Дина. Алеша, зачем тебе они?

Алеша (*тихо*). Просто они рядом — через площадку! И потом... им, действительно, где-нибудь встретиться, а у меня тут три комнаты...

Дина, Лиля и Нунуш идут по улице к станции метро. Холодный ветер налетает из переулков, мешая идти.

Лиля (*завязывая потуже шарф*). Что-то мне не верится, что он образумился!

Нунуш (*сердито*). И как это Мира уехала так надолго! Черт с ними, с этими заграницами, сын дороже!

Подруги входят в метро. Разменивают в автоматах монеты.

Лиля (*чихает*). Кажется, грипп начинается!

Нунуш (*сморкается*). У меня — тоже! А как твоя племянница?

Дина. Сидит над книжками целыми днями! Позвонил кто-то из аспирантов, пригласил в театр — не пошла!

Нунуш. Почему?

Дина. Говорит, не настолько интересный товарищ, чтобы из-за него в метро целый час болтаться!

Подруги съезжают по эскалатору вниз, здесь творится нечто невообразимое. Крики, давка, плач детей. Голос дежурной по станции объявляет:

— Граждане пассажиры! Ближайшие поезда в центр не пойдут! Просьба добираться наземным транспортом!

На станции прибывает еще один поезд, из вагонов выходят еще люди. Давка усиливается. Людским потоком подруг разносит в разные стороны.

Лиля стоит на лестничной площадке перед приоткрытой дверью. Входит в освещенную прихожую.

— Варвара Петровна, а почему дверь открыта?

Из комнаты раздается слабый голос:

— Лилечка, входи! Я нарочно открыла дверь, чтобы не вставать...

Лиля входит в комнату, видит лежащую на диване Варвару Петровну.

— Еле до вас добралась, авария в метро... А вы что, заболели?

— Да, давление скачет...

— Врача вызывали? Обедали?

— Врача вызывала... Обедать не хочется.

— Как это «не хочется»? А я вам цветной капусты купила! Сейчас приготовлю французский суп!

Направляется с сумками на кухню.

Через некоторое время. Варвара Петровна, облокотившись о спинку дивана, доедает суп. Протягивает тарелку Лиле.

— Спасибо, милая! Очень вкусно!

Варвара Петровна устраивается поудобнее, достает из-под подушки журнал.

— А ты видела, Лилечка, в «Знамени», в третьем номере, Георгия Иванова напечатали? Это просто невероятно! Он же уехал из России в двадцатых годах! И столько времени его словно не было! И вдруг — напечатали!.. А я удивительный сон нынче видела! Будто стоим мы, я и Иван Александрович на Египетском мостике в Ленинграде! Лет нам что-то около тридцати! Я — в сером шелковом платье, в шляпе, Иван Александрович — тоже в чем-то очень элегантном! И он берет меня за руку и говорит: «Варенька, я очень счастлив! И у меня такое предчувствие, что мы будем счастливы всю жизнь». Иван Александрович был очень сдержанный человек, в жизни такого разговора не было, а вот во сне. А как вы, Лилечка, вы счастливы с Юрой?

Лиля кивает.

— Это замечательно! А то как послушаешь вокруг — так мало счастливых семейных пар.

Дина открывает ключом дверь в свою квартиру. В прихожую из комнаты выходит Гузель, прикрыв дверь, говорит шепотом:

— Дядя Асхат приехал с женой и дочкой!

Дина раздается, проходит в большую комнату. Здесь сидит смотрит телевизор приехавшее в Москву татарское семейство: муж, жена и их десятилетняя дочка Асия. У родителей — загорелые обветренные лица, одеты они скромно, вид — смущенный. Увидев Дину, встают, здороваются обеими руками. Женщина, которую зовут Фарида, говорит виновато:

— Вот, Диночка, приехали! Может, поможешь, несчастье у нас! У Асии спина

болеть стала, какое-то искривление нашли! Сказали, в Москве есть одна больница, там лечат!

Фарида поспешно приносит и выкладывает из сумки тушку гуся, банку меда, засушенную смородину и малину.

— Тебе! От наших!

Дина (*улыбаясь*). А направление в больницу у вас есть?

Фарида. Нет, нету у нас никакого направления!

Дина. Без направления, боюсь, не примут!

Фарида (*всхлипнув*). Помоги, Диночка! Не знаем ведь, за что на нас такое несчастье!

Ночь. Дина и Гузель спят в маленькой комнате, в большой разместились гости. Дина не спит, слушает тихий разговор Фарида и ее мужа, которые тихо говорят по-татарски.

Асхат (*ворчливо*). Думаешь, Марат справится один — и с коровой, и с теленком! Школьник ведь! Ума-то мало!

Фарида. Дочь дороже коровы! (*Помолчав.*) Вот другие — не держат коров! И нам бы оставить ульи с пчелами, и хватит! Мед-то сейчас — дорогой!

Асхат. А в этом году сколько меду было — забыла?

Фарида. А ты не там ульи поставил! Надо было вывезти их на клеверный луг!

Асхат. А там химикатами опыляли с самолета, не слышала? Вот и ели бы мед вместе с ядом, если бы тебя послушался!..

Фарида. Тогда надо было вывезти в Таулар, там луга хорошие! Или — в Кандры, к Мак-фие!

Дина слушает, и перед глазами ее возникает пейзаж, открывающийся с горы Актау.

...На деревню Актау, на деревню Таулар и на маленькую деревеньку Кандры... А между деревьями — поля, разделенные зелеными полосками посадок...

День. На одной из московских улиц остановилось такси, из него вышли Дина, Фарида, Асхат и их дочка Асия. Дина направилась к зданию, на котором написано на табличке: «Министерство здравоохранения РСФСР». Дина открыла дверь и вздохнула: в приемной было полно народу.

— Очереди! — обернулась Дина к Фарида. — Придется ждать.

Приемная дежурного врача в Министерстве здравоохранения. Здесь столпотворение, сидят больные и их родные, приехавшие из разных концов страны. Дина, сидящая рядом со своими родственниками, разглядывает лица этих хмурых, отчаявшихся,

изверившихся людей. Правда, среди них есть и иные лица. Напротив Дины сидит узбекское семейство: молодая красивая узбечка в атласном платье, с золотыми украшениями, полный достоинства муж и трое смуглых ребятишек, которые ведут себя очень шумно и весело, несмотря на одергивания матери.

...Дина видит перед собой яркий солнечный день в окрестностях Самарканда, развалины мавзолея Шах-И-Зинда, среди которых бегают, играют смуглые самаркандские ребятишки. Из ворот мавзолея на Дину смотрит старик сторож в выцветшем халате, в чалме — лицо дервиша со старинной восточной миниатюры...

— Следующий! — говорит голос, и Дина, очнувшись, встает и идет за родственниками в кабинет врача.

Часа через два. Из двери Министерства здравоохранения РСФСР выходят усталые Дина и родственники. Дина останавливает такси, сажает в машину семейство и говорит Фарида, протягивая ей листок:

— Вот направление! Вот адрес больницы. Поезжайте! Вечером увидимся, посмотрим, как дальше быть.

Семейство уезжает.

Дина останавливает второе такси, садится, уезжает.

Издательство. У стола редакторши стоит Дина. Редакторша возвращает ей рисунки.

— Это не пойдет. Надо посмешнее! Если успеете к понедельнику, поставим в номер.

Дина молча вкладывает рисунки в папку, засовывает папку в сумку, прощается, выходит из издательства.

Медленно идет по улице. Заходит в телефон-автомат, звонит.

— Нунош?

Маленькое кафе, где за столиком сидят Дина, Нунош и Лиля.

Нунош (*обращаясь к Дине*). Что значит «не подходит»? Ты должна была спорить! Не соглашаться! (*Вздыхнув.*) Это действительно не для их журнала!

Все подавленно молчат.

Нунош (*обращаясь к Лиле*). А как у Юры дела?

Лиля (*пожав плечами*). Как будто спокойно... Из института звонят каждый день, все что-то согласовывают.

Нунош (*вздыхнув*). А я коленку расшибла! Ни с того, ни с сего! Шла — и вдруг брякнулась!

Наступает молчание.

Из служебного помещения грубый женский голос кричит:

— Тая! Закрывайся! Обед! Они думают, только им обедать охота!..

Подруги переглядываются, поднимаются и идут к выходу.

Нунуш. Нет! Надо как-то развеселиться! Попробую достать билеты в театр Резо Габриадзе! Или — на Английский Королевский балет!

В помещении одного из московских театров идет спектакль грузинского театра марионеток Резо Габриадзе «Альфред и Виолетта». Сцена объяснения в любви.

Среди сидящих в маленьком зале — Нунуш, Ага, Дина, Гузель, Лиля, Петя.

Все увлеченно, с улыбками на лицах смотрят этот прекрасный спектакль.

Ага наклоняется к Нунуш и шепчет:

— Я тоже сделаю свой театр кукол! Еще лучше этого!

В перерыве в фойе театра прогуливаются зрители. Дина сталкивается с Маститым писателем, который, приятно улыбаясь, говорит:

— Диночка, куда же вы пропали? Как вам спектакль? Не понимаю, почему такой ажиотаж!.. Только что из Йемена! Изумительная страна! Балладу написал! А как в издательстве дела, с Сашиной книжкой?

— Никак... Может, все-таки в Союз обратиться?

Маститый писатель (*сокрушенно вздохнув*). Нет, сейчас там неразбериха! Война! О, звонок! Пойдемте. (*Направляется в зал.*)

Выставочный зал. Очень много народу. Среди посетителей — Лиля, Юрий Борисович, Нунуш, Дина, Гузель, писатели, художники, журналисты, телевизионщики.

Диктор телевидения обращается к пожилому скромного вида японцу, прогуливающемуся по залу в сопровождении переводчика:

— Перед вами гость Советского Союза... Известный японский художник Нацуо-сан! Нацуо-сан! Что бы вы могли сказать об этой выставке?

Японец (*вежливо улыбаясь*). О, это очень хорошая выставка, очень разнообразная, очень много молодых талантливых художников!

В другом углу выставочного зала можно услышать другие суждения. Один из посетителей, кивая на какую-то картину, шепчет приятелю:

— Но это вообще не художник! Фотограф!

— Мазня! — кивает приятель.

— Он всегда был бездарностью! — говорят в третьем месте.

— Какой он художник — подлец и толькo! — говорят в четвертом месте.

Юрий Борисович, прогуливающийся с Лилей по залу, поворачивается к Лиле:

— Это так сейчас разговаривают люди искусства?

Лиля. А у вас в институте не так разговаривают?

Юрий Борисович. Ну, все-таки не так!.. Лиля (*увлекает мужа за собой*). Пойдем покажу тебе картины Дины.

Проходят мимо художника Шавката, который беседует со своим другом-искусствоведом возле выставленных картин.

Шавкат (*с горечью*). В сущности, то, что мы делаем, — наши картины — нужны очень немногим!..

Искусствовед (*возражая*). Но посмотри, сколько народу!

Шавкат (*насмешливо*). Ты думаешь, они пришли смотреть картины?

Лиля и Юрий Борисович подходят к группе людей, стоящих возле японского художника и Дины.

Японец (*кивая на пейзажи, говорит через переводчика*). В этой картине я нахожу что-то близкое нашим пейзажам! (*И, обращаясь к Дине, с улыбкой.*) Желаю счастья!

Квартира художника Шавката, увешанная картинами. Хозяин дома, облаченный в среднеазиатский халат, угощает своих друзей пловом. Жена Шавката вносит в комнату на подносе чайники, ставит их на стол.

Гостей — человек восемь. Это — искусствовед Шараф, писатель Тимур, скульптор Лева, Дина, Нунуш, Лиля и другие.

Искусствовед Шараф (*продолжая разговор*). Многие художники, писатели... говорят, что был в детстве один такой яркий... запомнившийся день, который определил всю дальнейшую жизнь, судьбу, дал толчок для пробуждения творчества... Ведь мы не все дни своей жизни запоминаем, а некоторые!.. Когда человек запоминает цвет облаков на небе, запах комнаты, в которой он тогда находился!..

Лиля. Я, конечно, не художница... но... я помню один такой день в детстве, мне было четыре года, я запомнила его на всю жизнь! В тот день кончилась война, через громкоговорители сообщили эту весть... а у меня в тот день умерла мама!

...Возникает комната, уставленная книжными полками, мебелью красного дерева, на стенах — картины. В дальнем углу комнаты лежит молодая женщина со сложенными на груди руками, возле нее, на стуле, сидит мужчина с окаменевшим от горя лицом, у окна сидит девочка с коротко стриженными

пепельными волосами и с удивлением смотрит на обнимающихся, танцующих, веселящихся людей на пыльной ташкентской улочке...

Нунош. А я помню, как к нам домой пришел однажды потрясающей красоты человек! Американский писатель! Армянин!

...Квартира в ереванском доме Нунош. Здесь живут ее родители. На стенах — картины армянских художников; на столе, диване, креслах — книги, журналы, клубки шерсти, яблоки, игрушки, в общем, живописный беспорядок. В комнате — отец, мать Нунош, брат, две его дочери, Нунош, ее трехлетний сын. Происходит семейная сцена. Кто-то на кого-то кричит, кто-то хватается за голову. Кто-то плачет. И вдруг — звонок в дверь. Нунош открывает, в комнату входит гость. Он приветствует всех, улыбается, шутит, и лица всех проясняются, светлеют, меняются на глазах...

Дина зажмуривает глаза.

Она видит летний день где-то в пронизанном солнцем лесу, наполненном птичьим пением, шелестом листьев, жужжанием пчел. На круглой поляне, заросшей травой и ромашками, в траве сидит Дина, в летнем сарафане, в шляпке. Рядом с Диной в траве лежит ее муж Саша, в светлой рубашке, брюках, и держит на груди маленького ежа, который никуда не убегаёт. Тишина, покой... А над полем, к маленькой белой церквушке, виднеющейся за лесом, летит по небу ангел с крыльями...

Поздний вечер... Шавкат, стоя на лестничной площадке, провожает своих гостей. Прощаясь с Диной, он говорит:

— Ты должна больше работать! Не отвлекаться на суету, на быт... Тебе нужна мастерская!.. Пойди в союз, потребуй!.. Я тоже могу сказать свое слово!.. И — поменьше родственников!

Дина смотрит — лицо Шавката строго, очень серьезно.

— Постараюсь! — улыбается Дина и бежит по лестнице.

На сцене театра идет спектакль. Артисты, занятые в нем, находятся на сцене, в зале, на галерке, возле осветителей, их голоса раздаются то оттуда, то отсюда, зрители не успевают поворачивать головы... Основные реплики, которыми обмениваются артисты, это: «Вы виноваты!», «Вы тоже виноваты!». И наконец кто-то из ведущих артистов бросает залу: «Мы все виноваты!»

Громкие аплодисменты. Затем «спектакль-разбирательство» продолжается. Теперь артисты обмениваются репликами: «Вы куда смотрели?», «А вы куда смотрели?»

Где-то рядом в десятом смотрят спектакль Лиля, Нунош, Дина. Переглядываются, тихонько встают, покидают зал.

По улице идут от театра к станции метро Дина, Нунош и Лиля.

Лиля. А ведь невозможно было достать билет!

Дина. Да и в «Литературке» была хвалебная статья!

Возле станции метро несколько парней и девушек, похожих по облику на «металлистов», развлекаются: то ли танцуют, то ли дерутся.

Вот один из парней, смеясь, ударил девушку, она чуть не упала.

Нунош (*подойдя к парню*). Ты что себе позволяешь?

В ответ парень так сильно толкнул Нунош, что она растянулась на асфальте.

Подруги опешили.

Проходившие мимо двое мужчин, один — лет 50, второй, похожий на него, лет 25, бросились на помощь Нунош. Старший помог ей подняться, младший подошел к хулигану и каким-то молниеносным приемом уложил его на асфальт.

Нунош. Спасибо! (*Прихрамывая, уходит к подругам.*)

Лиля (*укоризненно*). Нунош, ну разве можно связываться с такими!

В квартире Нунош оживленно. Все суетятся, собирают чемоданы для матери Нунош — Маро, вылетающей по приглашению в Америку. Кроме нее и Нунош, в комнате — отец Нунош Серго, брат, Ага и две дочери брата, 5 и 12 лет.

Все говорят, перебивая друг друга.

— Маро, не забудь свои книги!

— Выступать ты должна только в этом платье, оно тебе очень идет!

— Маро, не забудь привезти мне монетки!

И посреди этого гвалта, шума, суеты одна Маро сидит спокойно, погруженная в свои мысли. Вот поднимается, уходит на кухню, там, найдя тихий уголок, присаживается, записывает что-то в тетрадь.

Звонит телефон. Нунош берет трубку.

— Да, Ашхеночка. Я? Хорошо! Маму в Америку провожаю! Почему ты плачешь? Как это «Кати нет»? Да вернется она, вернется! Мы все уладим! Я тебе перезвоню!

Нунош кладет трубку, набирает снова номер.

— Здравствуйте! Можно Екатерину Ивановну? Катя, здравствуйте! Там Ашхеночка что-то переживает! Конечно, вы устали, я понимаю, но, может, передохнете немножко и вернетесь?

Отец Нунуш подходит к ней и говорит с упреком:

— У тебя мать через час летит, а ты на телефоне сидишь!

Нунуш (*в трубку*). Катя, я вам перезвоню, через час!

Кладет трубку, идет к Маро на кухню.

Маро (*поднимает голову*). А ты знаешь, Арама освободили!

Нунуш (*качая головой*). Совсем?

Нунуш вспоминает...

...Маро и Нунуш едут в такси по тбилисской улочке.

Маро (*выглядывая из машины*). Кажется, здесь!

Выходят из машины, поднимаются к двери старинного особняка.

Входят в кабинет, где навстречу им поднимается из-за стола немолодой представительный мужчина, говорит почтительно:

— Маро, дорогая! Какая радость! Здравствуйте! — кланяется он Нунуш.

Маро. Моя дочь. Переводчица.

Нунуш тоже здоровается.

Маро (*взволнованно*). Вся надежда на вас, Георгий Михайлович. Один очень хороший наш поэт, из молодых, попал в глупую историю! Сейчас под следствием! Здесь, у вас! Он не виноват! Не хотелось вас беспокоить, но...

Мужчина. Что вы, что вы, Маро! Очень хорошо, что пришли! Сделаем все возможное!.. Когда приехали? Где остановились?..

...На кухне своей квартиры Нунуш наклоняется к задумавшейся Маро:

— Пора в аэропорт!

В квартире Дины, у двери, стоят одевшиеся в дорогу родственники. В руках у них — сумки, чемоданы, пакеты.

Фарида (*оборачиваясь к Дине*). Уж поедем мы, а то ведь измучил! (*Кивает на мужа*.)

«Как там наш теленок! Как корова!» За дочкой приеду через месяц! Она у нас терпеливая, вы ее часто не навещайте, раз в неделю, если сможете, достаточно. Спасибо за все! До свидания!

Дина закрывает за родственниками дверь.

Гузель (*стоя в дверях комнаты*). Ну вот, теперь еще в одну больницу будешь ездить!

Дина. Раз я съезжу, другой — ты!

Гузель проходит в комнату, садится напротив Дины, качает головой:

— Родственники, называются! Просто Фариде нужно было где-то остановиться, вот и вспомнила про тебя!

Дина (*рисует*). Но ведь девочку действительно надо было положить в больницу!

Гузель. Все едут к тебе! И всех ты принимаешь! Они же совершенно не понимают, что мешают! Ну почему ты не можешь никому отказать?

Дина (*помолчав*). У нас в Уфе была всего одна комната... Там жили папа, мама, сестра, я, папины племянницы, и еще из деревни все время кто-то приезжал. Папа писал книгу, у него был письменный стол за ширмой. И ничего — жили!

Вечер в квартире Лили. Она сидит у постели засыпающего Пети и читает ему вслух.

Дверь в прихожую открывается, и входит Юрий Борисович. Он бледен, на нем, что называется, «лица нет».

Лиля тут же встает, гасит свет в комнате Пети, выходит, закрывает за собой дверь.

Юрий Борисович, не раздеваясь, садится в кресло, опускает голову.

Лиля (*подходя к нему*). Юра, что случилось?

Юрий Борисович (*поднимает голову, у него совершенно измученное лицо*). Снова возник вопрос... о целесообразности нашей лаборатории... Говорят, создадут какую-то комиссию... на каком-то очень высоком уровне. Кажется, опять кто-то письмо написал... (*Сжимает кулаки*.) Как глупо! Как бессмысленно тратится время! А ведь его осталось не так уж много!

И тут Лиля, глядя на его лицо, полное отчаяния, говорит шепотом:

— Юра, а может, нам подать документы... на выезд?

Юрий Борисович с удивлением смотрит на нее, потом молча отворачивается.

Квартира Варвары Петровны. На диване, укрывшись пледом, лежит Варвара Петровна с «Новым миром» в руке.

Перед ней — Лиля, с напряженным лицом.

Варвара Петровна (*вздыхнув*). Что тебе сказать, деточка? Не знаю... Я понимаю, ты хочешь, чтобы ему было хорошо! Для него главное — это наука! Я понимаю!.. Но неужели нельзя что-то придумать? Дай-ка мне записную книжку!

Лиля подходит к столу, берет старую записную книжку, подносит Варваре Петровне.

Варвара Петровна (*листая*). Где-то у меня был телефон Веретенщикова... Они дружили с Иваном Александровичем... Может, надумит, что делать? (*Обращаясь к Лиле*.) Об одном тебя прошу — не торопись! Давай спокойно обсудим все варианты! (*Начинает звонить*.)

Комната в редакции, где работает Лиля. К ее столу подходит знакомый бородач-художник, протягивает руку, берет бланк.

— Можно?

Лиля (*резко отпрянув*). Оставьте меня в покое!

Бородач (*удивленно*). Лилечка, дорогуша, что с вами?

Лиля (*взорвавшись окончательно*). Какая я вам «дорогуша»?

Одна из сотрудниц (*укоризненно*). Ва-дим Петрович, нельзя же быть таким бесцеремонным!

Бородач (*растерянно*). Да я — ничего, абсолютно ничего!..

Лиля выбегает из комнаты.

Здесь, стоя в холодном темном коридоре, всхлипывает, пытается успокоиться.

Сотрудница (*выйдя следом за ней, дружески обнимает ее*). Нервы у тебя, Лилька, совсем никуда! В отпуск тебе пора!

Ночь. В квартире Лили погашен свет. Лиля лежит на кровати, смотрит перед собой широко раскрытыми глазами.

Юрий Борисович тоже не спит.

Пауза. Оба думают об одном и том же.

Наконец Юрий Борисович поворачивается к Лиле и говорит как человек, принявший решение:

— Лиля, мы никуда не поедем. Это совершенно исключено!

И Лиля, со вздохом огромного облегчения, говорит:

— Слава тебе, господи!

Юрий Борисович, порывисто обняв жену, нежно целует ее.

Нунуш сидит дома, печатает на машинке. Ага хватает сумку с бутылками из-под молока, идет к двери.

Нунуш. Сдашь бутылки — купишь молока!

Ага. Нет. Куплю марки — как договорились!

Нунуш. Ага, денег нет! Ясно?

Ага, пробурчав что-то, выходит.

Нунуш продолжает печатать. Раздается телефонный звонок. Нунуш берет трубку.

— Да. Это ты, Лилечка? Нет, не могу, роденькая! Работаю! На следующей неделе созвонимся! Пока!

Продолжает печатать. Снова звонит телефон. Нунуш берет трубку.

— Да! Что?! — бледнеет, опускает трубку. Потом вскакивает, хватая сумку, пальто и бежит к выходу.

Больница. В палате на одного человека сидит Нунуш возле своего друга.

Он очень бледен, почти не двигается, но улыбается. Говорит, еле шевеля губами:

— Сказали, все в порядке!..

Нунуш (*силится улыбнуться*). А я собиралась уговорить тебя пойти на испанского гитариста!..

Мужчина. Успеем еще!..

Нунуш. Ты слишком много работал!

Мужчина (*улыбнувшись*). Не говори глупостей.

Нунуш (*смотрит на него*). А я купила сумасшедшее платье — чтобы тебе понравиться. Завтра приду в нем!

Мужчина улыбается.

Нунуш входит к себе домой. Ага выходит в прихожую.

— Нано, почему у тебя такое лицо?

Нунуш не отвечает, молча раздевается, проходит в комнату, садится на диван.

Ага (*встревоженно, пугаясь*). Почему у тебя такое лицо?

Нунуш (*переводя взгляд на него*). Оставь меня сейчас.

Ага. Что случилось?

Нунуш (*едва справляясь с собой*). Ничего!.. (*Отворачивается.*)

Ага. Сейчас же перестань! Сделай что-нибудь! Не могу я, когда у тебя такое лицо!

Ага в отчаянии. Хватает кукол, лежащих на столике, кричит:

— Нано, посмотри, каких я кукол сделал! Вот эта кукла — ты, эта — Дина, а эта — Лиля! Посмотри, как вы разговариваете!

Начинает разыгрывать сценку со своими куклами.

Нунуш наконец улыбается, качает головой.

— Кукла Дина — не так одета! У нее на голове — всегда платок! Забыл!

Нунуш спит в большой комнате на тахте, улыбается во сне.

Видит знойный полдень где-то в армянской деревне, запущенный фруктовый сад, кусты ежевики с сочными спелыми ягодами... Маленькая Нунуш лакомится ягодами... Неподалеку от нее — братишка, Маро, отец, еще какие-то родственники. Кто-то напевает, кто-то отмахивается от пчел, отец и мать переключаются друг с другом. Тишина, покой... Нунуш перелезает через изгородь — и взгляду ее открывается изумительный вид на зеленую долину внизу!..

Дина с тяжелой сумкой в руках выходит из такси на окраине Москвы, направляется по тропинке к высокой башне дома для престарелых. Поднимает голову, всматривается в окна, надеясь увидеть Хеллу в каком-нибудь окне.

...Дина идет по длинному коридору внутри здания, глядясь в таблички на дверях. Останавливается перед комнатой Хеллы, видит, что она опечатана. Дина пугается, идет к дежурной сестре.

— А почему опечатана комната Фришер? Ее перевели в другое место?

Дежурная. Она умерла три дня назад.

Дина. Почему же вы не позвонили, не сообщили? Ведь там был записан телефон!

Дежурная. Наверное, не дозвонились!

...Комната Хеллы. Дина оглядывается. С кровати уже убрана постель, матрас свернут, на полу стоят ящики с книгами, на стульях — одежда, обувь... Несколько фотографий Хеллы и ее друзей лежат на столе.

Медсестра. Вот не знаем теперь, куда девать вещи...

Дина. Я возьму... тетради и книги. А вещи — раздайте, пожалуйста...

Дина стоит на балконе своего шестнадцатизэтажного дома, смотрит вокруг. Недалеко от дома начинается лес. И вдруг Дина видит, как из леса вышла старушка, очень похожая на Хеллу, помахала рукой и снова скрылась в лесу.

Дина сидит в квартире, работает. Звонит телефон. Дина берет трубку.

— Да. Кто? Здравствуйте, Фима! Спасибо, хорошо. Кабуки? Да, конечно, очень интересно! К сожалению, у меня сейчас много работы... Может, недели через две! Встретимся!.. До свиданья! — вешает трубку.

Звонит телефон. Дина поднимает трубку.

— Да, я... Нет, не родственник, это сын моей подруги. Дайте адрес, я сейчас подъеду. Да, прямо сейчас! — вешает трубку.

Дина звонит.

— Нунош! Ты не можешь подъехать?

Больница. В кабинете врача сидит Дина, слушает его.

Врач. Его сотрудники вызвали «скорую»! Ни с того, ни с сего стал ломать дорожную установку! Никаких предваряющих обстоятельств, понимаете?

Дина смотрит в окно, видит остановившуюся у ворот такси, из которого выскакивает Нунош, вот она торопливо бежит к зданию больницы.

Через несколько секунд у ворот останавливается второе такси, из него выходит Лиля. Тоже идет к зданию больницы.

В кабинет врача стучатся и входят Лиля и Нунош. Подходят, садятся рядом с Диной.

Дина (врачу). Может, вы все-таки отпустите его? Скоро вернется из рейса его мать... А пока он поживет у меня... Или у кого-то из нас... В больнице ему будет хуже...

Врач (раздумчиво). Да, у нас тут тяжеловатый климат...

Нунош (вскакивает, садится перед ним и говорит убежденно). Он просто не выдерживает одиночества! Отпустите его! Под нашу ответственность!

Врач колеблется, но тут Нунош заговаривает с ним по-армянски, говорит то требовательно, то нежно и доверительно, в конце концов, врач сдается. Он поднимается со стула и говорит:

— Хорошо, забирайте! Напишите расписку! Вот мой телефон! Рабочий. Домашний. На всякий случай. Подождите в приемной. Все выходят из кабинета.

В пустой приемной, рядом с входной дверью, сидят в ожидании Лиля, Дина и Нунош.

Нунош (усмехнувшись). А вам не кажется, мои дорогие, что у нас вырисовывается некое жизненное амплуа — что-то вроде се-стер из ордена матери Терезы?

Лиля. Говорят, ее деятельность развернулась в шестидесяти государствах мира. Она спасла тысячи людей!

Нунош. Ну, у нас все не так удачно получается! Как-то бестолково! Спасаем, спасаем, никого спасти не можем! Надоело мне только переводить! Что-то еще надо придумать!

Дина. А я вчера записалась на поездку в Египет!

Лиля. А мы все думаем, не взять ли нам садовый участок?

Нунош. Что с Алешей все-таки будем делать?

Дина. Можно к нам...

Лиля молчит.

Дина смотрит перед собой, в окно. Видит аллею больничного сада, с голыми ветками деревьев.

...И вдруг перед глазами ее возникает темный летний вечер в деревне... Из крайнего дома на крыльцо выбегает Саша, бежит к сарайчику возле пруда, вбегает в сарайчик, закрывает за собой дверь. За ним бежит Дина, дергает дверь — не открывается. Дина поднимает голову к темному слуховому окошку сарайчика и говорит тихо:

— Саша, так нельзя! Они тебе родные!

Из темноты сарайчика раздается Сашин голос:

— Не нужны мне их советы!

Дина поворачивает голову, смотрит на темный луг, по которому стелется туман, на мерцающую вблизи гладь пруда с неяркими звездами, отражающимися в воде, и говорит тихо, убежденно:

— Надо продолжать работать! Над каждой строчкой! Над каждым стихом! Когда-нибудь напечатают!

— После смерти? — раздаётся из сарайчика Сашин голос.— Зачем, зачем мы приехали сюда?

— Здесь твои родные,— тихо говорит Дина.— Твоя деревня. Здесь тебя любят!

И усталый Сашин голос отвечает:

— Нет здесь больше ничего моего. И деревни моей нету...

Через секунду в окне сарайчика слышится стук упавшего предмета, возникает отблеск пламени.

— Лампа! — вскрикивает Дина.— Гаси скорей! Открой дверь!

Из дома на крыльцо выбегают два рослых мужика, один — в тапочках, второй — босой, подбегают к сарайчику, вышибают дверь, выносят из дыма Сашу, волокут к воде.

Один из них, постарше, сердито говорит:

— Тебе что, жизни не жалко?

— Не жалко! — доносится до Дины Сашин голос.

Дина, очнувшись, оглядывает приемную комнату больницы, видит аллею за окном, сидящих рядом подруг.

— Он будет жить у меня! — говорит она тихо.

За дверью в коридоре раздаются шаги, и подруги поворачивают головы.

Дверь в приемную из коридора распаивается, и на пороге появляется Алеша с бледным испуганным лицом. Исподлобья, с какой-то обреченностью смотрит на Дину и ее подруг.

— Алеша! — с радостным криком бросается к нему Нунуш и обнимает его, тормошит, берет за руку.— Ну, как ты, бармалей ты наш!

— Здравствуй! — подходит Лиля и поправляет ему воротник рубашки.

Дина, улыбаясь, смотрит на Алешу и говорит:

— Ну, поздоровайся с нами!

На лице Алеши недоверие сменяется подобием улыбки. Что-то дрогнуло у него в лице, он медленно поклонился.

— Застегнись! На улице холодно! — говорит Дина.— Сейчас поедем ко мне!

Все четверо направляются к выходу.

По кольцевой дороге едут в такси Алеша, Дина, Нунуш, Лиля.

Водитель такси включает приемник. Звучит музыка, тревожная, в очень быстром темпе.

— Альфред Шнитке! — говорит Лиля.

Поздний вечер. В квартире Дины, в большой комнате, на диване спит Алеша. Во второй комнате, за письменным столом, при свете настольной лампы сидит работает Дина.

Дверь в прихожую из коридора открывается, входит Гузель, с сумкой, с пластинкой в руке, оживленная и веселая.

— А я пластинку купила! Ой, у нас что, опять родственники?

— Тише,— говорит Дина, прижав палец к губам.— Это Алеша, сын Миры. Он поживет у нас!

— Какой еще Алеша? — удивляется Гузель, но Дина снова показывает, чтобы Гузель говорила потише, встает, уводит ее в свою комнату. Здесь шепотом говорит:

— Я тебе все расскажу...

Гузель видит в углу картину с выставки. Это всадница. Гузель обрадованно говорит:

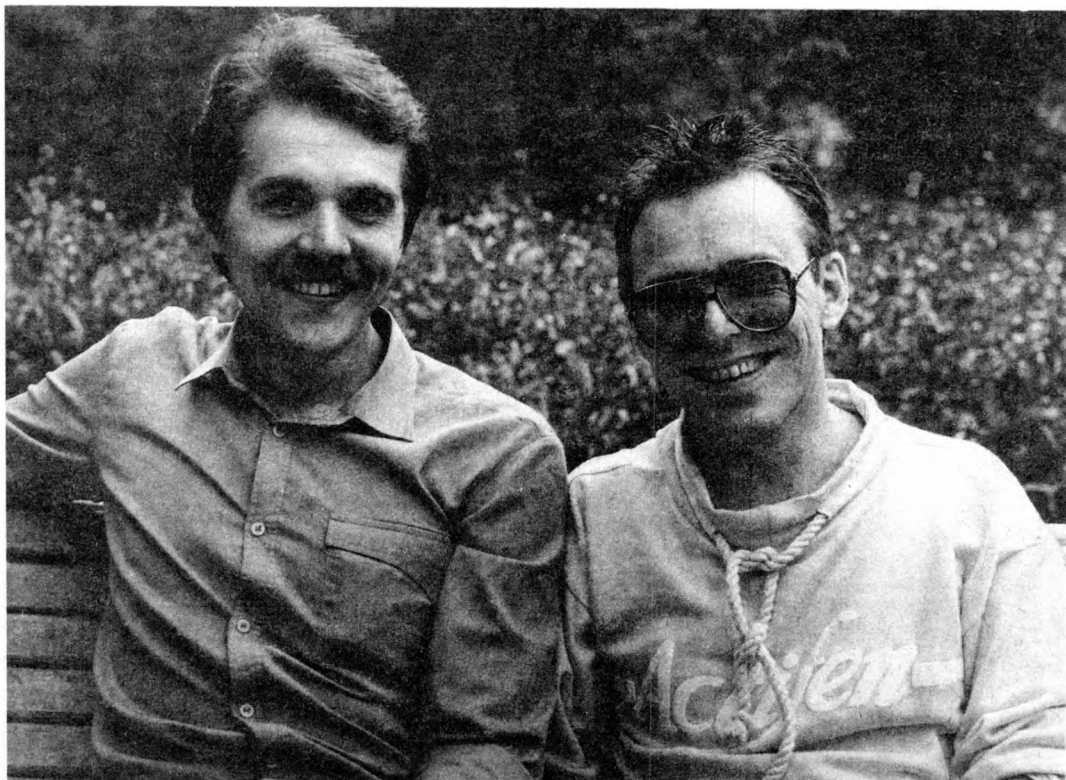
— Хорошо, что эта картина вернулась! Не отдавай ее никому! Пусть она у нас висит! Всегда!

Гузель вешает картину на стену и говорит, вглядываясь:

— Как будто это ты! Или я!..

Дина смотрит на картину.

Картина оживает. Всадница едет по пейзажу дальше. Местность вокруг становится все более угрюмой, неприветливой. Конь отказывается идти дальше. Женщина слезает с коня, берет его за уздечку и бесстрашно ведет дальше, в новые неизвестные дали и пространства.



**Игорь
АГЕЕВ**

**Сергей
БЕЛОШНИКОВ**

«ИЗБЕРИ СЕБЕ ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ...»

Я все это ясно видел.

По перрону мимо отливающих лаком вагонов, мимо вымытых до зеркального блеска окон транссибирского экспресса прогуливались, покуривая и разговаривая, уверенные в себе мужчины в прекрасно сшитых костюмах, аккуратных прическах, загорелые офицеры-отпускники, иностранцы, строгие китайские проводники в униформе и женщины — высокие и невысокие, стройные и не очень, но все в сокрушительно модных летних нарядах, одинаково холёные и тоже бесконечно уверенные в себе. Рядом с ними так же чинно гуляли чистенькие дети и шествовали на поводках вымытые до снежной белизны маленькиe заносчивые собачонки. Обычная вокзальная толпа как-то совершенно естественно их всех обтекала, словно между ними и толпой была невидимая, но очень прочная стена. Толпа была одета похуже и попроще, толпа закручивалась в водовороты, сталкивалась с носильщиками, покрикивающими: «Берегись!..», толпа ругалась, опазды-

вала, плакала и неслась по своим спешным делам под ночными сводами вокзала большого южноуральского города. А потом женский голос объявил по трансляции:

— Внимание! До отхода скорого поезда Москва — Пекин остается пять минут. Внимание!..

И нарядные пассажиры неторопливо разошлись по своим вагонам, без сожаления оставляя причал случайного в их жизни города.

Я все это ясно видел.

Точнее, я видел это не раз и раньше, потому что в данный момент я сидел довольно далеко от перрона возле раскрытых дверей в заброшенном железнодорожном пакгаузе. Я собирался позрять — впервые за целый день. Поэтому я аккуратно разложил на газетке шматок сала, хлеб и пяток яиц, которые осторожно вынул из кармана своей брезентухи. Да, еще у меня были две луковицы и бутылка кефира. Я счистил перочинным ножиком соль с сала на газету и

нарезал его тонкими ломтиками. Открыл кефир.

Мимо меня, постукивая колесами на стыках рельсов, проплывали ярко освещенные окна транссибирского экспресса. Я отхлебывал кефир и машинально считал вагоны. Потом мой взгляд упал ниже, и я увидел за колесами, на той стороне, мечущиеся на одном месте фигуры. На всякий случай я отодвинулся в глубину пакгауза.

Прошел последний вагон, и в отвесатах станционных фонарей мне открылось замечательное зрелище.

Пятеро парней-крепышей метелили ногами шестого, скорчившегося на земле. Они лупили его сосредоточенно и трудолюбиво, какая, словно колоды дрова. Лежащий не орал, не звал на помощь. Может, он уже и вырубился.

Долгая бродяжническая жизнь приучила меня не вмешиваться в чужие разборки, но тут мне стало как-то не по себе: уж больно свирепо его лупили. Поэтому я вытащил из кармана игрушечный никелированный полицейский свисток и, осторожно высунувшись, пустил длинную, пронзительную трель. Бравая пятерка резко остановилась и тут же дружно дернула в темноту. Я подождал — не вернутся ли, но все было тихо. Тогда я подошел к лежащему.

Блестели рельсы, и масляно поблескивала кровь на разбитой башке валявшегося мужика. Но он был жив: когда я тронул его носком башмака, мужик шевельнулся и невнятно что-то пробормотал. Слава богу, водоразборная колонка была в двух шагах. Я подержал избитого под ледяной струей, и он почти самостоятельно добрался до пакгауза. Сам бы я ни в жизнь его не дотащил — весу в нем было, пожалуй, килограммов за девяносто.

...Мы сидели в пакгаузе и трапезничали при тусклом свете одинокой лампочки. Пока мой знакомый, двигая мощными, поросшими щетиной челюстями, перемалывал любезно предоставленную ему половину моего харча, я украдкой его рассматривал. Ему было под сороковник, и казалось, что на нем вполне можно было возить каменные глыбы для перекрытия бурных сибирских рек. Вообще-то в нашем кочующем племени не принято задавать вопросы. Я так прикинул, что последний раз его стригли «под ноль» где-то месяца два назад, не более. На руке у него синела наколка — словно штамп о многолетней и, возможно, неоднократной прописке в отдаленных от мирской суеты местах.

Между тем мужик неудачно откусил слишком большой кусок хлеба и сморщился от боли, приложив ладонь к разбитой губе. Буркнув себе под нос какое-то ругательство, он отсосал из губы кровь, сплюнул и перехватил мой взгляд.

— Чего глядишь? Очень нравлюсь? — неласково спросил он.

Я отвернулся, одним глотком допил кефир и вышел наружу.

...Тщательно вымыв под краном пустую бутылку, я наполнил ее водой. Поглазел на бледно-розовый блик луны, проявлявшийся в ночном небе, и под аккомпанемент перебранки железнодорожных диспетчеров отправился назад.

Мужик стоял, курил в дверях пакгауза. Когда я поравнялся с ним, он молча протянул мне пачку «Стрелы».

— Я не курю, — сказал я, прошел внутрь и стал устраиваться на ночлег — складывать кипу бумажных мешков.

— И не пьешь? — поинтересовался он.

— И не пью.

— Здоровье не позволяет?

Я не ответил. Улегся на мешки и положил рядом с собой увесистую палку. Мужик посмотрел, отшвырнул окурок и тоже улегся неподалеку на мешки. Достал новую сигарету. Некоторое время он курил молча, а потом спросил:

— Давно путешествуешь?

— А твое какое дело?

— Ты этот... как его... хиппи, что ли? С мамой-папой поругался? — посмотрел он на мои патлы и бороду.

— Спокойной ночи, — отрезал я.

— Да ладно тебе обижаться, — примиряюще прогудел мужик. — Схлопотал бы, как я, тоже не очень бы повеселился... Витьком меня кличут...

— Кеша, — чуть помедлив, ответил я.

В проеме разломанных дверей пакгауза прокатила дрезина, на которой, нахохлившись, сидели женщины в оранжевых жилетах.

— Тебе сколько лет? — неожиданно спросил Витёк.

Я почти не удивился его вопросу, потому что мне часто дают меньше моего возраста.

— Тридцать три, — ответил я. — А что?

— Заработать хочешь?

Я хмыкнул.

— Шабашка есть, — сказал Витёк. — В совхозе. Все в ажуре, я отвечаю.

— И сколько?

— Полторы тысячи на брата.

Я даже привстал.

— Сколько?!

— Я тебе русским языком говорю: полтора куска. Камыш надо рубить и маты из него делать, камышит называется. Из него эти, как его, кошары строят, для овец.

— Интересно, сколько времени надо будет за такие деньги горбатиться? Год или два? — съехидничал я.

— Три месяца.

Я уставился на Витьку. А он, глядя на меня, сказал:

— Три месяца, и расчет. Вкалывать, конечно, надо будь здоров. Ну, а бухалова там никакого, баб... От зари до заката. Дурцой не балуешься?

Я не ответил. Слишком фантастично было то, что он говорил.

— Ну, дурцы, в натуре, там тоже не будет... Ну как? — спросил Витёк. — Если согласный, я завтра перед Бригадиром за тебя слово скажу.

— А где это?

— А хрен его знает, — искренне ответил Витёк. — Где-то в степи. То ли Казахстан, то ли Калмыкия. У черта на рогах, в натуре... Ну что?..

— Ты мне еще что-нибудь расскажи про супершабашки для бродяг, — ухмыльнулся я. — Я обожаю сказки на ночь слушать, особенно про длинный рубль.

Соображал Витёк все-таки туговато. Сначала он не понял, потом разлился, усталился на меня, засопел.

— Не веришь — ну и уройся! — рявкнул он. — Скачи по вагонам аж до Воркуты, остряк ухов! На тебя-то ментов хватит!.. Умник волосатый!..

Он еще долго бурчал что-то, отвернувшись к стене, злобствовал. Прошел маневровый тепловоз, пакгауз задрожал, по стенам забегали тени. Я встал, вывернул лампочку, прихватив ее рукавом брезентушки, и лег спать.

Это была уже даже не окраина города — беспорядочно разбросанные кривобокие домишки, огороды, заросшие прудики за насыпью, по которой проходила железная дорога. Шанхай, одно слово.

Было рано, солнце только-только поднялось в безоблачно чистом июньском небе. Я поспешал за широко шагающим Витьком. Мы сбежали с насыпи, прошли мимо покосившихся заборов, покружили-покружили, и Витёк открыл калитку, за которой на замусоренный дворик усталился двумя подследоватыми окошками старый одноэтажный дом. Доносилось мычание коровы. Под ноги нам бросилась облезлая шавка, залилась истерическим лаем. Из сарая выглянула пожилая женщина с вилами в руках.

— Здравсьте, Анна Сергеевна, — поспешно поздоровался Витёк. — Мы к Бригадирю. Вот, с другом.

Тетка что-то неприязненно проворчала и снова скрылась в сараюхе. Витёк мотнул головой, и мы вошли в дом.

Бригадир был мужик утрюмый, здоровенный и какой-то основательный. Он сидел в одной майке за столом и шумно хлебал щи из большой эмалированной миски. Жужжали мухи, чавкал Бригадир. На нас он бросил быстрый взгляд из-под насупленных бровей и ничего не сказал. Кроме него, в комнате

было еще двое: жилистый бродяга с профилем резким и острым, как топор, и его дружок — длинный, шустрый, худой. Он даже на месте усидеть не мог, все время совал руки в карманы, ухмылялся, ерзал на скрипучей табуретке. Оба бродяги дымили папиросами как паровозы.

— Доброе утро, — вежливо сказал я.

Витёк сдернул с головы кепчонку и приспел каким-то чужим голосом:

— Здорово, Бригадир. Вот, кореша своего старинного встретил и дай, думаю, тоже приведу. Он согласный, я ему все рассказал. Работяга что надо, вкалывает будь здоров. Кешкой зовут. Я его тыщу лет знаю, отвечаю, как за себя. Тотже бомж, бродяга, вольная птица. Как говорится, у матросов нет вопросов. — И Витёк натужно посмеялся.

Бригадир облизал ложку и медленно заговорил, постукивая ею по столу в такт словам:

— Это он-то работяга? Это он-то бомж? Что ты мне тут макли квасишь, Витёк?.. Вот настоящий бомж, — ткнул Бригадир ложкой в длинного. Тот с радостью подхватил: — Точник, Бригадир! Я-то — бомж, Бомж-Бруевич! — и заржал, выворачивая кадыкастую шею.

Бригадир, не обращая на него внимания, продолжал:

— А у этого институт на лбу пропечатан. А рядом — семья в столичном городе. Мне рабочие руки нужны, а не всякие там идейные бегуны, бродяги по убеждению. Пусть дальше жизнь изучает.

— Во-во, без Горьких обойдемся. Хватит нам одного Бомж-Бруевича, — вставил жилистый бродяга.

— Заткнись, Огурец, — оборвал его Бригадир. — И вообще — у меня комплект. Так что давай, студент, вали отсюда. К жене и деткам.

Бомж-Бруевич снова заржал:

— Ух ты! Студент! Ух ты!..

— Да ты чо, Бригадир? — начал было Витёк. — Какой же он студент? Да мы с ним... Да я за него головой отвечаю! Что тебе — еще один человек помешает?

— Я же сказал: комплект. Или, может быть, ты хочешь, чтобы я его взял вместо тебя? — сощурился на подплывшее синяками лицо Витька Бригадир. — Так я могу...

Витёк растерянно посмотрел на меня, и я понял, что надо сваливать, и побыстрее. Поэтому, не говоря ни слова, я повернулся и направился к дверям.

...Спешить мне было особенно некуда. Я выкатился из калитки на улицу, поглядел направо, потом налево, прикидывая, в какую сторону лучше двинуть.

Мимо меня пронесся какой-то толстенький низенький человечек в очках, только вместо дужек они держались на резинке. Лицо у человечка было все в каплях пота.

Толкнув калитку, он заспешил к дому, откуда меня только что выперли.

И пока я неторопливо плелся по пыльной улице, провожаемый брехом дворняг, в комнате у Бригадира разыгралась сцена, которая в итоге и решила мою судьбу.

...Толстенкий человечек подскочил к столу и захлопал беззвучно ртом, глядя на Бригадира.

— Почему один, Профессор? — мрачно поинтересовался Бригадир. — А где второй?

— Видите ли... Я ему говорил, пешком дойдем, а он: на автобусе, на автобусе! А сам-то после вчерашнего еще не просох... Ну, отъезд мы отмечали... А в автобусе он на женщину какую-то бухнул. Крик там... матюги!.. А шофер, гад, прямо к вытрезвителю привез! И замели, я сам еле-еле слинял... Да вы не думайте, я сей секунд кого-нибудь другого найду!

— Когда, мать твою?! Козел ты очкастый, поезд наш через час, душу твою в три гробины господя нашего мать! Ну, сволочуга!..

Профессор съезжился и покорно внимал потоку великого русского языка, свободно и мощно льющегося изо рта Бригадира:

— Алкаш вонючий, где ты сейчас пятого найдешь?! Душу бы из тебя вытрясти, раздолбай, жопа безродная!.. — Он вытер пот со лба.

В комнате повисла тишина, только мычала корова в хлеву. Бригадир отпил воды из ковшечки и, набывчившись, посмотрел на Витька.

— Эй! Э-э-эй! — услышал я чей-то крик и обернулся.

Кричал Витёк. Он, размахивая руками, пылил ко мне. Я дождался его.

— Пошли, — сказал запыхавшийся Витёк. — Бригадир зовет.

— Зачем?

— Надо. Поговорить хочет. Только ты это... Не залупайся там болше.

— А я и не залупался...

— Ну, это... у тебя вид такой, будто ты все время залупаешься.

...Через пару минут я снова стоял перед Бригадиром.

— Родня есть? Мать, отец, жена?

— Нет. Считаю, что нет.

— Сколько лет гопничаешь?

— Не считал... Давно.

Бригадир помолчал.

— Работать будем, пока не закончим объект, — объявил он не предвещавшим ничего хорошего голосом. — Может, три месяца, может, пять, аж до холодов. Все от нас зависит. Быстрее сделаем — быстрее деньги получим. Никаких выходных. С сегодняшнего дня и до конца работы — никакой выпивки.

Резко погрузился Профессор. Бомж-Бруевич крикнул. Витёк переглянулся со мной.

— Я для вас теперь и царь, и бог, и отец

родной. Ясно? Документы — мне! — и припечатал ладонь к столу.

Огурец первым, словно ждал этих слов, выдернул из кармана свой паспорт. Бригадир пролистал его. Потом отдал свои документы Профессору. Бригадир повертел в руках листок бумаги:

— Когда вышел из ЛТП?

— Месяц назад, — потупился Профессор.

— Ну, смотри у меня...

Мой замзванный паспорт эмоций у Бригадира не вызвал. А Бомж-Бруевич, приплясывая, уже протягивал руку с какой-то книжечкой:

— Пожалуйста, гражданин начальник!

— Это что такое? — нахмурился Бригадир.

— Читательский билет, — охотно пояснил Бомж-Бруевич. — Городской библиотеки имени Крупской. Город Абакан.

— Фамилия — твоя?

— Не то слово, — оскалится Бомж-Бруевич.

— И это все?

— Милиции хватает, — ответил скромно Бомж-Бруевич и захохотал, как умалишенный.

А вот у моего старинного кореша Витька Бригадир ничего не спросил, хотя, как я понимаю, у Витька-то как раз ничего и не было.

— Пошли, — сказал Бригадир, сняв с гвоздика пиджак. — И поменьше языками трепите.

Пассажирский поезд не спеша тащился на юг.

В плацкартном вагоне мы заняли купе — четыре обычные и две боковые полки. Народ ехал самый разнообразный: колхозники, солдаты, мешочники, семьи и среди всех прочих — наша великолепная шестерка. В вагоне звучал смех, плакал младенец, изредка вспыхивали перебранки. А управляла всем этим табором проводница тетя Поля — дородная хохлушка бальзаковского возраста.

Мы с Витьком заняли верхние полки. Бригадир и Профессор — нижние, а Огурцу и Бомж-Бруевичу достались боковые. Но сейчас все собрались возле столика, потому что в центре внимания был Бомж-Бруевич. Он показывал фокусы.

— Внимание почтеннейших корешей, — приговаривал Бомж-Бруевич, тщательно перетасовывая засаленную колоду карт. — Прошу всех желающих загадать свою карту.

Он показал нижнюю карту Огурцу:

— Запомнил?

Огурец кивнул. Бомж-Бруевич, не глядя на карты, сдвинул колоду, показал новую нижнюю карту Профессору. Профессор носом буквально обнюхал карту — это была шестерка пик.

— Тоже запомнил? — спросил Бомж-Бруевич.

— Запомнил, запомнил.

Бомж-Бруевич с чрезвычайно таинственным видом разделил снова перетасованную колоду на две равные части, потом еще на две и отсчитал сверху пять карт. Шестую открыл и хлопнул о стол. Это был король.

— Твоя! — торжествуя объявил он Огурцу.

— Хрен, — ответил Огурец.

— Быть того не может, — запротестовал Бомж-Бруевич. — Ты вспомни, вспомни.

— А чего мне вспоминать, — обозлился Огурец, — я не склеротик.

Бомж-Бруевич на секунду задумался, отсчитал еще пять карт и шмякнул на столик шестую — валета.

— А это твоя, Профессор!

— У меня была шестерка, — запротестовал Профессор.

— Сам ты шестерка! Твоя карта!

— За шестерку можно и схлопотать, — надулся Профессор.

— Ну ладно, ладно. Какой обидчивый. Ну, рука подвела. Факир был пьян, и фокус не удался!

Бомж-Бруевич засмеялся и смешал колоду.

— Сейчас я вам другой фокус покажу, получше, а потом мы с тобой, Профессор, в «очко» перекинемся. На будущие миллионы!..

Но показать новый фокус Бомж-Бруевич не успел. Поезд стал замедлять ход. За окном потянулись постройки какой-то небольшой станции. Поезд дернулся и остановился. Бригадир встал и поманил Бомж-Бруевича за собой:

— Пойдем, пожрать купим.

— О-о! Ай да начальник! Ну отец родной! — обрадованно вскочил Бомж-Бруевич. Они вышли, а нам на ходу Бригадир бросил:

— Никуда не ходить, Витёк за старшего.

За окном бегали пассажиры, яркое солнце заливало обшарпанное здание станции и пыльные деревья возле платформы. Витёк залез к себе наверх, надвинул на глаза кепочку и затих. А Огурец посмотрел на меня, на торчащий сверху локоть Витёка, как-то заозирался, а потом выскочил и быстро вернулся со стаканом, наполнив наполенным водой. Вытащил из внутреннего кармана пиджачка плоскую стеклянную бутылку с жидкостью нежно-зеленого цвета, отвинтил пробку и бережно долил ею стакан доверху. Получилась мутно-белая смесь.

— Огурчик, родной, родной, дай глоточек, отслужу, — зашептал Профессор.

Огурец, не обращая на него внимания, хекнул и мгновенно засосал стакан. Лицо у него перекошилось, он шумно выдохнул и занюхал рукавом. И так же быстро Огурец подхватил пустой стакан и убежал.

— Вот ведь, — пожаловался мне Профессор. — Одеколону паршивого пожалел...

Я ничего не ответил. Огурец вернулся и плюхнулся на скамью. Лицо у него пошло красными пятнами. Послышался гудок теплового, и почти сразу в купе вошли Бригадир и Бомж-Бруевич, навьюченные свертками с едой и бутылками с лимонадом.

— Во сейчас похаваем! Натуральный продукт, сельские радости! — возбужденно говорил Бомж-Бруевич, выкладывая на столик зелень, редиску, сало.

А Бригадир, поставив бутылки, сел рядом с Огурцом, вытащил из кармана складной нож и уже начал было резать каравай, как вдруг остановился, потянул носом воздух, принюхался к Огурцу. Тот засуетился, схватил луковку и разгрыз. Бригадир долго смотрел на него, потом поднялся и положил руку на плечо Огурцу.

— Пойдем-ка покурим, — сказал Бригадир.

Они с Огурцом вышли. Мы молчали. Поезд набирал скорость. Бомж-Бруевич вскочил и побежал за ушедшими.

Вагон покачивало на ходу. Бесшумно с верхней полки прыгнул Витёк, выбрал редиску побольше, с хрустом откусил. Профессор забился в угол, обхватил себя руками, закрыл глаза. Видать, у бедняги началась крутая абстиненция. По радио сладким голосом пел Леонтьев.

На щипочках, хватаясь за углы полок, вернулся Бомж-Бруевич, упал на матрас, зашептал, мельтеша зрчками:

— Ну-у!.. Я в тамбур заглянул, а Бригадир — р-раз! Дверь — настезь, огурцовский фуфурь — бряк об рельсы! А потом Огурца за шкирятник и, считай, туда же — держит почти на весу! А скорости!.. Ну-у!.. Огурец блажит, в штаны наложил!.. Ну! Сухой закон, как в Америке, ёксель-моксель!.. А я-то думал... — и осекся, потому что в купе боком проскользнул Огурец.

Теперь он вполне оправдывал свое прозвище — был зеленого цвета, и глаза вылезли, как пупыри. Сидел на боковой полке, на нас не смотрел.

Возникла неловкая пауза. Все старательно делали вид, будто не в курсе того, что произошло в тамбуре.

Вошел Бригадир, уселся как ни в чем не бывало, стал крупными ломтями нарезать хлеб. Я смотрел на его руки — жилистые, в мелких беловатых шрамиках. В купе заглянула проводница, улыбнулась Бригадиру:

— Петр Николаевич, можете забирать чаёк...

— Спасибо, Поленька, — так же с улыбкой ответил Бригадир.

Мы с Витёком переглянулись.

— Я схожу! — вскочил Огурец.

Бригадир молча кивнул. Потом оглядел нас, ухмыльнулся:

— Что приуныли, работнички?.. Налетай на закусь,— и первый шмякнул сало на хлеб.

Мы с Витьком стояли в тамбуре и курили. За окном проплывал холмистый пейзаж, сдвигались и снова разбегались линии электропередач.

— Я уж и забыл, когда так ездил,— признался я.— Вагон, билет... В лучшем случае — товарняк или попутка. А в поезде... обычно то на тормозной площадке...

— А я помню,— серьезно сказал Витёк.— Пять лет тому назад ехал на юг, в Симферополь. В купейном вагоне, со всеми удобствами и...— Он внезапно осекся, замолчал, затянулся сигаретным дымом и сказал: — А бугор ничего у нас мужик, правильный. С нами только так и нужно. А с таким, как он, не пропадешь. Как думаешь, а?

Я пожал плечами:

— Да кто его знает... Мужик-то он действительно строгий, но по делу... Лишь бы с расчетом не облапошил, а то на посулы-то все ласковые.

— Эт-точно,— вздохнул Витёк.— Мне сейчас деньги ой как нужны...

Бригадирову широкую спину я увидел в противоположном конце вагона — он любезничал с нашей проводницей.

А в нашем купе соловьем заливался Бомж-Бруевич. Он сидел по-турецки на нижней полке и вещал про светлое будущее:

—...Особенно большой-то и не надо. Так, комната, кухонька с печкой. Ну, посуды какой-никакой подкупили, пару поросятков. Откормлю их, к Рождеству забью. Будет и мяско, и сало. Одного обменяю на говядинку... Я все рассчитал, братцы, я, знаете, каким хозяином был — у-у-у!.. Самогонки наварю, капустку засолю. Сяду вечером, стопочку налью... За окном — холодоюга, метет, а я в тепле, как человек... Ну, а с мужиком-то нынче в селе напряженка, так что, глядишь, поживу-поживу да и прибалуюсь к какой-нибудь вдовушке под теплый бочок, а?! А что, я еще в самом соку, отъемся, найду себе бабу вот вроде нашей проводницы — сладкую-у-у! Ёксель-моксель! А что, потом и вовсе завяжу, осяду в селе, что я — хуже других?! На работу устройсю, я ведь и трактор могу водить. Ну, или на ферму пойду — там столько зарабатывают! — вместе со вдовушкой. А там телятки...

— Телятки? — вдруг влез в его монолог Огурец.

— Ну да, телятки! — восторженно подтвердил Бомж-Бруевич.— Маленькие такие! Мордочкой в ладонь — тырк! А губки теплые!..

— Да ты если эти полторы тыщи и заколотишь, то в первом же кабаке все до копейки и спустишь! — зло обломил его Огурец.— Что я тебя, не знаю? Алкан Полканыч!..

Бомж-Бруевич растерянно посмотрел на Огурца, потом на нас. Профессор вздохнул и опустил глаза. Бомж-Бруевич как-то скривился, махнул рукой и полез к себе наверх, на боковушку. Повернулся к стене.

— Ну и свинья же ты, Огурец,— тихо сказал Профессор.

— А что я, неправду сказал?

Профессор что-то пробурчал и тоже лег на своей полке. И Витёк залез к себе. Мечты закончились, мы снова стали теми, кем и были на самом деле,— бродягами, бомжами.

Я лег наверху, достал из кармана своей брезентухи старый потрепанный номер «Искателя» и начал читать. Далеко впереди закричал тепловоз, словно ставил последнюю точку в нашем разговоре.

Я спрыгнул на гравий железнодорожной насыпи и огляделся. Поезд остановился прямо посреди степи на каком-то полузаброшенном разъезде. В стороне виднелась среди чахлах деревьев будка обходчика. Едва мы шестером очутились на земле, как раздался гудок и мимо покатались вагоны, словно поезд остановился только для того, чтобы встряхнуть нас в этом богом забытом месте. Удаляясь в предзакатном воздухе красные огни хвостового вагона.

— Пошли,— скомандовал Бригадир.

Мы перешли на другую сторону насыпи и цепочкой потопали за ним вдоль железки.

Мы дошли до ручья, свернули и через некоторое время увидели в лоштинке, заросшей кустами, глинобитную хибару. Возле хибары стоял «КамАЗ» с брезентовым тентом.

— Это что, здесь и будем вкалывать? — спросил Профессор.— Ничего себе местечко!..

— Специально для тебя выбирали,— откликнулся неунывающий Бомж-Бруевич.

Бригадир же ничего не сказал, тяжело затопал по суглинку к машине. Он подошел к кабине и треснул по дверце кулаком. Дверца распахнулась, и оттуда высунулась заспанная физиономия водителя. Это был казах лет двадцати пяти. Зевая, он посмотрел на нас равнодушным взглядом и что-то тихо спросил у Бригадира. Бригадир так же тихо и коротко ему ответил. Повернулся к нам:

— Залезайте в кузов. Ехать далеко, устраивайтесь.

Мы дружно полезли в кузов. Там лежали маты — переплетенный проволокой камыш. Поверх — куски брезента и несколько больших охапок сена.

— Ого-го! — заорал Бомж-Бруевич и кувырнулся в сено.— Живем, бомжары!

Грузовик дернулся, рванул на скорости и мы с воплями и смехом повалились друг на друга. Хлопал полупущенный полог над задним бортом, грузовик уже всюю вылил по степи, и Бомж-Бруевич от переизбытка впечатлений вдруг заголосил:

Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня!..

И мы в пять луженых глоток дружно заревели:

Выбери меня, выбери меня
Птица счастья завтрашнего дня!..

Я проснулся от толчка, открыл глаза и не сразу вспомнил, где нахожусь. Грузовик стоял. Рядом со мной, свернувшись калачиком, причмокивал во сне Профессор. Надрывно храпел Витёк. Огурец с Бомж-Бруевичем тоже спали как убитые. Было темно, и я понял, что еще глубокая ночь.

Я на четвереньках подполз к заднему борту, приподнял полог и вздрогнул. Вокруг пластался туман. Он струился в ночи, и из него появлялись лошадиные головы, крупы, гривы. Лошади выплывали из тумана почти бесшумно, только иногда слышалось легкое всхрапывание: они плавно огибали грузовик и так же неспешно таяли в туманной пелене. В глазах лошадей — огромных, бездонных — отражались огоньки стоп-сигналов грузовика, и от этого глаза их казались по-волчьим алыми. Бесконечный косяк с едва слышным ватным топотом протекал по ночной степи. А над ним сквозь молочного-голубой туман проблескивали колючие огни звезд.

От кабины слышались голоса Бригадира и водилы. Слов мне было не разобрать. Зажурчала, разбиваясь о землю, струйка. Потом мягко хлопнули дверцы, и грузовик, набирая скорость, покатыл сквозь лошадиное озеро, сквозь туман куда-то по степи, а может быть, и по бескрайнему ночному морю...

— Вылезай, приехали! — заорал чей-то веселый голос, и я сразу проснулся.

Откинув полог, мы один за другим прыгали на землю. Орал загорелый дочерна светловолосый парень — эдакий улыбающийся викинг. На нем была выгоревшая рубаха и лняные джинсы, заправленные в тяжелые высокие башмаки. Парень как парень: белозубый, симпатичный, только вот на плече у парня висела вещь, которую я никак не ожидал здесь увидеть, — автомат. «Калашников» калибра 7,62. Из-за грузовика вышел Бригадир, шепнул что-то на ухо парню и направился к синему строительному вагончику на

колесах. Над вагончиком торчала удочка радиоантенны, и из трубы вился дымок, едва видный в прозрачном утреннем воздухе.

Грузовик отъехал. Я огляделся, и мне стало нехорошо.

Неподалеку расстиралось огромное соляное озеро. Часть берега по дуге была опоясана двойным рядом колючей проволоки на столбах. В ограде были ворота, тоже опутанные проволокой. В двух местах стояли сторожевые вышки с небольшими прожекторами. По обе стороны колючки, насколько хватало глаз, берег порос островками поломанного, прореженного тростника. Дальше он начинал расти гуще, но это было уже где-то там, в синей дымке. За колючей проволокой три невысоких барака, крытых матами из камыша. А по эту сторону колючки располагались белёные домики, передвижная электростанция и два «уазика» со снятым брезентовым верхом. Деловито сновали несколько мужиков в таких же, как у парня, выгоревших шмотках, и у каждого за спиной болтался многозарядный охотничий карабин, а у одного — такой же, как у Весельчака, автомат. В теньке у вагончика сидели на привязи, вывалив языки, три здоровенные среднеазиатские овчарки.

— Подравняйтесь, бараны! — снова заорал Весельчак с «калашниковым».

Мы машинально встали в ряд. И тут Профессор дернула нелегкая. Он сделал шаг вперед и высоким от страха голосом спросил:

— А по какому, собственно говоря, извините, праву вы на нас бухтите? И что все это значит? — он обвел широким жестом колючку и бараки.

Весельчак долго не объяснял. Он шагнул к Профессору и мгновенно врезал тому ногой в пах. Профессор рухнул на землю. Отключился, даже не охнул.

— Еще есть вопросы? — поинтересовался Весельчак. Мы молчали.— Тогда быстро взяли его и бегом к воротам!

И на нас уставилось дуло автомата.

А пока с нами тут разбирались, в вагончике происходило следующее.

...Бригадир вошел в него и остановился перед столом. На столе попискивала переносная армейская радиостанция. На печке пыхтел чайник. В углу стоял холодильник, картонные коробки с импортными наклейками. За столом сидел лысоватый крепкий мужчина лет этак тридцати пяти. У мужчины был колюче-острый взгляд. Под этим взглядом Бригадир как-то резко увял. Он вытащил наши документы и осторожно положил их на стол перед лысоватым.

— Комплект? — спросил лысоватый.

— Сколько просили. Один без ксивы. Во-он тот, здоровый.

Лысоватый глянул в окно. Нас как раз выстраивал Весельчак. Лысоватый открыл не-

большой сейф, стоящий возле стола, достал пачку денег, перетянутую резинкой, и бросил перед Бригадиром.

— Тысяча. Пересчитай.

— Да чего уж там...— Бригадир сунул деньги за пазуху и задом выкатился из вагончика.

Лысоватый отодвинул в сторону пиалу с зеленым чаем, взял наши документы. Он заглядывал в них и спокойненько швырял в открытую дверцу печки, в огонь. И паспорт Огурца, и читательский билет, и справку из ЛТП. Вот только на моем паспорте он споткнулся. Вгляделся в фотографии, полистал. Поглядел в окошко.

...А там, мимо нас, не обращая внимания на происходящее, прошел к «КамАЗу» Бригадир. Мы с Витьком подхватили Профессора. Перед нами трусили Огурец и Бомж-Бруевич. А вокруг, до самого горизонта, расстилась полупустель, полупустыня.

— Знаешь,— выдохнул на ходу Витёк,— я два месяца как из зоны, но даже там так круто не начинали...

Мы волокли беднягу Профессора по пыльной земле прямехонько к воротам в рай.

...А в вагончике тем временем шел разговор между лысоватым и водилой нашего грузовика.

— ...И еще Сафар просил сказать, что замену сможет прислать только через неделю. Может быть, через пять дней,— говорил водила с сильным акцентом, стоя перед лысоватым.

— Через неделю?..— переспросил лысоватый, думая о чем-то своем.

— Через неделю, через неделю,— закивал водила.— Совсем людей сейчас нет...

Лысоватый покосился в сторону «КамАЗа», на котором нас привезли.

...В кузов «КамАЗа» вооруженные парни осторожно затаскивали носилки. На носилках под одеялом лежал человек с перебинтованной головой.

...Лысоватый посмотрел на мой паспорт и сказал водиле:

— Насчет замены я сам с Анжаром свяжусь. Иди.

— Шевели копытами, баран! — рявкнул Весельчак, подталкивая меня в спину дулом автомата.

Я чуть не упал, чудом удержался на ногах и буквально вспорхнул по ступенькам в вагончик.

Едва лысоватый качнул головой, Весельчак испарился, а я остался стоять перед столом.

Лысоватый молча сверлил меня своим ледяным взглядом.

— Вот уж кого я меньше всего ожидал здесь увидеть,— наконец сказал он.— Признал?

— Признал,— откликнулся я без энтузиазма.

— Как же ты дошел до жизни такой? — усмехнулся лысоватый.— Бобер?.. Или как тебя теперь?

— До какой жизни?

— До такой,— он рукой смерил меня с головы до ног.— До помоечной. Ты ведь всегда был пай-мальчиком.

Я вздохнул:

— Долго рассказывать.

— А ты куда-нибудь спешешь? — это был юмор.

Я промолчал.

Лысоватый взял со стола пачку «Мальборо», протянул мне. Я отрицательно мотнул головой. Он неторопливо закурил.

— Ладно, Бобер... Я не отдел кадров, мне твоя анкета ни к чему. Так вот... Привезли тебя сюда, чтобы ты сидел за колючкой, ходил на работу, резал там тростник и вязал из него камышит. Маты то есть. Чтобы получить свою пайку жратвы, воды и курева, надо пахать от зари до заката, что ты и будешь делать, иначе пожалеешь, что появился на белый свет... Но тебе повезло.

Он замолчал, посмотрел, как у самых ворот Весельчак обыскивает моих товарищей, отбирая все, что считает нужным.

— Повезло? — сощурился я.

— Именно. Тебе крупно повезло, что здесь ты встретил меня. Можешь считать, что ты второй раз родился, потому что у тебя появился шанс, а я попробую договориться... Думаю, что договорюсь,— тут он ухмыльнулся,— в память о нашей веселой юности. Договорюсь и возьму тебя к себе в команду, на место во-он того бедолаги на носилках. Кстати, за это хорошо платят. Очень хорошо. Работа не пыльная. Жратва, вода и курево в неограниченном количестве. Доволен?

— А если я не соглашусь? — спросил я. Он посмотрел на меня, как на психа.

— Отправься за колючку и станешь бараном... Ты, видать, не понял еще. Выбор-то у тебя невелик. Либо ты пастух, либо — баран. А у твоих приятелей так вообще... нет никакого выбора.

Я посмотрел на него и сказал:

— Дай сигарету.

Я затаился, закашлялся, а когда прочистил горло, спросил:

— А бараны?

— Что бараны?

— Ну... пастухам платят, а баранам?

— Бараны пашут. И никого не волнует — сколько и за что.

— До конца сезона?

Лысоватый снова ухмыльнулся и сказал очень внятно:

— За одним сезоном всегда наступает дру-

гой. Степь-то — она большая. Работа всегда найдется.

— Мне надо подумать,— сказал я.

— О чем? — не понял он. — Да ты что, Бобер?.. Я ж говорю: тебе жутко повезло, осво-бодилось место. Ты учти, я здесь начальник, но надо мной тоже люди есть, они ждать не будут. Но я попробую договориться. А попа-дешь за колючку — назад хода не будет.

Я аккуратно загасил сигарету, спрятал чи-нарик в карман и повторил:

— Мне надо подумать.

Лысоватый захохотал, затряс головой:

— Нет, ты не понял еще... Жду до завтра, до утра. — Он подошел к двери, открыл и крикнул: — Забери новенького!

К вагончику подбежал Весельчак.

Лысоватый протянул мне три сигареты и сказал:

— Думай, Бобров. Крепко думай.

Все тот же Весельчак погнал нас пятерых берегом озера по утоптанной дороге. Береговой тростник возле лагеря был буквально выгрызен: он уже пошел в дело. Мы быстро и молча шли вперед — после «радушной» встречи ни у кого не возникало желания разговаривать. Солнце поднялось над горизонтом и начало прилекать. Правда, теперь у каждого из нас на голове красовалось по выгоревшей зеленой панаме, а у Профессора — полотняная грязная шапочка с пластиковым козырьком и полустертой над-писью «Балтийская регата». Еще нам выдали матерчатые рукавицы.

— Вам здорово повезло, засранцы,— улы-баясь, рассуждал на ходу Весельчак. — Све-жий воздух, физический труд, простая здоро-вая жратва — что еще надо советскому человеку для полного счастья? Вот разве что с бабами у нас не очень, ну да это только на пользу. Так что считайте, что вы попали на трудовое перевоспитание. Будете вспо-минать это время с чувством глубокого удовлетворения. — И, заржав, продолжил: — Сачков и выступал у нас здесь не любят. Надо вкалывать и не задавать вопросов. Ина-че не получите пайку. Верно я говорю, оч-кастый? — хлопнул он по плечу Профес-сора. Профессор не ответил. А Весельчак сно-ва засмеялся и сказал: — Так что, бараны, запомните: кто не работает, тот не ест! — И засвистал какой-то незатейливый мо-тивчик.

Впереди уже показались густые прибреж-ные заросли тростника. Возле них вязали маты из уже срезанного, высохшего трост-ника человек пятнадцать: в таких же, как и у нас, панаме и шапках, загорелые, мол-чаливые. Когда нас подвели, никто даже не посмотрел в нашу сторону.

— Сесты! — скомандовал Весельчак, и мы мигом плюхнулись на траву.

Весельчак подошел к двум вооруженным пастухам, которые чуть поодаль сидели под тростниковым навесом. Там же стоял большой молочный бидон, полевая рация «Уро-жай» и разложенный на ящичке харч. Ве-сельчак поговорил с пастухами, показывая на нас. Кружкой зачерпнул из бидона воды, попил и не оглядываясь зашагал обратно к лагерю.

Один из пастухов — белобрысый грузный мужик с поросячьими ресницами — лениво поднялся и, держа в руках «калашников», подошел к нам, скользнул пустым взглядом по нашим лицам и гаркнул:

— Старшой!

От работающих отделился человек. Я еще раньше заметил, что в отличие от остальных баранов он не работал, а только прохаживался между ними, держа в руке плетку из тяжелой сыромятины. Такие же плетки были и у пастухов. Человек с плеткой подбежал к нам и остановился, преданно глядя пастуху в глаза.

— Объяснишь новичкам, что и как делать. Пошел,— с заметным прибалтийским акцен-том сказал пастух старшому.

— Встать, собак паршивый! — заорал ба-ран с плеткой — коренастый татарин неопре-деленного возраста.

Мы вскочили, только Бомж-Бруевич за-мешкался: перевязывал шнурок на ботинке. И тут же старшой перетянул его плеткой по хребту. Бомж-Бруевич взвыл и, как зенит-ная ракета, стартовал от земли. Старшой назидательно заметил:

— Здесь тебе — не там. Это не у мамка на печка щи хлебать. Айда работа делать.

Солнце стояло в зените, воздух над степью и неподвижной озерной гладью стру-ился и плавился. А мы вкалывали. Работа была несложная. Укладываемый камыш в плот-ные ряды, перевязывая мягкой проволокой и отгаскивая в сторону, где готовые маты подравнивали на большом резаке два барана. Я работал в паре с Витьком. Работали молча, только изредка слышались отрыви-стые фразы:

— Давай сюда... Проволоку... Помоги-ка...

Першило в горле, пот струился по телу. От навеса доносилась из транзистора про-грамма «В рабочий полдень». Мы работали у самого края озера. Время от времени кто-либо из баранов подходил к воде, мочил па-наму и, мокрую, натягивал на голову. Стар-шой этому не препятствовал. Рядом с нами в паре работали Профессор и Бомж-Бруевич. Огурец подтаскивал высохший тростник. От воды вернулся как раз худой баран с редкой рыжей бородкой. На нем, кроме штанов,

была только серая майка в белых от высохшего пота разводах. Бомж-Бруевич выпрямился, быстро подбежал к озеру. Зачерпнул панамой воды, отхлебнул и тут же выплюнул ее, сморщился. Вернулся обратно и негромко сообщил:

— Кранты, братцы!.. Это не вода.

— А что же? — спросил Профессор.

— Рассол, ёксель-моксель! Вонючий горький рассол... моча верблюжья...

Вода стекала с мокрой панамы на его обескураженное лицо.

— А ты мочу когда-нибудь пил? — поинтересовался Огурец.

— Да что ж это они, жадной. Решили нас уморить? — не обращая внимания на огурцовскую реплику, растерянно спросил Профессор. — Что ж нам теперь, подышать, что ли?.. Да что ж это такое, господи?

Вопросы повисли в воздухе. Но тут старшой заорал:

— Шабаш!

Я оглянулся. По дороге к нам пылил «уазик». Он подлетел, лихо развернулся. Кроме шофера, в нем сидели пастух с карабином и два барана. Бараны вытащили из машины большой зеленый термос, приволокли к нам. Так же быстро принесли охапку алюминиевых мисок и ложек.

Наши бараны привычно, даже не очень толкаясь, выстроились в очередь...

Я сидел рядом с Витьком и уплетал из миски рисовое варево с овощами. Изредка попадались волоконца какого-то мяса. Я подцепил такое волоконце и повертел перед глазами.

— Это что, как думаешь?.. Конина, что ли? — спросил я Витьку.

— Человечина, — кратко ответил Витёк и даже не улыбнулся.

— Ну тебе чertу, — я даже слегка опешил. — Скажешь тоже...

Те из баранов, кто уже поел, шли к воде, мыли миски и отправлялись к навесу, где стоял бидон с водой. Там старшой наливал в миску воды.

Я, жадно глотая, выхлебал свою порцию воды и вытряс капельки в рот. Поставил миску в стопку других и пошел к Витьку и Огурцу, сидящим на тростниковом мате возле берега. Витёк достал пачку сигарет, вытянул две — себе и Огурцу. И я вытащил чинарик.

— Дай прикурить, — сказал я Витьку.

— Ты ж вроде некурящий, — удивился Витёк, протягивая дымящуюся сигарету.

— Был, — вздохнул я.

Сбоку к нам подошел и присел на корточки тот самый худой баран с рыжеватой бородой, умильно посмотрел на Витьку и тихо попросил:

— Кореш, дай дернуть, а?

Витек чуть помедлил и протянул ему

целую сигарету. Баран схватил ее, прикурил и жадно затянулся.

— Ух, кайф... Спасибо, корешок...

Лицо у него было костистое, обтянутое темно-коричневой кожей. Только в складках морщин прятались белые незагорелые черточки.

— Вот спасибо так спасибо, — еще раз поблагодарил худой. — А то я свою пайку еще вчера приговорил...

— И давно ты здесь? — спросил его Огурец.

— Давно, третий месяц...

— И что, так и вкальваешь? Вы что, охренели? Это ж концлагерь! Надо ж дергать отсюда! — быстро зашептал Огурец. Мы с Витьком молчали.

— Куда? — грустно улыбнулся худой.

— Куда угодно! Что, и никто не пытался?

Худой покосился в сторону озера, вздохнул:

— А зачем?.. Везде одно и то же для нашего брата, куда ты ни...

И вдруг быстро встал и почти отбежал в сторону, но не успел скрыться от взгляда, потому что подошедший старшой ударил его плетью — не очень сильно, правда.

— Зачем болтаешь, Пластырь?

Рыжебородый Пластырь схватился за бок, по которому пришлось плетью старшого, но ничего не сказал. А старшой шагнул к нам, сидевшим на мате, посмотрел сверху вниз и вдруг, сделав неуловимое движение, хлопбыстнул Огурца по плечам. Удар свалил Огурца навзничь, он заорал. Я было вскочил, но Витёк поймал меня за штанину и повалил обратно на мат. Никто из баранов даже не обернулся.

— Не надо говорить, — сказал старшой. — Отдыхать надо. — И пошел в сторону навеса, под которым сидели пастухи-охранники.

— Ну ладно, морда татарская, — процедил Огурец, глядя на удаляющуюся спину, — я тебе устрою отдых...

— Не кажи гоп... — мрачно сказал Витёк.

Солнце, красное, как глаз светофора, скапывало к горизонту.

— Бегом, бегом, быстро! — орал пастухи.

Топоча по утрамбованной земле, в ворота лагеря вбегали бараны.

— Первая бригада!

И человек двадцать понеслись к открытым дверям барака, возле которых стоял бидон с водой и на нем — кружка. Остановились.

Пастух с карабином начал громко считать: — Один, два... четыре... тринадцать...

Каждый из баранов под недремлющим оком пастуха заглывал свою кружку воды и исчезал в дверях. Предпоследний, девят-

надцатый баран, вбежал в дверь. Старшой в этой бригаде отдал плетку пастуху, выхлебав воду и тоже нырнул в барак.

— Двадцать! Все на месте! — крикнул пастух.

Посреди лагеря, на утоптанном плацу, возле вкопанного в землю столба, стоял пастух с желтой кобурой на поясном ремне. Лицо у него подергивалось, и от этого он изредка подмигивал — сразу обоими глазами. Рядом с ним, опершись на автомат, сидел на корточках Весельчак. Охранник с кобурой кивнул, и пастух мгновенно запер дверь в барак на засов и висячий замок. Все происходило чрезвычайно быстро — по всему было видно: процедура отработана до автоматизма.

— Вторая бригада! — рявкнул пастух, и мы понеслись к своему барaku.

Чуть в стороне от нас дожидалась своей очереди третья, последняя бригада.

Мы по счету, выпив свою пайку воды, влетели в барак. Последним заскочил старшой — уже без плети. Дверь хлопнула, проскрежетал ключ в замке, и мы все оказались в полумраке барака. Только сквозь редкие щели в дощатых стенах просачивались оранжевые лучики света. Негромко переговариваясь, бараны расходились по своим местам: к тем камышитовым матам, на которых валялись куски мешковины, брезента, заменяющие одеяла.

— А нам-то куда? — тихо спросил Витька Огурец.

Но Витёк не успел ответить. К нам подошел старшой. В руках он держал четки — коричневые финиковые четки. Пальцы у него двигались. Я почувствовал, как у меня сами собой сжимаются кулаки, но старшой вдруг улыбнулся и сказал:

— Не надо злорада на меня держат. Здесь такой закон. Работать можно, говорить на работа нельзя. Сегодня я твой хан, завтра ты: плетка бери, мой хан будешь. Потом он, — старшой ткнул пальцем в Профессора. — Потом другой — хан. Каждый день новый хан — такой закон. Назыр меня зовут.

— Что ты горбатого лепишь? — проворчал Витёк. — Какой еще хан, падла?..

— Каждый день назначается новый бугор, с плеткой, — возник сбоку, держа в руках кусок мешковины, Пластырь. — Назыр правду говорит. Мы сами себя и пасем, корешки... — И отошел.

— Да-а-а... вот это я понимаю, вот это система, — задумчиво протянул Профессор. — Почисте, чем во времена незабвенного товарища Джугашвили. Прогресс не стоит на месте, господа бараны.

— Ван там у стенка спать будете, — показал нам Назыр, — где раньше другие спал.

— Какие другие? Где же они? — заволновался Огурец.

— Уехал. Ложись спать, бабка, завтра опять много работа будет, — сказал Назыр и пошел в глубину барака.

Сквозь тонкую стену барака слышались неразборчивые голоса пастухов. Время от времени — смех. Потом — явно ругань. Там что-то происходило, не имеющее отношения к нам, баранам.

Мы с Витьком лежали рядом, лицом к лицу, и еле слышно говорили, вернее, говорил в основном я, рассказывал про встречу в вагончике:

— ...Мы с ним в Ленинграде в одной школе учились, с пятого класса, и дружили. Ну, сначала как пацаны, потом постарше стали... Времена-то буйные были — дурца, диссиденты там... Вообще-то его зовут Серега. Но мы его звали Сыра-Пыра. Фамилия у него такая — Сыропарский. Он фарцовкой в основном занимался, по-фински базарил как турмолай из Тампере...

— Как кто? — шепотом переспросил Витёк.

— Ну, финн. Мать у него была финка, тетья Анни, хорошая тетка... Сыру-Пыру все центровые знали, веселый был парень и везучий. Ну, потом... — Я замолчал, снаружи слышалось постукивание электрогенератора.

— Чего потом-то?

— Потом я в университет поступил, а Сыра-Пыра, мы с ним как-то разбежались, в тюрягу загребел, за валютные дела. И вот теперь... пожалте бриться, я его здесь встречаю, через пятнадцать лет... Я-то его сразу узнал, а он, видишь, теперь тут главный пастух или хрен его знает, как зовут... начальник, едрёна мать...

Мы оба молчали, вокруг храпели, вскрикивали или стонали во сне люди, точнее, бараны.

— Ну и что теперь, пойдешь к нему в пастухи? — неожиданно холодно спросил Витёк.

— А ты как думаешь? — ответил я вопросом на вопрос.

— А мне никто ничего по старой дружбе не предлагал, — сказал Витёк, повернулся на другой бок и с головой укрылся мешковиной.

Я лег на спину, лежал с открытыми глазами, над головой еле угадывалась камышитовая крыша, а над ней, в небе, навёрное, горели звезды.

Я был мокрый, как мышь после дождя. Это счастье, что доски, из которых были сделаны стены барака, оказались старыми и высушенными солнцем, так что мой нож легко отщипывал куски. Одну доску, снизу, я уже выгрыз и догрызал другую. Стружки прилипли к одежке. Наконец я сделал последнее движение и осторожно, затаив дыхание, вы-

ташил кусок второй доски. В образовавшуюся дыру была видна слабо освещенная прожектором колючка и мерцающая в лунном свете вода озера за ней. В бараке все спали.

Я взял нож в зубы и боком стал протискиваться в дыру. Я извивался, осторожно отталкивался от земли ногами и, наконец, выполз наружу и сразу приник к земле, потому что метрах в пятидесяти от меня, возле вышки у ворот сидели на ящиках четверо пастухов и резались в карты. Прожектор, точнее автомобильная фара, был повернут вниз и освещал игроков, образуя на земле желтое пятно.

Сердце у меня колотилось так, что казалось — его слышат не только пастухи, но и половина нашей замечательной страны. Я глубоко вздохнул и медленно, с постоянными остановками, по-пластунски двинулся к колючке в сторону озера. Я полз и все время ждал окрика и... выстрела. Черт его знает, сколько я так полз, наверное, целую вечность.

И вот я протянул руку и дотронулся до проволоки. Пастухи по-прежнему громко разговаривали, послышался взрыв хохота. Один пастух отошел к бараку и стал мочиться. Его не было видно, только тлел огонек сигареты. Он вернулся и уселся на ящик. Я подполз к воде. Берег озера здесь был скошен, и теперь мне уже не были видны пастухи. Лежа у кромки воды, я лихорадочно быстро разделся до трусов, завернул башмаки в одежды, завязал узел рукавами рубашки и пополз по мелководью, стараясь не плескаться. Дополз до проволоки. Столбы были вкопаны прямо в дно озера. Я приподнял нижний ряд проволоки и боком начал пролезать под колючкой. Я уже почти пролез и оказался там, на свободе, но именно в этот момент зацепился узлом за колючку. Я дернулся, но тут же совсем рядомбрякнули подвешенные к колючке пустые консервные банки. Я замер, застыл в неудобной позе. Но пастухи продолжали игру, никто не вскопчил, не заорал. Я медленно изогнулся, отцепил узел и выскользнул за ограждение.

Скоро я встал на четвереньки, потом выпрямился. Вода доходила мне уже до груди. И тогда, держа одной рукой узел с вещами над головой, я, словно Чапай, загребая воду другой рукой, поплыл от колючки, от пастухов и от лагеря.

Постепенно огни лагеря удалялись, будто тонули в чуть поблескивающей воде озера. Я плыл, время от времени меняя руки, плыл к свободе...

Потом стал виден, и то еле-еле, только один прожектор на вышке. Он уже не горел, а слабо лучился и не был для меня путеводной звездой — путь мой лежал не к ней, а от нее. А еще через какое-то время я почув-

ствовал, что начинаю уставать. Я повернул к берегу, который определил по темной полосе, над которой кончалось иссиня-черное небо, испятнанное звездами. Я плыл, но берег, казалось, совсем не приближался. Я задышался и, перехватив узел обеими руками, перевернулся на спину, чтобы передохнуть, но тут же ушел под воду. Соленая жидкость хлынула в ноздри, я задергался, забил руками по воде, снова ушел с головой под воду, но узел из рук не выпустил. Я вынырнул, отплываясь, не думая уже ни о чем, кроме одного — дотянуть бы...

Вяло шевеля рукой, я все же продвигался к берегу. Когда в очередной раз я ушел под воду, то почувствовал под ногами илистое дно. Я встал на ноги, выбрался из воды, упал, пополз на карачках. Меня вывернуло наизнанку, горькая вода лилась, казалось, даже из ушей. Я кашлял, плевался, и соленые слезы мешались с соленой водой.

Немного отдышавшись, я встал, натянул мокрую одежду и побрел по песчаному берегу прочь от лагеря. Я ускорил шаг, потом побежал по кромке воды вдоль тростниковых зарослей, и невидимые в ночи утки, вспугнутые мною, убегали в тростник, хлопая крыльями, шурша и крикая. Под моими ногами хрустел тростник. Я бежал до тех пор, пока огни лагеря не скрылись где-то там, за горизонтом.

И только тогда, раздвигая руками густые заросли, я забился в тростниковые джунгли. Стуча зубами от холода, я наломал камыша, упал на теплую песчаную землю и, засыпая себя камышовыми стеблями, как в трясину, провалился в тягучий липкий сон...

Я проснулся оттого, что почувствовал, как на меня кто-то смотрит. Я чуть-чуть открыл глаза и увидел пыльные башмаки. Повернувшись набок, я посмотрел вверх.

Возле меня сидел на корточках начальник лагеря, он же мой старинный дружок Сыра-Пыра.

— Доброе утро, — сказал он и улыбнулся. — Вставай...

Я поднялся. За Сырой-Пырой стоял пастух с автоматом, а у его ног сидела, высунув язык и склонив набок голову, лохматая овчарка.

— Разочаровал ты меня, — спокойно сказал Сыра-Пыра. — Ну что ж... Ты сам сделал свой выбор, только запомни: здесь два раза не бегают.

Он зашагал по тропинке через камыши, за ним — я, за мной — пастух с овчаркой, и через два десятка шагов мы миновали заросли. Я увидел два «уазика», возле которых виднелись пастухи и овчарки. Ко мне подбежали двое пастухов, подхватили и волоком потащили к машине. Они затащили меня

на заднее сиденье, машины развернулись и покатали вдоль берега озера.

Мы подъехали к тому месту, где работала моя вторая бригада. Меня прикладами выкинули из «уазика». Я с трудом поднялся — грязный, в непромокаемой одежде. Вся бригада, оставив работу, смотрела на меня. Тихо было, только в небе звенела какая-то пичуга да слышалась музыка из транзистора пастухов.

— Моргун! — позвал Сыра-Пыра.

С «уазика» прыгнул тот самый подмигивающий пастух с кобурой на поясе. Он встал рядом со мной и гаркнул:

— Этот говнюк пытался смяться! Он из вашей бригады. За это вся бригада на неделю лишается половины пайки воды. Все! Работать! — И после паузы позвал: — Старшой!

К нему подлетел баран с плеткой. Пластырь не соврал: сегодня это был толстый лысый мужик в футболке и драных брезентовых штанах на лямках.

— Забери его, — скомандовал Моргун и не оглядываясь пошел к машине.

Старшой огрел меня плетью. Я согнулся от удара.

— Пошел! — рявкнул старшой и еще пару раз ударил меня.

Я, шатаясь, поплелся к своим корешам. Добрел до матов, возле которых работали Витёк и Профессор, и упал. Голова кружилась, я с трудом понимал происходящее. Рубцы от ударов вздулись, один пришелся по голове и задел лоб. Я осторожно дотронулся до лба — крови не было. Витёк усадил меня. Напротив стоял Профессор, губы у него дергались, глаза, казалось, от страха вылетят из орбит. Огурец смотрел в сторону. Все молчали, и без слов все было понятно. Подошел Бомж-Бруевич и надел мне на голову панаму, упавшую, когда меня лупил старшой.

— Тише ты... башку-то, — пробормотал я. — Словаешься, дурила, солнце-то какое, — ласково сказал Бомж-Бруевич.

— Работать! Работать, сволочуги! — заорал от навеса белобрый пастух с автоматом.

— Давайте, милые, давайте, — шепотом сказал старшой и для виду взмахнул плетью.

У меня даже не было сил разозлиться на него.

Речка была узенькая, с десятков шагов в ширину. Не речка, а какая-то извилистая канава, в прозрачной воде стояли, лениво шевеля плавниками, полосатые окуньки.

Мы с Пластырем подтащили молочный бидон к берегу и боком опустили в речку. Вода с бульканьем стала вливаться в горловину. Я наклонился, зачерпнул горстями

воду и поднес ко рту, но Пластырь резко схватил меня за плечо, по которому пришлась плеть старшого. Я вскрикнул от боли. А Пластырь оттолкнул меня от воды:

— Ты что, сбрендил, откинуться хочешь?

— Почему это?

— Думаешь, вас сюда на отдых пригнали?

На замену, корешок... До вас тоже умники нашлись, вроде тебя... Недельки две назад из этой же речки воды попили...

— Ну и чего?

— Козленочками стали.

Я недоуменно посмотрел на Пластыря. А он продолжил:

— Гнилая вода здесь, подцепили какую-то гадость. Я так думаю, что скорее всего инфекционный гепатит, либо чего похуже, может, и брюшной тиф.

— А ты-то откуда знаешь?

Мы выволокли бидон на берег, Пластырь захлопнул крышку и сказал:

— А я, корешок, в старые добрые времена фельдшером был... Так что пока пастухи в бидон таблеток не накидают, лучше и не пытайся эту водичку хлебать и корешков своих предупреди.

Послышался надсадный рев дизелей. К навесу с пастухами, к штабелям сложенных матов подползли трактора — три «Кировца», каждый с двумя тележками-прицепами.

— Пошли, — заторопился Пластырь. — Сейчас погрузка начнется.

Мы подхватили бидон и поволокли его к навесу.

— Слушай, Пластырь, а зачем мы вообще эти маты делаем? Для чего они нужны?

— Ну как для чего?.. Увозят их и строят всякую шелупонь — кошары зимние для овец, сараи, крыши кроют. Местный, так сказать, строительный материал.

— А где строят-то?

— А везде. В совхозах, в колхозах. Дело-то выгодное. Мы тут за пайку корячимся, считай, бесплатно их делаем, а я так к носу прикидываю, что наши бандюги потом на них ба-альшие деньги сдирают.

— С кого?

Пластырь удивленно посмотрел на меня:

— Как с кого? С Советской власти.

— И никто ничего не знает?

Пластырь хмыкнул:

— Меньше знаешь — лучше спишь.

Ну нельзя сказать, что эти камышовые маты были особенно тяжелые — тростник же был высохший, но тем не менее их подхватывали и закидывали наверх, в кузов тележки, вдвоем. Мы работали с Витьком. В кузове вторая пара баранов укладывала маты стоймя, плотно друг к другу, вдоль решетчатых бортов.

Дул ветер, летела мелкая тростниковая

труха, пыль, першило в горле, но мы в темпе продолжали погрузку.

Почти рядом с нами, возле капота «Кировца», стоял пастух и трепался с водилой трактора. Мотор «Кировца» работал, не было слышно, о чем они говорили. Потом пастух достал из кармана пачку сигарет — не что-нибудь, а «Мальборо» — и протянул водиле. Водила зажег спичку, но ветер загасил ее. Он чиркнул еще раз. Пастух руками прикрыл огонек спички, которую держал водила. Оба засмеялись, прикурили. В этот момент Витёк подпихнул наверх мат. Я замешкался, потому что загляделся на водилу и пастуха. Мат накренился, бараны наверху не успели подхватить его, и мат полетел вниз, перевернулся, подскочил и упал чуть ли не на пастуха.

— Ты что делаешь, мать твою! — заорал пастух, бросился к нам.

Я отскочил, а пастух с ходу отвесил здорового пинка под зад Витьку, стоявшему ближе. Витёк отлетел к борту, пастух хотел было ему добавить, но водила ухватил его за рукав:

— Кончай, Барон, овцу много бить нельзя, шерсть плохой будет.

Оба заржали и пошли вдоль тележки мимо нас ко второму прицепу. А я увидел, как к бамперу «Кировца» скоком-бокком подпрыгнул Профессор и мгновенно сунул пачку «Мальборо» в карман штанов. И тут же как ни в чем не бывало поволок с Бомж-Бруевичем мат к другому «Кировцу», стоящему бок о бок с нашим. Витёк поднялся, и мы понеслись к штабелю за очередным матом.

— Видал? — спросил я его, кивнув на трудугу Профессора.

— Я у него половину сигарет заберу к чертовой матери, — буркнул Витёк. — Что я, за просто так по жопе схлопотал?..

Куча матов таяла на глазах, и так же быстро заполнялись тележки. Мы с Витьком запихнули очередной мат наверх, и баран, стоящий уже на краю кузова, крикнул:

— Все! Под завязку! — и спрыгнул на землю.

Я посмотрел на заполненные тележки и вдруг в предвечернем, безоблачном небе увидел маленький серебристый крестик. Я толкнул Витьку в бок, показал наверх, и мы, как два идиота, задрав головы, уставились на самолет, медленно плывущий в синеве.

— Як-сорок, — тихо сказал я.

— Не-е, это винтовой, Ан-двадцать четыре, — так же тихо возразил Витёк.

Крестик таял вдали, не оставляя следа. Заурчали, захлопали дизели: «Кировцы», разворачиваясь по широкой дуге, покатили в степь, на ходу выстраиваясь в колонну. Пыль от колес поднималась все выше и выше, пока не скрыла тракторы из виду,

только гул двигателей доносился издалека.

Белобрый пастух полез в карман, потом в другую, проверил все карманы и ругнулся:

— Ну и сука же этот Анатай! Ну параша! Сигареты мои помыл, пока я с баранами разбираюсь... Ну ладно, придет послезавтра, я ему устрою козью морду!.. Становись! — последнее относилось уже к нам.

Мы послушно построились и побрели к лагерю.

Сухой ветер, несущий с собой мельчайшую пыль, которая скрипела на зубах, забиравась под одежду и натирала кожу, дул здесь постоянно. И сейчас колючая проволока и висящие на ней банки подрагивали, звенели негромко. А за переплетениями колючки, далеко-далеко по плоскости степи, катилась песочно-рыжая длинная полоса, за которой тянулся хвост пыли, закручивающийся к вечернему небу.

— Смотри, сайгаки, — негромко сказал я стоящему рядом со мной Витьку.

— Где? Где? — зашептал за моей спиной Бомж-Бруевич.

— Да вон же, правее вагончика... Видишь, бегут...

— Хватит базарить, — пробормотал Витёк.

Наши три бригады были выстроены на плацу между бараками. Стояли пастухи с оружием наизготовку. Было непонятно, чего же мы ждем. Мимо пастухов прохаживался Моргун, заложив руки за спину. А мы стояли, поглядывая в сторону барачков, возле которых виднелись столь желанные и пока что недостижимые бидоны с водой.

— Чего мариновать-то? — не выдержал Бомж-Бруевич.

— Сейчас узнаешь, — ответил Витёк. — Вон, начальство хрюет...

В ворота лагеря вошел и остановился рядом с Моргуном Сыра-Пыра. Наш начальник был в белой футболке, с сигаретой в зубах и без оружия. И тут же Сыра-Пыра начал:

— Сегодня один из вас провинился, украл у Барона сигареты. Все вы — дерьмо, но он к тому же еще и ворюга. Но мы даем ему возможность исправиться. Он признается, будет наказан по справедливости. Всех остальных отпустят спать, а ему я даю ровно тридцать секунд.

Сыра-Пыра замолчал и посмотрел на часы. По нашему строю пробежало легкое волнение. Все молчали, только обменивались быстрыми взглядами, в которых было все: вопрос, отчаяние, злоба...

— Ох, корешки, и устроят же нам сейчас... — услышал я тихий голос Пластыря. — Хоть бы признался, гаденыш... А то в прошлый раз...

— Все! — рывкнул Сыра-Пыра. — Барон, Ерема!

Двое пастухов нашей бригады подлетели к строю и выдернули из него Профессора. Тот завыл, упираваясь каблуками в землю. Профессора проволокли, развернули лицом к строю. Моргун быстро и профессионально обыскал Профессора, и через несколько секунд в руках у него очутилась бело-красная пачка. Профессор уже не выл, лицо его лоснилось от пота. Моргун стоял напротив Профессора и смотрел на него. Долго. Мертвая тишина царила на плацу. Было так тихо, что можно было слышать доносившиеся от вагончика Сыры-Пыры звуки: лежавшая там овчарка выкусывала блох.

И тут я увидел, как по ботинку Профессора потекла струйка и возле его ног стало расплываться темное пятно.

— Воровать — это нехорошо, — громко объявил Сыра-Пыра. — Воровать — это не по-товарищески. Учитесь жить честно, по совести. Моргун!

Моргун достал из пачки сигарету и сказал Профессору:

— Открой пасть.

Профессор послушно открыл рот. Моргун сунул ему в рот сигарету.

— А теперь сожри ее.

И Профессор стал жевать. Моргун протянул еще одну сигарету, и Профессор начал есть и ее, а Моргун совал уже следующую. Профессор замычал, отворачивая лицо. Моргун кивнул. Барон рывком раздвинул Профессору челюсти, и Моргун запихнул ему в рот все сигареты из пачки.

— Жри, глотай, вонючка! — и прижал ему нижнюю челюсть.

Глаза у Профессора стали, как плоски, он мучительно пытался проглотить табачную массу, но не смог: его скрючило, Моргун едва-едва успел отскочить. Пастухи отпустили руки Профессора, тот упал в пыль и, конвульсивно содрогаясь, стал блевать.

— Встать! — заревел Моргун, ударив Профессора ногой. — Пошел в строй!

Кашляя и плюясь, Профессор боком, на карачках подполз к строю и замер возле нас с Витьком.

— За этот проступок на сегодняшний вечер все бригады лишаются воды! — громко объявил Сыра-Пыра. — Первая бригада, марш!

И первая бригада побежала к своему барaku.

Мы вбежали в барак, затащили Профессора. Дверь за нами закрылась, и только топот ног третьей бригады доносился снаружи. Потом все стихло.

Все молча стали разбредаться по своим

местам. Профессор, покачиваясь, добрал до своего мата и как подкошенный шмякнулся лицом вниз. Его все еще тошнило, по телу пробегали судороги, он плевался и хлопал носом. Вскоре и он затих. Теперь было слышно только Назыра, который стоял на коленях в углу, перебирал свои коричневые четки и бормотал слова молитвы:

— Алла бисмилля, ибн рахим аллахим...

Я лег на спину, облизал сухие губы.

Кто-то тронул меня за плечо. Это был Витёк. Он придвинулся ко мне вплотную, заговорил свистящим шепотом:

— Кто еще видел, как Профессор увел сигареты?

— А что? — не понял я.

— А то. Думаешь, начальнику святой дух про это нашептал?

— Ну, я видел, — равнодушно отозвался я.

— Ты не мог стукнуть. Мы с тобой в паре были, я бы тебя сразу же засек.

Я разозлился.

— А может, ты сам стукнул? Я-то за тобой не следил!

Витёк набычился.

— Расслабься, — чуть мягче сказал я ему. — Вся бригада на погрузке вкалывала. Каждый мог видеть...

Вдруг мычащий утробный звук прервал наш шепот, заглушил монотонное бормотание Назыра. Это с нарастающей силой мычал Профессор. Он уселся на своем месте, замотал головой и, прервав мычание, сказал громко и внятно:

— Питы!.. Я хочу пить!

Он вскочил и быстро заковылял к выходу. Всем телом он налетел на добротные доски двери и стал молотить чем попало — кулаками, ногами, бился головой и визжал:

— Вы не имеете права! Я хочу пить! А я имею право! Пи-ить!

Первым опомнился и бросился к Профессору Пластырь. Он схватил его, попытался оттащить от двери. Профессор завопил не своим голосом, развернулся и вцепился Пластырю в глотку обеими руками, крича:

— Вы не имеете права!.. А я имею! Имею!.. Имею!..

Пластырь хрипел, пытаясь отодрать от себя обезумевшего Профессора. К ним подкосило несколько баранов, в том числе и Витёк. А я просто не мог двинуться с места от какого-то странного оцепенения. Профессора поволокли в глубь барака, а он все брыкался и нес несуряцизу:

— Гады!.. А-а-а, пустите!.. Не имеете права! Никто! Убью!..

Профессора опустили на мат. Он выгибался, бил ногами. Его прижали, сунули в рот какую-то тряпку, а он продолжал дергаться, как на электрическом стуле, потом стал затихать, дернулся еще пару раз и замер. Его отпустили, и все, кто был рядом,

пошли на свои места. Только Пластырь еще сидел на земле возле двери, шупал горло, хватая ртом воздух, как выброшенный на берег судак.

Брякнул засов, и в дверь просунулась башка пастуха.

— Был шум? — спросил он.

— Послышалось,— ответил кто-то.

— Ну хорошо.

И дверь снова закрылась. Шаги пастуха удалились, и в наступившей тишине послышались непонятные звуки. Я повернулся и увидел, что это плачет Профессор. Он неподвижно лежал на спине и плакал. Слезы стекали из-под очков по его щекам и капали на выбеленную ткань подстилки. Я смотрел и не мог отвернуться.

— Все равно я его найду,— пробормотал сидящий рядом со мной Витёк. — Я найду, кто заложил Профессора. Я вычислю эту гниду...

— Даже если и найдешь, в звании тебя за это не повысят,— не сразу отозвался я. — Только неприятностей на свою задницу накличешь... А мне лично плевать, кто бы ни наступал...

Наступило утро следующего дня.

Бараны поспешно выскакивали из барачков, потому что над лагерем плыли гулкие удары по рельсу — сигнал подъема. Все разбредались по огороженной территории. Бараны сидели на земле, переговаривались, умывались озерной водой у колючки; на краю лагеря, тоже у колючки, орлами сидели над выгребной ямой. Кучка баранов курила, передавая друг другу сигаретку. И что удивительно, от них доносился смех. Возле барака отбивали поклоны Назыр и еще двое — молились, как обычно.

Снова раздались удары по рельсу, и все мы потянулись к середине плаца, где возле дощатого стола каждый получал кусок хлеба и миску жидкого чая — завтрак — и переходил на другую сторону, ближе к воротам.

Я, Бомж-Бруевич и Витёк уселись рядом с Пластырем. Пластырь разломил хлеб на две части, одну завернул в тряпицу, сунул за пазуху, а вторую принял жевать и, поймав мой взгляд, сказал:

— А это я, корешки, у кого-нибудь на курево сменяю или в перерыве домолочу...

— Умный ты, меняла,— сказал Витёк, мигом заглывшая свою пайку. — А ты, часом, не телеграфист?

— Чего-чего?

Витёк постучал по земле пальцами. Пластырь оскалил в улыбке черные зубы:

— Здоровый ты, Витёк, а мозгов у тебя с гулькину письку... Стукачи у нас тут чинарики не стреляют.

— Ладно, ладно,— пробурчал Витёк. — Ветеран ухов...

— На выход! — послышалась громкая команда, и мы потянулись к открывающимся воротам.

Там, за колючкой, мы составляли на землю миски, получив перед этим по кружке воды.

Все три бригады выстроились уже за пределами лагеря, и начался пересчет по бараньим головам. Как обычно, на утренней проверке присутствовал Моргун.

— Первая бригада!

И бараны первой бригады зашагали влево от лагеря по берегу озера.

— Бобер, ко мне! — вдруг громко сказал Моргун. Я сразу и не сообразил, что это меня он кличет. — Ты что, оглох! Марш сюда! И ты, амбал! — ткнул он пальцем в замершего рядом со мной Витёка.

— Хана, Кешка... уже и на нас наступчали,— упавшим голосом сказал Витёк.

— Ну не расстреляют же...

— С них чего угодно станется...

Мы вышли из строя и остановились рядом с Моргуном. Мы стояли бок о бок с Витёком, тупо уставившись в землю, а за нашими спинами слышалось:

— Вторая бригада!

И топот ног наших корешей.

— Третья бригада!

И те тоже зашагали от лагеря.

Вблизи послышались шаги. Я поднял голову и увидел, что к нам вперевалку направляется здоровый узкоглазый мужик в клетчатой рубашке и тубетейке. Брюхо у него свисало, закрывая поясной ремнем. Он был без оружия и брезгливо смотрел на нас.

— Забирай их, Керим,— сказал Моргун.

Керим молча мотнул нам головой и так же неторопливо зашагал к домикам охраны, а мы за ним.

— Вам, бараны, сегодня здорово подфартило. У вас сегодня, считай, отгул, выходной... — так говорил Керим, причем совершенно без акцента.

Он стащил с себя ковбойку, и его тело, все до пояса, можно было рассматривать, как картинную галерею — такое количество различных наколок украшало его. Керим помещивал черпаком в огромной кастрюле рис. В другой кастрюле булькал бульон с мясом. На длинной летней плите таких кастрюль стояло штук шесть, и в каждой что-то варилось, пузырилось. Готовилась жратва для всего лагеря — и для баранов, и для пастухов.

Мы с Витёком таскали ведрами кизяк, подкидывали в ненасытные пасти печки. Рядом стоял большой стол под навесом: пастушья столовка. Жужжали большие зеленые мухи. А еще тут же были овчарки. Две. Причем, когда мы шли под навес за кизя-

ком, одна из овчарок постоянно нас сопровождала, поглядывая коричневым блестящим глазом.

— Умная, паскуда,— проворчал Витёк, глядя на шагающую рядом с нами псину.— Сама пасет. У нас-то тоже зуба-а-астые дыры были, да только с вертухаями ходили, на поводке.

— На зоне?

— Ну...

Мы складывали кизяк в ведра.

— Витёк, а за что ты заремел?

— А ни за что. Мужик пьяный через дорогу побежал. Вечер, фонари у нас в городе через один горят... Я мужика только перед капотом своего «ЗИЛА» и увидел. Ну и схлопотал... Пятерик.

— А чего ж ты после отсидки домой не поехал?

— А я не отсидел.

У меня из рук вывалилось ведро.

— Дернул?!

— Ага... За два месяца до конца срока.

— Зачем?!

Витёк присел на корточки и сунул руку в карман. Овчарка негромко зарычала.

— Ты чо? Курево это, коза лохматая! — показал ей пачку Витёк, закурил и закончил: — А черт его знает, зачем... Бывает такое на зоне. Особенно весной... Пока туда не попадешь, не поймешь.

— Уже,— сказал я.

— Чего — уже?

— Уже попал.

Витёк не ответил. Мы зашагали с ведрами к кухне.

— Хватит пока,— сказал Керим и протянул нам по кружке воды. Мы отошли к навесу, уселись за стол.

— Эх, сейчас бы пивка, холодненького, с пеной,— мечтательно протянул Витёк.

— Не-е, квасу лучше.

— А ты что, правда, не пьешь?

— Ага... Я как-то давно, лет шесть назад, по пьянке здорово выступил в милиции, в линейной, на станции Чихачево, есть такая в России. Потом месяц в больнице провалялся. С тех пор — все.

— А я что тебе сразу сказал? Что ты всегда залупаешься! — удовлетворенно заметил Витёк. — У меня глаз — алмаз. Слушай, а почему Моргун тебя Бобром назвал? Кликуха, что ли?

— Да фамилия у меня такая — Бобров.

— Ну-у-у!.. А у меня, не поверишь, Зайцев. Ну, значит, точняк нас здесь обоих на ушанки пустят!

И мы оба захохотали так, что даже Керим обернулся.

Послышалось тарыхтение мотора. К кухне подкатил «уазик» с двумя пастухами. Из кузова «уазика» торчали копыта убитых сайгаков.

— Эй! — крикнул нам Керим. И, когда мы подошли, добавил: — Выгружайте сайгаков, да поживее, пора обед развозить.

Штабель матов, хотя и невысокий, но все же давал тень. Вот в этой тени, спасаясь от солнца, и сидели мы с Витёком.

— Кончился наш отгул,— с набитым ртом пробубнил Витёк. Я не ответил.

Остальные бараны нашей бригады, получив миски с обычным варевом, тоже сидели, хлебали баланду. Молча. Только из-под навеса доносились голоса пастухов. Они тоже обедали.

К нам подсел Бомж-Бруевич. Вид у него был какой-то загадочный. Он покосился на старшего — сегодня им был Пластырь — и негромко сказал:

— Витёк, а, Витёк... Огурец с тобой побазарить хочет.

Витёк непонимающе уставился на Бомж-Бруевича:

— О чем это?

— А ты сходи к нему, сходи...

Витёк помедлил, отставил миску и не спеша затопал к Огурцу, только-только усевшемуся в сторонке со своей пайкой. Витёк остановился перед Огурцом и уставился на миску, которую Огурец придерживал на коленях. В миске вместо каши лежали куски жареной баранины, с горкой было навалено, от души. Огурец зыркнул на Витёка и отвернулся, жадно заглатывая мясо. Витёк зашел с другой стороны и снова уставился, теперь уже на Огурца. Огурец поднял голову и, увидев, как Витёк на него смотрит, попытался отползти назад. И тогда Витёк врезал ногой по огурцовской миске — куски мяса полетели на пыльную траву, а жирная коричневая подливка залепила Огурцу морду. Огурец заматерился, хотел вскочить, но Витёк снова ударил ногой — уже Огурца. Тот взвыл, упал на спину, а Витёк успел еще пару раз его пнуть, прежде чем подбежавший пастух с размаху огрел его прикладом автомата по горбу. И Витёк упал рядом с Огурцом. Пастух повернулся и пошел спокойненько к навесу. Все это произошло очень быстро.

Витёк тяжело поднялся, скособочившись, поплелся к нам. Уселся, покряхтел, а потом сказал нам с Бомж-Бруевичем:

— Я же говорил, что найду гниду.

— Огурец? Да ну! — не поверил я.

— А ты думаешь, мясо вместо этого рисового дерьма за просто так дают? За красивые глазки?

Я увидел, как Огурец ползет по земле, собирает куски мяса и, обдув, складывает обратно в миску.

— Ссучившимся — смерть. В сортире таких топить надо,— прохрипел Витёк.

— Сам подохнет. Боженька-то, он оттуда все сечет,— философски заметил Бомж-Бруевич. — А Огурец, я знаю, жару плохо переносит...

Я посмотрел на Бомж-Бруевича, обвел взглядом степь и сказал:

— Все мы здесь рано или поздно подохнем... Не от жары, так от чего-нибудь другого...

Время сжалось. Я потерял ему счет. Дни стали похожи один на другой, спутались, и я перестал их различать.

Каждое утро нас, еще сонных, выгонял на завтрак и построение звук ударов по рельсу. Каждое утро мы получали чай и хлеб, проходили ворота. Каждое утро топотали башмаки по утрамбованной земле плаца.

Мы молча шли на то место, где сегодня должны были пахать. Сгибались и разгибались спины, взлетали и укладывались в маты пучки камыша. Серые пыльные лица с потками пота, серые высохшие камыши, одни и те же взмахи рук, взмахи плети. Вода, стекающая по подбородку, стучащие о миски ложки и все время пить, пить и пить — больше ничего не хотелось.

Дни становились все длиннее и жарче, мы вгрызались в тростник и продвигались все дальше и дальше от лагеря. Стада сайгаков пылили где-то там, на горизонте, на призрачной, подернутой миражами свободе, и тусклые глаза наших баранов равнодушно следили за ними. И — опять: топот башмаков по дороге, перекличка на плацу, торопливо выхлебанная кружка воды и падение на подстилку в храпящий, хрипящий и беспробудный сон...

Меня разбудил пинок. Я резко встал, открыл глаза и тут же зажмурился: прямо в лицо мне бил яркий луч электрического фонарика. Сощурившись, я пытался разглядеть того, кто держал фонарик, но радужный круг света мешал, а вокруг него была темнота и храп моих соплеменников.

— Встать,— услышал я голос обладателя фонарика. Кажется, это был голос Весельчака.

Я мгновенно вскочил, но тем не менее меня еще раз пнули, прибавив нравоучительно: — Шевелись, не на курорте!.. Пошел на выход! Живей!

Меня вывели из барака. Стояла ночь, в небе висел огрызок старой луны. Где-то в степи пронзительным голосом крикнула птица. Неярко светили прожектора с вышек. За спиной слышались шаги и дыхание пастуха-конвоира. Я обернулся, но тут же в спину уперся ствол и раздался окрик:

— Не оглядываться! Вперед!

И меня еще раз ткнули в спину, задавая одновременно направление движения. Мы прошли в ворота лагеря. Они были открыты, и за ними сидел и кемарил в шезлонге освещенный прожектором пастух. Рядом с ним поблескивала стоящая на земле бутылка. На коленях пастуха лежал карабин. Он вскинул голову, посмотрел на нас и опять уронил голову вниз.

В окнах домиков пастухов и вагончика Сыры-Пыры горел свет, слышалась музыка и — я готов был поклясться — женский смех.

— Давай, давай,— опять подтолкнул меня пастух и мы направились к вагончику Сыры-Пыры.

Полуголый, в одних штанах, сидел Сыра-Пыра за столом и не мигая, исподлобья смотрел на меня. Перед ним стояли вскрытые банки с консервами, валялся раскрошенный хлеб, какие-то объедки и бутылки из-под лимонада.

— Иди,— Сыра-Пыра кивнул Весельчаку, и тот выкатился из вагончика.

— И ты иди,— сказал Сыра-Пыра, повернувшись в угол.

Только тут я заметил, что на разобранной лежанке сидит на простынях толстая полуголая деваха. Значит, слух меня не обманул — у наших пастухов сегодня были гости.

— Куда иди-то? — басом спросила толстуха, натягивая на пухлые плечи ситцевый сарафан.

— Ну, иди... проводят тебя,— махнул рукой Сыра-Пыра.

Я посторонился, пропуская толстуху, и мы остались с Сырой-Пырой одни. Сыра-Пыра вздернул голову. Кажется, он был в подпитии.

— Видел? — кивнул Сыра-Пыра вслед ушедшей девахе. — Во тоска!.. Во где тоска-то! — доверительно обратился ко мне Сыра-Пыра, и я окончательно убедился, что он основательно нарезался.

— Послушай, Бобер, Кеша... Да ты садись, чего стоишь-то? — показал он на табурет, вытащил из-под стола почетую бутылку водки. — Садись, выпей... пожри вот...

Он плеснул себе в алюминиевую кружку, поставил передо мной вторую, налил.

— Давай поговорим, а? Как люди,— он поднял на меня свои белесые, мутные глаза снулой камбалы. — А тут и поговорить-то не с кем. Одна уркота беглая... ублюдки!.. А нам с тобой ведь есть чего вспомнить, а, Кеш?.. А ну сядь, я тебе сказал!

Я повиновался, прошел к столу и присел на краешек табурета.

— Ты давно в Питере не был? — поинтересовался Сыра-Пыра.

— Давно, года три.

— А я пятнадцать лет! С тех пор, как сел, так и... — и он махнул рукой. — Но я отсидел! Восемь лет — от звонка до звонка. И вышел, с чистой совестью! Не то что эти... работники мои, пастушки...

Он схватил кружку и залпом выпил. И тут же налил снова.

— Эх, Кешка!.. А мне Питер снится. Вроде все в жизни повидал, а Питер снится...

И вдруг он совершенно явно вслипнул, мотнул башкой, спросил, упершись взглядом в столешницу:

— Слушай, а не знаешь, Анька Шумская как?.. Не знаешь? Небось, замуж вышла, нарожала поросят какому-нибудь хряку, да?.. Квартира там, тачка, все дела?..

Я неопределенно пожал плечами. Сыра-Пыра поднял голову.

— А вообще, наших никого не видел, Дутиков, Хапца? Помнишь, как Дутиков в школе унитаза взорвал?.. — Сыра-Пыра захихикал и резко оборвал смех. — А ты почему не пьешь?

— Не хочу.

— Да ты ж здесь уже месяц торчишь! Месяц! И не хочешь выпить? — удивился Сыра-Пыра и ласково попросил: — Ну, выпей, гнида, работать у меня отказался, но выпить-то можешь?..

— Да я вообще не пью,— вежливо сказал я.

Мой отказ Сыра-Пыра истолковал по-своему. Засосал свою порцию и обиделся:

— Что ты тут строишь из себя этого... Павлика Морозова, едрёна вошь... Кто ты такой? Ты — говна кусок! Подзаборник, рвань, гопник... Тебя и твоих хануриков вынули из помойной ямы и дали мне, а я вас... это... приобщаю ко всеобщему строительству... ударных пятилеток, б... — Тут Сыра-Пыра мощно икнул и продолжил: — Я из вас человек веков делаю... общественных...

Я невольно улыбнулся.

— Ну чего ты лыбишься, чего?! — Он запустил в меня кружкой и промахнулся. — Ты думаешь, я здесь потому, что какой-то партийный басмач поманил меня жирным куском?.. Да мне на них — тьфу!.. Что я, не смог бы где-нибудь покруче бабки сделать? Смог бы! Но я здесь из принципов!.. Потому что общество наше надо от вас, недоносков, избавлять. Да, каленым железом! Вы — наш позор и это... раковая опухоль на как его...

Тут Сыра-Пыра надолго задумался и залютил:

— Все вы дерьмо, короче, а я — санитар, я от вас избавляю... всех, для вашей же пользы!.. Ты думаешь, почему тут никто не бегаёт? Думаешь, боятся, что поймают?.. Правильно, поймают, но я, б..., я тебе скажу: я б лучше подох, чем вот так... Как ты-то!..

Сыра-Пыра схватил мою кружку, махнул и ее, занюхал хлебом и рывкнул:

— А ни хрена! Никто не бегаёт, потому что знают, сукины дети, что там никому не нужны... и никто не хватится. И детки по папке не заплачут, потому как нету детков... Докатились до навозной кучи — ну и получите, сами виноваты! А здесь я вам все даю, все у вас есть: жратва, вода, лежанка, работа,— загибал он пальцы. — Все есть! Последний раз спрашиваю: выпьешь со мной?

Я снова отрицательно покачал головой.

— Ну и козел,— усмехнулся Сыра-Пыра.— Смотри, как бы тебе не пришлось пожалеть, что не захотел со мной выпить. Ну и подыхай со своими бомжарами, надоед. Пошел отсюда... пошел, кому говорят!..

Я вышел из вагончика.

По-прежнему доносились голоса, смех и музыка из домиков пастухов. Никто не ждал меня возле вагончика Сыры-Пыры, никто не собирался вести меня обратно в барак. Никого не было видно, кроме пастуха возле лагерных ворот, да и тот кемарил, не обращая на меня внимания.

Я сделал несколько шагов к воротам и остановился, а потом повернулся и сначала медленно, а потом, все убыстряя шаг, пошел от лагеря в черную пустыню степи. Потом я побежал...

Я неся, не разбирая дороги, по ногам хлестала высокая трава, я бежал неведомо куда и неведомо зачем, бежал, пока, споткнувшись, не упал и не покатылся по влажной траве.

Я лежал, сжавшись в комок, обхватив голову руками, и дрожал. Потом повернулся на спину. Надо мной расстилался усыпанный стаями серебряных звезд небесный купол. По нему, еле заметно мигая, продвигались две точки — зеленая и красная: сигнальные огни высоко-высоко летящего самолета — и тонкий комариный звук стекал с небес. И вдруг огоньки стали расплываться, множиться, и я с удивлением понял, что плачу...

Я поднялся и побрел к воротам лагеря. Пастух в шезлонге без удивления спросил: — Какой бригады?

— Второй.

Он поднялся и повел меня в барак.

...Загремел за моей спиной засов, а на ощупь пришел к своему месту, улегся, натянул на себя колючую мешковину и закрыл глаза...

— Стой! — гаркнул Барон, и мы остановились возле шалаша пастухов.

Чуть поодаль стрекотал трактор «Беларусь» с навесной косилкой. Им управлял

пастух. Трактор полз вдоль берега озера, и после него оставались ряды скошенного тростника.

Барон с плетью прошелся перед строем, остановился возле меня, ткнул в грудь:

— Сегодня ты! — И плеть перешла ко мне в руки.

— Напра-аво! — скомандовал Барон.

За ним стоял и ковырял спичкой в зубах приземистый второй пастух — Ерема.

— Начинай!

Привычно разбившись на пары, все принялись вязать тростник. Все, кроме меня.

Я, забросив плеть за плечо, ходил между работающими баранами, следил за порядком. Наши пастухи отдыхали под навесом, в свою очередь следили за мной. Бараны вязали маты, перетаскивали скошенный высохший тростник. Солнце уже замерло высоко в небе, блики его слепили глаза, отражаясь от колеблющегося мутно-зеленого полотна озера. Слышался треск камыша и негромкая музыка из пастуховского транзистора.

— У-у-а-а-а! — раздался дикий крик, даже не крик, а рев, в котором мало чего было человеческого.

Орал Назыр. Он лежал на земле, запрокинув голову, и орал. Рядом валялся рассыпанный тростник и стоял напарник Назыра. Я, как и положено старшему, поспешил к месту происшествия.

— Вста-ать! — заревел я еще на бегу.

Назыр, не обращая внимания на мою команду, продолжал орать. Я подскочил и несильно ударил его плетью.

— Встать!

Назыр дернулся, попытался встать, но тут же с воплем снова упал.

— Вставай, Назыр, вставай скорее, — зашептал я, косясь в сторону пастухов.

— Ну?! — крикнул Ерема. — Поднимай его, поднимай!.. Или сам хочешь схлопотать?..

Назыр по-прежнему орал. Я вытянул его плетью. Назыр съежился, я ударил его еще раз... и еще. И Назыр замолчал. Я наклонился. Зрачки у Назыра закатились, он вырубился, бить его уже не имело смысла. Я выпрямился. Ерема шел ко мне, помахивая плетью.

— Он выключился! Он готов! — успел крикнуть я, прикрывая голову от удара.

Ерема опустил плеть, не ударив меня, присел на корточки рядом с Назыром, дернул за шиворот так, что затрещала ветхая материя рубашки. И только тут я заметил, что нога Назыра застряла в узкой глубокой яме.

— Нора это, лисья, — пробормотал напарник Назыра, который по-прежнему стоял рядом, с тростником в руках.

— Барон, давай сюда! — позвал Ерема другого пастуха и бросил мне: — Чего вылутился? А ну, взяли!

Я помог ему оттащить Назыра в сторону от норы. Нога татарина была неестественно вывернута, ступня смотрела почти в обратную сторону. Подоспевший Барон тупо уставился на лежащего.

— Работать! — рявкнул Ерема, заметив, что остальные бараны бросили работу, переговариваются.

Барон вытащил из кармана нож, с щелчком выскочило лезвие. Барон распорол штанину у Назыра. Повыше щиколотки, прямо из разорванной кожи торчали бело-розовые обломки кости.

— Машину надо вызывать, — сказал Барон.

— Ты и ты, — показал Ерема на меня и напарника Назыра. — Взяли его и к шалашу... Быстро!

Мы подхватили Назыра на руки и потрусили к навесу.

— Работать! Работать! Ничего не случилось, вас это не касается! — орал за нашими спинами Барон.

Мы осторожно положили Назыра на землю, в тень от навеса. Он по-прежнему был без сознания, тяжело дышал — с хрипом. Ерема уже возился с рацией.

— Алло!.. Моргун? Это второй участок. Как слышишь? Прием.

— Слышу нормально, — послышался из динамика голос Моргуна. — В чем дело? Прием.

— Да ну, мать его! Машина нужна, Моргун, у нас тут маленькая неприятность. Баран один костыль сломал, душу его в корень!.. Короче, машину сюда давай. Как понял? Прием.

— Понял. Сейчас пришло. Отбой связи.

Ерема положил микрофон и только тут заметил, что мы стоим рядом.

— А вы чего тут торчите? — понес он на нас. — Работать!

— Иди, будешь тростник подтаскивать к вязальщикам, — показал я на сваленные кучи камыша напарнику Назыра.

Тот кивнул и поплелся к озеру.

Издаেকে послышалось гудение мотора.

К навесу подлетел «уазик» с двумя пастухами. Я видел, как они подхватили Назыра, так и не пришедшего в себя, голова его безжизненно моталась, и аккуратно погрузили в машину. «Уазик» развернулся и покати по направлению к лагерю.

— Повезло дураку, — с завистью сказал Бомж-Бруевич, глядя вслед машине.

Я и Витёк с недоумением уставились на него.

— Теперь в больницу. А в палатах простыни белые, прохладно... Сестрички будут морсом поить... — сказал Бомж-Бруевич.

— Слушай, Бруевич, ты от жары двинулся или ваньку валяешь? — спросил его Витёк.

— А что? С таким переломом он как ми-

нимум месяца три проваляется, а там и осень, конец сезона и работе нашей — тоже конец. Так что не увидим мы его больше.

Мы с Витком переглянулись. Бомж-Бруевич заметил это и обиделся:

— Ну вы и козлы! Да мне лично корешок из первой бригады сказал, что вкалывать будем до октября, не дольше, потом отпустят и бабки дадут. В прошлом сезоне так и было, ему об этом сам Моргун говорил. А уж Моргуну-то чего свистеть? Кому мы здесь зимой-то нужны будем, волков пасти, что ли?

— Давай проволоку, оптимист хренов, — проворчал Витёк.

Из колымского дикого края
Шли мы в зону в осеннем дыму.
Я увидел окурочек с красной помадой
И рванул из строя к нему...

— выводил заунывным голосом сторожевой пастух у ворот лагеря. Пастух пел негромко, но в ночной тишине ясно можно было разобрать слова песни.

Мне было худо, я потрогал лоб рукой, попытался посчитать пульс на запястье, ничего не вышло — часов-то у меня не было. Я натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза.

Баб не видел я года четыре,
Ну и вот, наконец, повезло...
Ах, окурочек, может быть,
с ТУ-104

Этим ветром тебя занесло...

— Кеш, а, Кеш... — до моего плеча дотронулась рука, — ты не спишь?

Я молчал. Витёк снова потряс меня:

— Ты не спишь?

— Теперь не сплю, — отозвался я недовольно, повернув голову. На меня смотрели поблескивающие в темноте барака глаза Витька.

— А я думал, что ты спишь, — отвалился на мат Витёк.

Заснуть я уже не мог, лежал с открытыми глазами.

С кем ты, стерва, любовь
свою крутишь,

С кем дымишь сигареткой одной?

Ты ж во Внукове спьяну билета
не купишь,

Чтоб хотя пролететь надо мной... —

— все так же слышалось из-за стенки.

— Слышь, — окликнул я Витьку, — а зачем ты меня будил-то?

— Так ты что, не спишь?

— Ну...

— Слушай, это... ты смерти боишься?

— Я?

— Ты, ты...

Я достал сигаретку, прикурил.

— Боюсь... все боятся...

— Дай дернуть, — попросил Витёк. Я протянул ему сигарету. Витёк затянулся: — А вот как ты думаешь? Вот завтра ты помрешь...

— Кто, я?

— Ну не ты, я... какая разница!.. Вообще, человек... Как думаешь, что-нибудь потом будет?

— Когда — потом?

— Ну после смерти... — Витёк вернул мне сигарету.

— А что?

— Да вот я все думаю... Бога отменили, загробную жизнь, значит, тоже, все живут, мучаются, смерти боятся, а потом — раз! И нету ни хрена, откинулись! Тогда зачем?

— Что зачем? — мне этот разговор начал уже надоедать.

— Вот смотри, — Витёк уселся, скрестил ноги. — Раньше человек мучился-мучился, потом — опа! И прямиком в рай, живет там, жирует, ну, все такое... А теперь-то чего?

— А чего?

— Мучаемся зачем?

— Мы, что ли?

— Что ты заладил?! — рассердился Витёк. — Мы да я!.. Головка от... от телевизора! Я вообще, про людей...

— А-а, — я подавил зевок, — про людей я не знаю, я про тебя знаю.

— А что про меня? — заинтересованно придвинулся Витёк.

— А то, что ты сам не спишь и другим не даешь.

Витёк обиженно засопел.

— Да правда, Витёк, не знаю я ничего!

— Ну и спал бы себе, раз не знаешь! — Витёк повернулся на бок, спиной ко мне.

Шел я в карцер босыми ногами,
Как Христос, и спокоен, и тих...

Десять суток кровавыми красил губами
Я концы самокруток своих...

— Да заткнется он там?! — Витёк треснул в стену. — Воет, воет, спать не дает, козлятина!..

Витёк еще что-то бормотал, натянув на голову брезент, потом затих. Я поплевал на окурочек, уже обжигающий пальцы, и тоже укрывшись с головой...

Я отставил в сторону миску с обеденной баландой, с трудом встал с земли. Подошел к берегу озера, зашел на мелководье, упал на колени, вытянулся и лег на спину в подернутую зеленоватой ряской, теплую, как суп, воду.

Я лежал, а надо мной в высушенном небе висело огненно-черное, безжалостно ослепительное солнце.

Послышались шаги, и рядом со мной оста-

новился Витёк. На плече у него висела плеть.

— Ты чего? — хрипло спросил он.

Я не ответил, с трудом повернув зрачки в его сторону.

— Ты чего, Кеша? — повторил он. В его вопросе уже слышалась тревога.

— Не знаю, я с ума сойду от этой жары...

— Вставай, не положено тут лежать, ты же знаешь...

Он помог мне встать и отвел на сухое место. Вода ручьями стекала с моей одежды. Витёк натянул мне на башку мокрую панаму, принес наши миски.

— Ты как, не заболел? — спросил он.

— Не знаю...

— Воду чужую не пил?

Я отрицательно покачал головой. Витёк сплюнул:

— Это солнце взбесилось... Давай, ешь, а то загнешься без зрачвы-то, ешь... — и сунул мне в руку ложку.

Я с отвращением проглотил рисовое месиво. Вокруг лежали и сидели бараны нашей бригады. Так же, как и у меня, движения у них были какие-то замедленные, вялые. Или мне это только казалось?

Стояло полное безветрие, и над степью плыли миражи.

Пастухи под навесом вдруг зашевелились. Ерема выключил транзистор, схватил микрофон рации, слушал, что ему говорят по переговорнику, потом коротко ответил, вскочил. И Барон вскочил, стал быстро собирать шмотки. Ерема побегал к нам, поправляя сползший ремень карабина, и закричал:

— Подъем!.. Подъем!.. Кончай обед!..

Бараны вставали с земли, некоторые продолжали держать миски. Ерема на ходу вышиб у одного из баранов миску и заорал еще пуще:

— Быстро стройся! Становись, сволочуги!..

Мы поспешно выстроились в ряд, оставляя недоеденную баланду.

Ерема, бормоча себе под нос, пересчитал нас, крикнул:

— Направо! Бегом, марш!

Мы затрусили по дороге к лагерю. А вместе с нами бежал здоровяк Барон, навьюченный рацией и автоматом, и Ерема с карабином наперевес.

— Чего случилось?.. Чего случилось-то? — встревоженно спрашивал бежавший рядом со мной Бомж-Бруевич. — Сбежал кто опять?.. Или, может, война началась, братцы?..

— С кем война, козел? — прохрипел Витёк. — С чукчами, что ли?..

— Почему с чукчами? С американцами, во-на они...

Бомж-Бруевич не успел развить свои взгляды на внешнюю политику, потому что Барон заорал:

— Быстрее, быстрее!

И мы дали ходу.

Мы неслись, выбивая из дороги мягкую пыль. Тяжелое дыхание рвалось из двух десятков пересохших глоток, и сразу стало не до разборок.

Сквозь топот я услышал какой-то посторонний звук, он вроде был мне знаком, этот звук: я на бегу завертел башкой, пытаюсь понять, откуда он доносится, и тут Витёк толкнул меня:

— Смотри, смотри!

Я задрал голову и увидел, как над степью к нам приближается с рокотом вертолет. Он снижался, снижался и на выраже с грохотом пронесся над нашими головами к лагерю, показав серебристое брюхо и надпись «Аэрофлот» на борту.

— Ну все, кранты, если не добежим, — выдохнул Витёк.

— Почему?!

— Не на то смотрел...

Я еще раз обернулся и заметил то, на что из-за вертолета сначала не обратил внимания.

С той же стороны, откуда он прилетел, стремительно накатывалась черно-серо-желтая стена. Она росла, росла на глазах, поднимаясь и закрывая абсолютно безоблачное небо. В ней крутились воронки, спирали, вихри...

— Что это? — поразился я.

— Буря, пылевая... Скорей!..

Впереди уже показались постройки лагеря. Стоял за домиками вертолет, слабо шевеля лопастями винта. Вокруг него суетились пастухи, крепили его канатами к вбитым в землю колыям. От вертолета к вагончику Сыры-Пыры быстро шли какие-то люди и с ними наш начальник — я узнал его белую футболку. В ворота лагеря влетали, попускаемые пастухами, бараны других бригад. Все तोпились, все бежали.

— Быстрее, — ревел за нашими спинами Ерема. — Быстрее!

Мы на последнем издыхании вкатились в ворота лагеря и, не снижая темпа, понеслись к своему барaku.

И тут началось.

Все вокруг мгновенно затянуло мглой, в спину мне упругим толчком ударил ветер, перемешанный с песком, и буквально в двух шагах было уже ничего не разглядеть. Мы орали, пастухи орали. Свистел ветер, и мы, пихаясь и спотыкаясь, вваливались в двери барака. С тучей пыли влетел последний баран из нашей бригады, зацепился за что-то ногой, упал и покатился на маты. А за ним одним толчком ноги Барон отправил закрытый бидон с водой, швырнул кружку и прокричал, перекрывая вой бури:

— Пайка на всех! До утра!

И дверь захлопнулась.

В бараке сразу стало совсем темно. В полумраке слышался кашель, кто-то чихал, кто-то ругался, но почти все звуки покрывал шум ветра — за стенами барака выла и швырялась песком буря. Пыль сочилась сквозь щели и стояла в воздухе, дышать было тяжело.

Все постепенно расходились по своим местам. К нам с Витьком как-то боком подошел Пластырь. Откашлялся. Сплюнул. Деликатно растер плевок ногой.

— Слышь, старшой,— сказал он заискивающим тоном. — А как бы водички получить, свою паечку, а?..

Витёк недоуменно посмотрел на Пластыря, потом на плеть, которую так и держал в руке.

— Ах ты, мать твою в душу! — вдруг заревел Витёк. Пластырь испуганно шарахнулся в сторону, а Витёк продолжал реветь: — Ну, быдло вонючее! Старшой им нужен!.. Ну, параша лагерная, лишь бы жопу полизать!.. Да пошел ты к боговой матери, крыса! Сами делите!

И Витёк что есть силы запустил плетью в дверь. Плеть неслышно в шуме бури ударилась о доски и сиротливо осталась лежать у порога, упав прямо на валявшийся бидон с водой.

Пыль была мельчайшая, нежная, как пудра, только цветом и отличалась. Все в бараке было покрыто ею — спящие люди, брезент, маты, земляной пол. Я облизал губы, и пыль скрипнула на зубах. Провел пальцами по лицу — кончики пальцев были в пыли.

Ветер совсем стих, сквозь кровлю просачивались неяркие лучи утреннего солнца, и в них тоже плясали пылинки. Снаружи доносились еле слышные голоса. Я сел, прильнул к щели в стене барака.

Из домика пастухов вышли двое парней в голубых аэрофлотовских рубашках и форменных брюках, на ходу надевали фуражки. Они зашагали к вертолету, у которого возились вооруженные пастухи, отцепляли канаты. Еще двое пастухов затаскивали в вертолет выпотрошенные туши сайгаков.

Открылась дверь вагончика Сыры-Пыры. По ступеням спустились трое мужчин. Остановились. Одеты они были в куртки и брюки, заправленные в высокие сапоги. У каждого на поясе висел патронташ, через плечо — кожаные чехлы с охотничьими ружьями. Один из них, толстый, в пятнистой военной куртке, которая не сходилась на брюхе, потрепал по голове овчарку, сидевшую на привязи у вагончика. Овчарка заколотила хвостом о землю. По ступенкам живо бежал Сыра-Пыра, сказал что-то и погладил овчарку. Все засмеялись.

— Хозяева, мать их...— услышал я шепот.

Рядом, к другой щели, придвинулся Пластырь.

— Кто?

— Да эти... охотнички, третий раз уже прилетают. Нет, ты посмотри, как наш-то перед ними расстилается.

Действительно, Сыра-Пыра восхищенно покачивал головой, слушая толстого охотника, который достал из чехла дорогое охотничье ружье, блеснувшее на солнце золочеными гравировками. Сыра-Пыра озорно взял ружье, рассмотрел. Резко вскинул и прицелился в наш барак, что-то сказал, и все опять захохотали. Сыра-Пыра вернул ружье хозяину. Толстяк покровительственно похлопал Сыру-Пыру по плечу, и все четверо пошли к вертолету, у которого уже заработала турбина.

Возле вертолета они остановились. К ним от кухни, над которой в неподвижном воздухе стоял столбик дыма, спешил повар Керим. Он держал на вытянутых руках картонный ящик, прикрытый белоснежным полотенцем. Толстый охотник приподнял полотенце, заглянул в ящик и восхищенно закачал головой. Сыра-Пыра кивнул, и пастух, забрав у Керима ящик, полез с ним в брюхо вертолета. Керим стоял по стойке «смирно». Толстяк и его похлопал по плечу. Сыра-Пыра скромно улыбался.

Сильнее загудела турбина вертолета. Сначала медленно, а потом все быстрее завражались лопасти. Толстяк первый протянул руку Сыре-Пыре. Тот почтительно склонился, пожал руку. За толстяком стали прощаться и двое других.

В этот момент лягнул дверной замок. Мы отпрянули от стенки и нырнули под одеяла.

— Вторая бригада, подъем! — рявкнул Барон.

Происходило что-то необычное.

Все бригады вывели за ворота лагеря, но не повели по своим обычным маршрутам к местам работы, а выстроили в одну длинную колонну по четверо. По бокам встали пастухи с овчарками. Тут же присутствовали Моргун и Весельчак. Никто ничего не объяснял. Негромко, отрывисто переговаривались пастухи, мы же, бараны, стояли молча. Вдали, к горизонту, рокоча удалялся вертолет с хозяевами. Раздалась команда:

— Вперед, шагом марш!

И мы пошли по дороге. Завернули за главным пастухом за домики охраны и зашагали прочь от лагеря.

Здесь мы еще никогда не ходили. Дорогу пересекали длинные песчаные языки — следы вчерашней бури.

— Ох, не нравится мне все это, братцы,—

волновался Бомж-Бруевич.— Ох, не нравится...

— Помолчал бы ты, а? — попросил я его.

— Ох, не нравится,— продолжал тихо стелать Бомж-Бруевич.— Куда ж это гонят бедного Бомж-Бруевича?..

— На бойню,— сквозь зубы процедил Витёк.

— Куда!? — Бомж-Бруевич даже споткнулся.

— На бойню, я тебе говорю. Шкуру спускать.

— Разговоры в строю! — рявкнул сбоку Весельчак, и мы мгновенно прикусили языки.

Странное это было ощущение.

Я провел ладонью по голове и вместо привычных длинных волос нащупал короткий ежик. И борода моя превратилась в щетину.

Вдоль по течению узкой степной речки сидели и стояли в воде голые бараны и мылись, передавая друг другу куски хозяйственного мыла. И все, кто торчал в воде, все, включая меня, Витька и Бомж-Бруевича, были уже острижены наголо. Несколько баранов, не прошедших еще эту процедуру, дожидались на берегу. Там орудовали ручными машинками двое баранов-парикмахеров над очередными клиентами. Быстро обрабатывали, наспех. Вот еще один баран, уже облысевший, встал и, раздеваясь, полез в воду, а его место занял следующий.

На берегу валялись одежки, сидели пастухи и овчарки. Лениво прогуливался Моргун. Солнце сквозь стаи перистых длинных облачков освещало эту странную, молчаливую баню. Слышался только плеск воды и стрекот машинок. Бараны мылись; кто-то, уже вымывшись, простирывал свои шмотки. По воде плыли радужные клочья пены.

— Как колено,— проворчал Бомж-Бруевич, обеими руками поглаживая голову, покрытую мыльной пеной.

— Зато лишние звери не заведутся,— отреагировал Витёк.— Верно я говорю, Кеша?

Я не ответил.

Я замер и смотрел на Моргуна, остановившегося почти напротив нас. Моргун стоял, поглядывая вдаль, не обращая на нас никакого внимания.

— Посмотри,— тихо сказал я Витьку.— На Моргуна посмотри. Видишь, что у него в руках?..

— Чего-чего? — вклинился Бомж-Бруевич, протирая залепленные мылом глаза.

— В руках, у Моргуна,— повторил я.

— Мать моя женщина,— шептал Бомж-Бруевич.— Это ж Назыров талисман... Так что ж это получается, братцы?.. Он же с ними

не расставался, морда татарская... Так что ж... А как же больница?..

— Какая больница, придурок? — так же тихо сказал Витёк.

Пальцы Моргуна шевелились, перебирая бусинки коричневых финиковых четок, четок Назыра. Моргун скользнул по ним безразличным взглядом и зашагал в обратную сторону вдоль берега.

— Ребята, а ведь это — все,— вдруг неожиданно для себя сказал я.

Витёк и Бомж-Бруевич устались на меня, а потом дружно стали мыться. Они остервенело терли себя, как будто хотели смыть даже напоминание о моих словах, а я смотрел на них.

— Мне бежать некуда, я и так в бегах,— не глядя на меня, после паузы сказал Витёк.— Что там,— он мотнул головой,— что здесь, один хрен...

— Нет, правда, ты чего-то горячишься, Кеша,— поддержал его Бомж-Бруевич.— Может, с Назыром ничего и не случилось. Ну мало ли... А скоро и конец сезона, деньги получим.

Я молча полез на берег.

— Кеш! — окликнул меня Бомж-Бруевич.

Я посмотрел на них — голых, как новорожденные младенцы, с одинаковыми белыми полосками там, где еще утром были бороды, и негромко, но внятно сказал:

— Тогда я один уйду...

Хлопали уже работающие дизели «Кировцев», сизый дым отработанной солярки летел над хрустящей пожухлой августовской травой. Мы носились как оглашенные, закидывая маты на последние свободные места в прицепах. Пот заливал глаза, да еще Ерема, все время поглядывающий на часы, орал:

— Шевелись! Быстрее!..

Я таскал маты в паре с лысоватым бараном. Мы зашвырнули очередной мат в тележку, прицепленную к трактору, который стоял вторым.

— Все! Под завязку! — крикнул баран, который принимал маты наверху.

Он спрыгнул на землю и пошел к пастухам, стоявшим у головного «Кировца». Мой напарник, отдуваясь и вытирая лицо майкой, пошел за ним.

И они закрыли меня от пастухов.

Я быстро сделал несколько шагов и очутился возле заднего борта тележки, за которой почти впритык стоял следующий трактор.

Оглядевшись по сторонам, я поставил ногу на колесо, подтянулся на руках и вскарабкался наверх.

— Ты чего? — послышалось снизу.

В десятке шагов от меня стоял Огурец. Откуда его принесло?..

— Борт плохо закрыт,— и я еще раз передрнул защелку заднего борта тележки.

Спрыгнув вниз, я, не глядя на Огурца, пошел туда, где собирались остальные бараны нашей бригады...

Три «Кировца» с прицепами, груженными камышитом, вытянулись в цепочку и шли по степи. Пыль, поднятую колесами, ветер относил в сторону, и она длинной дымовой завесой тянулась над степью, постепенно оседая на выгоревшую траву.

Прицепы подпрыгивали на ухабах грунтовой дороги. На второй прицепной тележке, замыкающей колонну «Кировца», крайние маты раздвинулись, разошлись слегка, и из образовавшейся щели высунулась чья-то голова.

Это был Профессор.

Он, задыхаясь, разинул рот, чтобы глотнуть свежего воздуха, но порыв ветра забил ему пылью рот, нос, глаза. Профессор, кашляя, начал выбираться наружу, и как только ему это удалось, он мешком свалился с прицепа на землю. Заднее колесо тележки чуть было не разможило ему голову, но инерция падения уже откатила Профессора в сторону.

Рев двигателей стал затихать — «Кировцы» уходили все дальше и дальше от лежащего на краю дороги человека. Вот они уже совсем уменьшились в размерах, завернули за бархан и скрылись из виду.

Поднятая пыль осела, и стал виден неподвижно валявшийся Профессор. Ветер шуршал колочей травой, гнал спутанные комки перекаты-поля. Неподалеку от Профессора высунулись из норок толстые степные сурки. Сложив на брюшках лапки, они с любопытством смотрели на человека.

Профессор слабо шевельнул рукой, приподнял голову, встал на четвереньки. Огляделся, зажмурил один глаз. Левое стекло в очках было выбито напрочь, а правое пересекала трещина, поэтому, чтобы что-либо увидеть, Профессору приходилось не только закрывать один глаз, но и вскидывать голову, задирая вверх белый незагорелый подбородок, покрытый короткой щетиной.

Покряхтывая, Профессор поднялся, потер поясницу, обвел взглядом степь. Было тихо и никого не было видно, кроме все тех же сурков, которые поначалу попрятались, а теперь снова вылезли из своих норок.

Профессор вдруг негромко ухнул, присел, выпрямился и стал, размахивая руками, неуклюже приплясывать на месте. Он вскидывал ноги, пускаясь вприсядку, снова подскакивал на месте. Танцевал свободный и счастливый человек, на которого смотрели сурки-зрители.

А потом Профессор лег на спину и уставился в небо. Он перебирал пальцами жесткие былинки и улыбался...

Профессор шел по степи наугад, не оглядываясь.

Время от времени он вскидывал голову, прищурив один глаз, ориентировался по солнцу на местности и продолжал свой путь. Он шел на север, туда, где, по его предположениям, должна была находиться железная дорога.

А вокруг расстилалась выжженная трава, шелестели багрово-желтые высохшие стебли конского щавеля, густо усыпанные семенами. Посвистывали сурки, стоящие столбиками на взгорках, и высоко в небе парил степной орел с застывшими в полете крыльями.

Профессор дошел до русла высохшей степной речки, спустился и пошел по руслу дальше на север.

Это был колодец.

Самый обыкновенный колодец — бетонный, с воротом, ведром и плотно пригнанной деревянной крышкой, обитой войлоком. Колодец на окраине маленького поселка, к которому вышел Профессор.

Он бросился к колодцу, лихорадочно быстро опустил брякающее ведро в гулкую глубину и так же быстро вытянул его, полное прозрачной воды. Трясущимися руками он поставил ведро на край колодца и прильнул к нему.

Профессор пил, пил, пил... Потом стал лить воду себе на голову. Потом сел, прислонившись спиной к стенке колодца, поставив ведро между ног и снова стал зачерпывать руками воду и снова пить. Еще и еще... Он обнял ведро и сидел так, мокрый и счастливый...

Профессор почувствовал, что рядом кто-то стоит. Он вскинул голову и увидел старую казашку в белом платье и белом платке, который наполовину скрывал коричневое морщинистое лицо. В руке казашка держала пустое ведро.

— Здравствуйте, — поздоровался, улыбаясь, Профессор.

Женщина не ответила. Узкие темные глаза ничего не выражали.

— Гражданочка, — Профессор поднялся с земли, протянул к ней руку, — вы мне не подскажите?..

Женщина развернулась и почти бегом пошла прочь.

— Гражданочка, куда же вы?! Я только спросить!..

Женщина, не останавливаясь, скрылась за дувалом.

— А-а, ну да... — пробормотал себе под нос Профессор.

Он осторожно вытер единственное треснувшее стекло очков, нацепил их и двинулся к поселку, высоко вскинув голову.

Сыру-Пыру, сидящего на стуле, заслоняла тень от большого, воткнутого в землю зонта, — вроде тех, которыми пользуются художники на этюдах. Сыра-Пыра сидел, читал газету, отхлебывал лимонад. Моргун и прочие пастухи сидели напротив нас — всего бараньего лагеря, выстроенного в две шеренги на плацу.

— Хотелось бы мне знать, корешки, — обливав пересохшие губы, сказал Пластирь, — поймают они его или мы за просто так уже два часа здесь столбняком болеем?..

— Погоди, узнаешь, — скрипнул зубами Огурец. — Если содхнешь стоймя — значит, не поймали. Отпустят — значит, накрылся Профессор...

В голове гудело, губы растрескались, и язык сухой котлетой скребся во рту. Я окончательно спекся и правым плечом, опираясь как на стенку, навалился на Витяка.

— Что, бегун?.. Сдох? — еле прошептал Витёк. Я только промывчал в ответ.

— А вот в Ростове хорошее пиво делают, — вдруг пробормотал стоявший за мной Бомж-Бруевич. — Даже лучше, чем в Москве.

Никто ему не возразил. А Бомж-Бруевич продолжил:

— И в Николаеве ничего пиво, там чехи завод построили. Я бы сейчас не отказался от пивка-то.

— А дерьма пожиже в ковшечке не развести? — зло пробурчал Огурец.

— Или квасу, — бормотал Бомж-Бруевич. — Большую кружку...

— Закрылся бы ты, а? — попросил Витек.

— А еще я лимонад люблю, — настойчиво бубнил ошалевший от жажды Бомж-Бруевич. — Очень люблю, очень... «Крем-соду». Или «Буратино»...

Раздался глухой удар о землю: баран из первой бригады не выдержал и потерял сознание. Моргун тут же встал со стула и с плетью направился было к упавшему.

— Моргун! — окликнул Сыра-Пыра. Моргун обернулся. Сыра-Пыра отрицательно покачал головой и поднялся. — Ну вот что, дерьмушники, — обратился Сыра-Пыра к нам. — Даю вам ночь на размышление. Если никто из вас так и не вспомнит, куда подевался очкарик из второй бригады, обещаю вам выходной на весь завтрашний день. Здесь. На плацу. Будете стоять, как стояли сегодня. И без воды, учтите. Все, спокойной ночи.

Здание поселкового совета ничем не отличалось от остальных домиков поселка. Такое же одноэтажное, со стертой ветрами побелкой, из-под которой виднелись коричневые пятна штукатурки, разве что вывеска у входа.

Зелени не было, только торчали повсюду столбы с электропроводкой да мягкая пыль покрывала толстым слоем единственную улицу.

Возле входа в поссовет стоял запыленный милицкий мотоцикл с коляской. Окна, выходящие на улицу, были открыты, и оттуда доносился возбужденный голос Профессора:

— Я вас просто умоляю! Надо сообщить о том, что я рассказал, куда-нибудь дальше. Туда — в Москву, в КГБ! Я просто не знаю, куда обращаться в таких случаях!..

Профессор замолчал, затянулся папиросой.

— Разумеется, разумеется, уважаемый Алексей Иваныч, — мягко, через паузу произнес человек в светлой летней куртке на выпуск.

Он сидел за большим письменным столом в кабинете. Перед ним — Профессор, а чуть сбоку — третий человек: в серой форменной рубашке с погонами лейтенанта милиции и непроницаемым выражением раскосых глаз.

Кабинет был обставлен стандартной мебелью. Красные знамена замерли в стойках. За спиной человека в куртке на высокой тумбочке виднелся гипсовый бюст Ленина, покрытый бронзовой краской. На стенах — грамоты, вымпелы, портреты членов Политбюро. Негромко жужжал настольный вентилятор.

— Только поймите, это все надо сделать как можно быстрее, понимаете? Как можно быстрее! — суетился Профессор.

— Разумеется, разумеется, — снова сказал человек в куртке. Говорил он по-русски почти без акцента. Он подвинул Профессору пиалу с зеленым чаем и продолжил так же неторопливо: — Но я как председатель поссовета, так сказать, местный представитель Советской власти, и товарищ Аланбаев, наш участковый, должны сначала все взвесить, тщательно проверить...

— Вы мне не верите? — удивился Профессор.

— Если говорить откровенно, уважаемый Алексей Иваныч, согласитесь, с трудом... Я даже сначала подумал, что вы...

Председатель замаялся.

— Сумасшедший? — уточнил Профессор. Председатель поцокал языком. Профессор прижал руки к груди: — Но я не сумасшедший! Уверю вас, все, что я рассказал, — чистая правда! Если вы мне не верите, то поедмете, я покажу!

— Успокойтесь, успокойтесь, мы вам верим...

Председатель что-то сказал по-казахски лейтенанту. Тот молча кивнул.

— Что вы сказали? — Профессор с подозрением покосился на лейтенанта.

— Мы говорим, что вам надо отдохнуть,

а завтра вместе с товарищем Аланбаевым вы поедете в район, в прокуратуру. Там вы и дадите показания...

— Надо сейчас ехать! — привстал Профессор.

— Ночью, по степи, на мотоцикле?! Нет смысла, уважаемый. До утра все равно не доберетесь.

На столе зазвонил телефон. Председатель снял трубку, выслушал, коротко ответил.

— Ну вот, — сказал он Профессору. — Для вас все готово. Покушаете, отдохнете, выспитесь, а завтра утром поедете. Поверьте, я потрясен не меньше вас, и, если ваши показания подтвердятся...

— Честное слово, я не лгу!

— Я вам верю, Алексей Иванович, верю, — и председатель протянул Профессору руку.

Профессор вслед за лейтенантом прошел по коридору того же здания. Лейтенант распахнул дверь и жестом пригласил Профессора войти.

Это была большая, почти пустая комната. В углу — кошма, цветастое одеяло и подушки. Возле кошмы на низком столике виднелась большая миска с бешбармаком, тарелки с лепешками, с жареной бараниной, с фруктами, большой кувшин с кумысом. Стоял цветной телевизор, горела лампочка под потолком.

— Кушай, пожалуйста, спать ложись. Завтра рано-рано поедем, — сказал с сильным акцентом лейтенант. — Все хорошо будет. — Он улыбнулся, отдал честь и вышел из комнаты, прикрыв дверь.

Профессор послушал, как удаляются по коридору шаги, огляделся, подошел к телевизору, провел пальцем по запыленному экрану, присел на кошму возле столика. Потом уселся по-турецки, уставился на еду. И тут лицо Профессора скривилось в гримасе, он закрыл лицо руками и заплакал, хлюпая носом. Пробовал остановиться — и не мог, трясся всем телом и плакал, роняя слезы в миску с бешбармаком.

А за окном накатывалась глухая южная ночь...

Звякнула створка оконной рамы.

Профессор мигом сел на кошме, близко сощурился и вскрикнул от испуга. Уже рассвело. В комнату, в открытое окно заглядывала чья-то губастая морда с выпученными глазами. Это был верблюд, он с интересом разглядывал Профессора, слегка подрагивая ноздрями.

— Фу, черт горбатый! — Профессор перевел дыхание и сам засмеялся собственному испугу.

Потянулся, зевнул. Нацепил очки. Налил

в стакан кумысу, залпом выпил. Пожевал лепешку.

Верблюд по-прежнему наблюдал с улицы за Профессором.

— Ну что глядишь? Что глядишь, скотина ты страшная? — миролюбиво обратился к нему Профессор.

Верблюд фыркнул. Профессор взял другую лепешку и босиком прошлепал к окну. Верблюд тут же сделал шаг в сторону. Профессор улыбнулся и протянул ему кусок лепешки.

— На, пожри. Ну? Вкусно ведь, дурилка!

Верблюд косился на лепешку, шевелил ноздрями, но не подходил.

— Ну как знаешь... — Профессор отправил кусок лепешки в рот.

В коридоре послышались шаги. Профессор повернулся к дверям, расплылся в улыбке. Дверь распахнулась, и лепешка выпала из руки Профессора. В дверях стоял Моргун.

Профессор, не отрывая взгляда от подергивающегося лица Моргун, присел, нащупал на полу лепешку, медленно прошел к столу. Вернул лепешку на тарелку так, как будто украл чужое и был уличен в воровстве. Профессор постоял и медленно двинулся к двери.

Моргун пропустил Профессора и закрыл за собой дверь. Запыленные башмаки Профессора сиротливо остались стоять возле кошмы.

В открытое окно было видно, как двое вооруженных пастухов вытащили Профессора на улицу, сунули в «уазик». Моргун сел рядом с шофером. Хлопнули дверцы, взревел мотор, и машина покатила по улице поселка.

Верблюд смотрел им вслед.

Столб был самый обыкновенный — ошкуренная сосна, вкопанная в землю посреди лагерного плаца. Этот столб я видел каждый день, но не задумывался, для чего он. Солнце только-только оторвалось от горизонта, и от столба тянулась длинная тень, падая на баранов лагеря, выстроенных в одну шеренгу на плацу.

Моргун шел вдоль строя, помахивая плетью, не глядя на наши заспанные физиономии. Он дошел до крайнего барана из первой бригады, протянул ему плетль. Баран взял плетль и пошел к столбу.

Лицом к столбу был привязан голый по пояс Профессор.

Баран подошел к Профессору и со всей силы перетянул его по спине. Профессор заорал, дернулся. Баран передал плетль следующему барану из его бригады, уже подошедшему к столбу.

И второй баран ударил Профессора. Судя по всему, подобная процедура происходила

не в первый раз — старожилы нашего лагеря делали все заученно и четко. Они подходили по очереди, отвешивали удар Профессору, отдавали плеть следующему. Третий, четвертый, пятый... Профессор сначала вскрикивал, потом затык, обвис на веревках и только постанывал да вздрагивал всем телом при очередном ударе.

Сыра-Пыра бесстрастно наблюдал за экзекуцией. Он, как всегда, был свеж, подтянут и выбрит. Он дымил сигаретой и шутил от лучей встающего все выше солнца.

Очередной баран ударил Профессора и обернулся, чтобы передать плеть следующему.

Следующим был я.

Мне было страшно до дрожи в коленях, пот капал с кончика носа. Но я вышел из строя и, обогнув барана с протянутой мне плеткой и столб, встал посредине — между двумя шеренгами. Сыра-Пыра сожалеюще покачал головой, махнул рукой. Ко мне подскочили пастухи и прикладами оттеснили в сторону.

И оттуда я увидел, как Витек неторопливо, даже как бы вразалочку, вышел из строя и пошел ко мне. Встал рядом, засунул руки в карманы порток.

Следующим был Огурец. Уж он-то постарался и за себя и за нас с Витьком. Врезал так, что Профессор, давно уже не издававший никаких звуков, отчаянно завопил. А потом, через двух баранов, плеть перекочевала в руки Бомж-Бруевича. Он остановился возле столба, с ужасом посмотрел на исполосованную спину Профессора, на нас.

— Давай-давай, — подбодрил его Витёк.

— Ну?! — рявкнул на Бомж-Бруевича Моргун и вытянул его своей плетью.

Бомж-Бруевич дернулся от удара, шагнул к столбу, а потом как-то передернулся снова, сплюнул и швырнул плеть на землю.

— Да чего я — рыжий, ёксель-моксель?! — И, кривовато улыбаясь, отошел к нам с Витьком.

Витёк, Бомж-Бруевич и я лежали в пыли рядом со столбом, к которому был привязан Профессор. Руки у нас были связаны за спиной в запястьях и притянуты веревками к щиколоткам. Так мы и валялись — скрученные в бараний рог.

Лагерный двор был пуст. Солнце висело в зените. Вокруг стояла тишина, которая бьет только при удушающей жаре. Все застыло, только огромные зеленые мухи звенели в раскаленном воздухе. Они были злые и кусачие, эти мухи. Они жрали нас поедом. Я вздрагивал от очередного укуса, мухи взлетали и садились на меня снова. И снова кусали.

Профессор, привязанный к столбу, что-то

бормотал в беспомощности. У него не было сил даже пошевелиться, и мухи густо облепили его окровавленную, вздувшуюся от синих рубцов спину.

— Ух!.. У-у-ух!.. — вдруг как-то нутряно застонал Бомж-Бруевич. — На хрена ж мне это надо было!.. Из-за какого-то алконавта... У-у-ух!.. Ну я козел! Попался — ну и получи свое... А я-то за что?.. Строят друг перед другом!..

— Не скули, гнида, — выдохнул, не поворачиваясь, Витёк.

— Сдохнем мы тут! — заблажил Бомж-Бруевич. — На солнышке загорая!.. Воды дайте! Пи-ить!.. Дайте мне пить! Развяжите меня, я это ётёк очкарика своими руками! Воды! Дайте воды!..

От ворот отделился дежурный пастух. Он подошел к Бомж-Бруевичу и деловито врезал ему ногой по животу.

— У-у-у! — завыл, задергался Бомж-Бруевич. — Дай попить, родной! Я что хошь сделаю!..

Пастух врезал ему еще раз.

— За что, сучье вымя?! — взвыл Бомж-Бруевич и схлопотал в третий раз.

После этого он затык, а пастух так же неторопливо вернулся в тень под навес.

Я смотрел на солнце. Странно, но оно совсем не слепило мне глаза. Солнце неподвижно стояло надо мной, круглое и плоское, аккуратно отточенное по краям, словно начищенный пятак. А белое небо вокруг него вдруг стало синеть. Все больше и больше. Было похоже на солнечное затмение, но солнце по-прежнему было идеально круглым и светлым. А потом синева перешла в черноту и солнце затуманилось, стало гаснуть, будто кто-то там, наверху, стал тушить его, как тушат постепенно керосиновую лампу.

— Конец света, — прошептал я, и на мир опустилась тьма.

Вокруг меня бродили неясные тени, слышались невнятные голоса. Было так же темно, но предметы постепенно обретали свои очертания. Я почувствовал прикосновение к губам чего-то холодного — это Витёк прикладывал к моему рту мокрую тряпку. Я лежал в бараке на своем месте. За стенами барака была ночь, и вся наша бригада, вернувшаяся с работы, уже спала, отдыхая перед новым днем.

Я попробовал пошевелиться и застонал.

— Наконец-то, — тихо прогудел Витёк и обтер мне лицо. — А я-то уж испугался. Хилый-хилый, а ничего, оклемался...

У меня не было сил, чтобы ответить, — я только пошевелил губами. Витек приподнял меня, усадил у стены, поднес к моим губам кружку. Я буквально в пару глотков выпил всю воду.

— Ожил? — из-за спины Витька вылез Бомж-Бруевич.

— Пошел отсюда, падла,— шуганул его Витёк.

— Ну чего ты собачишься, Витёк? — пробормотал Бомж-Бруевич. — Ну виноват... ну бывает... Это все солнце, зараза!.. У меня от него, пока там лежали, мозга какая-то выскочила...

— Твое счастье, что у меня руки были связаны, а то бы я тебя так урыл — вообще б все мозги вылетели... Уйди, говорю.

— А где Профессор? — слабо выговорил я.

Витёк и Бомж-Бруевич переглянулись, а Бомж-Бруевич перекрестился — почему-то слева направо — и прошептал:

— Того... мотор не выдержал. Эхе-хе...

И Бомж-Бруевич исчез в темноте барака за Витькиной спиной.

— Витёк... — позвал я.

— Угу,— угрюмо отозвался Витёк. — Его отвязали, а он и не дышит уже...

Помолчали.

— Я убью его,— после паузы сказал я.

— Кого?

— Сыру-Пыру. Начальника. Завтра же...

Витёк хмыкнул:

— Хороший ты парень, Кеша, только больно любишь залупаться.

— Да не могу я больше так, уж лучше сдохнуть...

— А не надо подыхать,— Витёк понизил голос. — Бежать надо, чтобы всю эту контору гадскую разом!

— Правильно, братцы,— опять появился Бомж-Бруевич. — Только не в одиночку надо дергать, а всей бригадой.

— Я тебе сказал, пошел отсюда! — защищел на него Витёк.

— Да чтоб мне всю жизнь в засранцах ходить, если я еще хоть раз ссучусь! — стукнул себя в грудь Бомж-Бруевич и закашлялся.

— Ты и так... всю жизнь... — сказал Витёк.

— Оставь его, он верно говорит: в одиночку уйти трудно. — Я задумался.

— Надо, братцы, как следует мозгой покрутить,— опять встрял Бомж-Бруевич.

— Надо,— отозвался Витёк.

— Вторая бригада, стой! — скомандовал Ерема, и мы остановились сразу же за воротами лагеря.

Мимо нас уходили к своим участкам бараны первой и третьей бригад в сопровождении своих пастухов.

От вагончика к нам шел Сыра-Пыра. Он подошел и сказал мне негромко, но так, что его слова все услышали:

— Мне не нравится, как ты себя ведешь, Бобер, и я боюсь, что теперь у тебя появились все шансы заболеть какой-нибудь очень

серьезной болезнью... И у тебя, амбал, тоже,— кивнул он на Витька. — И если вы не перестанете рыпаться... Поняли?

Я не ответил, смотрел в его глаза — прозрачные, холодные.

— Поняли?! — чуть повысил голос Сыра-Пыра.

— Поняли,— ответил я.

— Вот и умницы. — Сыра-Пыра развернулся и зашагал к кухне.

— Вторая бригада!.. Шагом марш! — рявкнул Ерема.

И мы пошли вдоль берега озера по дороге от лагеря.

Все было, как обычно.

Наш участок передвинулся уже далеко от лагеря — даже сторожевых вышек не было видно. Солнце совсем ошалело — заливало все вокруг слепящим светом, от которого стояло над землей колышющееся марево, и выжженная степь сливалась на горизонте с выжженным небом.

Только что закончился обед.

Последний в очереди баран получил послеобеденную пайку воды и отошел с миской в руках. Старшой у навеса щедро — своя рука владыка — налил себе воды. Снова налил — на то он и был старшой — и захлопнул крышку бидона. Тоже отошел в сторону и сел на землю, положив рядом с собой плеть.

Сегодня старшим был Огурец.

Под навесом Ерема и Барон ленивоковырялись в своей жирной пастуховской жратве, чавкая и обсасывая баряньи ребра. Наша бригада сидела и лежала кто где, в основном, в теньке от сложенных в штабеля готовых матов. Молчали. Кто-то курил, кто-то, улучив свободную минутку, дремал, надвинув на лицо панаму.

Я сидел рядом с Бомж-Бруевичем, Витёк — поодаль, на берегу озера. Я не отрываясь незаметно смотрел на Витька. Наконец он чуть заметно кивнул головой, встал, зачерпнул миской озерной воды и лениво, как бы без особой цели побрел к тому штабелю матов, возле которого стоял пастуший навес.

— Бруевич, приготовься,— шепнул я и придвинул к ноге круглый увесистый булыжник, прикрыл его рукавицами.

Но тут Витек остановился и растерянно уставился на дорогу, ведущую к лагерю.

— Господи, за что? — услышал я жалобный стон Бомж-Бруевича.

Я обернулся.

Прямо к нам, подпрыгивая на ухабах, несся «уазик», в котором виднелись вооруженные пастухи.

— Пронеси, господи,— взмолился Бомж-Бруевич. — Пронеси, пожалуйста!..

Но господь не пронес.

Машина резко тормознула перед навесом, и из нее Весельчак ударом приклада буквально вышвырнул на землю какого-то человека.

— Эй, Ерема! — радостно заржал Весельчак. — Принимай новичка! — И сам спрыгнул с «уазика», шагнул к бидону с водой.

С земли медленно поднялся парень лет двадцати пяти, плотно сбитый, в разодранной на спине рубашке и в брезентовых портках. Он поднял свою панаму, выколотил ее о колено. На скуле у парня аела свежая ссадина, губы распухли и кровоточили. Парень сплюнул розовой слюной, пошатал пальцем передние зубы, посмотрел на нас, сидящих.

Ерема поднялся, подошел к Новичку:

— Пошел!

— Сам ты пошел! — тут же огрызнулся Новичок.

Ерема взмахнул плетью, и Новичка согнуло от сильного удара по голове.

— Старшой! — взревел Ерема. — Огурец!

— Я! — Огурец мухой подлетел к пастуху.

— Поставишь его на подноску. Пошел! — последнее относилось уже к Новичку.

— Пошел! Пошел, тебе говорят! — усердно рывкнул Огурец и вытянул Новичка по спине.

Новичок дунул к нам, остановился, огляделся. Увидел, что все сидят, и тоже опустился на пыльную траву неподалеку от нас с Бомж-Бруевичем.

— Да-а-а, — негромко протянул Новичок, ни к кому конкретно не обращаясь. — Весело тут у вас, а, ребята?

Лоб его наискосок пересекал рубец от удара Еремы.

Никто ничего не ответил. Новичок натянул панаму на коротко стриженную башку, поморщился и добавил:

— И хозяева гостеприимные...

От навеса пастухов донесся взрыв хохота. Весельчак хлопнул Ерему по спине, прыгнул в «уазик». Мотор взревел, из-под колес ударили струи песка, и машина умчалась обратно в лагерь.

А Витек снова медленно двинулся к навесу. Я встретился взглядом с Бомж-Бруевичем.

И тут началось.

— А-а-а!.. — вдруг дико завопил Бомж-Бруевич, схватившись обеими руками за живот.

Он упал на землю и начал кататься по ней, дико вопя и держась за брюхо. Кто-то из баранов вскочил, кто-то остался сидеть на месте, но все со страхом смотрели на Бомж-Бруевича, испускавшего звериные вопли. Огурец подскочил к нему и хлестнул плетью:

— Встать!

— Огурчик, миленький, помираю!..

А-а-а! — орал Бомж-Бруевич изо всех сил.

Огурец растерянно оглянулся на пастухов, не зная, что и предпринять. Барон неторопливо поднялся и потопал к нам. Ерема остался под навесом. Он, да и все остальные были настолько увлечены концертом Бомж-Бруевича, что не видели, как Витёк нырнул за штабель матов и по-пластунски пополз к навесу, заходя с обратной стороны. Я стоял в паре метров от катающегося Бомж-Бруевича и держал в поле зрения и обоих пастухов, и Витёка. Барон подошел к Бомж-Бруевичу и пнул его ногой, а тот завопил еще громче, протягивая к Барону руку:

— Барончик, родной, помоги!

Барон наклонился к Бомж-Бруевичу, и тот внезапно обеими руками вцепился в Барона.

А дальше все произошло в считанные секунды, но в то же время мне показалось, что это событие пребывает в другом измерении, растянутом, замедленном, как в кошмарном сне.

Я уже занес камень над головой Барона, но Барон рывком освободился от хватки Бомж-Бруевича, откатнулся, шагнул в сторону. Я промачнул, камень прошел мимо головы Барона, а он уже передергивал затвор автомата, досылая патрон в патронник. И мне уже не хватало времени достать Барона во второй раз, и Бомж-Бруевич замер в траве с выпученными глазами, и Ерема вскочил — вернее, тоже как-то замедленно поднимался и одновременно с его движением плавно взлетал с земли Витёк... Но мы уже не успевали, и я понимал, что сейчас случится...

Но в этот-то момент Новичок и врзал кулаком Барону. От удара его развернуло, дуло автомата почти уперлось в грудь Новичку и глухо простучала короткая автоматная очередь, а я со всей силы опустил булыжник на башку Барона, и тут же, а может быть, даже раньше, Витёк, как кувалдой сцепленными в замок руками, нанес страшный удар по шее Ереме.

И все было кончено.

Новичок лежал на спине, широко раскинув руки. Грудь у него была разворочена пулями, а трава стала красного цвета. Глаза у Новичка были удивленно распахнуты, а лицо еще хранило следы последнего выражения — выражения ненависти. Поперек ног Новичка ничком валялся Барон. Затылок его превратился в темно-вишневую кашу, к которой прилипли пряди волос.

Бомж-Бруевич вдруг подскочил к Барону и зарыдал, начал неумело пинать его, причитая:

— Ну что, пакость?! Допрыгался, пакость?.. Допрыгался?.. Пакость! Пакость!

— Оставь, — подошедший Витёк сбросил на землю безжизненное тело Еремы. — Не надо, Бруевич, он готов... Не надо, я говорю! — Витек оттолкнул его.

Бомж-Бруевич, тяжело дыша и вытирая слезы, отошел и плюхнулся на траву. Меня колотило мелкой противной дрожью, я все тер ладонь о ладонь. Витек перевернул Барона на спину, потянул за приклад автомата. Пальцы мертвеца крепко держались за ствол. Витёк хладнокровно ударил каблуком по пальцам, выдернул автомат, вытащил из-за пояса Барона чехол с запасными обоймами, молча протянул мне карабин Еремы, а сам куском проволоки намертво стянул Ереме руки за спиной и так же — ноги.

Все это время наши бараны, в том числе и Огурец, сгрудившись в кучу, испуганно наблюдали за происходящим. Витёк обвел их взглядом и неожиданно засмеялся:

— Свобода, братва!.. В натуре — настоящая свобода! Всем!

— Какая свобода?! — вдруг послышался вопль Огурца. — Да что ж это... Да что ж это вы наделали?! Да нам теперь за них крышка!.. Всем!

Мы уставились на орущего Огурца, на баранов. А Огурец продолжал завывать:

— Всем хана!.. В лагерь надо, сдаваться!.. Сдаваться, пока не поздно!

Бараны не двигались с места, переминались, явно не зная, что и делать. Огурец умолк было, а потом, повернувшись к баранам, снова заорал:

— Да вы что, хотите, чтобы вас, как Профессора?! К столбу?! В лагерь надо! Помилуют, гадом буду, помилуют!..

— Спятил?! — опомнившись, заорал я. — Кто помилует? Бежать надо! Всем вместе бежать!

— Хана-а-а! Хватай их, ребята! Вяжи, нам за них все простят!

И бараны во главе с Огурцом загалдели, заблеяли, двинулись к нам, но их ропот покрыл жуткий рев Витька:

— Стоять! Всем лечь на землю!.. Руки за голову, стреляй! — И от живота он направил ствол «калашникова» на баранов.

Бараны мгновенно попадали на землю и замерли — все до единого. А Витёк удивленно сказал мне:

— Смотри-ка, во стадо...

— Каждому — свое.

— Больно же, Кешенька, полегче бы, — жалобно попросил Пластырь.

Я, не обращая внимания на его просьбу, потуже закрутил проволоку и выпрямился. Остальные бараны нашей бригады — все, кроме меня, Витька и Бомж-Бруевича, уже лежали, связанные по рукам и ногам, точь-в-точь, как мы валялись на плацу рядом с Профессором.

— Пасти бы им заткнуть, — предложил Бомж-Бруевич.

— Пусть орут, — отмахнулся я. — Далеко, никто не услышит.

Витек под навесом взял фляги наших пастухов и со всей силы саданул прикладом по рации. И еще раз — для верности. Подбежал к нам, окинул взглядом лежащих баранов.

— Все?

— Все, — ответил я.

Бомж-Бруевич сорвался с места, подлетел к навесу, открыл крышку бидона и свалил бидон набок. Вода, булькая, мгновенно впиталась в пересохшую землю.

— Зачем это ты?

— А чтоб помучались, как мы вчера, — мстительно заявил Бомж-Бруевич.

— Пошли, — скомандовал Витёк, и мы рысцей двинули от баранов, от лагеря — напрямик в степь.

Мы бежали по мелководью степной речушки. Бежали, продираясь сквозь осоку и камыш, распугивая разноцветных стрекоз, на север — туда, где сгущались, громоздились грязно-белые тучи, постепенно вырастая над горизонтом. Мы бежали, шлепая по воде, задыхаясь. Впереди, вздымая тучи брызг, ломился Витёк. За ним — Бомж-Бруевич и я, замыкающий цепочку.

Мы бежали по левому берегу. И тут речка круто завернула почти под прямым углом еще левее — на запад. Витек затормозил, но раздумывал недолго.

— Вперед! — крикнул он и, высоко подняв автомат над головой, ринулся в воду.

— Стойте! — завопил Бомж-Бруевич, остановившись так резко, что я воткнулся головой в его костлявую спину.

— Какого!.. Вперед! — Витёк стоял уже по грудь в воде.

— Я плаваю плохо!

— Давай, Бруевич! — толкнул я его. — Бог не выдаст, давай!..

— Бога нет, — успел сказать Бомж-Бруевич. — Ой, мама моя! — И шагнул в реку.

На его счастье, она была неглубокая, но тем не менее на середине, оступившись, Бомж-Бруевич нырнул с головой, вылетел, глотнув воды, и уже без понуждения выскочил на другой берег. Витёк глянул, как Бомж-Бруевич кашляет и отплевывается, и сказал ехидно:

— Ну все, Бруевич, теперь-то ты точно какую-нибудь заразу проглотил!

— Типун тебе на язык, — испугался Бомж-Бруевич. — Какую такую заразу?! Сам ты...

— Хорош, ребята, — остановил я их. — Пошли.

И мы побежали дальше по степи, осторожно оглядываясь...

Мы уже основательно подустали, перешли на шаг. Одежда наша почти высохла. Мы продолжали двигаться цепочкой и так же оглядывались, чтобы успеть заметить погоню,

если она появится. Но вокруг было пустынно.

Мы спустились в пересохшую балку, вскарабкались по осыпающемуся склону наверх, и тут нам в лицо ударил первый, мощный порыв ветра, поднявший пыль и сухую траву, которые закружились в воздухе. И тень от уже набежавших туч легла на степь, на нас. Вокруг все сразу потемнело, насупилось.

— Ложись! — крикнул Витёк и бросился на землю.

Мы тоже попадали, ничего не понимая.

— Во-о-он,— шепотом, как будто его могли услышать, сказал Витёк, показывая рукой вдаль.

Я приподнялся, всмотрелся. Засмеялся и сел.

— Да это ж сайгаки!..

Действительно, по сумрачной степи катилось стадо сайгаков — даже отсюда можно было разглядеть рога самцов.

— Тьфу, только песка наглотался,— сплюнул Витёк.

— Братцы, а ведь сейчас дождь будет,— сказал Бомж-Бруевич, глядя на небо.

— Ага... и снег,— проворчал, отряхиваясь, Витёк.

— Точно-точно, дождь. У меня сегодня с утра знаешь как поясница болела! — убежденно сказал Бомж-Бруевич.

— Пошли,— сказал я.

И тут первые капли дождя тяжело ударили по земле, вздымая облачка пыли и свертываясь в шарики. А потом еще... еще... Сверху оглушительно громыхнуло, и на нас косой стеной обрушился ливень.

— Я же говорил! Ого-го-о! — орал Бомж-Бруевич.

Мы кричали и прыгали, подставляя лица дождю, мы ловили раскрытыми ртами прохладную влагу, мы кричали радостно и счастливо.

— Надо же идти! — хохотал Витёк, оскальзываясь на мокрой траве.— Вы чего, придурки?! Догоняйт!..

— Кого догоняйт?.. Кого-о-о? — вопил Бомж-Бруевич.— Дождь же!.. Следы смое!

— Смое! Дождь все смое! — вторил ему я.

Над нами белыми лоскутами пронеслись гонимые ветром три птицы, и Бомж-Бруевич заметил их и завопил еще громче:

— Вона!.. Гляди!.. Счастья! Птица!

И мы подхватили и заорали:

Птица счастья завтрашнего дня

Прилетела, крыльями звеня!

Выбери меня, выбери меня!

Птица счастья завтрашнего дня!..

Мы кричали слова песни, мы бежали, подпрыгивая и завывая. Бежали сквозь сетку дождя и вспышки молний, а раскаты грома вторили нашим сумасшедшим воплям...

—...Да ладно тебе, говорит, ну разочек... ничего не будет,— негромко рассказывал я, уставившись на огонь.— Ты, говорит, уже все, вылечился... От одного раза ничего не будет. Ну и понеслось все по новой... Только вот помню, когда я как-то домой случайно завалился, обдолбанный весь, мать говорит: «Уходи, уходи... не дай бог отец тебя увидит...»

Гроза давно прошла, небо очистилось. Солнце скатывалось вниз, багровело на глазах. Воздух стал прозрачным и синим, такой бывает только вечером в степи.

Мы сидели в неглубокой песчаной ложбинке возле костерка, сушили башмаки. Рядом с ложбинкой было болотце, поросшее тростником. Там мы наломали сухого камыша — уж что-что, а это занятие мы освоили в совершенстве — и подкладывали его в костер. Поэтому от сушиняка почти не было дыма, а над краем ложбинки не было видно и огня. Я и Бомж-Бруевич сидели у самого костра, а Витёк чуть повыше. Куском ткани, оторванной от подола рубахи, он протирал затвор автомата, поглядывая время от времени по сторонам.

— А чего отец-то? — спросил меня Бомж-Бруевич.

— Да батька у меня... такой человек... аппаратчик,— ответил я.

— То есть?

— Ну, не телефонист же... В райкоме партии работал, заведующим отделом.

— О-о-о,— протянул Бомж-Бруевич.— Большой ты, оказывается, человек, Кеша...

— Да погоди ты, — остановил его Витёк.— Ну, а второй раз тоже они тебя засадили?

— Да нет... сам пошел,— ответил я.

— И долго сидел? — с профессиональной заинтересованностью спросил Витёк.

— Не сидел — лечился, год почти. Ну, а когда вышел, чего мне, к предкам возвращаться? У них от меня только головная боль. Чего доброго батька бы и из партии полетел... Да и дружки мои тоже в покое бы меня не оставили.

— И не тянуло, опять-то? — поинтересовался Бомж-Бруевич.

— Тянуло — не то слово.

— Ну а как же ты с иглы соскочил? — спросил Витёк.

— А не знаю... Может, испугался, может, потому что отправился бродить по родной стране — назло буржуазной Европе. Седьмой год уж пошел... Ну а потом вот Витька встретил, дружбана дорогого. И тебя.

— Да какой я дружбан,— отмахнулся Бомж-Бруевич.— Я — бомж. Ибн Бруевич,— и засмеялся, подкладывая в огонь очередную порцию камыша.

— Ты это, поосторожней, а то дым будет виден,— посоветовал Витёк.

— Да какой дым? Я вон только сухой

и кладу. Слушай, Кешка, а на кой хрен ты вообще на иглу садился? Ведь все у тебя было — и на тебе!

— Да кто его знает... по молодости, по дурусти, в знак протеста...

— Против чего? — удивился Бомж-Бруевич.

— А против всего.

— Ну чего всего-то?

— Да против того, что везде творится, в нашей родной стране солнечных идиотов...

— Так что ж мы, по-твоему, тоже идиоты? — обиделся Бомж-Бруевич.

— Мы? Мы — нет, — покачал я головой. — Уже — нет...

Ночь падала на степь. Потрескивал в огне тростник. Бомж-Бруевич печально вздохнул и сказал:

— А я, ребята, уже и не помню ничего... Вот всю жизнь я был бомж... Бомж и бомж. Кто-то ткнул когда-то: бомж, ну я и стал — без определенного места жительства.

— Ладно, — сказал Витёк, нарушив наступившее после слов Бомж-Бруевича молчание. — Давайте-ка, ребята, я первый дежурю, два часа. Вы спите. Потом — два часа Бомж-Бруевич. Потом ты, Кешка. Через шесть часов подъем.

— Интересно, как мы без часов время узнаем? — съязвил Бомж-Бруевич.

— Будешь про себя минуты считать, — ответил Витёк.

И на следующий день с раннего утра мы шли по степи.

В небе над нами постоянно парил орел — замершая на месте точка. И для него, наверно, мы казались тремя маленькими букашками грязно-серого цвета, ползущими по такой же грязно-серой степи.

Время перевалило уже за полдень, стояла жуткая жара. Впереди по-прежнему шел Витёк, за ним я, а приотстав, за мной тащился Бомж-Бруевич.

— А вот верблюд, пакость, совсем без воды живет, — слышался за моей спиной негодующий голос Бомж-Бруевича. — Представляете, не пьет, а шагает по пустыне и хоть бы хны... Да еще колючку жрет.

— Ну и что? — спросил я его.

— А то, что я не верблюд, я пить хочу!

— Ты заткнешься когда-нибудь или нет? — проворчал Витёк.

— Не заткнусь, я пить хочу!

— У нас всего-то полфляги осталось, — повернулся я к нему. — Потерпи, Бруевич...

— Не могу!

Бомж-Бруевич хлопнулся на траву:

— Все... дальше не пойду, пока хоть глоток, гады, не дадите.

Мы остановились. Витёк посмотрел на запыленную, несчастную рожу Бомж-Бруевича и сказал:

— Дай ему, Кеша, но только один глоток.

Бомж-Бруевич резко вскочил — откуда и силы взялись, — запрокинул голову, и кадык его заходил, как поршень. Витёк вырвал флягу из его рук:

— Хорош!.. Присосался, как клоп... — Протянул флягу мне.

— Разбегались, пакости, — опять послышался ворчливый голос Бомж-Бруевича. — Тоже, небось, о воде не думают...

— Кто? — спросил я, передавая флягу Витюку.

— Да эти... сайгаки...

Я обернулся и заорал, падая на землю:

— Ложись! Ложись!..

Витёк мигом упал, а Бомж-Бруевич, ничего еще не понимая, крутил башкой, как филин. Я рванул его за ногу, и Бомж-Бруевич кулем свалился на землю. Послышался звук передергиваемого затвора автомата. Я тоже выставил дуло своего карабина в ту сторону, где над степью катился пыльный хвост.

Но нам все же везло.

Мы упали не на ровном месте, а в чуть приметной низинке и за метелками серебристого ковыля ясно видели, как где-то в километре от нас катил «уазик» без тента, набитый вооруженными людьми. Потом «уазик» остановился. В нем поднялся в рост человек. На груди у него висел автомат. На солнце вспыхнули линзы бинокля, в который он осматривал степь. Потом человек сел, «уазик» двинулся дальше, не изменяя направления движения, и скоро скрылся из виду.

— Пронесло... — выдохнул я.

— Ага, и меня, два раза, — откликнулся Витёк, поднимаясь с земли.

И мы шли дальше по степи.

Впереди, в мареве растопленного воздуха виднелись холмы. И по таким же холмам сейчас тащилась мы, еле передвигая ноги. Трещали в пересохшей траве кузнечики. Поставившись в ковыле ветерок.

— Осталось? — спросил Витёк на ходу.

Я молча отвинтил крышку фляги и перевернул флягу доньшком вверх. Ни капли не вылилось. Витёк панамой вытер мокрое лицо и ничего не сказал.

Мы взбирались по пологому склону. Карабин оттягивал мне плечо. Я с трудом дышал, хотелось рухнуть и не встать, да еще Бомж-Бруевич гундосил:

— Ну вот скажи мне, скажи, Витёк... Ну куда ты нас тащишь?

— У тебя что, от солнца опять какая-то мозга выскочила? — огрызнулся Витёк. — На север.

— На север! Надо же — на север!.. А по-

чему не на восток?... Не на запад, в конце концов, а? На западе тоже люди...

— Потому что когда дергаешь с юга, надо идти на север. А когда с севера — на юг. Понял? — терпеливо объяснил Витёк.

— А ты-то откуда знаешь, где тут север, Сенкевич долбаный?

— Знает,— сказал я.— Не доставай, а, Бруевич?..

Мы лежали и пялились на палаточный городок, раскинувшийся у подножия холма, рядом с речушкой. Палаток было пять и еще — кухня: железная плита с трубой, очаг с висящим казаном. Рядом — под камышовым навесом — длинный обеденный стол и врытые в землю скамейки. И ни души...

— Может, обойдем, а? От греха... Ну его к монаху! — предложил Витёк.

— А чего тыриться-то? — страстно заговорил Бомж-Бруевич.— Час уже тут на брухе партизаном. Не видать же никого! — То-то и оно... — начал было Витёк.

— Тихо! — прервал его я.

У одной из палаток откинулся полог и появилась девушка. Она была загорелая и босая, и на ней не было ничего, кроме шорт. Правда, в руке она держала рубашку. Рядом со мной тяжело, с прихрюкиванием засопел Витёк.

Девушка потянулась, потерла кулачками глаза, потом стала влезать в рубашку, но никак спросонья не могла попасть в рукава. Было ей лет так восемнадцать, и вся она, стройная, со спутанными соломенными волосами, казалась мне просто инопланетянкой или из сказки, из полузабытой, детской сказки со счастливым концом...

Девушка наконец натянула рубашку, подошла к плите, присела, открыла заслонку, чиркнула спичкой. Вскоре из трубы потянулась струйка сизого дыма.

— Ну? — спросил Витёк.— Что будем делать?

— Жениться,— сказал Бомж-Бруевич.

Витёк посмотрел на него — тяжело посмотрел.

— Люди же! — с чувством сказал Бомж-Бруевич.— Да еще какие!

— «Люди!» — передразнил его Витёк.— Думаешь, они тебя с музыкой будут встречать? Нужен ты им, такой красивый!..

— А зачем тогда бежали? Не к людям?

— Я в милицию бежал! — рявкнул Витёк.

— Во дает! Здесь ему не люди! А в милиции, значит, люди? Ну, Витёк! Ну, перековался!

— Не умничай,— оборвал его Витёк и обратился ко мне: — Что скажешь, Кеш?

Я помолчал, вздохнул:

— Да нет у нас другого выхода... В ка-

кую сторону идти — не знаем. Вода кончилась, да и жрать хочется. Не дойдем.

Витёк согласно кивнул, взял мой карабин, положил рядом со своим автоматом, стал рвать траву и прикрывать оружие.

— Ты чего, Витёк? — забеспокоился Бомж-Бруевич.

— А ты еще на танке туда подвали!

— Да, вот что,— сказал я им.— Про наш дивный тростниковый рай — ни гу-гу! Это к тебе, Бруевич, относится... Только в каком-нибудь большом городе и только в госбезопасности. Хотя бы один из нас должен пойти, обязательно!..

Девушка наполнила воды, опустила ковшик, и ее замечательные голубые глазки округлились. Перед ней стояли мы, ободренные и небритые, застенчиво улыбаясь.

— Пардон, мадемуазель, так сказать, бонжур. Извините, что нарушили ваш покой, силь ву пле, товарищ,— неожиданно мешая русские и французские слова, выпалил Бомж-Бруевич, выступив вперед.

— Здравствуйте,— растерянно сказала девушка, застегивая пуговки на рубашке.

— Позвольте отрекомендоваться,— Бомж-Бруевич склонил голову, приложил руку к груди. Мы ошарашенно смотрели на него, а Бомж-Бруевич продолжил великосветским тоном: — Руководитель группы перехвата по добыче особо ценных и полезных ископаемых. А это, как сказать, мои друзья... коллеги по научному делу.

— По какому делу? — не поняла девушка.

— Он шутит,— улыбнулся я.— Мы из геологической партии. У нас вездеход сломался. Вот, пошли пешком, заблудились. Плутали всю ночь, вышли на ваш лагерь...

— А-а-а,— и девушка улыбнулась.

Возникла пауза. Мы стояли, лучезарно улыбаясь друг другу.

— Я сейчас,— сказала девушка и поспешила к палатке.— Саша! Саша!.. Вставай, у нас гости!..

— Ты чего лепишь, придурок? — продолжая улыбаться, сказал Витёк.— Какой перехват? Каких ископаемых?

— Мы ж договорились, что мы — геологи,— отозвался Бомж-Бруевич.

— Это мы — геологи, а ты — глухонемой, понял?

— Я — ваш руководитель,— пробухтел Бомж-Бруевич.

— Вот и заткнись. Пусть думают, что ты умный.

— Вы только перед мужиком ее не тупите,— попросил я, тоже улыбаясь.

— Да где же этот Саша? — пробормотал Бомж-Бруевич.

И тут из палатки вместе с нашей знакомой вышла еще одна девушка. Пovyше, чуть постарше. В джинсах, ковбойке и зеленой панаме...

И вот мы сидели за столом под навесом и готовились словить кайф. Перед нами стояла миска с хлебом, настоящим белым хлебом, нарезанным большими ломтями. А девушка постарше, Саша, накладывала в миски гуляш. Девушку, которая нас первая увидела, звали Маша. Она брала у Саши наполненные с горкой миски и несла от плиты к нам, болтая без умолку:

— А я сперва, когда вас увидела, испугалась даже... Мы всего месяц, как из Москвы, так нас перед поездкой инструктировали, да, Саш?.. Ну, что тут, в степи, как в тайге, всякие бродяги, уголовники, в общем, всякие... А наши километра за три отсюда. Там у них раскопки, древний курган, захоронение... А одним-то здесь страшновато. Да вы ешьте, ешьте, это от завтрака осталось, вкусно, правда?.. А потом кашу будете есть, компот... Саша, ну чего ты там?.. Иди сюда!

Мы всюю наворачивали гуляш и только мычали в ответ на вопросы Маши:

— Проголодались, да? Вот так всю ночь и бродили? А страшно ночью в степи, да? Саша, садись, садись...

Саша подошла к столу, присела, подперла рукой щеку.

— А вы давно геологами работаете? Давно, наверное?..

Мы по-прежнему утвердительно мычали.

— А вот мы с Сашей первый раз в поле, вот так... Мы сюда вместо картошки поехали. Мы только поступили в художественное училище, на реставрационное отделение. А тут так интересно — раскопки, древности всякие, я ужас как старину люблю... И Саша тоже. Да, Саша?.. Ну чего ты все молчишь?

— Что ты, Машка, людям есть мешаешь? — низким грудным голосом сказала Саша. — Я сейчас вам каши принесу, гречневой.

И, улыбнувшись Витьку белозубой ослепительной улыбкой, пошла к плите.

...Гуляш был смолочен, каша — тоже, мы дули компот из сухофруктов. Миски стопкой стояли на краю усыпанного крошками стола.

Мы с Витьком отошли и наполнили наши фляги из большого полевого термоса водой, а Бомж-Бруевич, разомлевший от жратвы, распустил хвост и заливал нашим милым добрым дурочкам про свою тяжелую изыскательскую жизнь.

— Это только кажется, — читал лекцию Бомж-Бруевич, — что разные там полезные ресурсы только тебя и дожидаются. Ресурсы, они там, — он ткнул в землю, — они там на месте не лежат, они перемещаются, шевелятся, значит, нам надо их захватить... Врасплох! Застолбить, извлечь наружу, на свет божий! И это... чтобы всем, значит, было светло и хорошо! За наш счет...

Фантазия Бомж-Бруевича иссякла, и он, с трудом подбирая слова, закончил:

— В общем, вот так, барышни, тяжела и неказиста жизнь советского бом... геолога!

Девушки слушали его с большим интересом, даже рты у них приоткрылись. А Саша время от времени оборачивалась в нашу сторону и смотрела на Витьку.

— Видел? — шепнул мне Витёк. — В мире животных! Встреча со среднеазиатским козлом Бомж-Бруевичем!

— Да ладно, — я завинтил крышку фляги.

— Скажите, — спросила Маша Бомж-Бруевича. — А вы только по нефти специалисты?

— Почему же? — Бомж-Бруевич оглянулся на нас. — Мы... широкие специалисты. Найдем нефть — берем нефть, золото найдем — берем золото, что под руку попадет. Почему бы, как говорится, не взять то, что плохо лежит?! — И Бомж-Бруевич заржал.

Девушкам его шуточка тоже понравилась, они захихикали.

— Да что это мы все про науку, про науку? — Бомж-Бруевич хлопнул в ладоши: — У вас картишки есть? Хотите, фокус покажу?

— Некогда, — сказал я, подходя к столу. — Извините, девушки, но нам надо идти. Спасибо вам за еду, за воду...

— Ой, да что ж это вы? — поднялась со скамьи Маша. — Может, обеда дождетесь?

— Оставайтесь, — сказала Саша, глядя только на Витьку. — Наши приедут, до самой железной дороги вас подберют.

— Нельзя, — я строго посмотрел на Витьку, который, уже не сводя глаз с Саши, видимо, тоже был не прочь задержаться. — Мы и так полдня потеряли. Вот если бы у вас нашелся лишний компас, мы бы вам были крайне благодарны.

— Компас? — Саша повернулась к Маше: — Посмотри у Беляничкова в палатке.

Маша, кивнув, бросилась было к палатке, но тут послышался звук автомобильного мотора. По степи к нам пылил «уазик». Без тента, с людьми.

— Саша, наши едут! — радостно вскрикнула Маша и бросилась навстречу машине.

— Чего так рано? — удивилась Саша.

Я поймал настороженный взгляд Витьки и подвинулся к нему.

— Иди сюда! — окликнул Витёк Бомж-Бруевича, который, не двигаясь с места, следил за приближающейся машиной.

— Пардон, Сашенька, — извинился Бомж-Бруевич. — У нас маленькое научное совещание...

— Сваливать надо, — тихо сказал Витёк. — Поздно, — отозвался я. — Боюсь, что наш уход по-английски могут неправильно понять.

— А если заметут?! — ужаснулся Бомж-Бруевич. — Зачем же мы автомат оставили?

— Ты что, хочешь посоревноваться, узнать, кто быстрее, — мы или «уазик»? — спросил я. — При первой же возможности уходим. Без шума. Главное, лишнего не болтать.

Машина тем временем подъехала к палаткам, остановилась. Из нее выкатились шестеро крепких московских бородачей. У двоих были охотничьи карабины. Маша кинулась навстречу одному из них, видимо, самому главному. Она что-то оживленно рассказывала, показывая в нашу сторону. Бородач слушал недолго, сказал Маше короткую фразу, и Маша замолчала, перестав улыбаться.

Бородачи направились к нам. Впереди шагал тот, с которым беседовала Маша. Они остановились метрах в пяти от нас, и главный бородач сказал:

— Саша, подойди ко мне, пожалуйста.

— А что такое, Юрий Михайлович?

— Ничего, мне надо кое-что тебе сказать.

Саша оглянулась на нас и подошла к главному. А тот, слегка оттеснив ее за себя, обратился к нам:

— Белянчиков Юрий Михайлович, руководитель археологической экспедиции. А вы ведь геологи, не так ли?

Мы утвердительно закивали.

— Позвольте взглянуть на ваши документы, — попросил Белянчиков.

Мы переглянулись.

— А с какой стати вы у нас документы требуете? — заявил Витёк. — Мы же ваши не спрашиваем.

— Тут такое дело, — нисколько не смутился Юрий Михайлович. — Сегодня рано утром мы получили радиограмму из местного управления внутренних дел. Нам сообщили, что вчера из мест заключения бежали три опасных рецидивиста, и я очень хотел бы убедиться, что это не вы.

— Понимаете, — промямлил я, — наши документы остались в базовом лагере, кто ж по степи будет ездить с документами! Вездеход наш сломался, мы уже объясняли девушкам, что...

— Хорошо, допустим, — не дал мне договорить Юрий Михайлович и обратился к Бомж-Бруевичу: — Мне сказали, что вы руководитель.

— Что? — переспросил Бомж-Бруевич.

— Руководитель — вы?

— Мы, — согласно кивнул Бомж-Бруевич.

— А от какой организации прибыла сюда ваша геологическая партия?

— Мы из научно-исследовательского института минералогии и нефти, — не моргнув глазом ответил я.

— Да?... Что-то не слышал о таком... Ну,

допустим. И в каком же городе находится ваш институт?

— В Саратове! В Ленинграде! В Баку! — выпалили мы одновременно.

Повисла нехорошая пауза.

— Та-а-ак... — подвел итог нашей беседе Юрий Михайлович. — Мне очень жаль, но я вынужден вас задержать до выяснения обстоятельств. И, пожалуйста, без глупостей. Коля, подгони сюда машину.

И на нас усталились дула двух карабинов.

«Уазик» подкатил к навесу и, встав к нам правым бортом, замер. Двигатель продолжал работать на холостых оборотах.

— Вот так, понял? — зло прошипел Витёк Бомж-Бруевичу. — Раскатал губу: «Люди, люди!» Вот тебе и люди... — И он двинулся к машине.

И мы было за ним, но тут Саша, находившаяся до этого в некотором оцепенении, двинулась к нам, перекрыв направленные на нас стволы карабинов. Остановилась и страстно заговорила, обращаясь и к своему главному, и к нам:

— Да что ж это такое, Юрий Михайлович, разве можно так? Они к нам пришли, ничего плохого не делали, а вы их, как преступников, под ружье! Давайте сначала разберемся по-человечески!..

— Саша! — прикрикнул Юрий Михайлович. — Отойди в сторону!

— Я сейчас попытаюсь вам все объяснить, — сказал я, сделав шаг по направлению к руководителю археологов.

Но в это время Витёк одним прыжком оказался возле машины, рванул на себя дверцу, мощным ударом вышвырнул из машины шофера и сам оказался за рулем. Взревел мотор.

— Назад, Саша, ложись! — орал Юрий Михайлович. — Не стрелять!

— В машину! — диким голосом рявкнул Витёк.

Но мы не успели. Бородачи кинулись к нам, оттолкнули Сашу. Двое схватили Бомж-Бруевича, потащили в сторону кухни. Я тоже не сделал и двух шагов, как меня уже крепко держали за руки.

Витёк бросил машину вперед, она, завывая, описала небольшой круг и понеслась прямо на бородачей, которые волокли меня. Нервы у бородачей при виде несущейся машины не выдержали, они отпустили меня и сиганули в разные стороны. «Уазик» занесло, и с диким визгом он остановился в нескольких сантиметрах от меня. Витёк оказался классным водилой!

Секунду спустя я уже был в машине. Витёк ударил по газам, «уазик» снова развернулся, и мы рванули на бородачей, сгрудившихся у стола, за которым еще полчаса тому назад мы так мирно обеды.

Археологи разбежались, оттащив за собой Бомж-Бруевича. «Уазик» вдребезги разнес скамью, тормозя, врезался в стол. Витёк переключил скорость, и машина, выбрасывая из-под колес песок, подала резко назад.

— Слева! — закричал я, увидев, как один из бородачей целится из карабина в нас.

Витёк бросил машину вперед и вправо, она снесла столб, и камышовый навес над столом стал медленно оседать. В боковом зеркальце стал виден еще один бородач, он опустил на колено, готовый открыть огонь с тыла.

— Сзади! — заорал я.

— Вижу! — Витёк рванул «уазик» назад, крутя баранку.

Машина, вихляя, понеслась назад, прямо на бородача. Тот отпрыгнул в сторону, карабин отлетел в другую. Краем глаза я увидел раскрытый в беззвучном крике рот бородача, но все покрывал рев мотора. Витёк, выворачивая руль, снова направил машину к навесу, куда бородачи волокли упирающегося Бомж-Бруевича. Обогнуть навес Витёк не успел — краем капота машина врезалась в стол, навес рухнул. Переднее стекло машины засыпало высохшим камышом. Попав на раскаленную плиту, камыш мгновенно вспыхнул.

Визжали девчонки. Ревел мотор.

— Не стреляйте! — кричала Саша.

— По колесам бей! В сторону! Тащите его! Ложись!

— Уходите, братцы, уходите, родные! — надсадно вопил Бомж-Бруевич. — Уходите! Только бы контуру гадскую накрыли!

Уже поыхала дымным пламенем одна из палаток. «Уазик» врезался в горящую копну камыша — в то, что раньше было навесом. Взлетел ворох искр, а «уазик», вырвавшись на свободу, полетел на бешеной скорости. Витёк бросал машину из стороны в сторону, уводил ее в степь от палаток.

— Куда?! — орал я, вцепившись обеими руками в железную дугу, чтобы не вылететь на ходу. — Там же Бруевич! Витёк, куда?!

Машина неслась вперед, взмывала в воздух, попадая на кочки, поднимала тучи пыли на виражах.

Давно уже исчез из виду палаточный городок, даже дыма не было видно, и тут мотор начал давать перебой, чихнул в последний раз и напрочь отключился. «Уазик» по инерции проехал еще несколько метров и замер. Над нами повисла звенящая тишина.

Мы молча сидели в машине. Витёк оторвался от баранки. Руки у него тряслись.

— А как же Бомж-Бруевич? — тихо спросил я. Витёк отвернулся.

— Ты что, не понимаешь? — так же тихо

продолжил я. — Радиограмма-то из милиции — про нас... Археологи сдадут его в ближайшем поселке, а там местные менты мигом переправят его Сыре-Пыре, как Профессора... Ты понимаешь, что у них здесь круговая порука?..

Витёк вздохнул, молча вылез из машины, хлопнув дверцей. Я тоже полез наружу. Витёк стоял перед поднятым капотом, сунув руки в карманы, уставившись в одну точку. Я подошел, проследил за направлением его взгляда.

В нескольких местах в корпусе машины зияли рваные дыры. В некоторые можно было засунуть кулак. В нас все-таки стреляли, только за криками и ревом мотора мы не слышали выстрелов.

— Картечь, волчья, — сказал Витёк.

— Надо идти, — помолчав, сказал я.

— Куда? — усмехнулся Витёк. — К людям?

Он тяжело опустился на землю, прислонился к колесу.

Я огляделся. Вокруг тянулась безлюдная равнина. Я снова залез в машину, обшарил ее. В бардачке нашел початую пачку «Явы» и спички. За спинкой заднего сиденья в зажимах висел магазинный карабин. Я проверил — в обойме было три патрона. Я вылез, прихватив карабин, уселся рядом с Витьком. Мы закурили.

— Ну что, идем? — спросил я.

— Думаешь, стоит? — вопросом на вопрос ответил Витёк. Я непонимающе уставился на него.

— Помнишь, как меня метелили? Ну, те пятеро, на станции, когда мы с тобой познакомились? — спросил Витёк.

— Ну?

— Подписался я тогда на шабашку. Ну, переночевать-то где-то надо. На станции нашел какой-то сарай. Думаю, перекантуюсь тут до утра. Только прилег, закурил, заявляются мальчишки с бутылками, сытые такие, розовые, бугай-производители. Одеты хорошо. Меня заметили: «Дай-ка закурить...» Я дал. Глядят — у меня наколки, башка стриженная. «Сидел?» Сидел, говорю. Тогда говорят, вали отсюда. Я им: «За что, сынки, обижаюте? Я ведь вам ничего худого вроде как не сделал». А они мне: ты, говорят, урка вонючая и место твое теперь всегда у парашей.. Ну, слово за слово... На путях они меня все-таки догнали...

Витёк вздохнул.

— Тебе просто не повезло, — сказал я.

— Странно как-то получается, всю жизнь мне не везет...

Я загасил окурки.

— Пойдем, Витёк, надо идти, надо... Девчонки же сказали, что до железки километров восемьдесят. Дойдем.

Витёк от земли как-то грустно на меня посмотрел:

— Ладно, попробуем еще раз.

Мы шли, уже сами толком не понимая, в какую сторону. Кажется, все же на север, потому что солнце было чуть за нашими спинами.

— Третий, уже третий... — просипел Витёк.

— Что?

— Идем уже три дня, где же дорога?

— Не знаю, надо идти.

Витёк пошатнулся. Я подхватил его. Он тоже обхватил меня рукой. Так, в обнимочку, поддерживая друг друга, мы побрели дальше по знойной холмистой степи. Поднялись на облысевший холм, остановились. Впереди, всего-то метрах в ста от нас, спокойно паслось стадо сайгаков. Они поглядывали в нашу сторону, но не убегали...

— На... — я стянул с шеи ремень карабина, протянул его Витьку.

Тот отрицательно покачал головой, рухнул на траву. Я опустился рядом с ним, вытянулся, потом собрался с силами, дрожащими руками подтянул карабин, стал целиться в стадо, именно в стадо, потому что сайгаки стояли плотно, перекрывая один другого.

— Давай, убегут... — прошептал Витёк.

Я нажал на спусковую скобу, оглушительно прозвучал выстрел, приклад ударил мне в плечо. Стадо сорвалось с места и, круто забирая в сторону, понеслось от нас по степи.

Я промахнулся.

Я уронил приклад на землю, упал на него головой, замер, не в силах даже огорчиться.

— Два патрона осталось, — сказал я.

— Для нас, — сказал Витёк.

— Вставай...

Мы, помогая друг другу, поднялись и пошли дальше.

Мы лежали в полусне, в полузабытьи, прижавшись спинами, чтобы хоть немного было теплее. Над нами висело звездное небо. Звезд было очень много, они сияли холодным недоступным огнем...

...Мы ползали по земле на четвереньках, слизывая, обсасывая траву, на которой блестяли капли утренней росы. Туман стекал в ложбины, открывая край солнца, торчащий над выпуклой линией горизонта.

...Мы ступали по собственным теням — солнце стояло прямо над нашими головами. В обнимку мы карабкались на сопку, я за ремень волочил карабин. Шатаясь, мы взобрались на вершину.

За сопкой была ложбина и другая сопка, пониже, и за ней в мареве раскаленной степи виднелось огромное соляное озеро в обрамлении зарослей камыша — еще дальше — домики и черточки сторожевых вышек нашего тростникового рая...

Мы стояли и смотрели на лагерь.

Витёк повернул ко мне лицо — почерневшее, со вспухшими, растрескавшимися губами, с воспаленными глазами, вокруг которых синели круги, и прошептал:

— Все равно, все равно некуда...

Я еле ворочал распухшим от жажды языком, но все же сумел выговорить:

— Ты что?

— Там вода... наплевать... все равно... вода...

— Опять в бараны, ты что?.. — схватил я его за рукав.

Витёк отпихнул меня, я упал, с трудом сел. От меня удалялась широкая спина Витьки. Пошатываясь, он брел к лагерю.

Я встал на колени, поднял карабин, прицелился. Мушка ходила из стороны в сторону.

— Стой... — пробормотал я.

Витёк обернулся, увидел направленный на него ствол, остановился, равнодушно махнул рукой и побрел дальше к озеру.

Я опустил карабин. Из дула пролилась тонкая струйка песка. Я, опираясь на карабин, встал и пошел в противоположную сторону...

Что было дальше, я помню плохо.

Я брел по растрескавшемуся, покрытому твердой соляной коркой такыру — дну высохшего озера. Я шел и бормотал:

— Я не баран... я не баран... не баран...

В глазах потемнело, я упал, кажется, потерял сознание...

...Снова шел. И снова упал, пополз, колочая трава царапала лицо. Потом вдруг прямо передо мной оказался ручеек. Я опустил в воду голову и пил, пил, захлебываясь... Откатился в сторону. Вечерело. Я снова поднялся, побрел дальше. Карабин остался лежать у ручья, сил тащить его больше не было...

...Я не знаю, что это был за зверек — суслик, что ли. Он верещал пронзительным тоненьким голоском. Я задушил его, разорвал и начал есть сырым. Вернее, сосать, разжевывая жесткое мясо. Солнце сошло с ума — мне казалось, что оно то стремительно катится вниз, то подпрыгивает вверх. Потом я вырубился...

...Я брел, опустив голову, а когда поднял ее, то даже не смог обрадоваться.

Впереди виднелся город, не поселок — город, настоящий город. Белели корпуса многоэтажек, зеленели деревья. Я не мог понять, город это или мираж, плывущий над степью.

И вдруг мне показалось, что город приближается ко мне. Рывками, все ближе и ближе. Я увидел улицы, снующие машины, окна домов. Я увидел лица людей, спешащих по своим делам или просто гуляющих в тени возле сверкающих фонтанов.

Лица были разные: равнодушные и озлобленные, веселые и грустные, мужские и женские, лица старух и лица детей. Лица людей.

И я шагнул им навстречу.

Город начинался с огородов. С сочных, зеленых огородов, на которых кое-где виднелись дощатые будочки и стояли деревья, усыпанные плодами.

Я брел по неширокой пыльной дороге и поравнялся с крайним огородом. Я остановился, потому что увидел мальчика лет десяти. Мальчик был белобрысый, конопатый, и вид у него был чрезвычайно серьезный. Мальчик из лейки поливал грядки.

Я оперся на ограду и тихо позвал:

— Мальчик...

Он поднял голову. За ним росла яблоня, покрытая золотистыми яблоками. Мальчик смотрел на меня. Сквозь листья яблони било солнце.

— Воды... принеси попить...

Он ни слова не говоря поставил лейку, скрылся за яблоней. Вернулся и протянул мне большую эмалированную кружку с водой. Я залпом выхлебал ее.

— Еще... — попросил я.

Я выпил вторую кружку. Вода стекала по подбородку, по шее мне на грудь.

— Дяденька, — серьезным тоном спросил мальчик, склонив набок голову, — а вы путешественник?

— Путешественник.

Я оторвался от пустой кружки и протянул ее мальчику.

— А теперь домой идете?

Я посмотрел на мальчика и почувствовал, что улыбаюсь. Улыбаюсь, потому что он говорил чистую правду.

— Домой...

И я пошел по дороге к выставшему мне навстречу городу...

«...День же суда будет концом времени сего и началом времени будущего бессмертия, когда пройдет тление, прекратится воздержание, пресечется неверие, а возрастет правда, воссияет истина. Тогда никто не сможет спасти погибшего, ни погубить победившего». Я отвечал и сказал: вот мое слово первое и последнее: лучше было не давать земли Адаму, или, когда уже дана, удерживать его, чтобы не согрешил. Что пользы людям — в настоящем веке жить в печали, а по смерти ожидать наказания? О, что сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то свершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя исходим. Что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы делали смертные дела? Нам предсказана вечная надежда, а мы, непотребные, сделали суетными. Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили худо: уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачество; но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Светлее звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица — чернее тьмы. Мы не помышляли в жизни, когда делали беззаконие, что по смерти будем страдать. Он отвечал и сказал: «Это — помышление о борьбе, которую должен вести на земле родившийся человек, чтобы, если будет побежден, потерпит то, о чем я говорю. Это — та жизнь, о которой сказал Моисей, когда жил, к народу, говоря: избери себе жизнь, чтобы жить».

1989 г.





Лариса
НИКОНОВА

ПЕРЕУЛОК

Звонки прорывались ко мне сквозь сон, долгие, назойливые... Не открывая глаз, я снял трубку и приложил к уху.

— «Пятый»? — донесся до меня раздраженный голос телефонистки. — Ты чего не отвечаешь? Я уже десять минут звоню!

— Да я тут...

— Дрыхнешь, что ли? С работы захотел вылететь?

— Черт... сам не знаю, как это я... — оправдываюсь спросонья.

— Ты что, новенький? — Голос в трубке чуть смягчился: — Хочешь, телефончик подброшу? Позвони туда — сразу сон пройдет.

— Сейчас там самая жизнь, — загадочно усмехнулась она, — запомни: семь семерок...

Я набрал этот странный номер. Вначале пошли короткие гудки... а потом на меня обрушилась какофония звуков. Десятки голосов с разных концов кричали одновременно, не слыша друг друга, каждый о своем.

— Что это? — пробормотал я.

— Свободный эфир, дурак! — крикнули мне в ухо.

Подсоединил провода и снова набрал семь семерок.

Как и в первый раз, я ухнул в яму незнакомых голосов. Теперь они звучали как бы вокруг меня, в тесной дежурке.

— Граждане! — возвысился чей-то слезный голос. — Скажите, как морить тараканов? Одолели!..

— Рост — метр шестьдесят, шатенка, — бодро сообщала какая-то девица, — собираю значки и марки, обожаю кошек...

— С утра побрызгать хлорофосом, а к вечеру все передохнут...

— Я в принципе с удовольствием бы с кем-нибудь познакомился, но не получаюсь, — вещали из эфира, — я — разносторонне развитый человек. Все свободное время стараюсь проводить интенсивно. Но вот женщины почему-то не замечают. Я в принципе сам не знаю почему...

— Да потому, что ты слишком принципиальный, дядя!

— И-го-го! И-го-го!.. — гоготал кто-то, балдея от собственного остроумия.

Я сидел на подоконнике, слушая этот разнотой голосов.

Сон сразу же прошел.

— Кто любит «битлов»? — перекричал всех чей-то голос. — Хлопайте!

Я подключил телефон к транзистору.

Раздались хлопки, свист... Но хлопков было больше.

— Включаю,— предупредил тот же голос, и в эфире раздалась музыка.

Из окна мне был виден ночной город. Уже прекратилось движение, гасли огни в домах. Улицы погружались во тьму. Только где-то на перекрестке, на углу дома, еще горел свет в одинокой телефонной будке.

Осенний дождь лупил по тротуарам...

Один за другим замолкали голоса в эфире, и вот уже слышна была только одна музыка.

— Парень,— сказал я в трубку,— спасибо за музыку.

Но он молчал.

— Спасибо, парень,— повторил я.

— Да он уже отрубился,— ответил другой голос,— небось магнитофон забыл выключить. К утру у него все батарейки сядут.

Под утро, дома, когда я уже начал было засыпать, меня разбудил крик:

— Доброе утро, люди!

Это мои соседи. Они живут в квартире надо мной и вечно кричат по утрам — гнусная привычка, если вдуматься,— высунутся из окна и орут в наш глухой, затхлый двор: «Доброе утро-о!» Ничего себе, доброе... В эти минуты я их ненавижу.

Потом они начинают хохотать. По любому поводу. Им все весело... Я уже научился узнавать их голоса, хотя не видел их ни разу.

Окна сотрясаются от дурацкого хохота, смех гулко бьется в стены комнаты, просачивается под подушку, которой я прикрываю голову.

А теперь он слышится уже с лестницы, сопровождаемый топотом ног и позвякиванием пустого ведра. Ведро на бегу ударяется о перила, звон, вскрик: «Ой, мамочки!» Внизу хлопает дверь подъезда.

Затем во дворе начинает дребезжать колонка. Она чудом уцелела еще с тех пор, когда здесь была настоящая деревня, а не то, что теперь,— унылая городская окраина. В доме есть и вода, и мусоропровод, и никому не придет в голову пользоваться колонкой, кроме этих сумасшедших.

Что-то позвякивает за окном, я высовываюсь из-под подушки и вижу, что сверху спускается толстенная веревка с крюком на конце, как для колодцев. Соседка во дворе покатывается, очень довольная выдумкой. Сосед, спуская веревку, тоже смеется, и от этого веревка начинает раскачиваться из стороны в сторону, как маятник, все сильнее и сильнее... Раз! — Конец ее влетает в мое окно, и крюк впивается в подоконник.

— Ой, мамочки! — охает она внизу.

Сверху кричат и дергают за веревку, но крюк держит крепко.

— Товарищи,— робко просит она,— отцепите, пожалуйста!

Этого еще не хватало! Черт, как неохота слезать с дивана. Я пытаюсь дотянуться ногами, но это довольно трудно.

За окном перекликаются:

— А кто живет в этой квартире?

— Может, она вообще пустая? Мамочки, что же тогда делать?

— Не, там парень какой-то появляется. Тощий, хмурый, ни с кем не разговаривает...

— Этот дикарь?

Моя нога застывает в сантиметре от подоконника. После такой рекомендации мне уже неловко обнаружить свое присутствие. Слава богу, подергавшись из стороны в сторону, крюк соскочил сам и веревка ухнула в глубину двора, как в колодец.

Вот уже и ведро проплыло мимо, расплескивая воду.

Я с облегчением падаю головой в подушку. Но ненадолго.

Внизу, подо мной, распаивается окно, и чьи-то неумелые пальцы начинают пощипывать струны, извлекая один и тот же короткий мотивчик: та-та-та...

Только я накрылся подушкой, как в замке стал поворачиваться ключ. Это явилась моя квартирная хозяйка. Еще с порога она начинает ворчать: «Половик затоптал...»

У меня не было никакого желания встречаться с ней. Я вскочил с дивана, метнулся в ванную и заперся. Отвернув оба крана до отказа, я уселся на край ванны.

Хозяйка уже осматривала квартиру, и сквозь шум воды до меня долетали обрывки ее брани:

— Грязи развел! Всю квартиру испакостил... Выходи, поговорить надо,— постучала она в дверь.

— Не могу, я мокрый,— вежливо ответил я.

— Во-во! Нормальные-то люди на работе, а он — в ваннных разлеживается... Нормальные-то люди ночью спят, а не шляются неизвестно где... — ворчала она за дверью, но это была лишь прелюдия к главному. — Ты за квартиру платишь собираешься?

Я молчал.

— Ты там что, утонул? — Она снова постучала в дверь.— Не слышишь? Когда за квартиру заплатишь?

— У меня пятого зарплата...

— Знаю я твое пятое! Ты мне за два месяца должен!

— Я отдам...

— Вот что, парень, или завтра плати, или убирайся. Сам не можешь, так мы с твоих родителей взйщем...

— При чем тут родители? Я один, понимаете? Один!

— Это мы узнаем. У меня твои паспортные данные записаны, схожу к участково-

му — быстро выясним, что ты за птица. Сирота казанская... Жили у меня тут двое, студентами прикидывались. А потом смылись. Мало того, что не заплатили, да еще и мыло с собой прихватили...

— Что-что?!

— Мыло. Я как раз хозяйственное купила, десять кусков...

— Тыфу! Насчет меня не волнуйтесь, мне мыла не надо, я как собака — языком.

— Еще хамит! — возмущилась она. — Последний раз предупреждаю: или завтра деньги, или — ноги в руки и шагай. Хватит с меня мальчишек, пушу кого-нибудь солидного... военного с семьей...

Дверь за ней захлопнулась.

Я выбираюсь из ванной. Надо обладать большой фантазией, чтобы разместить в такой клетушке военного с семьей. Тут все до того убогое — и коридор, и кухня, что я и один-то еле-еле... В комнате из мебели только шаткая тумбочка большого цвета, стол, пара стульев да диван, на котором я сплю. На окнах даже штор нет. Мои вещи висят прямо на стенах, о шкафе и мечтать не приходится.

Я перешарил все свои карманы, наскреб пару рублевок да горсть мелочи. Это был весь мой наличный капитал.

Из-под дивана я вытащил чемодан, перетряс содержимое. Ничего ценного не было, ровным счетом. Транзистор на вид смотрелся неплохо, но заело, как только я его включил. Куртка, джинсы — все было порядком поношенное, а главное — в единственном экземпляре.

Ближайший телефон у нас прямо за домом, в кафе-стекляшке. Он висит на стене в том закутке, где моют руки. Сейчас в кафе было пусто и звонить не мешали. Я набрал заветные семерки.

— Нужны деньги! — заорал я. — Где взять? Где и как?

Я проорал это пару раз, и наконец кто-то откликнулся:

— У родителей!

— Исключено, — ответил я.

— Мне тоже мать не дает, — посочувствовали мне, — говорит: будешь еще на мои деньги водить всяких...

— Слушай сюда, малой! — прорвался ко мне деловой голос: — Что есть на продажу? Видак?.. Кассеты?..

Я замаялся.

— Аппаратура?.. Стерео? Ну, может, хоть книжки есть?

— Это, пожалуй, можно достать, — неуверенно пообещал я.

— Что-нибудь переводное. Детективы хорошо идут, за каждый срубим по червонцу, трешник сбрось мне, а остальное — твое.

Идет?

Официантки заглядывали в закуток и с подозрением прислушивались к разговору...

— Как достанешь, приходи к комиссионке.

— А как я тебя узнаю?

— У меня серьга в левом ухе. Запомни — в левом!..

В центре города, возле нужного мне дома, я зашел в телефонную будку. Отсюда хорошо были видны окна с тюлевыми занавесками. Я набрал номер, теперь уже другой. В трубке слышались длинные гудки, никто не подходил. Движения за занавесками тоже не ощущалось.

Во дворе было пусто, и я, никем не замеченный, пробрался в подъезд. Спускался лифт, но я не стал ждать и побежал по лестнице.

Оглядываясь по сторонам, я торопливо вставил ключ в дверь. Слава богу, замок не сменили, дверь легко подалась и я очутился в квартире.

Из коридора шли двери в комнаты.

Я толкнулся в первую. Это был рабочий кабинет. Стол завален исписанной бумагой, папками, Здесь же — стопка карточек. Беру одну наугад, читаю: «Да не потому я убил Цезаря, что не любил его, а потому что я Рим любил больше, чем Цезаря... Из Римской истории». Почерк не очень разборчивый, мелкий как бисер. Беру другую — там тоже какая-то цитата.

В другой комнате как-то веселее: на стенах яркие плакаты, реклама. На столе — радуга фломастеров. Этими же фломастерами тщательно выписан распорядок дня хозяина, и я, проведя пальцем по нужной графе, устанавливаю, что хозяин в данное время на теннисе.

Я вернулся в кабинет и стал разбирать книги. Вытащил серию детективов, рассортировал их, отбрасывая те, что были с дарственными надписями или чересчур зачитанные. Набралось достаточно. Я ловко замаскировал пробелы на полках, засунул отобранные книги под куртку... и тут в прихожей хлопнула дверь.

Я притих, в надежде, что мне послышалось. Но в коридоре уже раздавались бодрые шаги.

— Па, ты дома? — донеслось оттуда.

Я вжался в стену.

Дверь распахнулась, и с порога на меня уставился вспотевший парень лет двадцати. Под мышкой у него были теннисные ракетки.

С минуту мы молча смотрели друг на друга.

— Ну, чего смотришь? — не выдержал я наконец. — Я это, я... Забыл уже, что ли? На минутку зашел, сейчас уйду...

— Подожди, — он заступил мне дорогу, и

теннисные ракетки хлопнулись на пол,— я тебя так не выпущу! Скажи хоть, где ты теперь? Чем занимаешься?

— Работаю. На коммутаторе.

— Это что же — телефонистом? — Брови у него поползли вверх.— Ну, ты даешь!

— А мне нравится,— отрезал я.

— Ты знаешь, что еще можно все переиграть? У первого курса занятий еще не было, они сейчас на картошке. Так что если родителям подсуетиться...

— Не хочу я никуда поступать. Дайте от школы отдышаться.

— Слушай, я тебя вообще не понимаю! Ну ради чего ты ушел из дому? Чтоб телефонной барышней работать? Очень заманчиво! Какой в этом интерес? Ну объясни мне, кретину. Может, я тоже соблазуюсь. Ну?

Никогда и ни у кого я не видел таких ясных глаз, как у своего брата. Когда он на тебя смотрит, то ощущение такое, что он тебе сейчас все отдаст. Держи карман шире!

— Зачем, ну зачем ты ушел из дому? — повторяет он.

— Захотелось пожить одному.

— А для чего? Если честно?

— Если честно, то вы мне все осточертели. Ладно, пойду, пока они не вернулись...

Я шагнул к двери, но тут из-под куртки у меня поползли книги. Пытаясь удержать их, я неловко повернулся, и они веером посыпались на пол.

— Английский детектив. — брат подхватил одну. — Интересно... И за сколько ты собирался их толкнуть? А знаешь, что будет, если тебя поймают?

— Это необязательно.

— Таких первым делом ловят. Я же тебя знаю. Из всех людей, что там будут, ты выберешь именно передетого мента.

— Слушай, мне сейчас позарез нужны деньги. Ну, дай займы! У тебя же стипендия больше, чем у меня зарплата. Ты же отличник, «вышку» получаешь...

— Ну и юмор,— морщится брат,— ладно, я тебе могу дать. Но не займы, а в обмен на письмо.

— Какое письмо?

— Наше письмо к деду,— терпеливо объяснил он,— и не притворяйся, что не знаешь, о чем я говорю. Ты его тогда нашел... на похоронах у деда. Письмо у тебя. Верно?

— Верно. Но отдать его не могу. Ну хочешь, я лучше расписку напишу, что верну в тройном размере?

— Нос подотри своей распиской! Мне нужно письмо. Зачем оно тебе? Дело прошлое...

— А тебе? Раз дело прошлое...

— Затем, что там подпись моя стоит! — Но он не был бы моим братом, если бы тут же

не взял себя в руки. — В общем, это мое условие: отдашь письмо — получишь деньги.

Я отрицательно мотнул головой и наклонился за книгами.

— Пстой,— брат придержал меня за плечо,— а как же принципы, о которых ты тут распинался? Ты же решил жить один. Мы ведь тебе осточертели. В таком случае, при чем тут наши книги? Решил прожить один, так и живи. Зарабатывай себе деньги как знаешь. Будь последователен в своих принципах.

Брат был сильнее меня раза в три. Спорить с ним было бесполезно. Я плюнул и пошел к двери.

— В следующий раз ноги вытирай,— хладнокровно бросил он мне вслед. — На следил...

На обратном пути мне не повезло — у мусоропровода я столкнулся с соседкой.

— Малыш! — закудахтала она. — Давненько же я тебя не видела. Из Ленинграда приехал?

— Н-да-а... — согласился я не очень уверенно. — Надо же, и все-то вы знаете! Может, даже знаете, что я там делал?

— А как же! Ты же там теперь в институте учишься. Поздравляю, малыш!

— Спасибо,— поблагодарил я и сбежал вниз.

Стена старого кирпичного дома была вся оклеена объявлениями. Листочки с телефонами так и колыхались на ветру. Казалось, стена шевелится. «Разъезд...», «Обмен...», «Две студентки снимут комнату...»

— Эй, ты тоже квартиру ищешь? — рядом остановился парень примерно моих лет.

— Нет, я соседа ищу. На месяц.

— Что, скучно одному?

— Весело. Только деньги кончились.

— Бывает,— посочувствовал он.

Народу сегодня было мало. В узком пространстве меж двух домов, повернутых «спинами» друг к другу, топталось с полдюжата старушек, до боли похожих на мою хозяйку. Хмурый мужчина прохаживался с плакатом на груди «Разъезд...». Под стеной толковала о чем-то стайка шустрых парней. Никого подходящего для себя я не заметил.

— Уже неделю здесь торчу,— сообщил парень,— и не везет, хоть вешайся! Не любяют студентов...

Мы держались вдвоем. Остальные топтались поодиночке и подозрительно друг на друга поглядывали. Изредка несколько человек сходились вместе и после торопливых переговоров разбегались в разные стороны или уходили вместе.

И тут в переулке появилось еще одно существо. Девушка лет семнадцати. За плечом — рыжая дорожная сумка, лица я не

рассмотрел из-за вязаной шапки, низко надвинутой на лоб. Явно она была приезжей — в нашем городе шапок еще не надевали, дни стояли теплые. Она подошла и несмело встала под стеной.

— Новенькая,— студент подтолкнул меня локтем,— смотри, как ее сейчас обчистят!
— Кто?

— Вон те,— он показал глазами на стайку шустрых парней,— «артисты». Кормятся тут на бедолагах, вроде нас. А этот, что постарше,— главный. В стороне держится, но на самом деле он тут хозяин...

Один из «артистов» откололся от своих и направился к девушке.

— Смотри, смотри,— шептал рядом студент,— у меня жену первый раз тоже обчистили. Она у меня доверчивая. Пришла, к ней «артист» подскочил, вроде этого: у меня, мол, тетя квартиру сдает, сама болеет, меня прислала... Ну, моя дуреха на радостях ему задаток и выложила. Приезжаем — какая там тетя, какая квартира! После неделю сушки грызли...

«Артист» уже о чем-то шептался с девушкой. Вот она вытащила из сумки деньги и они перекочевали к нему. Потом они вместе двинулись по переулку. Вот он отстал, пропустил ее вперед, оглянулся... зыркнул по сторонам...

И тут я свистнул что было силы. Девушка вздрогнула и обернулась — но было уже поздно. «Артист» нырнул в проходной двор и был таков.

— Псих... — простонал студент. — Ну зачем ты влез?

Главный и его окружение уже смотрели в нашу сторону и перешептывались. Хмурый мужчина с объявлением резко изменил траекторию и отошел от нас подальше. Да и все в переулке как-то сразу отвернулись от нас. На девушку никто и не смотрел, будто ничего не произошло.

— На, жуй,— студент сунул мне жвачку,— успокаивает.

Краем глаза я заметил, что к девушке теперь подошел сам главный. Они стояли неподалеку.

— ...Все равно,— донесся ее голос,— комната, угол. Я только на месяц приехала...

— Жуй, жуй,— студент с опаской заглядывал мне в лицо.

— Думаю, я смогу вам помочь. И поверьте, что я это делаю не для личной выгоды, а из желания выручить ближнего... — говорил главный за моей спиной. У него был такой усталый, честный голос, что если бы мне не сказали заранее, что он «артист», то я бы ему поверил.

Он подвел ее к телефонной будке, это было совсем уже рядом.

— Знаете, у меня тут случайно затерялся один телефончик...

Один — как бы не так! Он загородил от нее свой список, но нам-то через стекло хорошо было видно, что там телефонов и адресов уж никак не меньше сотни. Студент тут же выдернул из-за пазухи ручку и блокнот и принялся писать. Не успел — тот спохватился и прикрыл список. Затем набрал номер.

— Исключительно интеллигентная семья. Впрочем, с другими я и не общаюсь... Добрый вечер! — зажурчал он в трубку. Потом протянул ее девушке. — Вот, можете убедиться, что я вас не обманываю.

Она послушно взяла трубку.

— Спрашивайте обо всем, кроме адреса,— предупредил он и выразительно положил руку рядом с рычагом.

— Хорошо,— кивнула она,— я о другом спрошу. Скажите, зачем вы даете свой телефон проходимцам? Ведь он же наживается на чужой беде! Он...

— Телка! — взвизгнул он, нажимая на рычаг. — Колода деревенская! С ней по-человечески, а она...

И он с руганью отправился к «артистам».

— Ну что, съела? — набросился на нее студент. — Нашла где агитацию разводить! Теперь нам всем тут сидеть до новых веников.

— Так что же делать? — растерянно спросила она.

— Еще спрашивает! Ты же нас всех зарезала без ножа! — Студент с досадой плюнул под ноги.

— Я этот телефон запомнила,— сказала она вдруг,— по набору определила. Хотите, дам? Может, он настоящий?..

— Бес... бесплатно? — дрогнувшим голосом спросил студент.

Она молча взяла блокнот у него из рук, написала номер и сунула ему.

...Уже начинало смеркаться. Я все чаще поглядывал на часы. Студент давно ушел, я теперь один топтался под стеной с объявлениями. Остальные держались от меня подальше. Стоило мне приблизиться к кому-нибудь, как от меня в ужасе шарахались, как от чумного. Стайка «артистов» зорко следила за мной из своего закутка.

Потеряв надежду, я прислонился к телефонной будке... Вдруг рядом кто-то тяжело вздохнул. Я повернул голову: с другой стороны, как неприкаянная, будку подпирала девица с рыжей сумкой.

— Слушай,— спросил я,— а ты правда только на месяц?

Она кивнула.

— Ровно на месяц? Не больше?

Девица подняла голову, и из-под шапки на меня уставились настороженные глаза...

— Располагайся,— пригласил я не особенно приветливо.

Она стояла в дверях и оглядывала комнату.

— Тумбочку, так и быть, уступаю тебе. — Я вытащил из ящиков свои манатки и перебрал их в чемодан под диваном: — Сваливый шмотки...

— А раскладушка у тебя есть? — перебила она.

— Нет, — ответил я и почувствовал, как она сзади попятилась. — Диваном обойдемся. Ты будешь спать ночью, а я — днем. И всех дел! Я в ночную работаю. Вот, уже двигаться пора. Если утром раньше меня уйдешь, ключ оставь под половиком.

Я положил ключ на стол и пошел к дверям.

— Постой, — она шагнула следом, — ты что ж, так и уйдешь?

— А как я должен уйти?

— Мы ведь даже не познакомились. Мне, наверное, следует паспорт предъявить? — Она полезла в сумку.

— Ну зачем мне твой паспорт? Я что — жениться на тебе собираюсь? Зачем мне знать, где ты родилась и кто твои родители?

— Спасибо за доверие.

— Какое доверие! Я просто мыслю логически: тебе нужен угол, а мне — деньги. Вот и все.

— А все-таки, меня зовут Анна, — сказала она мне вслед.

Я только хмыкнул.

Смена моя так устроена, что я возвращаюсь домой в час безлюдья. Самая ранняя волна уже схлынула, остальные досыпают. Троллейбусы идут пустые, магазины пустые, улицы пустые.

Я зашел в кафе-стекляшку позавтракать. Там тоже еще было пусто, только уборщица протирала столики. Но чай уже согрелся, я налил себе стакан, взял пару вчерашних сморщенных пирожков и пристроился за колонной. Это было мое любимое место — видно все, что делается на улице, а меня не видно никому.

И тут я заметил свою случайную соседку — она вынырнула из подворотни и направилась к автобусной остановке. Когда она проходила мимо, а ей свистнул по-вчерашнему. Она оглянулась, помахала мне и убежала в кафе.

— Привет!

— Привет, «все-таки Анна»...

Она похорoshела — была без шапки, волосы забраны в короткую, но толстую косу.

— Держись, универмаги! — кивнул я на ее пустую сумку. — К вечеру еле дотянешь.

Она чуть улыбнулась.

— Послушай, а ты хорошо знаешь город?

— Достаточно, чтобы он мне осточертел.

— Посмотри, бывал ли ты когда-нибудь

в этом переулке? — И она вытащила из своей сумки фотографию, протянула ее мне, предупредила: — Только осторожнее, не запачкай, она у меня одна.

— Надо же, как ты над ней трясешься. — Я отер ладони и взял фотографию.

Это был черно-белый любительский снимок. Дружески сомкнув плечи, стояли двое: мужчина лет тридцати, довольно плотный, со стертым неприметным лицом, и светловолосый, широко улыбающийся парень примерно моих лет. Они стояли в переулке, возле дома...

— Ну, узнаешь? — с надеждой спросила она.

Я покачал головой.

— Ты присмотришься. Вот видишь — арка? И балконы не как везде, а с орнаментом...

— Да у нас полгорода в таких балконах. Нет, не знаю. — И я отдал ей фотографию.

— Ну что ж... Это даже хорошо, что ты там не бывал, — произнесла она, убирая ее в сумку.

— Почему хорошо?

Она неопределенно пожала плечами, подхватила сумку и, махнув рукой на прощание, вышла на улицу.

Когда она вернулась, ближе к вечеру, я еще спал. На минуту приоткрыл глаза и первым делом заметил, что ее сумка изрядно потолстела. Она на цыпочках прошла в кухню и притворила за собой дверь...

Я вошел в кухню и попятился. Весь пол был усеян цветными открытками — всевозможные виды города, дома, улицы, памятники... Анна сидела на полу посреди всего этого великолепия и сверяла открытки со своей фотографией.

Я только присвистнул.

— Ты что, всерьез решила найти этот переулочек?

Она кивнула. Одну за другой рассматривала открытки и откладывала их в сторону.

— Вот как сделай, — я выгреб из-под открыток карту-схему города: — Раздели на участки и прочеши улицу за улицей. Глядишь, на свой переулочек и наткнешься.

— А это долго?

— К пенсии успеешь.

Но она совершенно не уловила юмора. Представь себе, взяла карту и действительно принялась делить его на участки!

— А что там, в этом переулке? Магазин, что ли? Шмотки какие особые?

— С чего ты взял, что я приехала за шмотками?

— А зачем же? Небось весь год копила. За другим к нам не ездят. Во всяком случае, я таких не видел.

— А бизонов ты видел когда-нибудь?

— Не сподобился.
— Значит, их тоже нет? Раз ты не видел...
— У тебя прорезалось чувство юмора! Молодец, старуха. Ты не безнадежна.
— Тогда, может, познакомимся все-таки?
— Давай без формализма,— отмахнулся я, перешагнув через открытки, добрался до плиты и стал готовить яичницу.
— Ты со всеми такой или только со мной?
— Со всеми.
— А-а... — протянула она, глядя на меня с пола: — У нас в городе тоже есть один... вроде тебя — тощий, бледный, мяса не ест. И ни с кем не разговаривает. Я, говорит, общаюсь только с Богом...
— Между прочим, не худший собеседник!
— Может, ты тоже сектант?
— Нет. Я просто — сам по себе...
— И давно один живешь?
— А как родился.
— Что-то непохоже. За такой срок — и готовить не научился. Вот зачем ты ее переворачиваешь?
— Тыфу ты черт! — Я громыхнул сковородой с яичницей. — До чего ты любишь вопросы задавать! Ну какое тебе до меня дело? Я же не спрашиваю, зачем ты сюда приехала, что за переулочек ищешь. Я в твои дела не лезу и тебе того же желаю.
— Спасибо за совет. — И она снова наклонилась к карте.

Днем я свободен. Хожу в кино, болтаюсь по городу, словом, делаю что хочу.

Я иду по улице. Сворачиваю за угол... и нос к носу сталкиваюсь с братом и его друзьями. Их четверо, стоят у новенького автомобиля.

Брат бледнеет. Я делаю шаг назад, но поздно — меня уже окружают. Возгласы, приветствия, общее удивление...

— Здорово, студент! — кто-то хлопает меня по плечу. — Что ж не предупредили, что ты приехал?

Брат что-то мямлит в ответ.

— Это сюрприз,— прихожу я ему на помощь.

— А у меня новый танк,— приятель брата похлопывает по блестящей дверце. — Нравится?

— Цвет какой-то... грязный...

— Так это ж сафари! Цвет сезона. Садитесь, покатаю!

Я сажусь рядом с водителем, остальные — сзади. В зеркальце мне видно напряженное лицо брата. Бойтся, как бы я чего не ляпнул.

— Как там Питер?

— Наводнение,— говорю. А что еще скажешь?

— А ты знаешь, что твой братец тоже скоро нас покинет? — вдруг слышу сзади.

— Куда ж его-то занесет? В Москву, что ли?

— Немного дальше,— усмехается водитель,— туда, куда требуется специальное разрешение.

— Ого! — Я оглядываюсь на брата. — Выходит, все эти годы в тебе дремал диссидент?

— Прекрати свои могильные шуточки,— шипит брат.

— Нет, все официально: к нам едет француз, а к ним — кто-то из наших студентов...

— И кто? — поинтересовался я.

— Тут все будет учитываться. Ну, скажем, у тебя,— водитель кивает назад,— отца недавно сняли...

— Не сняли, а перевели. Но мне в принципе и не очень охота, я в Париже уже был. Правда, в раннем детстве. Одни бананы помню...

— А ты — имел несчастье развестись,— говорит хозяин машины парню, который сидит рядом с ним.

— Знал бы про Сорбонну — перетерпел бы как-нибудь. Но она была змея! Даже с чайником кокетничала...

— Ну, а у меня вообще — привод в милицию,— заключает водитель.

— Как это ты влетел? — спрашиваю.

— Да по дурости. Отец кассету привез из Сингапура, сказал, там какой-то их местный обряд. Ну, я и решил не глядя обменять ее на что-нибудь приличное. Пришел на точку и сразу же попал в лапы оперативнику. Приводят меня на участок, смотрят кассету, а там вовсе и не обряд, а самая обычная порнуха. Удружил папочка... Так что из всех нас один твой братец умудрился ничем себя не запятнать. И как это тебе удастся, а?

— Почему «удастся»? — пожимает плечами брат.

— Э, брось! — морщится водитель. — Я на вас, христосиков, посмотрелся. Пару раз копнешь — там такое откроется... Нужно только знать, где копать.

— В таких случаях за кордоном нанимают частных детективов,— усмехается тот, что сидит рядом.

— Я б рискнул,— заявил водитель,— из чисто спортивного интереса...

— А если ничего не найдешь? — подраживаю я. — Ну, вообще ничего? Если мой братец действительно чист, как ландыш?

— Насчет этого поговорка есть,— усмехается водитель. — Знаешь, где растут самые чистые ландыши?

— Ну где?

— Извиняюсь, в дерьме...

И вся компания покатывается со смеху. Даже мой братец изображает на физиономии подобие улыбки...

Машина тормозит у нашего дома. Мы с братом выходим на тротуар и прощаемся. «Сафари» движется дальше.

— Слушай, так это правда насчет Парижа?

— Ты же слышал, еще не решено...

— Желаю тебе заткнуть их всех за пояс.

— Неужели?

— Серьезно, желаю. Хоть ты и мой брат...

Ну, привет французенкам!

— Привет ленинградкам, — бурчит он в ответ.

И мы расходимся.

Он сворачивает во двор нашего дома.

А я прыгаю в подкативший к остановке троллейбус.

Город движется за окнами — полуденный, сонный, молчаливый... Мне кажется иногда, что дневная тишина существует лишь для того, чтобы набрать побольше воздуха и ночью ворваться в мою комнату, забиться в стенах сотнями голосов...

В дежурке вновь включен эфир.

— Мужики, подбросьте фильм на вечер!

— Хочешь «Красную пустыню»?

— Нет, на нем с тоски загнешься. Слишком завернутый...

— Есть детектив «Безумный Макс».

— Крутой фильм. Я ж от детективов тащусь.

— А у тебя что есть?

— «Апокалипсис нау» — боевик Копполы.

— Ну, ты меня сломал! Надо нам с тобой толкнуться. Звони завтра и прихвати «Апокалипсис», а я тебе до вторника «Макса» кино. Идет?

— Ага!

Видеоманы отключились. И тут же на полуслове ворвался другой голос:

— ...А утром я ее у дома жду. Она выходит — и мимо, даже не глядит. Я догнал ее и спрашиваю: «Что случилось?» «А ничего, — говорит, — просто больше встречаться не будем». «Как это? — спрашиваю. — Ведь я же тебя люблю!» «Ну и что? — отвечает. — А мне совсем другой парень нравится!» Тут я вообще сел. «А зачем же ты со мной, — говорю, — все это время ходила?» «А я, — говорит, — боялась, что он надо мной смеяться будет: до семнадцати дожила, а ни с кем ничего... Вот я и решила сначала с тобой походить. А теперь ты мне больше не нужен. Гуляй дальше, мальчик!»

— Плюнь и разотри, — посоветовали ему, — знаешь, сколько вокруг свободных девок? Вон хоть эта...

— Приходи ко мне, слышишь? — тараторила девица. — Мне тоже тошно...

— Так я же ее люблю! Все равно... Она ж такая! Стихи один раз читала: «...ветренная Геба, кормя Зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила...»

Громокипящий... Красиво, правда? Я и слов-то таких сроду не слышал...

— Ну и что? — неожиданно для себя сказал я в трубку. — Раз стихи читала, значит, уже и хорошая? Ерунда все это. У меня отец в институте литературу преподает, я от него уж каких только стихов не наслушался. Ну и что? Пару месяцев назад они вместе с братом нашего деда угробили.

— Как это?..

— Отравили!?

— Ребята, да тут интересные вещи рассказывают...

— Знаете, как умер наш дед? Он в огороде картошку копал, и ему плохо стало. Так в картошку и повалился. Может, и звал на помощь, а кто услышит! Рядом — два дома заколоченных. Ночь в картошке пролежал, а утром его соседи нашли.

— Инфаркт, выходит? А говорил, убили...

— Мы с отцом на похороны приехали, — продолжал я, чувствуя вокруг себя настоящее молчание эфира, — у деда на стуле пиджак висел, а в нем письмо. Из письма я и узнал, как все было. Оказывается, дед просил, чтобы мы его к себе взяли, одному тяжело было. А они отказались. Так втроем и написали: ты нам не нужен, иди в дом престарелых...

— Так и написали?

— Ну, не так! Красивее... Какая разница? Я штемпель смотрел: письмо утром пришло, а вечером дед в картошку повалился. Вот как было... Мы с отцом домой с похорон вернулись, тут гости собрались, на поминки. Ну, и отец начал рассказывать, как дед воевал да какая у него была трудная жизнь. Расчувствовался, даже слезу пустил. Я тогда чуть со стыда не провалился. Сижу, а у меня письмо в кармане. В общем, на следующее утро я из дому ушел.

— А письмо сейчас у тебя?

— Вот, — я похлопал себя по карману.

— Да ты, дядя, бестолковый! — чиркнула девица. — Ты же миллионер! Я б с таким письмом чего угодно добилась.

— Это как?

— У тебя родители — партийные? Небось и брат туда же метит?

— Да, — подтвердил я, не понимая, к чему она клонит.

— Ну, все сходится! Им же до смерти неохота, чтоб кто-нибудь узнал про это письмо. Ты только намекни: не хотите шума — сделайте отдельную квартиру или деньгами дайте.

— Слушай, слушай, она научит! — подначивали нас.

— Я со своей мамашей полгода судилась, чего только не выдумывала про нее, зато теперь свою хату имею! А тебе и придумывать нечего — все и так ясно. Там подписи стоят?

Я машинально глянул на листок — да, стояли все три, одна под другой.

— Ты приходи,— продолжала девица,— я опытом поделюсь. Телефон запиши: три-восемь-один...

Я выключил приемник.

Дверь квартиры захлопнулась за мной, я нашарил выключатель, пощелкал, но мгла не рассеивалась.

В конце коридора чиркнула спичка, и я увидел Анну.

— Свет отключили,— сообщила она.

Следом за ней я прошел в комнату. За окнами тоже было темно, весь район погружился во мглу.

Внизу брэнчала гитара — все тот же осточертевший короткий мотив.

— Давай что-нибудь другое! — крикнули из окна над нами.

— Я не умею,— пожаловалась «гитара» хриплым мальчишеским голосом.

— Так учись! Заладил одно и то же. Нет чтоб песню какую.

— А это песня. Тут, вообще-то, и слова есть.

— Ну давай!

«Гитара» откашлялся и запел:

Ах, какая сволочь —
колорадский жук!
Всю картошку слопал —
перешел на лук...

Наверху покатались со смеху.

— Чего вы? Все с этого начинают, мозоли быстрее растут.

— Где, в ушах?

— На пальцах. Для гитариста что главное? Мозоли. А нарастут — играй что хочешь. Я шарил по столу в поисках транзистора. Кое-как нащупал свою старушку «Селгу».

— Не работает,— сказала невидимая Анна,— я уже крутила.

— Не надо крутить. Гляди, какая здесь технология,— я дождался, пока она чиркнет спичкой, и наметанным ударом стукнул по крышке.

Транзистор тут же включился: «У моря, у синего моря...» Знакомая мелодия. По-моему, из одного старого-престарого фильма. Японского, кажется.

— Надо же,— сказала рядом Анна,— моя любимая!

Наверху тоже притихли. Даже «гитара» унялся на минуту. А после начал подвывать песню.

Наступила пауза, а потом раздался треск.

— Пожалуйста, поставьте сначала! — закричала соседка.

— Мы бы рады,— отозвалась Анна,— но это не пластинка, это транзистор.

— Жалко... — вздохнула соседка. — У нас и этого нет.

— Ничего,— бодро пообещал сосед,— скоро магнитофон купим.

— «Купим!» Ой, мамочки... Да у нас спичек и тех нет!

— Купим! — не сдавался сосед. — И телевизор, и маг. И спички. Я сейчас сбегаю.

— Проснулся! Да уже все магазины закрыты. Ха-ха-ха... — И оба зашлись, как обычно. Не знаю, что во всем этом было смешного, но они прямо обхохотались там наверху.

— Эй, гитара, пару спичек не одолжишь? — спросил сосед, отсмеявшись.

— Не, у нас зажигалка электрическая. А вот свеча есть...

— У нас есть спички! — снова подала голос Анна.— Давайте объединимся: ваша свеча, наши спички. Идет?

— Идет! — заорали за окном. — А где вас искать? Вы где живете?

Я не дал Анне ответить, схватил ее за руку.

Окна захлопнулись, одно за другим, послышался шум на лестнице. Бежали снизу и сверху, столкнулись на нашей площадке.

— Молчи,— шепотом приказал я Анне,— не отвечай!

Смеясь и переговариваясь, они уже стучались в нашу дверь.

— Ау, где вы? Куда вы пропали?..

«Московское время...» — предательски прозвучал забытый на окне транзистор. И я торопливо прихлопнул его, заглушил звук.

Постепенно голоса соседей отдалялись, теперь они бежали вниз по лестнице и стучали в другие двери.

— Почему ты их не впустил?

— Я же сказал с самого начала: не хочу ни с кем знакомиться.

— Но они же славные ребята...

— А мне все равно, славные они или подонки. Ни в тех, ни в других не нуждаюсь.

— Разве можно так? — Она смотрела из темноты расширенными глазами.

— Вот в тебе есть все, что я ненавижу! Раз в жизни выбралась дальше райцентра, а знаешь все на свете! Тебя в Китай забрось, ты сразу начнешь их учить, как рис выращивать. Запомни, я никого не хочу видеть, потому что мне все осточертели. А тебя я терплю, потому что мне нужны деньги. Вот и заруби на носу: мне нужны деньги, а тебе — квартира! И больше ничего.

А лестница все галдела. И казалось, что весь этот старый дом гудит и зовет: «Ау, ну где же вы? Где вы-ы?..»

С каждым днем эта случайно попавшая в мой дом девчонка интересовала меня все больше и больше.

Каждый день с раннего утра она уходила

из дома и возвращалась лишь к вечеру, едва не падая с ног от усталости. Но, клянусь, за это время она не обзавелась даже какой-нибудь мелочью — духами там или косметикой. Ее тумбочка была пуста, как и в первый день.

И каждый вечер она вытаскивала из своей неизменной рыжей сумки карту города и карандашом обводила районы, которые уже обошла. Круг на карте все сужался.

Но однажды, переступив порог, я попятился от неожиданности. В моей комнате, за столом, сидело совсем другое существо: раскрашенное, как боевой индеец, со взбитыми и разлохмаченными волосами.

— Н-да,— протянул я.

— Что, не нравлюсь! — лихо подмигнула мне Анна. От прежней грустной девушки с косой и следа не осталось.

— Ну не может же все сразу нравиться! А ты теперь похожа на всех одновременно. В городе таких миллион.

На столе, рядом с Анной, лежал рисунок. Карандашом на тетрадном листе. Портрет девушки. Судя по всему, с нее Анна и «делала себя».

— Кто это? — спросил я. — Твой идеал? Тогда поздравляю — не отличишь.

Она засмеялась и в довершение картины наклеила на веки яркие блестки. Ее было не узнать... Я заметил отброшенную в сторону карту, и тут меня осенило:

— Ты нашла свой переулочек?

— Ага. Все каблучки стоптала...

— Ну, что там?

Не слушая, она смотрела в зеркало. И вдруг огорошила меня вопросом:

— Послушай, как можно... познакомиться на улице с парнем?

Я очумело опустил на диван.

— Как это у вас делается? Мне надо, понимаешь, чтобы он не догадался, что я приезжая...

— Что, стыдишься быть провинциалкой? — Не важно... В общем, надо, чтоб он принял меня за свою. Какие у вас слова при этом говорятся?

— Слова-то? — я даже растерялся. — Да разные, от случая зависит. К примеру, если парень интеллигентного вида, ты подходишь и интеллигентно спрашиваешь. Например: вы не знаете, сколько шагов отсюда до ближайшего кабака? Он, конечно, отвечает: не знаю. Тогда ты и говоришь: давайте вместе посчитаем...

— А с таким как говорить? — она извлекла из сумки и протянула мне еще один рисунок: совсем молодой парень, с глазами-блюдцами и прической «взрыв на макаронной фабрике».

— Как можно короче. Подходишь, бьешь по плечу и говоришь: хипуешь, плесень?

— Ничего себе!

— Да, это дело тонкое. Однако с кем это ты собралась знакомиться? Кто поразил твое воображение, старушка?

— А тебе-то что? — усмехнулась она. — Разве тебе не все равно? Тебе ведь нужны деньги, а мне — хата...

— Да так, интересно стало, ради чего ты вдруг сменила кожу?..

Она подхватила сумку.

— Привет!

Два рисунка остались лежать на столе — парень и девушка.

Неволью я подошел к окну.

Анна, прежде чем нырнуть под арку, вдруг оглянулась, заметила меня в окне и насмешливо улыбнулась.

Я отскочил в сторону, едва не нарушив свою заповедь — никем и ничем не интересоваться...

Троллейбус полз мимо площади. В хорошую погоду здесь собирались художники, располагались со своими мольбертами вокруг фонтана. Сегодня был как раз такой день. Народу собралось столько, что в глазах рябило.

И вдруг — мелькнула фигура Анны.

Троллейбус притормозил у светофора, и мое окно пришлось как раз напротив нее. Она что-то говорила, волнуясь и размахивая руками. Но кому — я не видел. Он стоял ко мне спиной.

— ...Зачем, зачем это тебе надо?! — проврался сквозь шум улицы его голос.

— Я должна это сделать ради него,— ответила Анна.

— Ему все равно уже ничем не поможешь...

Троллейбус тронулся.

Я выскочил на следующей остановке и пошел в сторону площади. Эта пара еще стояла на прежнем месте...

Как можно незаметнее я пристроился у газетного киоска, неподалеку от них, и разглядывал собеседника Анны. Это был выскок парень с длинными волосами и с повязкой на лбу. Анна стояла спиной ко мне, вся какая-то поникшая.

Парень что-то бормотал, избегая встретиться с ней взглядом, и рассматривал свои пальцы, вымазанные чем-то похожим на пластилин...

— Ладно,— отрывисто сказала она,— без тебя обойдусь! — И, не протрившись, зашагала по улице.

Парень проводил ее взглядом... посмотрел по сторонам. Вид у него был какой-то испуганный.

Он вернулся к фонтану, там на одной из лавок лежала его глина, и вновь с тем же беспокойством огляделся...

Я постоял еще минуту и двинулся за Анной.

Какая-то тревога поселилась во мне. Хотелось разобраться: что же только что произошло.

Мы пересекли площадь.

Анна не замечала меня.

Прошли следующую улицу...

Двинулись вдоль витрин...

Затем она придержала шаг и осторожно выглянула из-за угла...

Там, за магазином, был памятник, возле которого обычно назначали свидания. Сейчас там тоже маячило несколько фигур.

Был ли среди них тот, кто ей нужен, я не понял, во всяком случае, особой радости на ее лице не заметил.

Она повернулась к зеркальной витрине, глянула на себя и попыталась улыбнуться. С первого раза ничего не вышло, но она упорно улыбалась, механически растягивая губы...

С этой натянутой улыбкой она и направилась к памятнику.

Одна из фигур качнулась к ней...

И я даже вздрогнул в своем укрытии.

Мальчик-макарон с рисунка — та же прическа, те же глаза-блюдца — вдруг материализовался и очутился рядом с ней.

Дальше я не пошел, не хватало еще. Посмотрел на них издали и повернул обратно.

День был дождливый, и я бродил по улицам, не опасаясь нарваться на кого-нибудь из бывших знакомых. Все сидели по домам.

Не помню, как я забрел в свой бывший двор, просто занесло по привычке. Брел наугад, думая о своем, и вдруг очутился возле нашего дома. Здесь было пусто. Я устроился в беседке и стал смотреть на наши окна за тюлевыми занавесками.

И тут из подъезда вышла вся моя семья, все трое: родители и брат.

Вынимая зонт, отец плохо закрыл дипломат, и оттуда высыпались карточки с записями для лекций.

Ветер тут же разнес их по двору, и все трое бросились их собирать.

Я сидел в беседке, съевшись как только мог, чтобы меня не заметили, и следил, как снуют по огромному двору согнувшиеся под дождем фигурки...

Одна карточка залетела в беседку, упала прямо к моим ногам, и я машинально поднял ее. «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости. А. Пушкин». Я сунул карточку в карман, и тут рука моя ощутила другую бумагу — тот самый конверт... Я достал письмо. Почерк тот же, что и на карточке, — мелкий, бисерный. Вот слова совсем другие: «Мы вынуждены отказаться... наша семья не может...»

Отец наклонялся к земле, крихтя, выпрямлялся, держась за поясницу.

Мать отдавала ему собранные карточки, смеялась...

Ее рукой внизу приписано: «Дом престарелых... Адрес...»

А еще ниже — четким почерком брата: «Присоединяюсь к мнению родителей. Дорогой дедушка...»

Они уходили все трое, вместе. Брат раскрыл над мамой зонт, она взяла его под руку.

А я смотрел им вслед. Мне было бы легче, если бы я их не любил...

— Можешь ничего не объяснять — я и сам о тебе все знаю, — говорю я утром, устраиваясь на диване, — ты подыскиваешь жениха. Тебе наскучила провинция, ты рвешься в город...

Она сидит спиной ко мне, но в зеркале я вижу ее отражение, вижу, как меняется ее лицо под слоем грима...

— Девушки подобны шашкам: не всякой удается, но всякая желает выйти в дамки...

В зеркале я вижу, как она показывает мне язык.

— Видишь, как хорошо ничего не знать друг о друге? Ты куда-то идешь, возможно, охмурять какого-нибудь олуха, а возможно — и грабить. Но в любом случае мне наплевать. Хотя ты ведешь себя очень и очень странно. Другой бы начал спрашивать или еще чего доброго следить. А мне вот все равно. Завалюсь сейчас и засну... — И я набрасываю на голову одеяло.

Но едва дверь за ней закрывается — одеяло летит в сторону, а я с пулеметной скоростью завязываю шнурки на кроссовках и бегу вниз по лестнице.

Анна вынырнула из подворотни, прошла мимо кафе-стекляшки и быстро, не оглядываясь пошла по улице.

А я крался следом, прижимаясь к стенам домов.

На остановке из троллейбуса высыпали девчонки. Вокруг меня замелькали раскрашенные лица, похожие прически... Я заметался среди них и потерял из виду Анну — она будто растворилась.

Я остановился, соображая, как быть дальше. И вдруг совсем рядом, в двух шагах, мелькнула рыжая сумка.

Анна стояла у автомата с газировкой.

Воспрянув духом, я продолжил преследование.

Я перестал замечать, что делается вокруг. Мелькали дома, толкались люди, а я видел только один надежный, спасительный ориентир — рыжую сумку, что болталась у нее за плечом. Другой такой в городе, наверное, не было.

Анна все ускоряла и ускоряла шаг, почти бежала. Временами я оказывался так близко от нее, что даже слышал тяжелое дыхание.

Теперь она вела меня незнакомыми дворами и подворотнями. Так мы кружили довольно долго, пока я окончательно не сбился с дороги.

Наконец она вывела меня к какой-то серой унылой стене и тут как сквозь землю провалилась.

Я потоптался. Мимо меня пронесли бутылки с кефиром.

Я заглянул за угол... и обнаружил, что нахожусь рядом со своим любимым кафе-стекляшкой. Да-да, это было то самое кафе, просто она вывела меня к черному ходу. Вот и наш дом рядом. Черт возьми, я ничего не понимал. Выходит, все это время мы петляли, чтобы вернуться на то же самое место, откуда ушли?

Чья-то рука легла мне на локоть. И прямо перед собой я увидел Анну. Глаза у нее насмешливо сузились.

— Так ты заметила? — только и сказал я.

— Трудно не заметить, когда тебе дышат в затылок!

— Но согласись,— пробормотал я в растерянности,— должен же я хоть что-то знать о человеке, с которым живу в одной комнате!

— Это что-то новое. Зачем тебе знать? Ты же такой свободный, такой независимый! Но ты забыл одну маленькую деталь: я-то тоже свободная и независимая.

Крыть было нечем, и я молчал...

...И снова мы стояли в кафе, за столиком. Болтали ложками в стаканах с чаем...

— Значит, ты хочешь знать, кто я такая? — Она искоса глянула на меня: — А не боишься, что при ближайшем рассмотрении я окажусь какой-нибудь тварью?

— Я боюсь, что ты сейчас начнешь врать, как и все остальные. Поэтому договоримся сразу: что угодно, но только правду.

— Знаешь, мне самой давно уже хочется кому-нибудь все рассказать,— вырвалось вдруг у нее. — Сначала думала, что хватит сил вынести все одной...

— Ну, выкладывая, что у тебя стряслось? Зачем приехала? Постараюсь тебе помочь...

— Спасибо. Первый будешь знать, зачем я здесь. Я никому не говорила, иначе меня ни за что не отпустили бы. Так вот, слушай... — Но прежде чем начать рассказ, она полезла в сумку, достала из нее все ту же фотографию и протянула мне. Чуть коснулась лица светловолосого парня: — Речь пойдет о нем...

Я наклонился поближе.

— Художник...

— Кто? — переспросил я.

— Так мы его называли. Художник. Мы дружили с пяти лет, потом вместе в школе

учились. Он был необыкновенным, талантливым... Знаешь, лучше него я еще людей не встречала. Он был... да ты лучше посмотри на него! Ну разве можно быть плохим с такими глазами?

— Значит, вы вместе учились. А дальше?

— Дальше школу закончили. Я работать пошла. А он уехал сюда, в училище ваше поступил... Он впервые оказался один в незнакомом городе... — Тут она замолчала, глядя в одну точку.

— И что же случилось с ним здесь?

Она попыталась что-то сказать, но не смогла.

— Давай отложим до вечера? — выговорила она наконец. — Я побегу. До вечера!

— До вечера,— откликнулся я.

Это звучало как пароль...

Я не сводил глаз с фотографии. Возле телефона, на сушилке для рук, было зеркало. Я прикрепил фотографию. Наши лица в зеркале были рядом: мое и его. И — хоть убей! — я не видел в нем никакого заметного превосходства...

Вечером я ждал ее и, как только хлопнула дверь, вышел навстречу.

— Подожди,— сказала она и, оставив у порога сумку и даже не разувшись, прошла в ванную.

Через открытую дверь я видел, как она подставила под струю накрашенное лицо и принялась тереть его обеими руками. Так терла, будто не грим смывала, а сдирала с себя опостылевшую кожу...

Она вошла в комнату мокрая и растрепанная, как воробей, но по-прежнему простая и улыбчивая Анна.

Заметила на окне приемник. Похвасталась:

— А я уже освоила твою аппаратуру! — и в доказательство хлопнула по крышке. «У моря, у синего моря...» — знойно вползло в комнату. Мы переглянулись.

— У нас эту песню на танцах часто крутили,— сказала Анна. — Танго... Фонари зажигали. Большие такие, белые, как шары на елке...

— Если бы я умел танцевать, я бы тебя пригласил,— сказал я с сожалением.

— Ерунда, я тебя мигом научу. — И она протянула мне руку.

«Прозрачное небо над нами...»

Я отдавал ей все ноги. Другая бы давно меня отшила, но она только улыбалась.

— А ты не с моря, случайно? Вообще — откуда ты?

— Тсс,— она приложила палец к губам, — не отвлекайся...

Так мы топтались по комнате, забыв обо всем.

И вдруг она испуганно уставилась куда-то поверх моего плеча.

Я обернулся.

Это было невероятно, но в дверях стоял мой брат.

— Я стучал, никто не отвечает, у вас тут музыка. Ну, я и вошел...

Он зорко оглядел Анну с головы до пят и перевел взгляд на меня.

— Может, познакомишь?

— Что же мне еще остается? — кисло согласился я. — Ну вот, Анна, мы и квиты: ты мне — фотографию, а я тебе — живьем. Мой старший брат, тоже в своем роде необыкновенный парень.

— Очень приятно, — пробормотала Анна.

— Запомни эту минуту. Это наша последняя спокойная минута. Сейчас сюда набегут наши родители, соседи и друзья...

— Клянусь, что никому не давал твой адрес!

— Так ты же без минуты не можешь без общества. Анна, ты еще не видела такого общественника. Помню, в детстве выходим мы с ним во двор и тут меня начинают бить соседские мальчишки. За что — не помню, но это не важно. Так вот, поскольку их было много, а я один, мой брат вдруг тоже начал меня бить. За компанию. Сработало чувство коллективизма.

— Хватит, а то девушка решит, что это правда.

— Пойду чайник поставлю, — сказала Анна.

Мы остались вдвоем.

— Как ты пронюхал мой адрес?

— Очень просто: коммутаторы обзвонил. Неужели я не могу зайти к тебе? Посмотреть, как ты живешь?

— Смотри, — разрешил я.

Он огляделся.

— Отвратно, как я и предполагал...

— Тогда зачем явился?

— Давай на лестницу выйдем, — попросил он, — я не могу при этой...

И мы пошли.

— А чай? — из кухни показалось удивленное лицо Анны.

— Мы скоро вернемся, — пообещал я.

— А что у тебя с ней? — любопытно ствовал брат на лестнице.

Я пожал плечами, затрудняясь объяснить.

— А-а... — Брат посмотрел на меня даже с некоторым уважением. — А ты, оказывается, не такой уж и лопух!

Мы стояли в пролете между этажами.

— Объясни мне, чего ты хочешь от нас? — сказал мой брат. — Конкретно?

— Конкретно: хочу, чтобы вы оставили меня в покое.

— Зачем же тебе тогда письмо?

— Письмо? — Я посмотрел на него внимательно и усмехнулся: — Продать его хочу! Дружкам твоим. Как считаешь, кто больше даст?

— Дружки, конечно, подонки, — процедил он, — но их я понимаю. Место одно, а нас — четверо. А вот тебя не могу понять. Ты-то чего добиваешься? Чтоб я со стыда умер? Да я это письмо наизусть помню! Хочешь, прочитаю? Ну, слушай!

— Не хочу. — Я отвернулся.

— Проверь, может, я чего подзабыл... — настаивал он.

— На, сам проверь. — Я вытащил письмо из кармана и сунул ему.

— Все точно, — он глянул на строки, — навсегда запомнил. Даже во сне снится... Спать не могу, до того мне тошно.

— Так какого же черта ты писал?

— Пойми, не я же эти собачьи законы придумал!

Он поднес письмо к глазам, отошел с ним ближе к свету... И вдруг лист бумаги в его руках разошелся на две половины, потом еще и еще...

Затем поднялась крышка мусоропровода и ключья полетели туда.

Я не сразу понял, что произошло. Лишь когда сверху прогромыхали по трубам склянки, до меня дошло.

Брат переводил дух, как после тяжелой работы.

— Самому противно, — сказал он и сбежал по ступенькам.

Я вернулся в квартиру.

— А я тебя жду-жду! — Анна бросилась мне навстречу.

— Интересно, зачем? — выдавил я из себя.

Она попятилась.

Я плюхнулся на диван, не отводя от нее глаз.

— Интересно, тебе-то я зачем? Не терпит-ся навешать мне лапшу на уши?

— Что с тобой?

— Думаешь, я тебе поверю? Ошиблись, мадам! Морочь голову кому-нибудь другому. А мне наплевать на твои дела... — Я вытащил фотографию. Глянул еще раз на бело-брысого парня... и вдруг что-то меня подтолкнуло. — «Художник... необыкновенный... талантливый... лучшего не встречала...» — с издевкой передразнил я ее. — Ну, так где же он, твой хваленый Художник? Почему же ты сидишь сейчас здесь, со мной? Или ему на тебя наплевать?

— Замолчи, — оборвала она.

Но какая-то сила не давала мне остановиться.

— Ты живешь здесь почти месяц, а он даже не поинтересовался, как ты живешь! Почему же он не зайдет, твой Художник?

— Перестань.

— Да я и сам знаю почему. Потому что он подонок. Такой же, как и все.

— Нет, нет! — закричала она, зажимая уши.

— На, забери своего ненаглядного. — Я бросил ей карточку.

Фотография скользнула со стола и упала на пол. Этого я не хотел, просто так произошло. Она молча подобрала ее с пола, стала гладить, словно живого человека. Руки у нее вздрагивали. Невыносимо было видеть это, и я отвернулся к окну.

На следующее утро, после смены, я стоял в кафе за своим любимым столиком, откуда мне было видно все, а меня — никому. Мне не хотелось видеть Анну, и я упорно пил второй стакан чая и ждал, пока она придет.

Наконец она появилась. Сегодня в ней было что-то необычное. Приглядевшись, я понял, в чем дело — исчезла сумка. Она уже так срослась со своей рыжей сумкой, что без нее показалась мне какой-то чересчур хрупкой и неустойчивой.

Возле стекляшки Анна замедлила шаг. Мне хорошо было видно, как она переводит взгляд от стола к столу. Лицо у нее было встревоженное. Я опустил голову, чтобы переждать эту минуту...

А когда поднял — ее уже не было.

К вечеру Анна не вернулась.

Уже стемнело, мне пора было уходить, а я поглядывал на часы и все тянул время.

Внизу брэнчала гитара.

Ее забытая сумка одиноко лежала на подоконнике. На вешалке висел ее халат.

Я быстро взял ручку и написал записку: «Анна, не уезжай, дожись меня». Положил на видное место и вышел.

Но когда прятал ключ под коврик, что-то будто толкнуло меня обратно в комнату.

Я схватил ее рыжую сумку и унес с собой. Теперь, по крайней мере, она точно не могла уехать...

Утром я снова ее не обнаружил. Ключ лежал на прежнем месте, на столе нетронута белела записка. Все, как я и оставил вчера.

Не зная, что и думать, я стоял посреди комнаты.

— ...Ее нет второй день. Что делать? — говорил я в ночной эфир.

— В милицию, — откликнулись сразу.

— Погоди с милицией! Может, девка просто в загуле?

— Нет, она не такая...

— Брось ты, все они одним миром мазаны!

— С ней что-то случилось, — твердил я.

— Тогда заявляй в розыск!

— Как раз тогда и не заявляй. Если что случилось — тебе и пришьют, понял? После не отмоешься...

— А что я в милиции скажу? — продолжал я. — Пропала девушка: откуда — не знаю, кто такая — не знаю, ничего не знаю, кроме имени...

— Вместе жили и не знаешь? Ну, ты крутой мужик!

— Так они тебе и поверили! Не суйся ты в это дело, слышишь?

— Погоди, а вещи-то ее остались?

— Какие там вещи! Одна сумка...

— Ты в нее заглядывал?

— Зачем?

— Документы-то должны где-то быть, сечешь? Не в кармане же она их носит. Открой да посмотри...

Я нерешительно подвинул к себе рыжую сумку. Расстегнул молнию. Сверху лежала карта, вся исчерканная вдоль и поперек. Под ней — все та же злосчастная фотография. Затем — листы бумаги...

— Ну, что там? — изнемогая от любопытства, шептали в эфире.

Я разбирал листы. Это были рисунки. Сначала — уже виденные мною парень и девушка, а потом... прямо в глаза мне «светили» большие белые фонари, похожие на елочные шары. Они свисали над старой деревянной танцплощадкой. Рисунок был акварельный, светлый и радостный, как воспоминание.

Затем пошли совсем другие рисунки. Улицы, дома, скверы — обычный городской пейзаж.. А вот и переулочек — я сразу узнал его — то же, что и на фотографии. Дом с балконами в орнаменте. Затем — полупустая комната с полосатыми обоями, неуютная, почти без мебели. Чуть приоткрытая дверь на балкон... Эта полутемная комната повторялась и на других рисунках.

Люди, находившиеся в комнате, проступали смазанными, нечеткими силуэтами. Их было много. Они не разговаривали, ничем не были связаны друг с другом, просто стояли или сидели вдоль стен в разных позах. Чаше других повторялись эти двое — девушка и юноша...

— Ну, что там? — спрашивали из эфира. — Нашел документы?

— Нет.

— А может, у нее их вообще нет? — приставил кто-то.

— Может, у нее и имя не настоящее?

— Да нет, я же говорю — она не такая, — сказал я, разбирая рисунки.

— Ах, ах! Честная, порядочная! Скажи еще, что и не врет никогда!

— Представь себе, — отрезал я.

— Ну, ты меня обломал! В каком музее откопал такую?

— Дальше, дальше, парены! Неужели там ничего больше нет?

Под рисунками, на дне сумки, лежал газетный сверток.

— Ну вот, кажется, — с облегчением вздохнул я.

Развернул сверток, но вместо документов в руке у меня очутилось что-то стеклянное.

— Ампулы. Несколько штук.

— А что на них написано?

— М... мор...

— Морфий! — крикнул кто-то. И весь эфир взорвался голосами:

— Это наркотики! Она наркоманка, твоя девка!

— Нет, нет, не может быть... — бормотал я, сбитый с толку.

— А зачем же ей морфий? Чтоб зубки не болели?

— Она у тебя пряталась, дурак! А ты и поверил...

— Парень! — прорвался ко мне дикий, пронзительный голос. — Продай мне ампулы! Они ж тебе не нужны...

— Не может, не может быть... — бессмысленно повторял я.

— Он еще и не верит! Ну, козел... — заливались где-то.

— Чего вы ржете? Да это ж хуже чумы! Вышвырни ее из дома, слышишь? Как паршивую собаку!

— ...Продай, парень! Возьми что хочешь, только продай... иначе подохну...

Голоса заполняли комнату, метались в стенах, а я сидел рядом с разворошенной сумкой и не мог двинуться.

Все тайны этой девчонки вдруг разрешились разом — просто и до одури понятно. Меня снова обманули, провели, как слепого щенка.

Площадь в центре города была солнечной, с бьющими фонтанами.

И снова ее заполнили художники.

Я вглядывался в лица этих ребят — странно сосредоточенные среди шума улицы.

Щуплые девчонки с огромными мольбертами...

Парень, смешно согнувшийся над листом бумаги, прикрепленным к картону обычными бельевыми прищепками...

Так я прошел всю площадь, пока на ступенях, у фонтана, не увидел того самого парня, который говорил с Анной на улице. Сейчас он опять мял глину.

Когда я вынырнул перед ним, он вздрогнул. — Здорово, — сказал я, — будь другом, подсажи, где найти этого парня? — и показал фотографию Художника.

Он вскинул глаза. К лицу его будто пристыло выражение испуга.

— Ну, вот этого, Художника, — объяснял я, — ты же его знаешь?

К испугу добавилось недоумение.

— Да ведь его уже нет в живых.

Я уставился на него, ничего не понимая.

— Ну да, — повторил он, — погиб этим летом, месяца три назад.

И тогда из памяти прорвался ломкий, запинаящийся голос Анны: «Он был необыкновенным... талантливым... он б ы л...»

Мы стояли в диких зарослях парка.

— ...Вот тут и нашли, головой сюда, — он похлопал по стволу дуба, — привалился, вроде как спит... Тут — шприц, так и не успев вытащить, — он показал на сгиб локтя, — кругом стекляшки пустые валялись, из-под этого... ну, чем они колются...

— Морфий, что ли? — подсказал я.

— Ну, вроде... Пять или шесть насчитали...

Кроны старых деревьев почти полностью закрывали свет. Кусты боярышника доходили чуть не до плеч. После солнечной площади здесь было сумрачно.

— Это все, конечно, уже инсценировка, — продолжал скульптор, — погиб-то он не здесь, а на квартире у кого-то из них. Это уж после они его сюда перетащили... Следы заметали...

— Зачем ему это нужно было? — спросил я.

— Из любопытства, наверное. Когда впервые в город попадаешь, все хочется попробовать. Ну и допробовался... Э, да что теперь говорить!..

Рядом послышался шорох, и парень дернул головой. На поляне, в высокой траве, ползал мальчиш с лупой, собирал жуков.

— А те, что приволокли его сюда, что за люди?

— Милиция до сих пор никого не нашла... — Он понизил голос: — Только на следующий день кто-то забрался к нам в общежитие и унес все его вещи. Улики, понимаешь? Они на все пойдут, лишь бы их не поймали...

И он собрался уходить.

— А ведь ты их знаешь, — сказал я ему вслед.

Его спина чуть дрогнула...

— Какое тебе дело? — измученно выдохнул он.

— Скажи мне только — где Анна?

— Анна? А-а... девчонка эта ненормальная... невеста его...

— О чем она тогда тебя просила, на улице?

— Чтоб я их ей показал. Найти решила, сама, без милиции. За этим и приехала... Будто их легко провести.

— Так где она теперь? Как ты думаешь?..

Он мрачно глянул на меня... хотел что-то сказать, но лишь рукой махнул и побрел по тропинке к выходу из парка.

А я вдруг ясно увидел, как Анна наклоняется к крану и обеими руками трет свое размалеванное лицо...

А потом поднимает голову и смотрит на меня — уже прежняя...

Я вытащил из сумки карту. Стал разбираться в ее пометках, разных знаках, которыми щедро была разрисована вся карта. Нашел переулочек, обеденный жирным кружком...

Отбрав у мальчика лупу, я навел ее на кружок, разбирая название. Потом лупой скользнул по фотографии. Дом был высотный, большой. Так по каким же приметам искать квартиру?..

Увеличенные глаза Художника снова глянули на меня... и вдруг из-за этих глаз выплыли два четких, знакомых лица. Там, за его спиной, на одном из балконов стояли мальчик-макарон и красивая девушка. Оба смотрели в объектив. Она вскинула для приветствия руку... Это были они, теперь у меня не оставалось никаких сомнений...

Я стоял в переулке. Так же, как стоял и Художник, спиной к дому. В руках у меня было зеркало, и в нем отражался тот самый балкон. Сейчас там было пусто.

Я стал подниматься по лестнице, осторожно, прислушиваясь к каждому шороху...

Дверь нужной мне квартиры оказалась распахнутой настежь. Слышалось шарканье веника.

Я потоптался у порога и заглянул внутрь. Сразу в глаза мне бросилась знакомая по рисункам комната — пустая, почти без мебели, в полосатых обоях... Старуха в подоткнутом платье мела пол.

— Вы по объявлению? — окликнула она меня.

Я очумело уставился на нее.

— Квартиру хотите снять? — повторила она.

— Нет, я узнать хотел, куда прежние жильцы девались.

— Выехали пару дней назад. Все побросали, даже грязь за собой не выгребли... — заворчала она.

— А куда они переехали?

— Да они мне докладывают, что ли? — отмахнулась бабка.

Я возвращаюсь со смены в час безлюдья. Самая ранняя волна уже схлынула, другие еде досыпают.

Еду в пустом троллейбусе. За окном движутся пустые улицы, подметенные тротуары, аккуратные фасады домов. Но я знаю теперь, что там — в скрытой от глаз глубине — таятся темные дворы и подворотни. Город прячет их в своих закоулках...

Вот он обступает меня — неправдоподобно огромный, уносящийся вверх домик.

Ветер несет с площади рисунки, остав-

шиеся со вчерашнего дня, и человеческие лица катятся по асфальту, прижимаясь к нему своими щеками...

Я завтракаю в кафе-стекляшке. Среди голых столиков жую вчерашние пироги. На своем обычном месте, за колонной.

Но сегодня меня будто преследует чей-то взгляд, хотя я знаю, что увидеть меня невозможно.

И снова я вижу Анну за стеклом, на улице. Она водит глазами по залу, от столика к столику, отыскивая меня...

Я поднимаю голову. Конечно же, там никого нет. Пустая утренняя улица. И дом сонно смотрит на меня пустыми окнами.

Я подошел к своей двери. По инерции отбросил половик, но ключа там не было.

Я не поверил. Перетряс коврик. Ключа не было. У меня будто камень с души свалился... Я прислонился к косяку и перевел дух.

Прошел по коридору в комнату и сразу увидел Анну. Она сидела у окна, куталась в какой-то платок, так что мне был виден лишь затылок. Она не оборачивалась на мои шаги.

Я шел к ней, пытаюсь согнать с лица дурацкую счастливую улыбку, но ничего не получалось, губы ползли и ползли. И с этим idiotским видом я остановился рядом с ней.

Внезапно шаги послышались за моей спиной, и я обернулся.

В комнате было еще двое — я сразу узнал их — мальчик-макарон и неприметный, что стоял рядом с Художником на фотографии.

— Спокойно, парень, — сказал неприметный, — ты нам не нужен. Нам нужны ее вещи. Отдай, и все будет хорошо.

Я посмотрел на Анну.

— Можешь обернуться, — разрешил ей неприметный.

От неожиданности я отступил — это была вовсе не Анна. Это была та самая девица, с фотографии. Теперь все трое были в сборе.

— А где Анна?.. Ну?.. Что вы с ней сделали? — метался я среди них.

— Да не дергайся ты, — спокойно сказал неприметный, — с ней все в порядке. Верно? — И он глянул на мальчика.

— Ну, пару раз я ей врзал, — пожал тот плечами, — это когда она нас убийцами назвала. Вроде мы ее хахаля убили, а не сам он перестарался.

— Но врача-то вы могли вызвать? — перебил я.

— Вместе с легавыми? — усмехнулся он. — Чтоб нас всех разом и подмели?.. Нам-то с ней еще ладно, а вот над ним, — он кивнул

в сторону неприметного, — знаешь, какой срок висит?..

Неприметный коротко глянул на него, и мальчик осекся..

— Руки у него тряслись, — хмуρο продолжал он, — вот и перепутал кубы. Всадил такую дозу, что и лошадь бы не встала. С этими новичками вечно вляпаешься. Прошлой весной у нас такой же случай был — тоже пацан вроде Художника.

— Кончай треп, — негромко посоветовал неприметный.

— Короче, я этой девке так и объяснил: сам он виноват, сам! А что вытащили мы его — так все равно он уже мертвый был.. А она свое кричит: «Убийцы! Убийцы!» Ну я и дал ей по башке для профилактики. Так, слегка. Когда на вокзал ее привели, ничего уже и заметно не было.

— Зачем — на вокзал?

— Да домой отправить, чтоб не лезла куда не надо.

— Здорово! И что ж — она сама села в поезд и уехала?

— Конечно, сама! Ты нас что, за банду держишь?

— А ты меня — за идиота? Она ж весь город исходила на своих двоих, чтоб вас найти. И после этого тебя испугалась и уехала? Врать научись!

— А мы ее уговорили, — усмехнулся неприметный, — и знаешь, кто нам помог? Ты.

— Я?!

— Ты, ты, не удивляйся. Собственно говоря, эта девчонка нам была не так уже и опасна. Она никого из нас не знала. Всех доказательств-то у нее — фотография одна.. мы там вместе с Художником стоим. А отбери фотографию — и все, ничего бы она не доказала.. Ну вот мы и сказали ей, что сосед ее, то есть ты, нам все вещи продал. И фотографию эту тоже..

— Я — продал?

— Ему, говорим, деньги нужны были, вот он и согласился.

— И она поверила этой белиберде? — криво усмехнулся я.

— Ее сначала как громом ударило, — подала голос девушка, — а после и говорит: да, это на него похоже..

— Врете вы все! — прервал я ее.

Тогда она без слов протянула мне сложенный листок.

Предчувствуя недоброе, я взял его, развернул. Две неровные строчки катились вниз: «А ты, оказывается, еще и подонок. Анна».

— Ну вот, говорю, теперь и беги в милицию, — удовлетворенно продолжал неприметный, — все равно никто тебе там не поверит. Сосед твой тебя продал, а этот.. ну, дружок Художника, что глину мнет, — так он со страху еще год будет писать кипятком.. Ну, и ей ничего не оставалось, как сесть

в поезд и убраться домой. Так что спасибо тебе, парень. Ты нас здорово выручил..

Я стоял как очумелый. Эти трое шарили во всех углах, переключались. Меня они совсем уже не стеснялись.

— Черт, да где же вещи-то?

— Может, их и не было вовсе? Выдумала, чтобы припугнуть?

— А ну-ка, вспоминайте, что на ней было.

— Куртка, джинсы.. Сумка была какая-нибудь?

— Нет, на вокзале не было.

— Стойте, — вспомнил вдруг мальчик, — когда она ко мне знакомиться подошла, была у нее сумка — рыжая, вот вроде этой.

И все трое уставились на сумку.

— Ерунда, — сказал я как можно спокойнее, — это моя. Мало ли похожих сумок?

— Та самая, — заявил мальчик, — вот и мой след от сигареты..

Я сделал шаг и уперся спиной в подоконник. Глянул во двор — ни души..

— Ты что, кричать собрался? — усмехнулся неприметный. — Разок крикнешь — больше не дадим. Так что зря стараешься. Давай лучше сумку, и разойдемся по-хорошему. Согласен?

— И правда, не рыпался бы ты, — посоветовал мальчик, — все равно твое дело — труба. Думаешь, мне бить тебя охота? А придется..

Девушка между тем бродила по комнате и собирала в пакет вещи Анны. Всякие мелочи, оставшиеся после нее. Тапки, полотенце, вязаную шапку, в которой я ее впервые увидел. Даже шпильки и те поднимала с пола.

И вот уже в комнате не осталось и следа Анны. Только рыжая сумка у меня за плечом.

— Ну, надумал? — повторил неприметный.

— Постой, — сказал я, — ты прав во всем, но упустил такую возможность: я ведь успею разок крикнуть. И вдруг кто-то да прибежит? И кого-то из вас задержат — ее, к примеру? Один шанс из ста, но он у меня есть. Верно?

Он задумался. Повисла пауза, без звука, без шороха, словно весь дом впал в оцепенение.

— Так чего же ты хочешь? — спросил он наконец.

— Вы Anne как сказали? Что я эту сумку продал? Ну вот, я и хочу ее продать.

— Тьфу! — девица вдруг смачно плюнула в пол. — Шукура!

Я написал на листе цифру и подал неприметному.

— Это цена.

Лицо у него несколько вытянулось.

— Чего ж я ее буду даром отдавать? Ты, наверное, много получаешь.. Вот, гляди, чего тут только нет, — и я вытащил карту, — вот и ваш переулочек отмечен.

— Ничего,— откликнулся мальчик,— мы оттуда уже ушли.

— А это узнаете?

Я показал рисунки.

Их лица менялись передо мной, как в мозаике: страх... отчаяние... злоба.

— А вот и самое главное,— и я достал фотографию.

Все трое уставились на снимок.

В наступившей тишине хлопнуло окно наверху, и оттуда радостно прокричали: «Доброе утро, люди!»

Все вздрогнули.

— Ладно,— неprimетный вытащил из кармана деньги и сунул мне,— на, подавись.

Этого я никак не ожидал.

— Так и знал, что этим кончится,— брезгливо махнул он рукой. — Ну, давай сумку!

— Погоди, пересчитаю.

— Быстрой давай.

Я стал перекладывать деньги не считая из правой руки в левую, а сам напряженно слушал. Ну хоть бы один звук, хоть бы шажок по двору! Нет, все будто вымерло...

Я еле двигал руками, и все-таки вот уже последняя бумажка легла мне в левую ладонь. Кажется, внизу перебирали струны... Но, может быть, это только казалось — у меня сейчас каждая клетка была как натянутая струна.

— Ну? Чего ты тянешь?

Неprimетный шагнул ко мне, протянул руку... и его рука повисла в воздухе.

Он смотрел через мое плечо, за окно. Туда же уставились и те двое. На их лицах застыло изумление.

Что-то упало на подоконник, у меня за спиной. Я оглянулся — сверху спускалась веревка. Железный крюк ее, как всегда, зацепился за раму.

— Товарищи, поправьте, пожалуйста! — крикнули сверху.

Неprimетный показал глазами: без дураков. Мальчик бесшумно приблизился, чуть ли не вплотную встал рядом со мной.

Я кивнул: все будет в норме. Положил деньги на стол и вернулся к окну. Отцепил веревку... и, прежде чем выбросить ее за окно, быстро накинул на крюк ремень сумки.

— Тяни! Тяни вверх! — заорал я что было голоса.

Рывком меня оттащили от окна.

Прямо надо мной мелькнуло потертое дно сумки, и я так и не понял — идет ли она так быстро вверх или это я сам проваливаюсь куда-то вниз, в темноту...

Я приподнял голову. Все вокруг плыло, как в тумане. Смутно проступали очертания комнаты... диван... стол.

Три тени стояли надо мной. Значит, все сорвалось. От отчаяния я ткнулся лицом в пол.

— Тебе больно? — спросил чей-то голос. Это была женщина. Но не давешняя гостья. Совсем другой, но очень знакомый голос: — Ой, мамочки!..

Чьи-то руки поднимали меня с пола. Я чуть повернул голову. Рука, лежащая у меня на плече, была вся в мозолях. Подушечки пальцев сбиты в кровь.

— Выпей воды,— сказал третий, и я увидел, как он зачерпывает из стоящего рядом ведра.

Туман понемногу рассеивался. Из него постепенно проступали совсем другие, новые, неизвестные мне лица. Они приближались ко мне, а я тянулся к ним... вот еще, еще немного... приподнимусь и увижу их...

1987 г.



Валерий
ИВЧЕНКО

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В крике галок, кружащихся над колокольней, всегда мне слышится что-то мистическое и зловещее. Высоко воспарили они над землей, над пустыми полями и Саметью — маленьким черным селцом на берегу Костромского моря. Снизу, из церкви, доносится пение. А люди отсюда кажутся безликими ручейками, текущими за кладбищенскую ограду на манящие звуки колоколов.

— Господи, прости их, заблудших, и смейся, справедливая смерть, грехи их с землей, из которой когда-то они вззошли...

Поет хор, и мерцают над церковью безмолвные ангелы.

7 апреля 1983 года в селе Саметь Костромского района Костромской области умерла дважды Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР, делегат многих съездов партии, почетный председатель колхоза «12-й Октябрь» Прасковья Андреевна Малинина.

Здесь, у церкви, ее могила. А рядом, через дорогу, стоит почерневшая от дождей изба, в которой она жила. На стене прибита памятная мраморная плита: «Дважды Герой Соцтруда П. А. Малинина».

И слышится голос Малининой:

— Вот иногда, знаете, едешь — часто приходится по разным дорогам ездить, — вроде дорога-то лучше нашей, но чуть нырочек, он так и бьет, так и нервничаешь. Как на свою дорогу выехали, пусть и нырков много, 130

и всего, но она все же милая. И эти нырки уже становятся милые. И как-то приятно уже становится, что едешь домой в свое родное гнездо. Ой, эти места никогда в жизни не забудешь! Здесь мы родились, здесь за муж выходили, детей воспитывали — ну куда ехать дальше?

Автобус «Кострома — Саметь» бежит по дороге, из окон видны поля, урчат трактора, работают люди — идет весенний сев. Грузно переваливаясь на ухабах, автобус въезжает в Саметь. Мелькает арка колхоза. Побежали потемневшие, покосившиеся от времени избы, облупленная краска на бревнах. Старухи выглядывают из-за занавесок. Вот она — главная улица Самети. Автобус останавливается у церкви. Выходят пассажиры. Среди них — корреспондент костромского радио. На плече у него висит «Репортер».

У правления колхоза, там, где стоит памятник Малининой, корреспондент попадает на пионерский сбор. Дети в красных галстуках выстроены в линейку, и председатель совета отряда звонким голосом командует:

— Отряд! На Героя равняйся! Смирно!

И четким, чеканным шагом приближается к памятнику. У постамента, справа и слева, стоят часовыми два пионера. Командир, вскинув руку в пионерском приветствии, — часовым или самому памятнику? — докладывает:

— Отряд имени Прасковьи Андреевны Ма-

И только на второй написано: «Председатель колхоза». Акценты расставлены.

И дальше — фотографии коров, доярок, быков, пастухов...

Титр: «Хорошее дело — коровки».

Хроника 1974 года.

Малинина с гостями идет по новому животноводческому комплексу.

— А вот уже в пятьдесят первом году от меня не отступились... На четыреста коров сделали комплекс, скотные дворы хорошие, и остальные дворы тоже неплохие, механизировано все, даже прием молока, все механизировано... И что же вы думаете? У нас шестнадцать Героев Социалистического Труда и более трехсот человек награждены орденами и медалями.

Включим сюда диалог из интервью, взятого еще при жизни Малининой.

— Ведь колхоз-то небольшой сравнительно, а сколько Героев!

И Малинина вторит:

— Да, столько Героев!..

Титр: «316 награжденных на 550 га пашин — самые высокие показатели по Союзу».

В правлении колхоза «12-й Октябрь» создан музей трудовой славы колхоза. Здесь, за витринным стеклом, висит на вешалке голубое кримпленовое платье Малининой. В дни юбилеев с платьем происходят удивительные вещи. Приезжают из Костромы работники Ипатьевского монастыря и украшают платье орденами и медалями. Так, как на фотографии, прижизненно.

У стенда Героев — Александр Головкин, инженер по технике безопасности, и корреспондент. Головкин рассказывает:

— В Самети каждый знает, как они стали героями. Просто доярки договоривались между собой, приписывали надои на одну. И та получала Звезду. А на следующий год — другая. Так родился колхоз-маяк.

— Так это был сговор?

— Обман государства. Преступная мафия. Теперь уже можно об этом сказать, они умерли. В живых только двое. Но и эти молчат, как мертвые.

Каждый год в июне открываются двери коровников, и весь скот — 1200 голов — сгоняется на летние пастбища, на острова. Мыча и ревя, движется по плотной монолитной массой по полям, по главной улице Самети, мимо правления, бюста Малининой к волжскому берегу.

Наблюдать это зрелище лучше всего с колокольни. Библейский сюжет. Отсюда видна и Саметь, и пашина в 550 га вокруг, и острова с заливными лугами.

Стадо движется к ним, объедая траву, вет-

ви, листья, подбирая обрывки газет, выпивая лужи... Здесь мы воочию видим, как велико и несуразно это стадо для маленького пятачка земли под названием Саметь.

Звучит запись песни в исполнении Малининой:

За лугами заливными,
За рекой за Костромой,
Здесь село мое родное,
Здесь колхоз родимый мой.
Я и в радости и в горе
Вместе с ним была всегда.
Свои руки на работе
Не щадила никогда...

Первыми вступают в воду кони, а за ними — все стадо.

— У вас очень мало земли, — говорит корреспондент, стоя на колокольне рядом с Головкиным. — Как же она кормила такое стадо?

Они наблюдают за переправой.

— Бардой с пивзавода Костромы, — отвечает Головкин. — Битым печеньем из магазина, хлебом из саметской пекарни. Пекарня была вон там... Ездил к Медунову в Краснодарский край за комбикормами. В Москву, в Минсельхоз. Она же Герой, депутат. Везде у нее друзья.

Песня неожиданно прерывается.

— Да что вы! — Малинина как бы перебивает Головкина. — Вот если, когда не привезли кормов, доярка берет косу, два мешка — тут рядом у нас канава и небольшой такой участок травы, — пойдет, и накосит, и коров своих накормит...

Головкин молча показывает рукой на этот участок травы.

А голос Малининой, закончив реплику, поет теперь припев:

Косить — сама,
Доить — сама,
И петь — сама,
И плясать — сама...

— Вся беда в том, что эта огромная ферма приносила колхозу убытки, — рассказывает Никулин. Он был председателем после смерти Малининой.

Владимир Дмитриевич, его жена Людмила Ивановна и корреспондент сидят за столом в квартире Никулиных в Костроме.

— Об этом она сама писала в книге, — продолжает Людмила Ивановна и раскрывает книгу Малининой «Волжские ветры». — Узнала я как-то в Москве от одного из знакомых председателей, что некоторые хозяйства получают от разведения лисиц хорошую прибыль...

Звероферма колхоза «12-й Октябрь». Длинные ряды проволочных сеток, в каж-

дой — по два пса. Обычно они просто мечутся по клеткам, но преобразуются, когда начинается кормление. Стоит зверькам увидеть в руках работниц ведра с кормом, как на ферме начинается истошный вой.

— Не оправдывает себя животноводство, — звучит голос Малининой, — и прибыли с него нечего ждать. Мясо, молоко сдашь, а денег — кот заплакал. В колхозе у себя пушницей занялись. Эти самые зверьки и содержат крупный рогатый скот, раз этот скот, как ни крутись, ни черта не дает колхозу...

И снова мы в квартире Никулиных.

— И тем не менее, — говорит Владимир Дмитриевич. — Малинина продолжала наращивать поголовье скота. Она зарабатывала себе на этом политический капитал. Так появлялся колхоз-маяк.

— Или другой пример, — рассказывает о строительстве чудо-колхоза Михаил Михайлович Бирюлин, который работал при Малининой главным экономистом. Сейчас он директор совхоза «Волжский». — Вот какой-то там товарищ на заседании бюро обкома сказал: теплицы. И она уже готова. И она уже строит, не заботясь о том, что природного топлива нет. Она возводит гектар теплиц с подогревом от электричества.

Бирюлин с корреспондентом осматривают заброшенные теплицы, трогают остывшие котлы.

— Эти котлы потребляли двенадцать миллионов киловатт-часов электроэнергии, то есть почти как весь Костромской район...

Деревянные переплеты стеклянных крыш, стекла выбиты, завывает ветер.

Оборванные провода, запыленные лампы под потолком, под ногами похрустывает битое стекло.

— Лампы светили всю долгую зиму, и к январю поспедали уже первые огурцы. Они обходились хозяйству по пятьдесят — сто рублей за килограмм. Я говорил ей: Прасковья Андреевна, это нерентабельно. Мы разорим колхоз...

Бирюлин включает ржавый рубильник — а вдруг будет чудо, вдруг опять вспыхнет свет?

И из темных глубин заброшенных теплиц звучит голос Малининой:

— Наш Советский Союз настолько богатый, что не передался. Ни одной страны нет такой богатой. Я уже много везде побывала и скажу, что лучше Советского Союза нигде не найдешь. Что простой, что самоотверженный, что трудовой, что любит работу и всякие такие выполнения, всё выполняет и делает.

Где-то искрит, и Бирюлин поспешно выключает рубильник.

— Всё выполняла и делала в этих теплиц

цах Непряхина. Пик рентабельности, рассчитанный Непряхиной, падал не на январь, а на май. Вот тогда их и пробовали костромичи.

— И все же теплицы — хорошее дело, — рассказывает Лидия Александровна Непряхина. Она, ее муж Илья Семенович Сергеев и корреспондент сидят за столом в избе. — Вот мы на хозрасчете были в теплицах. Я сильно доход давала. Знаете, все по два плана. А вот ушла — и убыток стал пятьдесят тысяч. И за огонь вычитают сто тысяч. Вот вам и все теплицы... Прасковья Андреевна все внедряла новое, передовое. Но все-таки у нее грамотности было маловато. Ей наверху говорят: Прасковья Андреевна, у вас уже возраст преклонный, после себя надо память оставить, выстройте целый поселочек. Пришлось ей взять три миллиона денег у государства. Полтора миллиона затратили на эти коттеджи. И построили — на болоте!

Двадцать двухэтажных коттеджей вытянулись вдоль новой дороги, по которой любила ездить Малинина журналистов и киношников. Проедем по ней и мы. Весело выкрашены коттеджи в голубой и желтый цвета. Обнесены штакетником палисадники. Некоторые из домиков одеты кирпичом.

— Простой крестьянин, неопытный, он никогда бы тут не поставил дом. А ведь ее нацелили на это, нацелили!

У первого дома сидит на крыльце наш знакомый Головкин.

— Строили этот поселок пять лет. Было несколько подрядных организаций. Практически контроля над ними никакого не было. Много материала уходило на сторону. Каждый коттедж стоит семьдесят пять тысяч, а построен он из фанерных щитов. Стали снаружи обкладывать кирпичом.

...Непряхина сидит у окна своего бревенчатого дома.

— Я живу-радуюсь, у меня простой крестьянский дом, а он — с высшим образованием, инженер, — мается! Двенадцать тонн сжигает каменного угля! Грязь-то какая! И весь дом ходуном ходит от ветра. Теперь, через десять годов, вся эта Берендеевка и развалится...

...А корреспондент с Головкиным заглядывают в подвал коттеджа.

— Однажды я вынес отсюда тысячу ведер. А вода все прибывала и прибывала. И осталась на том же уровне. Осушать не подвал надо было, а это болото...

...Из других домов Берендеевки выходят возмущенные жители. Каждый кричит о своем, негодует:

— Гниль и сырость под полом!

— Дети болеют!

— Да в них невозможно жить!

— За семьдесят тысяч раньше неграмотный выстроил бы целый хором!

— Вот и вопрос: кто эти деньги украл?

— Где полтора миллиона?

...Опять дом Непряхиной.

— Так когда ее строили, — говорит она, — нас, колхозников, и не спрашивали. Заткнули рот: «Хорошо, хорошо. Вы мало знаете. Вы подпишите». И приказывали принять хорошо. Широков-то и сейчас жив. Подписей-то целых шестнадцать, а на отдельном листке недоделки, их просто оторви да брось. Наверняка сейчас в делах нет. Как она умерла, так и следы затерялись...

И встает интересный вопрос: а любили ли колхозе Малинину? Нет, не любили. Скорее, прощали. Почему? Объяснение только одно: тайный сговор.

Исподволь, задушевно можно начать об этом рассказ.

Вот переплыли коровки на острова, падутся, а пастухи разожгли ближе к ночи костер, сели кружком.

Звучит любимая песня Малининой:

Я о прошлом теперь не мечтаю.
И мне прошлого больше не жаль...
Только много и много напомним
Эта темно-вишневая шаль...

— Я еще маленькая девчонка была, плела корзины и все время пела. Мне мать с отцом говорили: какая-нибудь ты будешь у нас горемычная, раз все время с песней. А я вот люблю петь. Я с молодости начала участвовать в художественной самодеятельности.

— Вот мы были в Макарьево, — вспоминает один из сапетских, сидя у костра. — Наш колхоз и артисты театра Островского. Они так по стенкам встали, а Прасковья Андреевна вышла на сцену. Я гляжу — полный клуб. «Прасковья Андреевна, расскажите какое-нибудь стихотворение». Она и стала «Лиса и бобер» рассказывать. Да так хорошо. Все тихо-тихо, даже на стульях стоят. И артисты все: надо же! На самом деле у ней есть способности артистки. Если б была молодая, ей бы учиться. В Большом бы театре пела! Хорошо было с ней выступать и ездить...

Выступает сапетский хор. Уже старые бабки в кокошниках покачиваются в такт музыке. Что поют? Так ли это важно? «Широка страна моя родная»? Или — «всё вокруг колхозное, все вокруг мое»? Все ложится на этот хор: любые слова, любая песня.

И первая среди них — Малинина.

Владимир Дмитриевич Никулин, бывший председатель колхоза, вспоминает о хоре:

— Хор этот, можно сказать, и существовал ради того, чтоб Малинина могла выйти на сцену и петь соло. Сколько раз звонила она

мне из другого города: прислать сюда хор. Сенных девок! Их снимали с работ, им давали автобус, платили по пять рублей суточных, и они ехали петь.

А когда хор состарился вместе с Малининой, брали девчушек из музыкального училища вместе с их руководителем, разбавляли кое-какими колхозниками, и сапетский русский народный хор готов!.. Там была бабка глухая вообще, и лет ей было столько, что сказать страшно, у нее не просто музыкального, а вообще никакого слуха не было по старости. Все уже давно не поют, а бабка все еще рот разевает.

— Нет, я не пела, — говорит корреспонденту Александра Максимовна Лищенко, — я быда на этой ферме главным зоотехником. Ферма была племенная, не то, что сейчас. Скот хорошо был подобран по семействам, по линиям. А сейчас — разве это порода? Все выродилось...

Они идут по коровнику вдоль кормушек.

— Раньше за каждой дояркой было записано десять коров. И вставали в четыре утра, чтоб доить. И выполняли по мясу шесть планов...

Это одна из последних героинь малининской гвардии.

И снова мы в доме Непряхиной, только сейчас рассказывает Илья Семенович Сергеев, муж Лидии Александровны:

— Вот как это делалось. Были бедные колхозы. Им нужны были деньги. Наш колхоз у них скот скупал, а я как раз его возил.

— У него самоходка была, — поясняет жена.

— А потом и у частников мы покупали. Малинина этих буренок откормит немножко, месяца два или три, и как от колхоза сдает. А с бедных колхозов не требуют — нет у них госпоставок, понятно?

— Да шесть планов мыслимо ли выполнить мяса?

— Народ-то все видел конечно, смеялся, но больше молчал.

— Так нам плох, что ли? Пускай ей Звезда. Мы покроем ее, она нас...

— Или возьмите гараж, — продолжает рассказ Головкин, сидя с Осетровым в белой «Волге». — Я работал шофером Малининой. При ней мы не знали, что значит разбирать двигатель. Потекло масло, его просто снимали и ставили новый. А старый двигатель валялся в гараже, потом уходил куда-то. То, что шло на область, она забирала себе... И очень любила ездить.

Белая «Волга» выезжает из Самети. Несется по дороге к Костроме, подобно чудному видению, и провожают ее глазами люди, работающие на полях, ненадолго подняв голову от своего тяжелого труда.

Голос Малининой:

— Я приняла колхоз, села в машину и уехала в Чехословакию. Побывала за границей, во многих странах: в Венгрии, Польше, Германии, Китае, Болгарии, Франции...

Вот она едет на бронетранспортере, приветствуя участников конно-спортивного праздника в области.

Прихорашиваясь перед выступлением, сидит Малинина в кресле косметолога в салоне «Чародейка» на проспекте Калинина.

Всемирная встреча девушек, 1975 год. И она там. Имеет слово к девушкам всего мира.

— Земля — это, конечно, наша кормилица. Землю надо любить так, как любишь своего друга жизни, — вещает она с трибуны.

В зале внимательно слушают.

— Когда пашешь, и, если пашня хорошо удобрена, ведь она просто рассыпчатая делается и говорит: «Спасибо вам! Я хорошо съта! Я вам отдам многое!»

Кончилось выступление, и в кулуарах Малинину окружает молодежь. Она щедро раздает автографы.

Париж. Эйфелева башня. Елисейские поля.

— Во Франции я выступала перед учеными, занимающимися вопросами сельского хозяйства.

Французская Академия на старинной гравюре. Сидят бессмертные.

Голос Малининой:

— Так что землю мы должны любить. Любить так же, как свое родное дитё. Мы должны ее лелеять, потому что мы из земли всё берем, что мы с вами ни кушаем...

Слушают с портретов Дени Дидро, Даламбер, Анатолий Франс.

— ...все взято из земли. Что мы с вами ни носим, все взято из земли.

Слушая речи Малининой, окаменел в мраморе Вольтер, вцепившись побелевшими пальцами в подлокотники кресла.

— Она нам, матушка-земля, все даст...

На картине А. Дюрера «Святой Иероним с черепом» изображен святой. Возведя очи к небу, он стучит пальцем по черепу...

А Малинина уже снова в Союзе, на родине. Здесь ее любят, здесь ее ценят.

Вот она на фото с Брежневым и Косыгиным, с Щелоковым и Медуновым... Среди актеров МХАТа...

Комментирует Головкин:

— Она была делегатом Двадцать второго, Двадцать третьего съездов, а на Двадцать четвертый ее не пригласили. И тогда на бе-

лой «Волге» я везу ее в Москву. Заходит в ЦК по своим старым связям, ей выписывают мандат. И сидит если не в президиуме, то в первых рядах. А на Двадцать пятый ее уже пригласили. Села в президиум. Она уже привыкла, она не могла жить без славы.

Кулуары съезда. Малинина дает автографы. Фотографируется на память. Заводит нужные знакомства. И рассказывает:

— Но все же вот председателем колхоза — тяжелая работа. Это, безусловно, все знают, что надо рано вставать, поздно лечь, всё проверить, всё знать, да и финансы надо крепить, чтобы они держались... У нас инженер есть, товарищ Никулин, который прекрасно руководит, который всю работу знает и разбирается, мы только им помощь практически передаем...

Никулин в своей квартире в Костроме.

— Да, я работал тогда председателем, а она — почетным председателем, то есть на пенсии. Но получала зарплату, имела машину и колхозную печать — символ власти. И мне приходилось вставать в два часа ночи и ехать в Москву на какой-нибудь форум, чтобы поставить печать на колхозном документе. За печать она держалась, как за жизнь. Оглянется на подруг и скажет: «Вот видите, жить без меня не могут».

В кулуарах какого-то форума Малинина пляшет краковяк. Руки в боки, веселится вместе с молодежью. И откуда у женщины в возрасте столько энергии? А вот поди ты!

Вот бежит по дороге в Саметь ее белая «Волга». Свернула в поле, к колхозникам. Остановилась. Зачем?

— Вот мы иногда приходим на поле, — слышится голос Малининой. — Вот колхозники: то-то, то-то, то-то и то-то. Вот это так, а это не так. Это все выслушаешь, потом выводишь выводы: что же им сказать? Надо знать все их характеры. Вот и говоришь: так и так. А это — так. А это — так. И, конечно, колхозники это понимают.

Вокруг машины собрались мужики, отдыхают.

И шофер Малининой вспоминает:

— Или вот случай. Приходит вагон кормов. Срочно надо разгрузить, а то штраф. Все — грузчики, шофера — работают до пяти, а потом всё, шаша. Она их уговаривает, а у них свои условия: по четвертинке на брата. Привозит она им водки, и до утра работают, пока не разгрузят.

Белая «Волга» стоит у дома-музея Малининой.

В избе все так, как было при ее жизни. Бюсты, картины, фотографии из «Огонька», наклеенные на стены, вышитые полотенца с ее именем, хрустальные вазы с ее изображением — подарки, подарки...

Но нас интересует здесь другое: сундук, старинный сундук, пыльный, кованный, полный писем. Открываем крышку... Спрыгнул кот, потянулся, выгнув спину.

— За эти двадцать четыре года я получила жалоб и заявлений двадцать две тысячи восемьсот. Это только зарегистрированных. А сколько советов давала — не перечеть. Народ шел ко мне и с нашей Костромской области, и из других областей, и с Украины, и с Москвы, и с Ленинграда. И вот в тюрьме, как освободят по нашему ходатайству, так обязательно пишут уже отовсюду...

Из сундука, из вороха пожелтевших писем выбираем одно письмо, другое, разворачиваем.

Слышны голоса:

— Слава о вас гремит по всем тюрьмам...

— Я осужден ни за что, помогите...

— Если меня отпустят, я обещаю начать другую жизнь...

Сундук захлопывается, голоса умолкают. Шипит кот.

Волшебный сундук Пандоры, источник несчастий, великих бед...

Белая «Волга» срывается с места...

...И останавливается у здания Костромского районного суда.

Кабинет Позина, председателя районного суда. Анатолий Львович рассказывает:

— Что такое Саметь на моем веку? Агрогород, маяк? Это для вас, киношников. А я его знаю с другой стороны. Преступное место, несчастное село. Девяносто процентов из них сидело. Я считаю: из-за нее. При мне одного осудили и тащат в машину, а он орет: — Андреевна, выручай!

Из здания суда слышится голос Малининой:

— Правильно, трудовую дисциплину надо, как говорится, держать в ежовых рукавицах, надо не спускать ни с одного. Но если человек попал в беду, надо не только его загнать, а надо всем включиться, чтобы он стал настоящим человеком.

— И добивалась того, что преступника отпускали,— продолжает Позин.— Сойдет воровство, поголовное пьянство, замнут убийство. Все можно. Андреевна выручит. Она — их, они — ее. Потом отработают.

Вот так она развращала их.

Это хорошо видно осенью, когда Саметь включается в битву за урожай. Празднично в это время в селе, шумно. Играет музыка, полощутся флаги, трепещут транспаранты. К правлению колхоза подъезжают военные

машины. На брезенте кузовов надпись: «Люди». По трансляции, повсюду в селе, слышен голос Малининой:

— Вот я нашей молодежи все время говорю: куда вы стремитесь? На фабрику? Конечно, хорошо, надо и там работать! Но! Восемь часов или семь часов не отходя от станка — это очень тяжелая работа. И без воздуха.

Из военных машин, стоящих перед правлением, выпрыгивают солдаты, разминаются. Пока офицеры договариваются в правлении, голос Малининой продолжает вещать:

— А здесь мы на чистом воздухе, кислороду много, иногда не выспишься, встанешь...

По саметской улице, качаясь, идет пьяный мужик.

— ...голова болит, как вышел, разка три вздохнул — ну что ты! Поправился совсем! Ты сразу влил в себя жизни! Той, которая нужна!

Где-то за банькой в уголке разливают на троих.

Машина с солдатами уезжает.

— Нас когда и ветерком обдует, когда и дождичком sprysнет, когда и что...

На памятник садится воробей и тут же, вспорхнув, улетает.

— ...и все хорошо и весело.

В праздник включаются и колокола саметской церкви.

Старушки, божьи одуванчики, входят в храм. И слышен голос отца Ардалиона, его проповедь, его агитация хоть чуть-чуть поработать, помочь собрать урожай. Так бывает здесь каждую осень.

И старушки, согбенные бабушки, тянутся в поле.

А Малинина продолжает свое:

— Я думаю, нынешний год включился во всю работу, хорошее настроение, ну, сейчас работает все молодежь, им, конечно, легче работать.

Старухи копаются в поле. Это единственная полеводческая бригада колхоза. Семнадцать старушек, которым за семьдесят. И всё!

Дети из саметской школы возятся с морковью, выдергивают ее, а Малинина их одобряет, голос ее летит над осенними полями родного Нечерноземья:

— Сегодня сельскому хозяйству нужны не просто рабочие руки, а специалисты высокой квалификации, владеющие современной техникой, подлинным мастером своего дела.

Дети копают морковку совочками, тяпками, увозят ее на тачках.

— Мы глубоко убеждены, что очень скоро ваши руки, эти молодые руки, народ назовет золотыми руками.

Ну, а там, где включились в работу воины, там настоящая битва за урожай. Солдаты подбирают мелкую картошку, идя вслед за

картофелекопалкой. У Малининой и для них находится теплое слово:

— Теперь уже сильные машины сильно идут по нашим полям. У нас уже уборочные комбайны по картофелю, по зерну. Тот тяжелый труд, который был, отошел очень далеко.

Общий план полей, люди, как черные точки, копошащиеся в земле, и далеко в чистых холодных полях разносится голос Малининой:

— Но еще раз хочется поблагодарить нашу партию, наше родное правительство за такую заботу о тружениках села...

Идет дождь, и на раскисшей сапетской дороге кишат дождевые черви, вылезшие из земли.

Интервью корреспондента со следователем костромского отдела внутренних дел Аркадием Всеволодовичем Романовым.

— Не прошло и полгода после смерти Малининой, как в колхозе «12-й Октябрь» началось уголовное дело номер сорок шесть ноль шесть по групповому хищению социалистической собственности.

Корреспондент и Романов стоят под шифром весовой колхоза.

— Вот отсюда во время уборочной на виду у всех бригадир полеводов Грибанова увезла машину колхозного картофеля в шунгинский заготпункт и сдала его там как от частников. Деньги присвоила себе...

— Издавна это село считалось неблагополучным, — говорит Бирюлин, бывший колхозный экономист. — Всегда у сапетских было желание что-то украсть, из колхоза стащить, и это никто не осуждал. Полмашины картошки или луку спер? Молодец! Так им и надо. Кому им? Колхозу? Но ты ведь и сам колхозник!

Фотографии дореволюционной Самети. Вот она, церковь, такая же, как и сейчас. А вот дома, они лучше, добротнее, чем у колхозников.

Снимки сапетских кооператоров. Первые годы Советской власти. Кооператоры сидят в добротных костюмах, при галстуках, в белоснежных сорочках. У кого сейчас в Самети увидите вы белоснежную сорочку? И лица какие — благородные, полные собственного достоинства, с расчесанными и ухоженными бородами. Но послушаем Бирюлина:

— До революции в Самети жили неплохо. Занимались торговлей. Спускали картошку на баржах в Саратов, в Астрахань. Крепкие были хозяйства, зажиточные. Вот и сравните — как жили тогда и как сейчас... Колхозы ограбили нас? А мы будем грабить колхозы. Вот как они говорят.

...— При Малининой, — рассказывает Го-

ловкин, копая у себя в огороде картошку, — торговали колхозной картошкой на рынке в Воркуте, в Иванове. Та же Грибанова возила. И многие другие. И не боялись. Знали: если попадутся, Малинина выручит.

...— А Никулин проводил политику жесткую, — продолжает Бирюлин. — И никогда не защищал воровство. Попался — значит, попался. Поэтому его не любили и побаивались. Никулин ведь защищал колхоз, а не сапетских, как Малинина.

...— Никулин собрал общее собрание: осудить Грибанову за кражу картофеля, — вспоминает Непряхина, сидя в зале пустого и темного сапетского клуба вместе с корреспондентом.

Вдруг на сцене ярко вспыхивает свет, виден стол правления, покрытый красной скатертью, графин, трибуна. Сапетский клуб наполняется гулом.

— А специалисты все, им работать неохота, они обозлились на него, понимаете? Очень Никулин требовательный в работе. Сам с четырех утра начинал и других заставлял. Узнали, что собрание будет завтра, провели между собой такую подготовительную работу: давайте, мол, все друг за дружку выступать, он не соответствует и своему назначению. А у Владимира Дмитриевича характер вспыльчивый: раз я не соответствую, ухожу из колхоза.

— Выходит, что повернули все против Никулина, — перебивает Непряхину корреспондент. — А как же с Грибановой?

— Грибанова при всем собрании, а собрание было большое, сказала: правильно, я возила картофель и получала деньги, а подписи оформляла фальшивые, всех родных набрала там, у кого десять мешков, у кого пятнадцать, и сама за них расписывалась. Агроном Васин так и кричал на собрании: воровка, воровка! Судить тебя надо! Судить!

Темная ночь над Саметью, лают собаки по дворам, шелестят деревья, раскачивается от ветра лампа над площадью перед правлением. Маленькая фигурка крадется в темноте к памятнику Малининой. Остановилась.

— Прасковья! — шелестит в ночи тихий голос. — Что делать? Ведь засудят. Андреевна, выручай!

Качается лампа, качается тень от памятника.

— Один человек ничего не сделает, — крепнет голос Малининой. — Но если он мобилизует свой коллектив, все будет выполнено. Все должны друг дружке помогать, вот так руки скрепить и идти в одну ногу вперед и ни шагу назад!

И маленькая фигурка, получив совет, бежит от памятника в темноту ночи.

Комментирует Романов у себя в кабинете: — Спустя две недели после собрания Грибанова явилась к нам с повинной. Она призналась, что воровала картошку не только в этом году, но и в прошлом и в позапрошлом, и не только картошку, но и шкурки песцов. Но все это по указке Никулина, бывшего председателя. Показания Грибановой подтвердили и другие жители Самети.

...— Я ни в коей мере не верю, чтобы Никулин мог воровать,— отрицает Бирюлин.— Судите сами: он получал много, имел кооперативную квартиру, собственные «Жигули». Жена его зарабатывала тоже очень много. В конце года обязательно премии. Ну зачем ему воровать? Я говорил это и следствию, и на суде. За это меня вызывали в райком, влепили выговор. Через год, правда, сняли.

— Выходит, не только специалисты, колхозники, но и партийные органы были настроены против Никулина? — задает корреспондент риторический вопрос, на который, конечно, не получает ответа.

...Ответ мы находим в рассказе Головкина. Он беседует с корреспондентом в своем карточном домике Берендеевки.

— К власти Прасковья Андреевна очень хорошо приспособилась. При Хрущеве она здесь даже кукурузу выращивала. И неплохую.

— Здесь? На севере? Кукурузу? Как можно? — восклицает корреспондент.

— На бумаге. Ну, а на поле она у нас выростала на силос. Первую Звезду она получила при Сталине, в сорок девятом году. При Хрущеве начала добиваться второй. Как? Хорошо поняла методику — на бумаге. При Брежневэ эта методика сработала. А колхоз задолжал государству два миллиона семьсот тысяч рублей. На кого-то их надо было свалить.

...Бирюлин:

— Малинина умерла, оставив колхозу огромный долг. За поселок, за комплекс, теплицы, приписки. Никулин частично его погасил. На счету у колхоза, когда он ушел, был миллион семьсот восемьдесят тысяч чистой прибыли.

Но долг все равно оставался.

...— А вот вылили всю грязь на Никулина,— горько вздыхает Непряхина. Корреспондент снова у нее в избе.— Что он виноват, что с его разрешения... Ой! Не верю я, близко ведь... Меня прокурор вызывал и следователь, а я никак не верю. Как же я, говорю, поверю, что он... если на собрании призналась Грибанова... И Васин кричал... Я думала, что он так же поведет себя на суде, а он совсем по-другому повернул.

...Романов:

— Следствие велось около года и составило пять томов уголовного дела номер сорок шесть ноль шесть. К дознанию были привле-

чены почти все жители Самети. Было установлено, что за последние годы в колхозе имели место приписки с надоями молока, нарушены карты полей, занижены урожаи сельхозкультур, выявлены махинации с водкой и сахаром, командировки и подарки за счет колхоза и многое, многое другое... Суд признал главным виновником преступлений Никулина. Это при его непосредственном руководстве шайка расхитителей...

Корреспондент у Никулина.

— Я восхищаюсь вами. За полгода вы сделали столько, чего не могла Малинина за свои тридцать лет руководства.

Вспоминает Людмила Ивановна:

— Без шкурок песцов Прасковья Андреевна в командировки и не ездила. Вспомните теплицы, которые ей помогал строить министр энергетики Непорожний. За что? За шкурки, которые она ему возила в подарок. «Сухая ложка рот дерет»,— всегда поучала она. Медуну возила, когда ездила в Краснодарский край за кормами, в Москву — в Минсельхоз к Петровой, к Пентюховой, которая писала ей книжку «Волжские ветры». Подношения шли и местной власти, которая ее защищала и берегла.

Председатель костромского районного суда Позин Анатолий Львович:

— До самого последнего времени никто не знал, сколько в Самети земли. Малинина всячески противилась всем промерам.

...Непряхина:

— Ей вечера делались какие! Тысячные! Все начальство присутствовало. И у Прасковьи Андреевны собирались. На чьи это деньги? На колхозные!

...Никулин:

— Генералом на свадьбе был, конечно, Баландин, первый секретарь обкома. Остальные гости подбирались в избу в соответствии с его указаниями. Главврач больницы, прокурор города, завскладом в Костроме. Стол ломился от яств. Икра красная и черная, огурцы и помидоры из теплиц, рыбка из склада, коньячок из магазина за счет сахара для зерофермы... Под утро по указке Малининой мне приходилось их развозить. Я знал дни рождения всех руководителей Костромы. Наверно, слишком много знал... Однажды Шкалевич, шофер Малининой после Головкина, признался кому-то в Самети, что Малинина уговаривала его наехать «Волгой» на меня, ничего, мол, ему за это не будет, она его выручит. Пополз слух по Самети, дошел до меня. Я тогда прямо спросил Малинину: «Прасковья Андреевна, вы что, задавить меня хотите?» «Господь с тобой, Владимир Дмитриевич, как такое тебе в голову могло прийти?»

Но через некоторое время этот шофер Шкалевич вдруг собрался и уехал из колхоза. Так я понял, что это была правда. Она стала бояться меня как возможной себе замены...

У памятника Малининой корреспондент берет интервью у нынешнего главного агронома колхоза Николая Григорьевича Шустика.

— Был здесь Никулин, это он ее преждевременно в могилу свел. А потом сам сел в тюрьму. Девяносто процентов саметских сидело. Здесь была махвия организована. Махвия. А органы ее разоблачили. Половина этой банды выкрутилась, а Никулину был предъявлен иск в шестьдесят тысяч. Если бы он не сел, он стал бы председателем райисполкома. Она всех их наверх толкала. Первого секретаря райкома Назарова она тоже наверх из колхоза толкнула.

— Откуда вы все это знаете?

— Я сам с Украины, здесь недавно работаю, и ни Малинину, ни Никулина лично не знал. Но люди говорят...

И агроном уходит.

Корреспондент поднимает глаза на памятник:

— Неужели, Прасковья Андреевна, все это правда?

— Да это же все в наших руках, — подтверждает памятник.

— И только на пользу все? — нарочито наивно удивляется корреспондент.

— И только на пользу будут делать, — соглашается памятник.

Чудо не в том, что живой человек беседует с памятником, а совершенно в другом: что диалог этот был записан на пленку задолго до дела Никулина.

Отец Ардалион:

— Самое страшное наследство, которое оставила после себя Малинина — это искалеченная нравственность жителей Самети. А нравственность — это иммунитет народа. Когда он сломлен, люди болеют, народ вырождается, как бы ест сам себя...

Корреспондент у Никулина.

— Сколько вам дали?

— Шесть лет. Три отсидел и вышел по амнистии.

— А Грибанова?

— Оговорив меня, отделалась легким испугом. Ее осудили условно.

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел

И взоры дикие навел
На лик державца полумира.

Именно эти стихи приходят на ум корреспонденту, когда под вечер он перед памятником садится на тумбу изгороди, закуривает сигарету.

Стеснилась грудь его. Чело
К решетке холодной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробегал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебел!..»

Светя фарами, подходит автобус Саметь — Кострома, и корреспондент, соскочив с тумбы, бросив сигарету, голосует. Автобус, притормозив, открывает дверцы, и корреспондент, оглянувшись на памятник, заскакивает в салон.

...И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...

Автобус уходил по саметской улице. Было пустынно на ней.

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.

Корреспондент в салоне автобуса оглядывается и видит, что вслед за ним едет белая «Волга». Вот они уже выехали из Самети, дорога идет меж пустынных полей, освещенных полной луной, а «Волга» не отстает.

И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне...

Корреспондент давно уже вышел из автобуса, идет по вечерним улицам Костромы, но боже мой! сколько здесь белых «Волг»! Они поджидают его на перекрестках, они скрипят тормозами, они проносятся мимо, и кажется, они будут преследовать его теперь до конца дней.

И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

Есть в Самети маленькое кладбище, куда справедливая смерть укладывает всех: простых и почетных, жертв и убийц, воров и праведников, лжесвидетелей — всех!

Корреспондент ходит по кладбищу и рассматривает кресты и памятники, надписи на них.

Вот памятники знатных доярок. С них все и началось. Слышен тихий голос корреспондента, его размышления:

— Тайна Самети, тайна ужасная. Ее знают все живущие в Самети и редко кто из посторонних. Это тайна этих людей, это горе этих людей, и, когда тыходишь туда, в эту тайну, ты можешь поплатиться жизнью или хотя бы свободой, как вот Никулин. Это то же самое, что тайна мафии. Это преступность, санкционированная государством.

Корреспондент останавливается перед могилой.

— Они уносят эту тайну в могилу. Малининых много в Самети. Здесь лежит другая Малинина — подруга Грибановой. Лжесвидетельница по делу Никулина...

Никулина Людмила Ивановна:

— Она умирала, Людмила Николаевна, лежала в онкологическом диспансере. Я просила ее перед смертью сознаться, что это неправда. Но она промолчала...

— И так умерла,— говорит про себя корреспондент, отходя от могилы.

И останавливается перед могилой сына Грибановой.

— Сын Грибановой погиб в Самети при загадочных обстоятельствах. Это нам только кажется, что вначале идет преступление, а потом кара. На этом пятачке земли бывает и наоборот. Грибанова выкрутилась, не села в тюрьму, все свалив на Никулина. Но зло не остается безнаказанным...

За церковной оградой идет по дороге мимо кладбища сумасшедшая Гавричева. Она тоже вызывает раздумья у корреспондента.

— В ходе следствия над Никулиным она сошла с ума. Это тоже расплата. Она часто теперь повторяет: «Я! я все украла! это я виновата! это меня надо судить!» Уголовное дело по отношению к ней прекращено в связи с болезнью.

Но почему же Никулин, все зная о Самети, не уехал отсюда?

Рассказывает Никулин, это его исповедь:

— Так деваться мне было некуда... Кончил институт, начал работать. Жил с женой и родителями в девяти метрах вчетвером. Узнал, что в Самети инженер ушел, есть вакансия. Там председатель — Герой Соцтруда, через год квартиру получишь... Начал

работать на ферме инженером. Малинина занималась тем, что внедряла новое. А расхлебывать приходилось мне. Поскольку там все выходило из строя, в коровниках я дневал и ночевал. Доярки в четыре утра на дойку идут, а я еще домой не уходи... Год прошел, два. Кто тогда был Никулин? Я и Малинину редко видел, потому что все на ферме дерьмо убирал. Раз увидел и говорю: пора позаботиться обо мне... Дают мне в колхозе две четверста — на первый взнос кооператива. Взял. И только взял — вызов к прокурору. Ваш знакомый Позин Анатолий Львович.

— А теперь сдай эти деньги в колхоз, и дело на этом закончим. Вся эта махинация незаконна. Вот так я впервые столкнулся с делами Малининой. А квартиру мне все-таки дали — в колхозе... Куда от нее уйдешь? Квартира нас держит сильней крепостного права...

Пруд в чистом поле, три березки рядом. Когда-то здесь была деревня. Чудом уцелел с тех пор пруд и эти березы.

Подъезжает «газик», останавливается, выходят из него люди, стоят у пруда, трогают березу.

И вот уже скатерть постелена на траве, разложили еду и поставили водку. Станочки подняли, чокнулись. Поминают.

Среди поминающих — Головкин.

— Отец родом из Новоселова. Километра полтора от Самети. Сейчас этой деревни нет. От сел остались одни названия полей: Митино, Сельцо, Давыдово, Новоселово... Три брата у отца. Один погиб в войну. Собираются они вместе, родственники приезжают. Едут в поле. Там остался пруд, остались березы. Возле пруда дом стоял. У них воспоминания там, а у меня уже здесь, в Самети...

Идет какое-то мерцание — от беззвучно движущихся людей, от березок, белой скатерти. Что это значит, мерцание? И есть эти люди или нет их? И когда это было, в каком сне? И почему так отстраненно говорит об этом Головкин, когда он сам среди них? И рассказывает он так, будто это давно уже прошло...

А потом он сидит у березы, прислонившись к стволу спиной, а корреспондент его слушает.

— Военная специальность у меня химик, я в химических войсках служил. Когда был в Чернобыле взрыв, мать лежала в больнице. Я пришел навестить. Сказал, что хочу поехать. Она говорит: ну кто-то должен идти... Ну ладно, я и сходу... Зачем я туда пошел? Начальник в военкомате тоже все спрашивал: что случилось? Скажи. С женой поссорился? С женой нормально.

По службе неприятности? Хочешь кому-то доказать? Да нет. А может, все-таки скажешь, что случилось? Понять все не мог, как на такое дело можно решиться... Когда в зону идешь впервые, начинает болеть горло. Кашель. Болезненный кашель. И больно глотать... Шла машина через лес, человек тридцать, и сломался мотор. В кузове солдаты. Постояли они какое-то время в этом лесу, от каждого дерева шло излучение, а у них при себе ни одного прибора. И вся машина в лечебку. Человек двадцать из них уже умерли... Да, мы ходили с дозиметром. Я был на самой станции. Допустимая суточная доза у нас была полтора рентгена. А общая — двадцать пять... Там тоже сказалась наша боязнь правды. Если солдат в зоне получает два рентгена, значит, начальника уже начинают ругать. Ругает вначале батальонный начальник, того — старшие... Поэтому лучше солдату поставить один рентген, чем два. Опять правда умалчивается. Система срабатывала и там.

— Как ты чувствуешь себя сейчас?

— Нормально. Как тогда. Кашель. Горло болит. Врачи говорят: иммунный механизм сломан.

— И все же, зачем ты пошел туда?

— Не знаю... Может, себя испытать? Не знаю... Я где-то читал — последствия Чернобыля сейчас еще определить для нашей земли невозможно. Ожидали, что будут изменения в последующих поколениях, а оказалось совсем иное. Когда были испытания на атолле Мороруа, крысы выжили. Почему? Другие ведь животные погибли. Оказалось — от эпидемии. Потеря иммунитета... И от Чернобыля тоже потеря иммунитета. Как от СПИДа. Я часто болею и долго не могу выздороветь.

— А страшно за себя?

— Нет, сейчас уже не страшно.

Вот и все Евангелие о Головкине.

Под конец своей жизни Непряхина стала бывать в церкви. Зайдет, постойт, послушает, как отвечают или крестят. Что это? Случайность? Или сама логика жизни толкает ее на это?

— Я-то вот прожила, нам и ходить-то в церковь было нельзя, я только под старость лет зайду там изредка, посмотрю. А пение-то! Хотя и знаю, что дребедень какую-то поют, а все равно интересно, как-то окультуривает... Я дожила, умру скоро. Вот надо бы музыку просить. Чтобы три паникадила зажгли, раньше все свечи были, а сейчас электрические лампочки. Красота! А служба-то как долго! Вот бы и воспевали меня, я бы умерла, воспевали бы да восхваляли меня, какая красота бы была. А то принесут,

зароют. Мать честная! Как же мы все упростили!

Непряхина стоит в дверях церкви. И продолжается внутренний монолог, ее очищение, ее покаяние:

— Вся беда от ее безграмотности и поддержки со стороны руководящих работников. Вот она и выстроила поселочек. На воде! В Саметь пошли такие средства от государства, а мы не можем до сих пор выпутаться. А может, так государству нужно? Мы на это с маленькой колокольни смотрим?

В церкви идет служба, поет хор.

— Или вот у нее работала сестра дояркой. Она заработала пять орденов Ленина. Ну мыслимо ли это? В орденах! На пятьсот гектаров столько орденов! Сейчас читаешь — у одного бригадира пашни больше-то. Нам стыдно хвастаться-то... А сына как она воспитала? Алкоголиком. Он в Ленинграде пил, а она ему сторублевочки каждый месяц высылала. Ее наградили машиной за пять тысяч, она еще не успела получить, а он уже звонит: когда приезжать получать?.. И в кино показывали, как он женился. Мы в глаза не видели, что за свадьба. Идет по улице свадьба: Малинина женит сына. Здесь нельзя было этот фильм показывать, так его за границей показывали!.. А дочка ее... в Костроме ткачиха, а надо было ее фотографировать на телевидении, так сразу ее поставили телятницей на недельку, и попала в кадр. Колхозная династия. И вот после всего этого здесь открывается музей Малининой. Золотая слава Малининой. Что же это делается? Что же ее так восхваляют? Совесть-то у людей есть?

И последние слова Непряхиной тонут в церковном пении...

Всему свой час и время всякому делу под небесами.

Время плакать и время смеяться.

Время молчать и время говорить.

Время убивать и время исцелять.

Время преступать и искупать содеянное.

Не покаявшись, умерла Малинина. Но Грибанова еще жива. Сошла с ума Гавричева и только тогда взяла всю вину на себя. Исповедался Никулин. Покаялась Непряхина.

Но спасение наше — не в покаянии, а в искуплении вины, которую ты принял на себя за других...

Закружились га ки над колокольней.

Панорама ввиз, от галок, креста, по колокольне, по церкви, до самой земли, до могилы Малининой.

Умерла 7 апреля 1983 года.

Стоит у своей избы и смотрит на нас. Жива. Мерцает в хронике.



**Валерий
ЧИКОВ**

НЕУЖЕЛИ ЛИСТОПАД?

В народе издавна бьтует поговорка: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Многие пытались опровергнуть народную мудрость. Иногда это заканчивалось «небом в клеточку», иногда и того хуже, а иные доживали до глубокой старости в почете и уважении. Кому как повезет.

Шабашники — особый народ. У них все по закону, или... почти все.

Шабашников было трое. Разбирали силосную башню. Двое работали наверху, один — внизу. Работа наверху требовала определенной сноровки, смелости и даже риска. Работа внизу — недюжинной силы и выносливости. Поэтому Игорь с Вадимом работали наверху, а Саня, вечный шабашник, любитель пива и бойких женщин, корячился внизу. Он в одиночку оттаскивал тяжеленные бетонные плиты и укладывал их в аккуратные штабеля — таково было условие договора с колхозом.

— Уже присмотрел в комиссионке вполне приличный инструмент,— объяснил Игорю Вадим, когда очередная плита пошла к земле.

— Мужики! — сложил ладони рупором Саня.— Как вы насчет пожрать?!

Игорь посмотрел на часы:

— Потерпи, Санек!

— Очень кушать хочется,— грустно ответил Саня и покорно принялся перетаскивать очередную плиту.

Ужинали у костра возле палатки. Над костром висел котелок с чаем. Говорить не хотелось — наломались за день. Силосная башня убыла на добрую половину и теперь на фоне вечернего неба напоминала полуразваленную сторожевую вышку древнего аула.

Издали послышался характерный треск, и вскоре к костру подъехал милицейский мотоцикл с коляской. Троица молча смотрела, как милиционер заглушил мотоцикл, перекрыл краник и подошел вплотную к костру.

— Участковый инспектор Шкварко! — откозырял он.

— Очень приятно,— ответил за всех Игорь.— Присаживайтесь. Чаю хотите?

— Попрошу предъявить документы,— потребовал Шкварко.

— А в чем, собственно, дело? — начал было Вадим, но Игорь жестом остановил его и полез в палатку.

— Быстро у вас подается,— кивнул в сторону силосной башни Шкварко.

— Ломать — не строить,— сказал Саня.

— Много сорвете?

— По штуке на рыло,— простодушно похвастал Саня, но лучше бы он этого не говорил. На лице участкового обозначились желваки, но внешне он постарался остаться спокойным и корректным.

Из палатки вылез Игорь и протянул участковому инспектору паспорта. Тот принялся

скрупулезно перелистывать «молоткастые, серпастые».

— А может, выпьете чаю, товарищ...

— Младший лейтенант, — подсказал Шкварко, поскольку на нем была плащ-накидка, и ни звезд на погонах, ни самих погон не было видно. — Когда закончите?

— Завтра к вечеру, — как можно любезнее ответил Игорь.

— Держите, — участковый вернул Игорю паспорта.

— Не там преступников ловите, — не удержался-таки Вадим.

Шкварко в упор пронзил его взглядом:

— За два дня «по штуке на рыло»?! Да будь моя воля, я бы вас...

— К стенке, — подсказал Вадим. Игорь делал ему отчаянные знаки, но Вадим не обращал внимания.

— Ваше основное место работы? — строго спросил Шкварко и принялся расстегивать полевую сумку.

— Извините, товарищ лейтенант, — начал было Игорь, но Шкварко жестко уточнил: «Младший лейтенант». — Извините, товарищ младший лейтенант, но если вас интересует юридическая сторона нашего договора с колхозом...

— Не мечи бисер, Игорек, — оборвал друга Вадим и повернулся к участковому инспектору: — Все мы работаем в разных местах. Саня — гегемон, рабочий сцены в облдрамтеатре, я — инженер с «Эвистора», Игорь руководит фотокружком на областной станции «Юного техника». Тоже, кстати, бывший инженер. Записали?

Шкварко сделал пометки в блокноте.

— А сейчас я прочту вам маленькую лекцию из области экономики, — продолжил Вадим. — У вас есть время?

— А может, проедем со мной в отделение, там и прочтете, — предложил Шкварко. Не нравился ему этот наглый тип.

— Лучше на свежем воздухе, легче усваивается, — постарался хоть как-то смягчить обстановку Игорь.

Сане это показалось забавным, и он очень некстати загоготал.

— Закрой варежку, — сказал ему Вадим. — Башня построена по канадскому проекту. Траву должна была измельчать специальная резка, но ее покупать не захотели — патент показался слишком дорогим. Сделали свою резку, отечественную. Но резка получилась не та, силос гнил, коровы отказывались кушать это дерьмо. Колхозы терпели убытки. Продолжать?

Шкварко молча застегнул сумку.

— Не самые глупые руководители хозяйств решили разобрать ставшие ненужными импортные башни и мостить ими улицы и фермы. Найти подрядчика — плевое дело, но подрядчик не церемонится: подгонит кран

и давай крушить. В итоге — до пятидесяти процентов боя. Мы же разбираем вручную и за те же деньги гарантируем не больше трех процентов боя. И не смотри на меня так, товарищ младший лейтенант. Тех, кто безбожно разбазарил народную валюту, я ненавижу куда больше, чем ты — нас.

Помолчали.

— Извините, товарищ младший лейтенант, но у нас еще два часа светлого времени. Работать надо, — с сожалением сказал Игорь.

Троица устало потянулась к силосной башне. Обернулись, когда сзади затарахтел мотоцикл. Шкварко сидел за рулем, умело маневрируя на колдобинах, и встречный ветер трепал разлетававшиеся в стороны полы плащ-накидки.

— Как этот самый... ну как его... с крыльями, — наморщился, силясь вспомнить, Саня.

— Самолет, — подсказал Игорь.

— Сам ты самолет. Ну этот самый... с крыльями?

— Орел.

— С крыльями, ну? — начал злиться Саня.

— Ну кто с крыльями? Жук? Комар? Кто еще с крыльями? — попытался помочь Вадим.

— Да нет, ну морда вот такая...

— Пегас, — догадался Игорь.

— Во! Он самый, — обрадовался Саня.

— Сравнил...

— В театре человек работает, что ты хочешь? — И они дружно взялись за лопаты.

Игорь быстренько нашинковал помидоры, ибо матч уже начался. Из комнаты в кухню долетал приглушенный рев стадиона.

— Что еще?

— Лук, — ответила Аля. Она начинала пиццу.

Игорь моментально очистил луковицу и сороченько нарезал тонкими кольцами.

— Я свободен?

— Свободен.

Он сбросил передник и кинулся из кухни. Успел как раз вовремя — арбитр устанавливал стенку. Трое киевлян стояли возле мяча — какая-то хитрая домашняя заготовка. Игорь плюхнулся в кресло. Васька лежал на тахте, затаив дыхание. У него было завязано горло. Рядом на стуле валялись термометр, таблетки, стоял стакан с полосканием.

Французы никак не хотели отходить на девять с половиной метров, но арбитр был неумолим. Наконец раздался свисток. Беланов пробежал мимо мяча, Рац легонько катнул мяч в сторону Блохина, и Олег пробил. Какой это был удар! Выверенный до миллиметра, в обход стенки, в дальний от вратаря угол. Вратарь все же попытался в невероятном прыжке дотянуться до мяча, но...

— Го-о!!!

Блохин подпрыгнул, потрясая в воздухе кулаками, на него тут же навалились свои.

Радостный клубок обнимался и целовался, стадион ревел. Игорь схватил поролоновую подушку и на радостях запустил в Ваську.

Васька радостно заверещал, схватил подушку и метнул обратно в отца. Игорь увернулся, а зря. Хрустальная ваза, стоявшая на журнальном столике, получила удар подушкой и грохнулась на пол. Отец с сыном замерли в немых позах. А стадион продолжал реветь, французы устанавливали мяч в центральном круге.

— Что случилось? — в комнату с перепачканными руками заглянула Аля.

— Наши гол забили, — ответил Игорь.

И тут Аля увидела то, что осталось от вазы. Перевела взгляд с мужа на сына, потом опять на мужа.

— Кто?

Василек, бледный от испуга, молчал.

— Кто?

— Я, — ответил Игорь.

— Боже мой... — Аля обессиленно привалилась к косяку.

— Ничего страшного, Аль, всякое бывает... Я нечаянно...

— Он нечаянно, — поддержал отца Васька.

— Как ты мог... Свадебный подарок...

Помнишь, Тереховы наполнили ее шампанским и пустили по кругу?

— Конечно, помню. Ну что теперь делать? Давай сядем вокруг осколков и зальем квартиру слезами — ты это предлагаешь?

Один из французов попытался прорваться по центру. Его сбили, раздался свисток.

— Поидем в магазин и купим новую, — раздражаясь от того, что приходится отвлекаться, сказал Игорь.

— Разве в этом дело? — тихо спросила Аля.

— Хорошо, давай соберем осколки и склеим. Сейчас выпускают отличные клеи, даже мосты склеивают.

— Конечно, склеим, — обрадовался Васька.

— А-а, делайте что хотите... — Аля оторвалась от косяка и пошла на кухню.

— Поди сюда, — поманил Игорь сына. Тот набычился, но подошел. — Три! — Игорь показал сыну три пальца.

Василий понуро склонил голову. Вероятно, процедура была у них хорошо отработана.

— Это — за вазу! — Игорь от всей души выдал по вихрастой макушке первый щелбан. — Это — за трусливый обман! — Игорь выдал второй щелбан. — А это — на всякий случай, авансом.

— Значит, третий я не заработал? — обиженно вскинулся Васька.

— Успеешь, у тебя еще все впереди.

— Бить ребенка по голове — непедагогично, — Василий обиделся по-настоящему именно на этот третий.

— Ничего... Горького дед бил — великий писатель получился. Может, и из тебя что-нибудь путевое вырастет.

Вася лег на тахту и демонстративно отвернулся к стене. В это время в прихожей зазвонил телефон.

— Телефон! — крикнула из кухни Аля.

Игорь посмотрел на сына, но тот разглядывал обои на стене и не думал вставать. Пришлось идти самому.

— Алё! — поднял трубку Игорь и сразу изменился в лице. — Почему не узнал, узнал...

— Кто звонит? — спросила из кухни Аля.

— С работы, — зажав трубку, ответил Игорь и плотнее прикрыл дверь к сыну. — Мы, кажется, давно все выяснили... Так... — Игорь глянул в сторону кухни и заговорил совсем тихо: — Только без слез, ладно? Почему обязательно сейчас?.. Стоишь у подъезда?.. Ну хорошо...

— Что случилось? — выглянула из кухни Аля.

— Чертовщина! — Игорь положил трубку на аппарат. — Извини, дорогая, семейный ужин летит к черту.

— Как?

— Очень просто. Позвонили с работы, трубу прорвало.

— Пицца в духовке, — растерялась Аля.

— Заливает, понимаешь, просят срочно приехать.

— Но при чем здесь ты? Пусть вызывают аварийку.

— Уже вызвали, но я материально ответственное лицо. На моей шее аппаратура и реактивы! Васек, — Игорь заглянул в комнату. — Не забудь перед сном принять таблетки. Пойдем в девять на горшок и — в люлю. Проверю! — Он чмокнул жену в щеку, взял с вешалки плащ и вышел.

На улице огляделся по сторонам. Начиная темнеть. Прошелся вдоль дома на угол, где стояли рядом две телефонные будки. В будках никого не было. Неужели розыгрыш? Он еще раз внимательно осмотрелся по сторонам. И в это время его тихонько окликнули:

— Игорь.

Оглянулся. Подняв воротник плаща, Лариса жалаась к стене соседнего дома.

— Ка-ки-е лю-ди! — Он двинулся к ней, раскинув руки. — Сколько лет, сколько зим... — и остановился, натолкнувшись на странный взгляд. Так она на него еще никогда не смотрела. — Что случилось?

— Игорь... У меня будет ребенок, — вдруг выдохнула Лариса.

Известие потрясло его лишь на долю секунды, но он тут же расплылся в улыбке: — Поздравляю! Малышка, ты даже не представляешь, как я рад за тебя. Честное слово... А может, тебе показалось?

— Что показалось?

— Ну... насчет ребенка.

— Я была у врача...

— Рад, честное слово! Дай я на тебя погляжу. Сколько мы не виделись, месяца два?

— Сорок шесть дней.

— Какая точность, прямо, как в аптеке. Позволь спросить, кто же этот счастливчик, отец будущего карапуза?

Пощечина получилась хлесткой. От неожиданности он как-то глупо заулыбался.

— Никогда бы не подумал, что ты способен на такое...

Но Лариса, не дослушав, повернулась и пошла. Он постоял, глядя вслед, потом бросился догонять.

— Подожди, давай поговорим. Ну постой же! — Он взял ее за локоть. Лариса остановилась. — Давай все спокойно обсудим. Ты хочешь испортить себе жизнь? Подумай... Пока не поздно, можно еще принять меры. Современная медицина гарантирует... — он замаялся.

— Игорь... — она смотрела на него, и у нее сами собой наворачивались слезы.

— Только без этого, я тебя умоляю, — он достал платок и заботливо вытер у нее под глазами мокрые дорожки. — Давай остынем и подумаем вместе, что тебя ждет, если и впрямь появится карапуз? Пеленки, распашонки, скарлатины, ангины и потом — постоянный немой вопрос родных и близких...

Она вырвала руку и опять пошла, а он остался стоять. Когда Лариса поравнялась с «Жигулями», стоящими поодаль у тротуара, задняя дверца открылась. Лариса села в машину. И тут же открылась передняя дверца, и из машины выбрался стройный парень в джинсовой куртке.

— Олег! — окликнула его Лариса, но Олег даже не оглянулся. Он медленно приблизился к Игорю.

— Познакомимся?

— Если не ошибаюсь, Олег?

— Не ошибаешься.

— Очень приятно. Игорь.

— Сейчас посмотрим, приятно или нет.

От короткого удара в сплетение Игорь переломился пополам, от второго удара крюком в челюсть мотнул головой и осел на газон.

— Добавить? — спросил Олег.

— Попробуй, — Игорь с трудом поднялся. Но «попробовать» у Олега не получилось. Лариса выскочила из машины и буквально повисла на нем.

— Ты же обещал! Что ты наделал?! Я тебе этого никогда не забуду! — Она метнулась к Игорю, увидела разбитую в кровь губу. — Тебе больно? Боже мой, Игорь...

— Ничего, малышка, ничего, все нормально, — Игорь растер кровь по подбородку. — А ты, щенок, теперь мой должник.

— Договорились, — спокойно кивнул Олег и пошел к машине.

— Прости его, Игорь, ради бога, прости. Он обещал, что будет сидеть в машине. Тебе

больно? — Лариса испуганно вглядывалась в его лицо, в разбитую губу.

— Ничего, малышка, до свадьбы заживет. Отличный у тебя брат.

— Это он заставил меня приехать сюда... Я не хотела... — Больше она не могла говорить — душили слезы.

Из машины раздался нетерпеливый гудок.

— Иди, он ждет.

— Игорь... — слезы текли у нее по щекам, она машинально поправила растрепавшиеся волосы. — Не молчи, скажи что-нибудь.

— Будь умницей, — сказал он.

Лариса вдруг затихла, вытерла слезы и медленно пошла к машине. Казалось, что плащ неожиданно стал велик для нее, плечи обвисли, и вся ее хрупкая, перетянутая в талии фигура была жалкой и беззащитной. Захотелось догнать, прижать к себе, успокоить. Но он не сделал ни того, ни другого. Лишь проводил ее взглядом.

Опять открылась дверца салона. Лариса села в машину. Заурчал движок, и «Жигули» с визгом рванули с места.

— «Кабы я была сариса, — третья молвила сестриса», — дурашливо картавя, Игорь достал из кармана носовой платок и аккуратно промокнул разбитую губу. — «Я б для батюшки-саря родила богатыря». — Он сунул платок в карман, побренчал мелочью, нашел двушку и вошел в телефонную будку. Сунул двушку в щель, набрал номер.

— Привет.

— Это ты? — спросила трубка.

— Я. Чем занимаешься?

— Пью.

— Водку?

— Чай.

— Я заскочу?

— Попробуй.

Таксист покосился на Игоря.

— Боксер, что ли?

— Фотограф.

— Где угораздило?

— Шпана.

— Распустили сосунков. Я бы этих металлистов стрелял. — Таксисту хотелось поговорить, но Игорю было не до того.

— Пусть живут, — сказал он.

— А меня прямо тошнит. Не могу спокойно смотреть. Прямо взял бы за волосы и... Какое-то время ехали молча, но таксист то и дело косился на Игоря.

— Слушай, ты за «Монолит» не играл?

— А что?

— Лицо знакомое.

— Включи «Маяк», — попросил Игорь.

— Зачем?

— Там киевляне с французами.

Таксист включил приемник, нашел «Маяк». Матч комментировал Маслаченко. Как всег-

да грамотно, немногословно, с легкой иронией — наши веди в счете.

— Кто забил? — спросил таксист.

— Блохин со штрафного, на четвертой минуте.

— Слушай! — вдруг обрадовался таксист. — Ты в политехническом не учился?

— Был грех.

— А я смотрю, вроде лицо знакомое! Давно закончил?

— Двенадцать годиков. А ты?

— Девять.

— Выходит, коллеги.

— Дягилев с вашего курса? — спросил таксист.

— Из одной группы.

— Во попер в гору мужик. Далеко пойдет, если не остановят.

— Его не остановит даже Кантемировская дивизия, — сказал Игорь.

Современные кварталы кончились, начался частный сектор.

— Куда дальше?

— Вперед до колонки, потом направо. Я покажу.

— А ты что, в самом деле фотограф?

— В самом деле.

— А у нас один даже в поэты выбился, уже две книжонки выпустил. Смехатура, честное слово. Интеграл Мора, оператор Лапласа — зачем учились?

— Ученые — свет, — возразил Игорь. — Тормози.

Машина остановилась возле добротного, с мезонином, дома из силикатного кирпича. Игорь глянул на счетчик. Плата за проезд — 1 руб. 80 коп.

— Как заработки? — Игорь протянул трешник.

— Так, детишкам на молочишко, — таксист вернул рубль сдачи.

— Считать разучился? — спросил Игорь.

Таксист брезгливо поморщился:

— Зачем сразу в бутылку? — Он покопался в карманах, специально отсчитал медяшками. — Держи.

— Я бы не мелочился, но собираюсь покупать «мерседес», а дугривенного как раз не хватает. — Игорь выбрался из машины и хлопнул дверцей.

Сократ, помесь бульдога с носорогом, загромыхал цепью и ринулся было в атаку, но узнал своего.

— Как поживаешь, друг человека? — спросил его Игорь.

Сократ уперся лапами в грудь и завилал хвостом, Игорь потрепал его по загривку:

— Круглые сутки службу несешь за вонючую похлебку. Хочешь по девочкам прошвырнуться?

Сократ молотил воздух хвостом, Игорь отстегнул ошейник.

— Иди гуляй, только не вздумай заложить меня хозяину. Договорились?

Пес, почуяв свободу, принялся заигрывать с освободителем и чуть было не повалил Игоря на землю.

— Мы так не договаривались, балда. — С трудом отбившись от назойливого пса, Игорь взбежал на крыльцо.

— Есть кто живой?

— Есть, — ответил Лева, даже не оглянувшись.

В огромной комнате царил полумрак, в камине едва тлели догоравшие угли. Справа от камина уходила в мезонин витая деревянная лестница. Посреди комнаты стоял грубый деревянный стол, на котором дымился самовар. У дальней стены горел проекционный фонарь, высвечивая на белый грунтованный лист фанеры профиль огромной свиньи.

— Свинство разводишь?

— Послезавтра сдавать. Самовар горячий, угощайся.

Лева примерился к изображению и несколькими профессиональными движениями обвел грифелем силуэт свиньи. Затем придвинул проекционный фонарь ближе к листу фанеры и сместил в сторону. Вторая свинья получилась меньше, пятак ее упирался в хвост первой. Лева обвел и ее, потом опять приблизил фонарь к листу и сместил в сторону. Третья свинья получилась совсем маленькая. Обвел и ее.

— Вруби свет, — попросил Лева и выключил проекционный фонарь.

Игорь щелкнул выключателем. Интерьер комнаты был выполнен не без выдумки, но она была сильно захламлена и скорее напоминала свалку, чем жилище.

— Творишь?

— Угадал. — Лева принялся замазывать пространство внутри линий темно-розовой краской. Игорь невольно залюбовался.

— Эрмитаж заказал?

— Обижаешь, старик, Лувр!

Краска ровным слоем ложилась на грунт, и вскоре безжизненные белые свиньи превратились в трех симпатичных темно-розовых поросят. Лева отошел в сторону, оценивая работу.

— Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф? — поинтересовался Игорь.

— Объясню для дураков: позапрошлая пятилетка, прошлая, нынешняя. Для дома животноводов в Крутой Осыпи. План производства свинины. Внизу цифирь и график. Ничего?

— Сойдет. Только непонятно — почему на прилавках одни свиные головы?

— А ты не знаешь? — удивился Лева.

— Не знаю.

— Весь город знает, а ты не знаешь.

Свинья, Игореk, самое длинное животное в мире. Головы у нас, а туловища — в Москве.

Игорь нагнулся к камину и вполголоса твердо проговорил:

— Товарищ полковник, я с ним не согласен.

— Оправдываться будешь на суде. Давай к столу, пока самовар не остыл.

Они сели к столу, Лева принялся разливать чай.

— На лешу нарвался? — спросил он.

— Кажется,— Игорь потрогал припухшую губу.— У тебя есть знакомый гинеколог?

— Надо подумать. С Алькой что-нибудь?

— Алька в полном порядке.

— С Ирккой залетел?

— Тысячу лет не видел и даже не знаю, жива ли она.

— О-хо-хо, можно подумать. Теще сказки рассказывай.

— Чья бы корова мычала.

— Между прочим, это мысль...— Лева задумчиво провел ладонью по лысине.— Отличная идея... Корова, и рядом три молочных бидона. В верхнем углу Доски соцобязательств. Пестрая буренка во-от с такими рогами. С меня сто грамм и булочка.

— Послушай, Рафаэль, мне нужен гинеколог,— оборвал творческую мысль Игорь.

— Так серьезно?

— Серьезней некуда.

— Неужели — Лариса? Боже мой, такой милый цыпленок, сама невинность,— покачал головой Лева.— Я думал, ты с ней для души, для поэзии, а цыпленок собрался стать курой-несушкой? Как ты мог?

— Лев, рискуешь заработать в лобешник,— предупредил Игорь.

— Молчу.

— Салют, барбосы! Нет, девочки, вы только посмотрите на них! — На пороге стоял Эдик, респектабельный седеющий дядя, держа под ручки двух размалеванных девиц. На шее у него висела большая полиэтиленовая сумка, из которой серебрились головки шампанского.

— Давайте, девоньки, устроим этим джентльменам маленький кавардак,— предложил спутникам Эдик.— Настя, ты как?

— За.

— Жанна?

Жанна многозначительно кивнула.

— Лев, чего глаза вылупил, давно не видел красивых женщин? Или забыл, что у нас сегодня большой профессиональный праздник, сукин ты сын?! Вынай все свои значки и врубай музыку! Девоньки, за работу!

И сразу все пришло в движение. Судя по всему, Настя с Жанной были здесь не первый раз. Заиграла музыка, содержимое полиэтиленового пакета-сумки миглом переключало на стол. Лев принялся заново раздувать камин. Эдик откуда-то приволок огромный

старинный подсвечник с четырьмя свечами.

— Кто-то хвастался, что засалил целую бочку капусты,— напомнил Эдик.

— Игореk, смотайся наверх, заодно прихвати трехлитровую банку с огурцами,— попросил Лева, продолжая колдовать возле камина.

— Вам помочь? — спросила Настя.

— Разумеется,— кивнул Игорь.

По витой деревянной лестнице они поднялись в мезонин, который был захламлен куда больше, чем нижние комнаты. Музыка едва долетала в это царство паутины и запустения.

— Объясните, Настя, что сегодня за праздник?

— Какой вы темный,— изумилась Настя.— Угадайте!

— День танкиста?

— Разве мы похожи на танкистов? — кокетливо обиделась она.

— День Парижской коммуны?

— О Париж... Опять не угадали, всего лишь День учителя.

— Вы — учительница? — спросил Игорь. Облик Насти был так далек от классических представлений.

— Будущая. Худграф пединститута, последний курс. Разве вы не знакомы с Эдуардом Никандровичем?

— Мельком.

— Это наш замдекана, гуляка и бабник. С ним всегда так весело.

— Все мужчины — потенциальные бабники, только у одних это получается, а у других — не очень.

— А у вас получается?

— Иногда.

— Ин-те-рес-но... А-а-а! — вдруг завопила Настя и прижалась к Игорю.— Здесь кто-то есть.

— Мыши.

— Я боюсь,— прошептала она. Он обнял ее, привлек к себе и попытался поцеловать. Она закрутила головой, не даваясь, но он все же догнулся до ее губ. Настя ответила.

Поцелуй получился долгий. Потом она отпрянула, упираясь кулачками в его грудь, и сказала:

— Хам.

При свечах в полумраке играла музыка, веселье было в самом зените. Настя с Жанной напоминали механических роботов, натолкнувшихся на невидимую стену. Эдик, потряхивая животиком, пытался им подражать, но то и дело срывался на допотопный шейк. У Игоря получалось несколько лучше, но до брейка было еще далеко. Лева смотрел, смотрел на все это из-за стола, тоже не выдержал и ринулся вприсядку.

Настя с Игорем постепенно отодвигались в темный угол, не прекращая ритмического танца.

— Так вы берете меня в жены?

— Беру.

— Вы — настоящий мужчина.

— Конечно, — с кавказским акцентом сказал Игорь.

— Когда распишемся?

— Когда угодно.

— Чем скорее, тем лучше.

— Зачем торопиться, надо проверить чувства.

— Распределение на носу. Зашлют куда-нибудь в деревню, плакали мои предки.

— А если распишемся?

— Возьму свободный диплом.

— Попахивает браком по расчету.

— Браки по расчету — самые прочные.

Статистика!

— А как же любовь?

— Любовь нечаянно нагрянет.

— А если нет?

— Нагрянет, — убежденно заверила Настя.

Музыка смолкла. Тяжело дыша и обмахиваясь, все устремились к столу.

— Прошу минуточку внимания, друзья мои! — Эдик принял за разливать шампанское по фужерам. — Во время танца в этой бестолковке, — он ткнул костяшками по своей голове, — родился тост.

Все расселись по местам. Эдик выдержал паузу.

— В каждом задрипанном городе есть свой задрипанный пединститут, но не в каждом задрипанном пединституте есть свой художественно-графический факультет. Сей отрок, некогда подававший большие надежды, — Эдик погладил по лысине сидящего рядом Леву, — решил бросить педагогику и податься на вольные хлеба, чтобы воплотить в жизнь мечты своей юности. Но, как сказал великий, жизнь коротка, а путь в искусство так долг... — Эдик повел рукой в сторону темно-розовых поросят, и все повернули туда головы.

При мягком освещении три поросенка казались милыми сказочными существами.

— Скучно, Эдуард Никандрович, — вдруг поднялась со своего места Настя. — Вот у нас с Игорем есть для вас потрясающая новость: мы с ним решили пожениться!

Повисла недолгая пауза: застолье соображало — уж не розыгрыш ли это?

— Горько! — воскликнул находчивый Эдик.

— Горько! Горько! — подхватили Жанна с Левой.

Игорь с Настей, как и подобает молодоженам, поднялись из-за стола и под аплодисменты исполнили трепетный поцелуй.

— В этот торжественный момент разре-

шите от имени всех присутствующих и от себя лично поздравить вас и пожелать большого личного счастья, любви и уважения друг к другу! — Эдика понесло. То ли он и впрямь решил, что присутствует на свадьбе, то ли сказывалось выпитое. — Живите душа в душу и помните, как поется в песне: «Обручальное кольцо — не простое украшенье, двух сердец одно решенье — обручальное кольцо!»

И, словно в подтверждение этих слов, отворилась входная дверь. На пороге стояла Аля, но на нее никто не обратил внимания, всем было не до этого.

— Горько! — опять закричала Жанна.

— Горько! Горько! — подхватили Лева и Эдик.

И опять Игорь с Настей поднялись из-за стола. Он нежно привлек ее к себе, она запрокинула голову для поцелуя...

— Друзья мои, кажется, к нам кто-то пожаловал, — вдруг сказал Эдик, глядя в полумрак дверей. Только теперь все увидели Алю.

— Кто вы, прекрасная незнакомка? — спросил Эдик, и застолье притихло, ожидая ответа.

Но ответа не последовало. Аля повернулась и вышла, тихо прикрыв за собой дверь.

— Народ, вы видели кого-нибудь? — спросил скорее себя, чем других, Эдик и потряс головой. — Неужели галлюцинация...

— Странная женщина... — поежилась Жанна.

— Не волнуйтесь, это соседка, — пояснил Лева и вопросительно посмотрел на Игоря. — Она немножко того, с приветом...

— Давайте вернем ее и пригласим за стол, — встепенулась Настя.

— Отличная идея! Я сейчас, — Игорь ринулся из-за стола.

— Странно, почему Сократ не залаял? — задумчиво произнес Лева.

— Уволить без выходного пособия! — резюмировал Эдик.

Алю он догнал уже у колонки. Здесь, в частном секторе, город был совсем непохож на город и напоминал обыкновенную деревню: одноэтажные домики, огороды, сарай, поленницы дров. Автобусная остановка находилась неподалеку от колонки.

— Аля, ну постой же! — окликнул Игорь, но Аля даже не обернулась. — Ты можешь выслушать? — Он догнал ее и пошел рядом.

На автобусной остановке толпился народ.

— Аля, ну в конце-то концов! — Они уже почти дошли до остановки.

— Что? — она резко повернулась к нему.

— Следила, да?

— У тебя же трубу прорвало.

— Прорвало. Если бы ты видела — настоящий потоп. Только я им не сантехник, пусть сами выкручиваются. Для меня главное — аппаратура и реактивы. Все цело, слава богу.

— Почему ты оказался здесь?

— А ты?

— Мне позвонили и попросили срочно приехать по этому адресу.

— Кто позвонил? — насторожился Игорь.

— Тебе лучше знать.

— Мужчина или женщина?

— Допустим, мужчина. Что дальше?

Игорь вдруг захохотал. Захохотал громко и искренне, чуть ли не до слез, так что с остановки на них начали заинтересованно поглядывать.

— Извини, Аль, ради бога, извини, — он с трудом подавил в себе смех. — Понимаешь, решили тебя разыграть. Угадай, кто звонил?

— Не знаю, — лицо у Али приняло глуповато-заинтересованное выражение.

— Лева звонил. По моей просьбе, между прочим. Врубаешься?

— Не очень.

— Короче, воду кое-как перекрыли. Кругом море разливанное. Аппаратуру и реактивы перетащили к Тихону в каморку, вдруг звонок. Поднимаю трубку — Лева. Срочно приезжай, у меня компания, празднуем День учителя. Я наотрез: без жены не поеду. Хорошо, говорит, сейчас я ей позвоню. Хочешь, вернемся к нему, и он присягнет на Коране, что так все и было. Теперь ясно?

— Не очень.

— Что не ясно?

— Я бы узнала его по голосу, только и всего.

— Говорю же — розыгрыш, — начал распаляться Игорь. — Он специально чужим голосом, чтобы заинтриговать. Кстати, как там Васька, горло полощет?

— Полощет.

Игорь вдруг стал серьезным, посмотрел на часы.

— Ему пора укладываться. Аль, подожди меня здесь, я сбегаю за плащом, и поедем домой.

— Ты собираешься бросить компанию?

— Я поздравил Леву с праздником, и делать мне там больше нечего. Глупые девицы, дурацкий треп. Это не для меня.

— Неужели?

— Знаешь, давно тебе хочу сказать... В общем... Я не представляю, как бы жил без тебя. Иногда дурацкие мысли лезут в голову... Если с тобой что-нибудь случится, я не переживу... — последние слова он произнес без труда, сглатывая подступивший к горлу ком.

— Сходи, я подожду... — казалось, что у Али сейчас появятся слезы, так она была растрогана его словами.

— Я мигом — одна нога здесь, другая там.

— Только знаешь, Игорек, я ведь тоже решила тебя чуть-чуть разыграть. Но ты прости меня, правда?

Он посмотрел на нее, и взгляд просветленного умиления сменился легким недоумением.

— Что ты имеешь в виду?

— Звонил не мужчина, а женщина. Только и всего.

Игорь усталился в свои полуботинки, глупо засунул руки в карманы брюк и качнулся с пятки на носок.

— Придумай что-нибудь, я поверю. Ты же очень способный, Игорек. Ты же любишь придумывать, у тебя это от бога, как говаривал профессор Веневитинов.

— Не смей глумиться над памятью ученого старца.

— Извини...

— Ч-черт, как же я раньше не догадался. Вероятно, Лева решил сам не звонить, чтобы ты не узнала его по голосу, а попросил одну из этих девиц, которых ты видела там, за столом.

— Вот видишь, я же говорила, что ты очень способный и обязательно что-нибудь придумаешь, а жена у тебя просто глупая дурочка. Ты прости ее, дурочку, прости, а? — Она улыбнулась, смахнула некстати покотившиеся слезы.

— Аля...

— А вон и мой автобус. Иди, там тебя уже заждались, а мне домой пора. Васька ждет, белье замочено, дверь на антресолях не закрывается — надо починить, окна заклеить. — Она рассмеялась сквозь слезы.

— Зачем ты так?

— Прощай, Игорек, желаю весело провести время. — Она бросилась к остановке, где народ энергично штурмовал подошедший автобус.

Аля с трудом втиснулась в переднюю дверь. Переполненный автобус, скособочась и надрывно завывая, медленно тронулся.

Игорь проводил его взглядом, подошел к колонке, нажал на рычаг и, когда полилась струя, нагнулся и принялся жадно пить воду.

Сократ сидел у калитки. Игорь потрепал его по загривку.

— Чего не гуляешь, дурачок?

Сократ не ответил.

— Ладно, идем.

Они прошли через калитку. Возле будки Игорь подобрал с земли цепь с ошейником.

— Привык на привязи сидеть? Подарил бы мне эту привычку.

Сократ покорно стоял рядом, Игорь застегнул на нем ошейник.

— Служи, болван. «Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду?» — прохрипел

он «под Высоцкого» и направился в дом.

Все так же горели свечи, звучала неторопливая мелодия, певец страдал от неразделенной любви. Компания разбилась на пары: Лева танцевал с Жанной, Настя висела на шее у Эдика.

Игорь дотянулся до вешалки, снял плащ и тихонько прикрыл за собой дверь.

— Мода последнего времени необычайно контрастна. Это выражается не только в разнообразии стилей. Различны как силуэты, так и длины, варьирующиеся от колен до самых щиколоток, — комментировала Рита.

Демонстрация мод проходила в комнате отдыха рабочего общежития. Народу набилось битком. Игорь с трудом втиснулся через дверь.

— Образцом служит мода разных десятилетий: портновские костюмы 30-х и 40-х годов, узкие брюки и расклешенные юбки 50-х, лаконичные мини-платья 60-х и многое другое...

Из-за ширмы появилась очередная манекенщица.

— Во чучело, — не выдержал стоящий рядом с Игорем верзила.

На него зашипели со всех сторон. Рита строго посмотрела в их сторону и увидела Игоря. Он вскинул руку, она удивленно свела брови, продолжая показ:

— Наша экспериментальная лаборатория предлагает также несколько видов зимнего пальто. Обратите внимание на эту модель. Хорошо зарекомендовал себя драп. На нем отчетливо «читаются» модные линии кроя, отделочные строчки и детали!

Появлялись и уходили манекенщицы: элегантная походка, надменная полуулыбка, эффектный поворот.

Заводские девчата тарасили глаза, некоторые пытались торопливо записывать что-то себе в блокнотики.

— Не, ну ты глянь, — опять не выдержал верзила и ткнул Игоря локтем. — Это же вешалки, а не бабы. — Он имел в виду манекенщиц.

— У меня завалилась пачка пельменей.
— Я сыт, — сказал Игорь.
— Где губу расшил?
— Столкнулся со столбом.
— Столб, конечно, упал... Фотографии сделал?

— Денька через три.
— У тебя совесть есть?
— Нет.
— Игорек, я плачу тебе семьдесят рублей в месяц. — Рита остановила «Запорожец» — загорелся красный.
— Не понял, ну-ка повтори?

— Ладно, не заводись. Вторник — крайний срок.

— Нет, повтори, сколько ты мне платишь?

— Семьдесят.

— Ты?

— Я.

— А я думал, что мне платит Дом быта.

— Начинаешь наглеть, Игорек. — Рита выжала сцепление и воткнула передачу. — Во вторник вся зимняя коллекция в пяти экземплярах на цветной бумаге должна быть у меня на столе. Повтори!

— Во вторник вся зимняя коллекция в пяти экземплярах на цветной бумаге должна быть у тебя на столе.

— Умница.

— Должна быть, но не будет.

Какое-то время ехали молча: она сосредоточенно крутила баранку, он спокойно смотрел в ветровое стекло.

— Что случилось? — наконец спросила она.

— Ничего особенного.

— Семь червонцев в месяц за полтора десятка фотографий — где ты еще найдешь такую халтуру? Подумай. — Она попыталась приглушить в себе раздражение.

— Нигде не найду, — согласился он.

— Вот именно. Гадость какая... Опять клепана стучат.

— Слышу.

— В конце августа регулировали на станции.

— Ничего удивительного. Знаешь, что общего между «Запорожцем» и беременной восьмиклассницей?

— Понятия не имею.

— И то и другое — позор для семьи.

Она улыбнулась, отвела назад рассыпавшиеся волосы.

— Согласна. Бери в жены, купим «Жигули».

Он отвалился к дверце, вполоборота к ней, помолчал.

— Зачем я тебе?.. Ты должна найти себе respectableного джентльмена в дубленке и норковой шапке.

— Опоздал с советом. Все они уже найдены другими.

— Кто же виноват?

— Ты.

Рита включила поворот, заложила лихой вираж и въехала под арку во двор. У подъезда лихо ударила по тормозам, отчего Игорь едва не высадил лбом ветровое стекло.

Они поднялись в лифте, вышли на площадку. Игорь достал из кармана брелок с ключами, попытался открыть дверь, но ключ не входил в скважину. Она стояла сзади и молча наблюдала за ним. Он обернулся:

— Поменяла замок?

Она кивнула, достала свои ключи и открыла дверь, потеснив его в сторону.

Вошли в прихожую. Рита щелкнула выключателем, и сразу в глаза бросилась мужская одежда на вешалке: пальто, куртка, шляпа; на полу — мужские полуботинки и шлепанцы.

Игорь внимательно осмотрел все, попробовал на ощупь материал пальто и даже понюхал.

— Драп?

— Драп.

— «Хорошо зарекомендовал себя драп. На нем отчетливо «читаются» модные линии кроя, отделочные строчки и детали», — скопировал он Риту и дурашливо примерил шляпу. — Идет?

— Не очень, — Рита окинула его профессиональным взглядом. — Тебе пойдут широкие поля.

— Жаль, — он повесил шляпу на место. — Как прикажешь понимать все это?

— Что именно? — Рита сняла жакет-блейзер. Игорь принял его и повесил рядом с драповым пальто.

— Объясни, как ты дошла до жизни такой?

— Перебьешься, — она прошла на кухню, оставив его в прихожей. — Чай, кофе?

— Кофе, — ответил он, оставаясь в прихожей. Поднял с пола полуботинок, повертел в руках и прошел с ним на кухню. — Ну и лапы у него...

— Неужели ревнуешь? — Рита запустила кофемолку.

— Представь себе... Кто он?

— Мужчина, который носит меня на руках. — Она засыпала перемолотый кофе в кофеварку, залила водой и поставила на медленный огонь.

— В «саломандру» обуаешь, — Игорь поставил полуботинок на холодильник.

— Он хорошо зарабатывает.

— Торгаш?

— Зарабатывает, а не ворует, — уточнила Рита.

— Неужели гегемон?

— Угадал.

— Ри-та... — Игорь укоризненно покачал головой. — И кто же он, если не секрет: токарь, пекарь, слесарь? А может, машинист башенного крана?

— Таксист, — просто ответила Рита, словно не замечая иронии.

— Поздравляю!

— А ты и впрямь ревнуешь. — Она поставила на стол кофейные чашечки, достала из хлебницы пачку печенья. Он молча наблюдал за ней, привалясь к косяку, потом спросил:

— Водка есть?

— Зачем?

— Отметим. Хочешь значить такое событие?

— Водки нет.

— А что есть?

Она не успела ответить, в дверь позвони-

ли. Игорь невольно подобрался.

— Он?

— Возьми себя в руки, Игорек, — Рита подошла к нему почти вплотную. — Труханул? Эх вы, мужчины... Не бойся, он сегодня в ночь.

В дверь опять позвонили, теперь уже более настойчиво.

— Минуточку! — крикнула Рита и пошла открывать.

Игорь на цыпочках шагнул к раковине, чтобы не быть замеченным из прихожей. Щелкнул замок входной двери.

— Ты? — донесся из прихожей голос Риты.

— Салют! Представляешь, попался пассажир в соседний подъезд. Гляжу, ты уже дома, огонь на кухне. — Голос показался Игорю знакомым. — Куснуть что-нибудь дашь?

Из кофеварки всплыла коричневая пена и потекла через край. Игорь выключил газ, но было уже поздно.

— Там что-то горит? — донеслось из прихожей.

Игорь метнулся к столу, успел плюхнуться на табуретку, и в следующее мгновение в кухню стремительно вошел крупный мужчина. Это был тот самый таксист, что подвозил Игоря к Леве.

Они с удивлением уставились друг на друга.

— А у меня, Володечка, гость, — Рита протиснулась в кухню из-за спины оцепеневшего Володи.

— Вижу, — Володечка повел носом, задержал взгляд на кофеварке. — Кофе собрались пить. Не помешал?

— Володька, прекрати. Это Игорь, помнишь, я тебе рассказывала. Он у нас на полставки фотографом.

— Володя, — представился он и протянул Игорю руку.

— Очень приятно, Игорь, — Игорь привстал с табуретки и пожал протянутую руку.

— А это что такое? — Володя взял с холодильника полуботинок.

— Твой полуботинок, — натянуто улыбнулась Рита. С приходом Володи у нее появились некоторая суетливость в движениях и заискивающий голос.

— Вижу, что мой. Почему он здесь?

— Я принес, — ответил Игорь.

— Зачем?

— Просто так, — пожал плечами Игорь. — Фирменные полуботинки, давно мечтал купить.

— Ну и что?

— Хорошие полуботинки.

Ситуация получалась нелепая, и все трое не знали, что делать и о чем говорить.

— Кофе стынет, — нашлась наконец Рита. Она достала еще одну чашку и разлила кофе через ситечко. — Ты же голодный. Хочешь, пельмени отварю, — обернулась она к Володе.

— Расхотелось...

Сели к столу и принялись за кофе. Пили молча. Напряжение не улетучивалось, а, скорее, нарастало.

— Ладно,— не выдержал Володя и большим глотком прикончил кофе.— Оставайтесь, а мне ехать пора. План! — Он поднялся, и тут же следом поднялась Рита.

— Я тебе утром все объясню,— сказала она полушепотом уже на площадке.

— Он собирается остаться здесь до утра?

— Да нет же...

Игорь подкрался к двери и через щель прислушался к яростному шепоту на площадке. Потом быстро вернулся на кухню.

Когда появилась Рита, он стоял вниз головой возле стены, отжимался на руках и подсчитывал вслух:

— Одиннадцать, двенадцать, тринадцать... Чертова дюжина! — Оттолкнулся пятками от стены и встал на ноги.

Рита тяжело опустилась на табуретку, покрутила в руках кофейную чашечку.

— Как ты перед ним: у-тю-тю-тю-тю-тю-тю.— Игорь прошелся по кухне, виляя бедрами.— Пропала, Марго, пропала, про-па-ла...

— Знаешь, кто ты?

— Кто?

— Клоун,— сказала она то ли с сожалением, то ли с сочувствием. Скорее даже с сочувствием.— Объясни, что случилось?

— Почему обязательно должно что-то случиться?

— Чувствую... Ты даже не представляешь, как я тебя изучила. Целый месяц не показываешься и даже не звонишь... Я уже начала думать, что ты попал под трамвай.

— Надо было позвонить в морг и выяснить.

— Звонила...— губы у Риты дрогнули, и как-то сразу увлажнились глаза.

— Только без этого, ладно? Дурацкий сегодня день, целое море слез. Хочешь свежий анекдот?

— Ничего я от тебя не хочу. Уже не хочу...

Он подошел к ней и... неожиданно рухнул на колени, покорно склонил голову. Она провела ладонью по его волосам.

— Уходи, Игорек...

Он, по-прежнему стоя перед ней на коленях, поднял глаза. Взгляды их встретились, она улыбнулась ему сквозь слезы.

— Ты все понял?

Игорь кивнул.

Она закрыла за ним дверь и привалилась к ней спиной. Потом все же не выдержала и посмотрела в глазок. Игорь стоял на площадке. Был он задумчив и даже растерян. Достал из кармана брелок с ключами, отстегнул тот, которым пытался открыть Ритину дверь. Повернул голову, и Рита инстинктивно от-

прянула от глазка.

Медленно спустился на один марш, где проходила труба мусоропровода, открыл крышку и опустил ключ. Этого Рита уже не видела.

Выйдя на улицу, Игорь осмотрелся, поднял воротник плаща и двинулся к выходу со двора. Он уже вошел под арку, когда сзади неожиданно вспыхнул ослепительный свет. Игорь обернулся, прикрывая глаза рукой. Прямо на него с нарастающим воем и включенными фарами несся автомобиль. В последний миг Игорь успел-таки отпрянуть к стене, и «Волга» с шашечками прошла мимо, лишь мазнув корпусом полы плаща. Тут же раздался визг тормозов. «Волга» остановилась, потом медленно начала подавать назад, пока опять не поравнялась с Игорем.

Володя спокойно опустил боковое стекло.

— Испугался?

— Чуть-чуть,— Игорь облизнул пересохшие губы.

— Чуть-чуть не считается. В следующий раз размажу по стенке,— пообещал Володя.

Испуг сменился пустотой в желудке, ноги сделались ватными.

— Следующего раза не будет...

— Вот и договорились,— Володя поднял стекло, и «Волга» плавно тронулась из-под арки.

Звонок был сломан, из стены торчали два проводка. Игорь соединил их, за дверь protrещал звонок. Подождал.

— Пароль?

— У вас продаются консервированные утюги?

— Сколько раз объяснять, что шпион Иванов живет этажом выше.— Щелкнул запор, дверь отворилась. Вадим — тот самый, с которым Игорь работал на силосной башне,— был в «семейных» сатиновых трусах и застиранной майке.

— Когда кнопку починишь?

— Когда-нибудь. Проходи.

— Спишь?

— Только лег.

— Я на пару минут.

— Да ладно тебе.

Игорь прошел в кухню. Здесь в четыре ряда были натянуты веревки, на которых сушилось детское белье: рубашонки, маечки, колготки.

— Настоящее итальяно!

— Стирку с Танюшкой затеяли,— объяснил Вадим. Он уже успел натянуть трикотажные спортивные штаны.— Чай поставить?

— Я на минутку. Вадь, помнишь Лешку, он по правому краю за «Медик» бегал, вы на одной площадке жили.

— Кривицкий?

— Он, кажется, по женской части?
— Заведует гинекологией во Второй городской. С Алькой что-нибудь?

— Одной знакомой нужна консультация хорошего специалиста.

— На криминальный он вряд ли пойдет. Я позвоню. Залетел?

— М-м.

— Не надоело кувыряться? Лучше Альки все равно не найдешь.

— Ты прямо как отец родной. Ладно, старичок, я поплыл.

— Куда это ты поплыл? Не отпущу. Сейчас чайник поставим. Я ведь инструмент приобрел, идем, покажу.

Вадим взял с полки оплывшую свечу в плошке-подсвечнике, зажег.

— Т-с-с,— предупредил он.

Такие квартиры, времен волонтеризма, в народе называют полутерками: одна комната проходная, совмещенный санузел, есть крохотный чуланчик, метко окрещенный «тещиной комнатой».

В проходной комнате на тахте спала девочка лет семи-восьми. Рядом у стены стоял инструмент — выдавшее виды пианино.

— Как? — шепотом спросил Вадим.

Игорь показал большой палец.

— Глянь на бойцов,— пригласил Вадим.

Они прошли во вторую комнату. Здесь на широкой кровати спали два мальчика-близнеца годика по три. Пацаны сладко посапывали во сне.

Вернулись в проходную комнату. Вадим поднес свечу к стене, на которой в траурной рамке висел портрет смеющейся молодой женщины. Контровой свет создавал светящийся ореол над волнами вьющихся волос. Долго стояли молча.

Прошли на кухню. Вадим задул свечу.

— Знаешь... люблю смотреть, как они спят. Свечи вот завел... Могу часами стоять и смотреть... Иной раз так защемит...

— Ты чай обещал,— перевел на другую тему Игорь.

— Сейчас поставим,— спохватился Вадим. Он налил воды в алюминиевый чайник и поставил на плиту.— Столбики вчера привез, хочешь глянуть?

— Покажи.

Осторожно, чтобы не разбудить детей, Вадим сходил в «тещину комнату» и вернулся, держа в руках литой чугунный столбик сантиметров семидесяти длиной, с круглым набалдашником на конце. Игорь взял у него столбик, осмотрел.

— Восемь штук. Здесь по три, и здесь по одному. Цепи пропущу, красиво будет.

— Что с камнем?

— Обещают габбро. Мани, мани,— показал пальцами Вадим.

— Санька надымбал башню в Каменецком районе. Я сам смегаюсь на той неделе, погляжу что к чему.

— Сначала думал медальон на эпоксидке, а потом решил: просто фамилия, имя, отчество и даты рождения и смерти. Как думаешь?

— Решай сам. Я в этих делах...

Закипел чайник.

— Та-ак, сейчас заварочку соорудим. Да, я ж тебе не рассказывал — договорился с мужиками в коммиссионке: в субботу днем, пока Танюшка в школе была, привозим инструмент. Является из школы — боже мой, что началось! Думал, задушит.— Вадим залил заварку кипятком.— Местком подсуетился, предлагают пацанов в пятницу днем, а я ни в какую. Танюшка — золото. Без нее бы туго пришлось, а так она и постирает, и кашу бойцам сварит. Второй класс все-таки, не хухры-мухры! Невеста!

— Готовь приданое, за Ваську сватать будем.

— А инструмент что, не приданое?

Сами собой ушли от грустной темы, и слава богу.

— Черт, винца бы по глоточку,— помечтал вслух Вадим.— Хотел сегодня взять — очередь часа на три.

— Не вздумай в это дело удариться — башку отверну.

— Ты ли это? — изумился Вадим.

— Я, я... Скоро чай будет?

— Сейчас, пусть маленько натянёт. А винца по глоточку не помешало бы. Посиди, я сейчас.— Вадим опять ушел в комнату.

Вернулся он с папкой в руках. Раскрыл ее и достал сложенную пополам гербовую бумагу с красной печатью на красной ленте.

— Ну-ка, ну-ка, дай сюда,— Игорь цапнул бумагу у Вадима из рук.— Так... Государственный комитет Советов Министров СССР по делам изобретений и открытий... Авторское свидетельство номер 649429... На основании полномочий... так... выдал настоящее авторское свидетельство Терехову Вадиму Петровичу на изобретение «Устройство для регистрации...» Ну-ну... Пробыл все-таки?

— Это на устройство, а вот еще одно — на способ.— Вадим достал из папки и протянул Игорю второе авторское свидетельство.

На этот раз Игорь сразу перелистнул титульный лист и впился глазами в текст описания принципа. Прочитал, поднял голову:

— Поздравляю.

— Кому бы я отвернул башку, так это тебе. Дай сюда,— Вадим забрал оба авторских свидетельства и сунул обратно в папку.

— Можно мне до тебя дотронуться?

— Кончиками пальцев.

Игорь дотронулся до Вадима кончиками пальцев.

— Кремьень.

— Я тут прикинул на досуге. За эти годы мы заплатили Саймону энд компани семнадцать миллионов в твердой валюте. Если бы ты тогда не сломался...

— Начинается, — поморщился Игорь.
— Твои же идеи! — щелкнул по папке Вадим. — Я лишь довел до ума и сварганил действующий макет.

— Пусть Саймон скажет спасибо Дягилеву и тому чиновному мурлу из министерства.

— При чем тут Дягилев? Он пошел на поводу у технологов, а иначе надо было останвливать линию. Да что линию — весь завод.

— И надо было остановить, взять за шиворот отраслевое НИИ, вбить министру в его баранью голову, что запускать в серию ЭР-6 — идиотизм. Сколько ты говоришь, семнадцать миллионов? Мало вас Саймон наказал.

— Что значит вас? Он державу наказал: тебя, меня, всех нас.

— Ладно, Вадим, старая песня... Давай чай пить.

— Сейчас заварку перелью, как учат братья-мусульмане... А с Дягилевым ты зря тогда так, — стукнул кулак о кулак Вадим. — Инженер он никакой, но свой чувак там, — Вадим указал пальцем в потолок, — разве плохо?

— Гандон он порядочный, твой Дягилев. Вспомни, все пять лет института он ошивался в комитете комсомола. После распределения мы с тобой встали к кульману, а он?

— Пошел в цех.

— Недолго он там побыл. Мы будем пить чай?

— Будем, будем...

— Чего лыбишься?

— Вспомнил первый курс. Ох и не влюбил же я тебя поначалу.

— Взаимно. Явился весь из себя старший сержант, грудь в значках, дуб дубарем, да еще эта дурацкая гармонь. Ну прямо Ваня — брянский лес!

— А знаешь, когда я тебя по-настоящему зауважал?

— Неужели было и такое?

— Было. Доклад на студенческой конференции, когда ты предложил схему аналогового вычислительного устройства для устранения мультипликативной погрешности. У всех шары на лоб, даже Веневитинов обалдел. Сколько они всей кафедрой над этим бились. Почему ты в аспирантуру не пошел?

— «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок...» — это про меня. Дурацкий сегодня выдался день. Волоки гармонь, попоем.

— Тыщу лет в руках не держал.

— Волоки, волоки.

— Короедов разбудим.

— А мы тихонько.

Вот кто-то с горочки спустился, —

Наверно, милый мой идет.

На нем защитна гимнастерка-а —

Она с ума меня сведет...

Сушилось над головами детское белье, на столе остывал недопитый чай, тихо грустила гармонь.

На нем погоны золотые
И яркий орден на груди, —
Зачем, зачем я повстречала-а
Его на жизненном пути-и-и...

Пели вполголоса, задушевно и без надрыва.

Зачем, когда проходит мимо,
С улыбкой машет мне рукой?..
Зачем он в наш колхоз приехал,
Зачем нарушил мой покой?..

Смогли последние аккорды, в кухне стало тихо. Сидели не двигаясь: вероятно, песня уносила их в прошлое, каждый думал о своем.

— Пап, вы чего? — в дверях кухни стояла голенастая тонкошея Танюшка.

— Ну вот, разбудили, — очнулся Вадим. — Ничего, дочура, это мы так... Иди ложись, мы больше не будем.

Танюшка продолжала моргать глазенками и не уходила. Вадим отложил гармонь, подошел к дочери, взял ее на руки и осторожно отнес на тахту, уложил, подоткнул одеяло, присел на край.

— Спи.

— А ты скоро ляжешь?

— Скоро, скоро... Сейчас дядя Игорь уйдет, и лягу.

— Мне мама приснилась, — вдруг сказала Танюшка.

Он обнял ее и ткнулся лицом в одеяло, ощущая сквозь байку живое маленькое тельце.

Игорь выглянул из кухни и все понял. На цыпочках прошел в крохотную прихожую, взял с вешалки плащ. Выйдя на площадку, он осторожно потянул дверь на себя, пока не услышал тихий щелчок.

Перед домом был разбит небольшой сквер. Возле сквера прогуливался взад-вперед милиционер, кутаясь от холодного ветра в капюшон. Милиционер еще издали заметил Игоря, и, когда Игорь свернул к дому, сразу же окликнул его:

— Гражданин!

— Я? — остановился Игорь.

— Вы. — Милиционер подошел к нему, внимательно осмотрел с головы до ног. — Вы к кому?

— В шестнадцатую квартиру.

— А не поздно?

— Меня там ждут, — уверенно ответил Игорь и направился к подъезду.

От двери к лифту вела ковровая дорожка. Она скрадывала шаги, поэтому лифтерша встрепенулась, когда Игорь был уже у лифта.

— Молодой человек, вы к кому?

— В шестнадцатую.

— Это сколько же времени-то, батюшки?
Дверь отъехала в сторону, Игорь вошел в лифт.

Дягилев открыл дверь в халате нараспашку и, казалось, даже не сразу сообразил, кто перед ним.

— Может,пустишь? — не выдержал Игорь.

— Проходи... Позже не мог?

— Лучше позже, чем никогда.

Дягилев прикрыл зевок рукой, запахнул халат. Крепко сбитый, с короткой спортивной стрижкой и тяжелой челюстью, он не был лишен мужского обаяния. Виски уже тронула седина.

— Давай в кабинет. Ольга с пацанами на даче, утром к школе подъедут.

— В гордом одиночестве?

— Не говори.

— Приволок бы девочку, все веселей.

— Ни черта ты не меняешься. Завидую!

Они прошли в кабинет.

— Он мне завидует,— развел руками Игорь.

Вдоль стен стояли книжные шкафы. Книг было много. Финская кожаная мебель: два кресла и диван. Рабочий стол. На полу лежал темно-вишневый палас.

Игорь уселся в кресло, раскинул ноги.

— Как поживаешь, слуга народа?

— Хорошо поживаю, так мне и надо,— отшутился Дягилев.

— Почему не спрашиваешь, зачем явился?

— Сам скажешь.

— Скажу... Сколько лет собирался набить тебе морду, а сегодня решил — пора.

— Уже оригинально.

— Пора, мой друг, пора...

Оба замолчали, вдруг со всей очевидностью осознав, что мирно они сегодня уже не разойдутся.

— Давай, раз пришел.— Дягилев затыкнул кушак на халате.

— Сейчас, только плащ сниму.— Игорь и впрямь поднялся с кресла, снял плащ и бросил на диван.

Сошлись. Надо было начинать, но как?

Игорь толкнул Дягилева в плечо. Дягилев ответил тем же. Игорь толкнул сильнее. И Дягилев ответил сильнее. Игорь толкнул еще сильнее. И Дягилев не остался в долгу. И понеслось...

Они не были профессионалами, но и выросли не в оранжерее. Размахи получались широкваты, изворотливость уже не та. Игорь попытался провести серию и провел, но сильным встречным был опрокинут на диван. Дягилев кинулся на него, но Игорь встретил его ногами. Толчок получился: Дягилев, словно из катапульты, отлетел к книжным шкафам.

Опять вскочили и ринулись друг на друга, но дыхание было уже не то. Сцепились и покатались по паласу, вскоре совсем выдохлись. Тяжело дыша, расползлись в разные стороны. Игорь уцепился за подлокотник кресла, с трудом поднялся и сел. Дягилев на четвереньках добрался до дивана и тоже сел.

Кровь молотками стучала в висках, дыхание было тяжелым и прерывистым.

— Сволочь, халат порвал.— Дягилев попытался приладить на место рукав, который и впрямь держался на честном слове.

— Новый купишь,— ответил Игорь.

— Ольга на день рождения подарила...

— Дыхалки совсем не стало, пора бегом заняться.

— Пора... Теперь скажи — за что?

— Неужели не догадываешься?

— Смутно.

— Перестань прикидываться, Серега. За чем ты меня разыскивал?

— С этого и надо было начинать, а то врываешься среди ночи и сразу в драку. Я заказал пропуск на понедельник — ты не явился. Перенес встречу на четверг — ты опять не явился. В чем дело?

— Не хотелось видеть твою сытую рожу.

— Перестань хамить!

— Ладно... Зачем я тебе понадобился?

— Работать хочешь?

— Ах вон оно что...

— На базе «Эвистора» будет создаваться научно-производственное объединение, с министерством уже согласовано. Меняем всю верхушку. Знаешь, кто будет главным инженером?

— Не знаю и знать не хочу.

— Напрасно — Вадим Терехов.

— Новости... Я только от него... Он сам-то знает?

— Узнает. Хочешь к нему?

— Старшим подметалой?

— Ну зачем. При НПО будет крупное СТКБ. Я тут куратору намекнул, что есть интересная кандидатура. Потянешь?

— Кость бросаешь... А я не собачонка!

— Подумай, второго такого шанса может не быть. Никогда.

— Собираешь под свои знамена разбитую гвардию?

— Угадал.

— «Коренная перестройка управления экономикой»? Я в эти игры давно не играю... И другим не советую.

— Нет так нет. Ты не слепой, а я не поводырь. Выпить хочешь?

— А ты идейный, да?! — неожиданно взорвался Игорь.— Вот эта вот квартира, мебель, топтун под окнами — идейный, да?! Посмотри вокруг: тотальный цинизм, никто ни во что уже не верит!

— Можешь говорить спокойно? — Дяги-

лев привстал, открыл бар, достал коньяк, открутил винт и прямо из горла сделал пару глотков. Протянул бутылку Игорю.

Игорь взял бутылку, посмотрел на этикетку.

— Разбираешься... — Тоже сделал пару глотков, закрутил винт. — Помнишь, я требовал остановить поточную линию. Меня сочли сумасшедшим.

— По тем временам так оно и было.

— Значит, во всем виноваты «те времена»? Но именно в «те времена» ты сделал себе блестящую карьеру!

— А я, между прочим, не стыжусь своей карьеры. И потом, та история с линией — частный случай. Разве в этом дело?

— Об эти частные случаи поломано слишком много хребтов у нашего брата: целая армия шустрит таксистами, барменами, мотается по шабашкам. За каждым частным случаем — человек! — Игорь вскочил с кресла и, картинно выпятив грудь, прошелся по кабинету. Потом шумно выдохнул, ссутулился, сник. — Был человек, а стал этакий сморщенный, ма-ахонький, изуверившийся циник — вроде меня. — Игорь оскалился и заговорщицки подмигнул.

От этого оскала Дягилеву стало как-то не по себе.

— Ты прав, были издержки, — он попытался вернуть Игоря к разговору всерьез. — Но теперь другое время, все поворачивается на сто восемьдесят градусов.

— На сто восемьдесят — это куда? К южному полюсу или к северному?

— К здоровому смыслу.

— Здравый смысл... Какой может быть здравый смысл, если такие, как ты, опять в авангарде? Разве вы уступите кому-нибудь свои кормушки? Да никогда в жизни! — Игорь закрыл лицо руками. — У тебя есть что-нибудь от головы?

— Трещит?

— Раскалывается.

— Ну-ка сядь, расслабься, опусти руки. — Дягилев пошел к Игорю и усадил его в кресло. — Сейчас сделаем массаж, включим микроциркуляторные шунты, и боль прекратится. Это давление.

Он с силой провел рукой по волосам, потом принялся сжимать ладонями голову Игоря со лба и затылка. Сдавил большими пальцами виски.

— Потихе можно? — взмолился Игорь.

— Терпи, сейчас пройдет. — Дягилев закончил свои манипуляции, Игорь тряхнул головой.

— Ну как?

— Вроде легче. Слушай, ты закопал в себе талант лекаря.

— А кого закопал в себе ты? И хватит прикидываться гением. Таких, как ты, знаешь сколько? Мог быть толковым инжене-

ром... Завтра открываем доску Веневитинову, открытку получил?

Игорь кивнул.

— Подрейбай. Ты ведь ходил у него в любимичках, а меня он недолюбливал.

— Мудрый был старик.

— С какой стороны смотреть... Значит, не уступим свои кормушки, говоришь? А почему мы должны их уступать? И кому? Думаешь, легко сидеть на моем месте?

— Не плачь, все равно не поверю. Ты ведь не обо мне печешься и уж тем более не о Вадиме, ты шкуру свою спасаешь. Возникает новый тип экономики, от вас требуют создания конкурентоспособной техники, чтобы не стоять на цырлах перед капиталистами, требуют мгновенного внедрения самых дерзких идей, которых у вас отродясь не бывало. Под вами закачалась земля, которую вы сами превратили в трясину, вот вы и засуетились, вспомнили бывших грешников. Мол, давайте, ребята, забудем прошлое: пашите, творите, держайте, а мы опять будем вкусно есть и сладко спать. Сколько стоит эта бутылочка? Долго ты стоял за ней в очереди?

— Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я всего лишь винтик в этой машине, как ты не можешь понять?

— Не приbedняйся, Серега, какой же ты винтик? Ты теперь самый настоящий болт! Большой, прочный, закаленный на медленном огне «тех времен». На тебе трудно сорвать резьбу, проще нарезать новую. Прощай.

Лифт не работал, о чем извещала табличка. Пришлось подниматься пешком. На лестничной площадке Игорь присел на корточки возле стены, закурил. Не то. Затушил сигарету о каблук, поднялся, подошел к двери и нажал кнопку звонка.

Дверь открыл Олег, брат Ларисы. Молния мастерки была расстегнута, обнажая рельефную мускулатуру тренированного тела.

— Ты? — спросил он и вышагнул на площадку, почти тараня Игоря грудью. Игорь отступил.

— Мне нужно с ней поговорить...

— Я убью тебя, понимаешь? Просто возьму и убью. — Олег схватил руками лацканы плаща и с силой притянул Игоря к себе. Плащ затрещал.

— Позови ее, мне нужно с ней поговорить, — повторил Игорь.

В это время снизу послышались шаги, и на повороте лестничного марша появился интеллигентный мужчина лет шестидесяти с болонкой на поводке. Олег ржал руки, Игорь отпрянул. Это не осталось незамеченным для мужчины, но он не подал вида, продолжая подниматься по ступенькам:

— Насколько я понял, к нам пожаловал гость? — спросил он.— В чем дело, Олег, почему не приглашаешь в дом? Или у вас сугубо конфиденциальный разговор?

— Да, папа,— сдержанно ответил Олег.

— Возьми-ка ее и отведи в ванну,— мужчина протянул поводок Олегу. Болонка тем временем с усердием обнюхала Игоря.— Иди, иди, нам нужно поговорить,— настойчиво повторил мужчина.

Олег нехотя подчинился, потянул болонку за поводок. Та напоследок бойко тявкнула, прежде чем скрыться за дверью.

Мужчина с Игорем остались вдвоем на лестничной площадке.

— Если не ошибаюсь, Игорь? — спросил мужчина, но руку для знакомства не протянул.— Давайте спустимся вниз, у нас чудесный двор. Меня зовут Евгений Андреевич,— представился он.

Они сидели на скамейке возле песочницы. Рядом, в голубоватом свете фонарей, на деревянном помосте возвышался рубленый сказочный домик с покатою крышей, металлические качели и горка.

— ...Жена умерла при родах. Обычно в таких случаях пытаются спасти роженицу, а не новорожденных, но врачи оказались бес-ильные. Так в один день я стал отцом двойняшек и потерял жену... Даже сейчас мне трудно об этом вспоминать...

— Я понимаю... Курите? — спросил Игорь.

— Благодарю. Иногда, в минуты душевно-го волнения, набиваю трубку. Семейная реликвия, осталась на память об отце, а ему она перешла от деда. Знаменитая трубка, подарок самого Можайского.

— Того самого?

— Да, да, того самого, Александра Федоровича, изобретателя первого в мире воздухоплавательного аппарата. Вы кто по профессии?

— Инженер.

— Прекрасная профессия. Сейчас такое замечательное время, невиданные возможности реализовать себя. Прямо дух захватывает, так много свежего воздуха. Знаете, мой отец тоже был инженером, а я с детства увлекся историей и оказался однолюбом: преподаю историю будущим педагогам.— Евгений Андреевич зябко поежился, поднял воротник демисезонного пальто.— Вы не простудитесь в плаще, ночи стали совсем холодные... Отец погиб в ополчении, а мы с мамой, Ларисиной бабушкой, были эвакуированы по Ладогe. Она прекрасно владела инструментом. Первые уроки Лариса получила от бабушки. Она с отличием закончила музыкальное училище и собиралась ехать поступать в консерваторию. И вдруг все рухнуло. Уже три месяца она не подходит к инстру-

менту. Вы сломали ей жизнь. Я хочу спросить, зачем вы это сделали? Вы много старше ее, у вас семья... Зачем? Как вы могли вот так, походя, между прочим?... Она любит вас...

Игорь молчал. Огонек сигареты то разгорался ярче, то становился совсем невидимым после затяжки.

— Зачем вы пришли сюда? Вы должны дать мне слово, что больше никогда, слышите, ни-ког-да не появитесь у нас! Она придет в себя, успокоится. Время залечивает любые раны, я знаю это по себе. Мы переедем в другой город, появится ребенок, а вас просто не должно существовать. Вы должны исчезнуть. Вас больше нет.

Евгений Андреевич поднялся со скамейки.

— Я ненавижу вас.— Он повернулся и не оглядываясь пошел мимо сказочного домика с поднятой крышей, мимо качелей и горки к подъезду, под козырьками которого тускло светилась матовая лампочка.

Старый трехэтажный кирпичный дом был готов к сносу. У входа в подъезд валялась выброшенная мебель, подшивки газет, велосипедная рама. Игорь поднялся по обшарпанной лестнице, своим ключом открыл дверь и оказался в коридоре коммунальной квартиры. Отсюда, судя по царившему беспорядку и запустению, все уже выехали, однако свет на кухне почему-то горел, тускло освещая коридор.

Игорь прошел по коридору и заглянул на кухню. Возле плиты, завернувшись в простыню, в шлепанцах на босу ногу стоял тот самый Саня, шабашивший с Игорем на силосной башне, и что-то жарил. Сковорода яростно шипела.

Игорь подкрался сзади и руками закрыл Сане глаза.

— Ксения, не балуй! — пробасил Саня, даже не попытав обернуться.

— Ну сколько можно ждать, дорогой? — тонюсеньким голосом пропищал Игорь.

Саня попытался обернуться, но не тут-то было.

— Отпусти, не видишь — подгорает,— сказал он.

Игорь разжал руки, Саня обернулся.

— Ты? — изумился он.

— Как ты меня назвал?

— Я с птичкой, старик. С птичкой-невеличкой.

— Помешал?

— Ничего, у нас обеденный перерыв. При-соединяйся,— добродушно пригласил Саня.

Когда они вдвоем вошли в комнату, «птичка-невеличка» испуганно взвизгнула и юркнула под одеяло.

— Не пугайся, Ксюха, у нас гость.— Саня поставил шипящую сковороду на столик, подложив под нее журнал.

— Надо предупреждать,— обиделась та.— Отвернитесь, я оденусь.

Отвернулись.

Саня обитал в обшарпанной комнатухе, стены которой были увешаны афишами местного драмтеатра и фотографиями футбольных звезд.

— Все, можете поворачиваться,— разрешила Ксюха.

Повернулись.

Ей было едва за двадцать. Наивное, чуть обиженное, милое личико.

— Ксения,— она первая протянула Игорю руку. Он вежливо поклонился и поцеловал ее. Обида сменилась удивлением.

— Ладно, братцы, давайте шамать! — призвал Саня.

Ксения, прихватив полотенце, вышла из комнаты. Игорь проводил ее взглядом.

— Ничего? — с пониманием спросил Саня.

— Кто такая?

— Новая гримерша, она у нас первый сезон. Нормальная кукла. Мужики сразу засуетились, так и стелются. У нас ведь так: и замуж не отдадут, и в девках не оставят. Но ведь актеришки, нищета. А я цветы, духи, шампанское! Сломалась.

— Ну ты жук.

— Они актеры, богема, а я человек простой, работяга, декорации сколачиваю. Я не только сколачиваю, но и разрушаю... силовых башни! — Саня расхохотался над собственным каламбуром.

— Зачем она тебе?

— Хочешь отбить? О! — Саня показал Игорю фигу.

— Дурак.— Игорь присел на край кровати.

— Не нравишься ты мне в последнее время.

— Почему? — равнодушно спросил Игорь.

— Раньше ты был нормальным чуваком, что случилось? Жизнь съехала набекрень, так не у тебя одного. Созрели мы, Игорек, пора падать на землю.

— Уже упал...

— Тем более, лежи и не рыпайся.— Саня потрепал по плечу сутулившегося Игоря.— А хочешь, бросим все и махнем куда-нибудь к едрене фене. И гори все синим пламенем! — Давай! — неожиданно согласился Игорь.— Куда?

— Да куда угодно.

— Не получится... Никуда мы, Саня, с тобой уже не махнем, ни-ку-да... И обратного хода нет. К станку ты уже не пойдешь и жить по мизеру не захочешь. Я тоже...

— Ну и хрен с ним, с моим станком и с твоим дипломом. Шабашек на наш век хватит, а начнут брать за зябры — организуем кооператив.

— А потом в один прекрасный момент...

Отворилась дверь, и вошла Ксения с полотенцем через плечо.

— Где пропадаешь, давай к столу,— оживился Саня и опять повернулся к Игорю: — Так что там, в один прекрасный момент?

— Так, ничего... Забыл.

— В ванной полно тараканов,— доложила Ксения.

— Тоже божьи твари, пусть живут последние денечки, скоро на слом,— ответил Саня.— Ксюха, помоги развеселить гостя — хандрит, бродяга.

— Почему вы хандрите? — спросила Ксения.— У вас неприятности?

— Еще какие! Шутя подарил соседу лотерейный билет, а он взял и выиграл «Волгу».

— Неужели?! — изумилась Ксюша.

— Честное пионерское,— поклялся Игорь.

— Вы шутите,— догадалась она.

— Он вообще человек с юмором, но в последнее время юморит лишь по большим праздникам,— сказал Саня.

— Сегодня сам бог велел — День учителя!

— Елки зеленые, а у нас ни в одном глазу,— вскинулся Саня. Он достал откуда-то из-под стола начатую бутылку вина.

Сели к столу, подняли фужеры.

— Сегодня встретил старого знакомого, когда-то вместе учились в институте,— вдруг ни с того ни с сего сказал Игорь.— Он теперь бо-ольшой начальник местного разлива.

— За наших учителей! Поехали,— не мудрствуя лукаво предложил Саня и первым осушил бокал.

— Встретили, и что дальше? — заинтересовалась Ксения.

— Дал ему по физиономии.

— Правильно сделал,— одобрил Саня.— Терпеть не могу начальников.

— А он что? — Ксения была заинтригована.

— Дал мне сдачи и предложил хорошую должность, в духе перестройки.

— Как интересно... И вы согласились?

— Саня, чему нас учили древние мыслители? — спросил Игорь.

Саня не ожидал такого вопроса, он нажимал на закуску.

— А древние мыслители учили, что нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Нельзя, Ксюша, вот в чем беда. Так что пусть они перестраиваются, а мы на них посмотрим с высоты силовых башни. Верно, Саня?

— Игорек, ты опять в форме! — Саня принялся снова наполнять фужеры.— Предлагаю выпить за то, чтобы, как говорится, у нас все было и чтобы нам за это ничего не было!

— А кем вы работаете, если не секрет? — не унималась Ксения.

— Не секрет — шпионом.

— Зачем вы так...— обиделась она.

Игорь помолчал, отхлебнул из фужера.

— «А годы проходят — все лучшие годы...»

Саня, кто сказал?

— Пушкин?

— Почти угадал...

— Зря вы отказались. Мне кажется, вы жалеете, — сказала Ксения. — Вот телефон, позвоните ему прямо сейчас и скажите, что согласны.

— Чудачка ты, Ксюха, иди ко мне, — поманил ее Саня.

— А его не слушайте, он толстокожий, ему этого не понять. Вы абсолютно другой человек, — она протянула Игорю аппарат.

— Ксюха, не балуй, — шаловливо погрозил пальцем Саня.

— Тебя еще не отключили? — спросил у него Игорь и поднял трубку. Послышался непрерывный гудок.

— Да, елки зеленые, чуть не забыл: тут Алька недавно звонила, разыскивает тебя. Что там у вас с пацаном? — Саня разлил остатки вина по фужерам.

— Ангина. Мороженого переел, сукин сын.

— У него резко подскочила температура, Алька вызвала неотложку.

— Что?! — Игорь принялся накручивать диск. — Занято... Давно она звонила?

— Часа полтора назад.

Игорь снова набрал номер.

— Але, але, девушка! Але! У вас был вызов на Фрунзе, 26? Так... Посмотрите, пожалуйста. Горяев... Куда отвезли?! Спасибо. — Он кинул трубку, крутанулся по комнате, отшвырнул табуретку, схватил плащ и бросился в прихожую. Замок никак не хотел открываться. Игорь уперся ногой в косяк и наверно вырвал бы его с «мясом», не подоспей Саня вовремя.

Заплетааясь ногами на поворотах, ринулся вниз по лестнице.

Когда Саня вернулся в комнату, то застал Ксению в курточке и вязаной шапочке.

— Ты куда это на ночь глядя? — изумился он.

— В общагу.

— Что случилось?

— Я ухожу, только и всего, — ответила она.

— Погоди, объясни в чем дело?

— Все равно не поймешь. Пусти. — Она отодвинула его плечом и вышла.

Саня остался один. Подошел к столу, поддел вилкой огурец, с хрустом разжевал и осушил чей-то недопитый бокал.

Фургон с надписью «Хлеб» мчался по пустынным улицам уснувшего города, чуть притормаживая на перекрестках. Транспорта почти не было, семафоры работали в ночном режиме — мигал желтый свет.

— Что с ним? — спросил водитель.

— Самая обычная ангина, думал, послезавтра в школу пойдет, вдруг резко подско-

чила температура. Жена вызвала неотложку, — ответил Игорь.

— Сам-то где был, в ночную работаешь?

— В ночную. Приемный покой лоротделения, четвертый корпус.

— Ты еще этаж назови и номер палаты. Довежу до ворот, там найдешь. У них на въезде «кирпич» висит.

Дверь в приемный покой оказалась запертой, но в стене торчала кнопка звонка. Игорь нажал ее и не отпускал до тех пор, пока за дверью не послышалось ворчанье. В проеме отворившейся двери появилась тучная женщина в белом халате и белой шапочке.

— Нельзя же так звонить, молодой человек. Тут есть что-нибудь, — она постучала по своей голове, — или торричеллева пустота?

— Мамаша, к вам недавно поступил мальчик, Горяев Вася, Фрунзе, 26. — Игорь оттолкнул ее в сторону и ринулся в приемный покой.

— Вы куда? — она ухватила его за рукав плаща.

— К вам недавно поступил мальчик...

— Поступил, ну и что?

— Что с ним?

— Заболел. Здоровые к нам не поступают. Хороший мальчик, умный. А вы кто будете?

— Отец.

— У вашего мальчика развился паратензилярный абсцесс. Его принял дежурный врач. Теперь ваш сын в палате и наверняка уже спит.

— Я могу его видеть?

— Нет. Мы все объяснили вашей жене, она в курсе, так что поезжайте домой и успокойтесь.

— Ну хотя бы дежурного врача я могу видеть?! — взревел Игорь.

— Дежурного — можете, — перепугалась женщина. — Посидите здесь, я позвоню.

Он сел и попытался взять себя в руки, но возбуждение не проходило. Вскочил и принялся ходить от стены к стене.

Дежурным врачом оказалась милая крохотная девушка в очках, этакая курносенькая Дюймовочка.

— Вы отец Васи Горяева?

Он растерянно посмотрел на нее сверху вниз.

— У вашего мальчика паратензилярный абсцесс — осложнение после ангины.

— Но ведь температуры уже не было, думали, послезавтра в школу пойдет.

— Все правильно, прямо как в учебнике. Если подобное еще раз повторится, ему будет показана операция на удалении гланд. Он должен беречь свое горло. Закаливание, водные процедуры, пусть чаще бывает на свежем воздухе. Абсцесс я ему уже вскрыла, сейчас он спит.

— Я могу его видеть?
— Не можете. Вот правила, ознакомьтесь, пожалуйста. Передачи принимаем по вторникам и пятницам: конфеты, печенье, соки, фрукты. Мясных и колбасных изделий не принимаем. Я все объяснила вашей жене.

— Так я могу его видеть?

— Возьмите себя в руки, мужчина.

— Не получается...

— У вас такая милая жена. Поезжайте домой, успокойте ее и сами успокойтесь. Я назначила ему антибиотики, в конце недели заберете мальчика домой. Ничего страшного, уверяю вас. Он лежит на четвертом этаже, двенадцатая палата. Можете завтра привезти письмо и передачу.

Игорь вышел на улицу из приемного покоя, оглянулся на темную громаду пятиэтажного корпуса. Горело всего три-четыре окна.

Где там Васька?

Игорь обошел корпус вокруг. Пожарная лестница находилась в торце здания и началась где-то на уровне второго этажа. На нее можно было попасть с козырька над дверью запасного выхода, но для этого нужно было преодолеть несколько метров по узенькому выступу.

Игорь затравленно оглянулся вокруг. Никого, холодная осенняя ночь да фонари на центральной аллее.

Он уцепился за нижний сук тополя, подтянулся, забрался на уровень козырька по стволу дерева. Ноги не дотягивались до козырька. Пришлось забраться выше. Перебрался по сучку поближе к козырьку. Прикинул — вроде должно получиться. Оттолкнулся и прыгнул.

Приземлившись на козырьке, он встал на колени, пощупал руками выступ. Попробовать можно, до лестницы метра три, не больше. Впявляя пальцами в неровности кирпичной кладки, он сделал первый шаг. За ним второй, третий. Лестница была совсем рядом, он уже потянулся к ней рукой, но сделал это преждевременно. В последний момент успел оттолкнуться ногами, чтобы не попасть на бордюр, и полетел вниз.

Приземлился удачно. Хорошо, что не так высоко. Надо было начинать все сначала.

Снова забрался на дерево, перебрался по сучку и прыгнул на козырек. Теперь он шел по выступу осторожно. Вот и лестница. Ухватился за железную ступеньку-прут и долго переводил дыхание.

Теперь — наверх. Третий этаж, четвертый. Рядом с лестницей горело окно. Игорь перевесился и заглянул в него.

По всей вероятности, это была ординаторская: несколько столов, платяной шкаф, диван, телевизор. За одним из столов сидела Дюймовочка и что-то писала.

Игорь тихонько поскреб пальцем по стеклу. Дюймовочка удивленно подняла голову и по-

смотрела в окно. Никого, да и кто там мог быть? Она опять склонилась над бумагами, но тут в окно тихонько постучали. Она резко повернула голову и увидела Игоря. Он улыбнулся ей и помахал рукой.

Дюймовочка прилипла к стулу, ручка выпала у нее из рук, но вскоре самообладание вернулось к ней. Она поднялась из-за стола и осторожно подошла к окну. Предусмотрительно открыла сначала лишь форточку. Игорь сразу же поднялся выше и просунул в форточку голову:

— Доктор, миленькая, я даже не буду заходить в палату. Мне только глянуть... Только убедиться, что он жив.

— К-как у вас язык поворачивается? — Дюймовочка еще не оправилась от испуга.

— Разрешите, одним глазком...

— Я вызову милицию.

— Вызывайте. Но прежде разрешите взглянуть на сына.

Он видел, что она колеблется, но дожидать не стал, только молча смотрел на нее преданными умоляющими глазами.

И Дюймовочка не выдержала — щелкнула шпингалетами.

Он забрался в ординаторскую, спрыгнул с подоконника.

— Снимите плащ, наденьте халат,— строго приказала она.

Игорь безропотно подчинился: снял плащ и надел халат, который она достала из шкафа.

— Идем.

В коридоре стоял полумрак. На столе дежурной горела лампа, дежурная спала. Игорь с Дюймовочкой осторожно миновали ее. Из палаты вышел сонный мальчик в пижаме и поплелся в конец коридора.

— Тс-с-с,— предупредила Дюймовочка, осторожно приоткрыла дверь в одну из палат и на всякий случай встала в притворе, но Игорь и не собирался нарушать договор.

Васька спал спокойно и крепко, причем в своей излюбленной позе на спине, закинув руки за голову.

— Убедились? — она тихонько прикрыла дверь.

— Спасибо вам, доктор,— прошептал Игорь.

Мальчик в пижаме протопал мимо них в свою палату. Они вернулись в ординаторскую.

— А теперь живо одевайтесь и уходите, иначе я и впрямь вызову милицию.

— Ваши любимые цветы?

— Вы слышали, что я сказала?

— Ухожу.— Он скинул халат, надел плащ и направился к окну.

— Вы куда? — испугалась Дюймовочка.

— Туда,— мотнул головой Игорь.

Когда он был уже на пожарной лестнице и начал спускаться, она легла грудью на подоконник и со страхом посмотрела вниз.

Станция юных техников находилась в одном здании со станцией юных туристов. Это было современное трехэтажное здание.

Тихон наверняка спал, свет в вестибюле центрального входа был погашен.

Игорь прошел вдоль здания, перелез через забор и зашел с тыла. Покопался ключом в скважине запасного выхода, открыл дверь. Двигаться приходилось на ощупь. В рекреации второго этажа безбоязненно щелкнул выключателем. После некоторого раздумья одна за другой начали вспыхивать неоновые лампы.

Со стен салютовали юные пионеры, юные техники запускали в небо легкокрылые планеры, юные туристы с рюкзаками на плечах преодолевали горные вершины. За стеклом ярко зеленел макет пересеченной местности.

Игорь миновал рекреацию и оказался возле двери с надписью «Фотокружок».

Из просторной комнаты, где стояли на треногах аппараты-гармошки, а на стенах висели многочисленные таблицы, одна дверь вела в его каморку, другая — в лабораторию.

Фотолаборатория была оборудована большими промывочными ваннами, системой кранов, на полках стояли банки с реактивами и несколько фотоувеличителей.

Неожиданно в каморке зазвонил телефон. Игорь метнулся туда, машинально схватил трубку, но тут же опомнился и положил ее. Кто мог звонить сюда в такое время? Он постоял у аппарата, но звонок не повторился.

Тогда Игорь полез под стол, вытащил набор слесарных инструментов, выбрал огромный разводной ключ и вернулся в лабораторию.

Соединительная муфта на водопроводной трубе никак не хотела поворачиваться. Он навалился на ключ всем телом — бесполезно. Надо было либо увеличивать рычаг, либо попробовать надавить ключ ногой, что он и сделал. Муфта подалась. Главное — стронуть с места. Он снова навалился...

Вода ударила неожиданно и мощно — ночью напор особенно силен. Его сразу обдало с головы до ног. Вода с шипением вырывалась из трубы, быстро растекаясь по полу.

Игорь отошел в сторону, не выпуская из рук гаечного ключа. Вода прибывала. Надо было спасать реактивы и фотоувеличители.

Начал с увеличителей: схватил два ближних и быстро перенес к себе в каморку, вернулся за следующими.

Потом дошла очередь до реактивов.

Вода все прибывала, приходилось уже бродить по щиколотку. Когда он открывал дверь, вода потоком переливалась в соседнюю комнату с таблицами на стенах.

Игорь не мог видеть, что в это время к зданию подъехало такси. Из машины вышла Аля, подняла голову.

На втором этаже светилось несколько окон.

— Вроде все выключал, почему горит? — ворчал спросонья Тихон, поднимаясь по лестнице впереди непрошеной гостьи.

Но свет в рекреации и впрямь горел. Мало того, из-под дверей фотокружка растекалась по линолеуму огромная лужа.

— Никак, трубу прорвало, — озабочился Тихон.

Надо было что-то делать, вода прибывала. Мокрый, со спутанными волосами, Игорь попытался закрутить соединительную муфту, но сильная струя не хотела угмониться — была во все стороны. Он со злостью грохнул ключом по трубе и отвалился в сторону, чтобы перевести дыхание, и тут услышал за дверью возбужденные голоса. Захотелось спрятаться, исчезнуть, провалиться сквозь землю, но было поздно — дверь распахнулась.

От хлынувшей в ноги воды Тихон совсем растерялся:

— Ну и ну, настоящий потоп... — И тут увидел Игоря. — Игорь Васильевич, а ты откуда?

— Вызывай аварийку, — спокойно приказал Игорь.

Тихон, отгесняя Алю, суетливой старческой походкой засеменял через рекреацию к лестнице, на свой пост, где стоял телефон.

Под молчаливым взглядом жены, не выпуская из рук гаечного ключа, Игорь с трудом поднялся на ноги. С одежды ручьями стекала вода.

— Шпионишь?! — неожиданно взорвался он. — Ну что, убедилась?! Ты не веришь мне, а я талантливее всех их, вместе взятых! Всех! Видишь, что творится, а ты не верила! Как ты мне надоела, зачем ты шпионишь за мной?! Полюбуйся! — Он принялся топтать ногами, разбрызгивая воду. Это была самая настоящая истерика. Он еще что-то кричал, потом вдруг затих, разжал руку. Ключ плюхнулся в воду.

Аля словно ждала этого.

— Сейчас приедет аварийка, воду перекроют, ничего страшного... — глаза ее наполнились слезами. Она подошла к нему и

прижала к себе его мокрую голову.— Все будет хорошо, вот увидишь... Я верю тебе... Все будет хорошо... Мы поедем домой, ты ляжешь в чистую постель... Идем, все будет хорошо...— Она закинула его висящую плетью руку себе на плечо.

Они вышли в соседнюю комнату, потом в рекреацию.

Аля помогла ему втиснуться на заднее сиденье. Руки и ноги были словно чужие, весь он обмяк и лишь стучал зубами от холода.

Она села рядом, он прижался к ней.

— Фрунзе, 26,— сказала она.

Такси тронулось.

На следующий день, ближе к обеду, на фасаде одного из домов в центральной части города открывали мемориальную доску заслуженному деятелю науки и техники, профессору Веневитинову.

Собралась небольшая толпа, в основном, бывшие ученики. Были представители из нынешней профессуры, группа студентов, несколько военных. Чтобы на проезжей части не образовалась пробка, движением руководил гаишник с жезлом.

Состоялся короткий митинг. Для этой цели была привезена небольшая дощатая трибуна. Дягилев произнес пламенную речь. Рядом с ним на трибуне стояла согбенная старушка в черном — вдова профессора.

Тут же находился Вадим. Блестел лысиной, кутаясь в шарф, Лева — один из авторов барельефа.

Сдернули белое полотно, открылась доска из серого гранита.

А на другой стороне улицы, чуть поодаль, стоял и смотрел на все это, привалясь плечом к дереву, молодой мужчина в плаще с поднятым воротником, с уставлыми после бессонной ночи глазами, некогда ходивший в любимчиках у профессора Веневитинова.

...Выдался по-настоящему солнечный осенний день. В такой день хорошо оказаться где-нибудь в лесу, бродить между деревьев и слушать шорох опавшей листвы под ногами. Хорошо выйти к лесному ручью, раздуть костерок и присесть у огня.

1986 г.



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Публикация

Евгений Трубецкой

ИЗ КНИГИ «СМЫСЛ ЖИЗНИ»

Об авторе и его книге

Книга кн. Е. Н. Трубецкого «Смысл жизни», отрывки из которой публикуются ниже, была написана (по его собственному признанию) в период особенно «мучительных переживаний мировой бессмыслицы», порожденной катастрофой первой мировой войны и последовавшей за этим революции в России. В такие эпохи, писал он в Предисловии к ней, — «потребности ответить на вопрос о смысле жизни... чувствуется сильнее, чем когда-либо»¹.

Сегодня мы хорошо знаем, что отнюдь не все задавали себе в те годы подобные вопросы. Более того, пафос рождения нового мира, которым жили участники революции, и был, собственно, источником их уверенности в том, что смысл жизни уже найден. Не считаясь с насилием и жестокостью, эти люди верили, что они приносят себя тем самым в буквальном смысле этого слова в жертву обретенному идеалу.

«И все же, насколько оправданы в человеческой истории насилие, жестокость и войны?» — спрашивал Трубецкой. И отвечал: «Когда услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь; ибо надлежит сему быть» (Еванг. от Матфея, 24,6). Полагая, что чем мучительнее ощущение царствующего кругом зла и бессмыслицы, тем яснее проступает тот безусловный смысл, который «составляет разрешение мировой трагедии».

Нам не легко, естественно, принять сегодня не только саму парадоксальность этих выводов, но и систему их аргументации, опирающейся на тексты Библии. Однако зададим в свою очередь и мы, теперь уже себе, следующий вопрос: а можно ли иначе и нам понять сталинизм и порожденное им зло? То есть не поверить фактически в само зло как таковое. Ибо поверить в него (а значит и признать) можно, очевидно, только в состоянии глубоко пережитого ужаса, страха. В противном случае

объяснить тот масштаб и характер репрессий, что были совершены во времена Сталина, просто невозможно. На это не способен ни один нормальный человеческий ум. Насилие и жестокость такого рода оказываются вне рамок человеческой целесообразности и нашего понимания.

Об этом, собственно, и говорится в книге Трубецкого, который противопоставляет в ней «религию любви» «религии страха», ставящую нас, действительно, перед неразрешимым парадоксом, выйти из которого можно только признав абсолютную ценность человеческой жизни, объемлющей в себе, как он пишет, «и вечное, и временное, и безусловное, и относительное».

Е. Н. Трубецкой родился 5 октября 1863 года в Москве и принадлежал к старинному княжескому роду. После окончания Московского университета (юридический факультет) в 1885 году он становится преподавателем политической философии в Ярославском юридическом лицее, а затем — профессором Киевского и с 1906 г. — Московского университетов. Один из основателей и руководитель религиозного издательства «Путь» и одновременно редактор-издатель либерального политического журнала «Московский еженедельник». В годы революции Трубецкой был членом Государственного Совета и одним из вождей умеренно-либеральной партии «Мирное обновление». Был также товарищем председателя Всероссийского Собора Православной Церкви и членом созданного Собором Высшего Церковного Совета при патриархе. Скончался 23 января 1920 года в Новороссийске.

Следуя за Вл. Соловьевым (с которым он был связан личной дружбой), Трубецкой, по отзывам современников, являлся одним из самых благородных сторонников идеи христианского возрождения общественной жизни в России, представляя ее антиутопическое, реалистическое крыло. Свое религиозно-философское мировоззрение он выразил в трудах, посвященных истории западного христианства и анализу учения Вл. Соловьева.

Юрий Сенокосов

Катастрофические эпохи и «последние дни»

Есть пророческие слова в Евангелии, совершенно точно выражающие значение наших катастрофических переживаний.

¹ Трубецкой Евг. Смысл жизни. Берлин, 1922, с. 7

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю: не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку с свекровью ее. И враги человеку домашние его (Матф., X, 34-37). В октябре 1917 года, в дни московского расстрела, мне пришлось наблюдать одну такую семейную драму — образец того, что в катастрофические периоды истории переживается многими семьями. Отец принадлежал к правящим большевистским сферам; сыновья-офицеры сражались против большевиков, а мать была на стороне сыновей против мужа. Так и говорится в Евангелии: Предает же брат брата на смерть и отец сына; и восстанут дети на родителей и умертвят их (Матф., X, 21).

Между царством Божиим и царствующим на земле злом не может быть никаких компромиссов. Вот почему крушение двойственных, противоречивых установлений, осуществляющих на земле недопустимый компромисс между добром и злом, рассматривается в Евангелии как признак близости второго пришествия Христа. Чтобы осуществился на земле безусловный, вечный мир между Богом и тварью, должен разрушиться тот ложный мир, который соединяет тварь с чуждым и с враждебным Богу началом. Решительное, ясное самоопределение твари к добру или ко злу не оставляет для такого мира места на земле. Вот почему, по Евангелию, близость второго пришествия Христа предвещается катастрофическими событиями, в которых выражается глубочайшее внутреннее разделение мировых начал. Чтобы определиться к своему окончательному, грядущему образу, мир земной должен перестать быть «смешанным телом». Суд вечного Логоса над миром и есть тот острый меч, который рассекает всякие двусмысленные сочетания, — все, что носит на себе печать полу-лжи или полу-правды. И это рассечение — процесс болезненный, катастрофический.

В человечестве внутреннее разделение выражается прежде всего в войнах; но войны — не конец, а начало всеобщего разделения, которое должно проникнуть во все общественные отношения. Так и говорит Евангелие. Когда услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть; но это еще не конец (Марк., XIII, 7. Матф., XXIV, 6. Лук., XXI, 9). Евангелие указывает и другие признаки всеобщего распада человечества, — глады и смятения (Марк., XIII, 8), моры (Матф., XXIV, 7). Мы знаем, что все эти явления тесно связаны с войною и составляют естественное ее последствие. Смута рождается из войны, потому что

война расшатывает весь государственный механизм, голод, — потому что война и смута повреждают все народное хозяйство и, наконец, моры, — потому что война всегда служит причиной возникновения жестоких эпидемий. В Евангелии указывается еще одно явление, служащее предвестником близкого конца вселенной, — землетрясения по местам (Матф., XXIV, 7, Марк., XIII, 8, Лук., XI, 11). Связь между этими явлениями вулканических сил и событиями истории человечества в данном случае не очевидна и не может быть вскрыта научным анализом; но мистически связь явлений человеческой разрухи с явлениями разрушения космического вполне понятна. Раз смысл всемирной истории есть тем самым и смысл существования земной планеты, — конец человечества есть тем самым и ее конец; поэтому и совпадение катастрофических событий истории «ужасными явлениями» (Лук., XI, 11) вполне естественно.

Само по себе крушение бессмыслицы еще не есть осуществление смысла. Поэтому неудивительно, что во всех отмеченных здесь проявлениях хаоса во внешней природе и в человечестве Евангелие видит только начало болезней (Матф., XXIV, 8, Марк., XIII, 8). Предсмертная болезнь вселенной достигает кульминационной точки своего развития лишь в тот момент, когда началом разделения борющихся в мире стихий становится сам смысл мира, когда мир раскалывается надвое в ожесточенной борьбе за или против Евангелия. Для этого нужно, чтобы Евангелие Царствия было проповедано по всей вселенной (Матф., XXIV, 14). Лишь после этого возможно наступление того всемирного гонения против проповедников веры Христовой, которое и будет ближайшим предвестником всеобщего конца. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазняются многие; и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга (Матф., XXIV, 9-10). Борьба будет вестись не только мечом крови, но и духовным оружием лжехристов и лжепророков, которые прельстят многих (Матф., XXIV, 5, 11).

Все указанные Евангелием признаки близости конца вселенной налицо в наши дни; и, однако, мы должны быть чрезвычайно осторожны в выводах из этого факта. В большей или меньшей степени те же явления повторяются во все дни великих мировых потрясений и кризисов. Не в первый раз мир обгаряется кровью, и не в первый раз из войны рождается смута и голод; также и гонение против Церкви, начавшееся на наших глазах, — не только не первое, но и

далеко не самое беспощадное. От начала христианской эры не раз повторялись катастрофические эпохи, и всякий раз события вызывали в христианском обществе эсхатологические предчувствия; сопоставляя их с пророчествами Евангелия, христиане говорили о непосредственной близости конца. О последних днях говорили христиане в дни крушения западной римской империи. Средневековье, где состояние войны и междоусобия имело характер хронический, было полно предчувствием непосредственной близости конца. Предчувствия эти обострились в веке реформации и вызванных ею войн. У нас в России эсхатологическое настроение было вызвано в царствование Петра Великого многочисленными войнами и гонениями против раскольников; оно возродилось в дни войн наполеоновских. Из века в век повторялся все тот же оптический обман. Всякий раз оказывались одинаково неправыми те, кто приурочивал евангельские предсказания к какой-либо определенной дате, более того, — к определенной эпохе истории. А в то же время всякий раз была и великая правда в тех предчувствиях.

Мировые катастрофы повторяются в истории. При каждом повторении они становятся глубже и шире, распространяются на все большую и большую область земной поверхности. Мы не знаем и знать не можем, сколько раз суждено повторяться в мире катастрофическим явлениям войны, смуты, голода и гонения, как часты и как сильны будут в будущем землетрясения, которых также бывает много во все века. Но, как бы часто ни повторялись эти ужасы, — безусловный смысл их всегда один и тот же. Они всегда означают не только близость конца, но и действительное его приближение. Ошибка начинается только с того момента, когда мы начинаем мерить эту близость нашим человеческим аршином, т. е. днями или годами в буквальном смысле и, в особенности, — определенными датами.

Сам Христос жил в предчувствии близости последних дней. Истинно говорю вам: не пройдет род сей, как все сие будет (Матф., XXIV, 34, Марк., XIII, 30, Лук., XXI, 32). Более того, все наши человеческие умозаключения от катастрофических событий к близости конца вселенной заранее оправданы в Евангелии. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко царствие Божие (Лук., XXI, 31). Но только не следует забывать, что подлинный смысл этого изречения может быть понят лишь в связи с другим изречением Христа. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец (Марк.,

XIII, 32, Матф., XXIV, 36). Стало быть, уверенность в близости пришествия Христа признается вполне правильным выводом из событий, но только она не должна переходить в самонадеянное и легкомысленное гадание о сроке. Христос несомненно чувствовал и сознавал Царствие Божие; как имеющее наступить вскоре, находящееся близко, при дверях (Марк., XIII, 29¹). И предчувствие это, разумеется, не опровергается тем, что со дня рождения Спасителя идет уже двадцатый век: ибо у Бога день, как тысяча лет.

Что понимать под тою близостью Царствия Божия, о которой говорят приведенные тексты, — близость срока или близость цели? Раз срок составляет тайну не только для людей, но и для ангелов, очевидно, что не о нем здесь идет речь. Притом, что следует разуметь под сроком близким? Раз близость измеряется не человеческою мерою, — она имеет здесь иной, божественный и, стало быть, вовсе не временный смысл. Ибо для Божества, которое объемлет все течение времени во единый миг, близки все сроки, в том числе и те, которые нам, людям, кажутся бесконечно отдаленными. Очевидно, что под близостью тут следует разуметь нечто другое, — именно метафизическую близость цели. При таком толковании все изречения Евангелия относительно признаков второго пришествия Христа сразу приобретают глубокое конкретное применение ко всем катастрофическим эпохам истории вообще и к нашей эпохе в частности.

Путь спасения — вообще путь катастрофический. И каждый новый шаг на этом пути, каждое новое огненное испытание готовит катастрофу заключительную и тем самым приближает мир к его вечному концу. Когда сгорает человеческое благополучие, гибнут относительные ценности, рушатся утопии, — это всегда бывает признаком, что Царство Божие близко, при дверях: потому что именно через отрешение от утопического и относительного человек сердцем приближается к вечному и безусловному. Именно катастрофа, в которой гибнет временное, готовит грядущий космический переворот. Царствие Божие вначале не приходит примитивным образом; оно зачинается во внутреннем мире человека. Но этот внутренний переворот души, обращающейся к Богу, имеет необъятное, космическое значение: ибо в нем осуществляется перемещение центра мирового тяготения. Благодаря крушению

¹ Ср. вступительные слова Апокалипсиса: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре» (Апок. I, 1).

земных надежд происходит величайший сдвиг в жизни духовной: человеческие помыслы, желания, надежды переносятся из одного плана существования в другой. И в этом сдвиге являются в мире величайшие творческие силы. Именно в катастрофические эпохи человеческого сердца дает миру лучшее, что в нем есть, а уму открываются те глубочайшие тайны, которые в будничные эпохи истории заслоняются от умственного взора серою обыденщиной. Среди пламени мирового пожара, уничтожающего обветшавшие формы жизни, рождаются те величайшие откровения Духа Божия на земле, которые предвзвоят явления новой земли. Эти явления божеского в человеке несомненно предвещают и готовят «последние дни», ибо именно в них, видимо, воплощается смысл всего творения — конец и предел всего мирового развития. Но было бы глубоко ошибочно видеть в этих предвестниках конца какие-либо хронологические указания на тот день, который придет «как тать в ночи».

Фаталистическое и христианское понимание конца

С этой точки зрения нам нетрудно разоблачить сущность другого отмеченно выше заблуждения — фаталистического понимания конца мира.

Конец мира есть второе и окончательное пришествие в мир Христа Богочеловека; это — не простое прекращение мирового процесса, а достижение его цели, исчерпывающее откровение и осуществление его внутреннего (имманентного ему) смысла. Конец мира, так понимаемый, не есть внешний для человечества фатум: ибо Богочеловечество есть обнаружение подлинной идеи-сущности всего человечества. Пришествие Христово означает полное преобразование всего человеческого и мирского в Божеское и Христово.

Такое космическое превращение по самому своему существу и замыслу не может быть односторонним действием Божества. Второе пришествие Христово, как акт окончательного объединения двух естеств во всем человечестве и во всем космосе, есть действие не только Божеское и не только человеческое, а Богочеловеческое. Стало быть, это — не только величайшее чудо Божие, но вместе с тем и проявление высшей энергии человеческого естества.

Христос не придет, пока человечество не созреет для Его принятия. А созреть для человечества именно и значит обнаружить высший подъем энергии в искании Бога и в стремлении к Нему. Осюда следует, что конец мира должен быть понимаем не фаталистически, а динамически. Это не какой-либо внешний, посторонний миру акт божественной магии, а двустороннее и при этом окончательное самоопределение Бога к человеку и человека к Богу — высшее откровение творчества Божества и человеческой свободы.

Очевидно, что такой конец миру может быть подготовлен не пассивным ожиданием со стороны человека, а высшим напряжением его деятельной любви к Богу, стало быть и крайним напряжением человеческой борьбы против темных сил сатанинских.

Как сказано, конец мира должен быть понимаем в положительном смысле — достижения его цели. Цель мира — не прекращение жизни, а, наоборот, ее преизбыточествующая и совершенная полнота. Поэтому и утверждение «близости конца вселенной» должно звучать не как призыв к неделанию, а наоборот, как призыв к энергии в созидании непреходящего и существенного. В наши дни, когда постигшие нас тяжкие испытания заставляют людей говорить и думать о близости конца, надо начать с уяснения понятия «конца» в христианском значении этого слова.

По этому поводу теперь придется слышать множество неверных суждений. «Конец близок, это значит, что никакого дела делать не стоит». Помнится, в девяностых годах в нашем юго-западном крае появилась религиозная секта, так называемая «малеванщина». Последователи этой секты, в ожидании скорого пришествия Христова, забросили всякие будничные дела, перестали возделывать поля, покинули ремесла и проводили время кто в молитве, а кто и просто в удовольствиях, покупая сласти и наряды. Аналогичные настроения возрождаются и теперь, хотя, куда, не в столь карикатурном виде. Во всяком случае, фаталистическое понимание конца, в наши дни общего ослабления энергии, распространено не меньше, а скорее, больше прежнего. По этому поводу мне кажется не лишним припомнить сказанное мною несколькими годами раньше.

«В действительности конец есть отрицание только пустых и суетных дел, — только тех, которые пребывают под законом смерти и всеобщего горения. Есть другие дела, которые не сгорают, потому что они вносят в гераклитов ток непреходящее, субстанциальное содержание. По отношению к таким делам, конец есть не отри-

вание, а завершение, утверждение их в вечности».

«Конец близок! Это значит, что жизнь должна идти полным ходом к цели: непрерывно должно продолжаться то восхождение, которое в процессе эволюции идет от зверочеловека к Богочеловеку. И так как восходящая линия жизни поднимается из ступени в ступень, то тем самым оправданы все ступени, благословенно всякое, даже относительное усовершенствование. Всякая ступень необходима в лестнице, и ни одной не возможно миновать человечеству, чтобы достигнуть цели. Пусть эта человеческая лестница заостряется кверху немногими вершинами. Вершины эти не могли бы упираться в небо, если бы они не воздымались над широким человеческим основанием. Все тут составляет одно целое — и основание, и вершина, все одно другим утверждает и скрепляется в этой религиозной архитектуре человеческой жизни. И, как бы низко ни стояли отдельные ступени,— высота вершины свидетельствует об общем стремлении ввысь»¹.

Разъяснения эти могут вызвать возражения, и нам необходимо на них ответить. В них есть как будто некоторая видимость внутреннего противоречия. С одной стороны, с точки зрения динамического понимания конца, мы вменяем людям в обязанность деятельно заботиться о сохранении относительных ценностей культуры, в частности — о спасении мирского порядка; с другой стороны,— мы говорили выше, что крушение государства и всего вообще мирского благополучия может быть благотворным, потому что неблагоприятное бывает нужно человеческой душе. Как совместить эти два противоположные утверждения? Не убивает ли такое, хотя бы и «динамическое» понимание конца всякую энергию, если не в стремлении к абсолютному, то, по крайней мере, в созидании относительного? Не должно ли оно, в частности, подрывать веру в ценность какой-либо государственной деятельности?

Возражения эти основаны на явном недоразумении. Во-первых, неблагоприятие может быть полезным только для тех, кто от него страдает, а не для тех, кто его причиняет своими преступными действиями или преступным бездействием. Для тех избранных душ, которые закаляются в испытаниях, могут быть полезными не только испытания, но и соблазны. Но горе тем, через кого соблазн приходит. Во-вторых, как бы ни были проблематичны и недолговечны относительные ценности жизни, са-

мая деятельность человека, направленная к их созиданию, может заключать в себе нечто безотносительно ценное, в зависимости от того, какой дух в ней проявляется, какими намерениями и началами она вдохновляется. Помнитесь, В. С. Соловьев, по чувству долга писавший публицистические статьи, отвлекавшие его от любимых философских занятий, сравнивал эту скучную для него, но, как он полагал, нужную для общества работу с послушанием монастырского послушника, обязанного выметать сор из монастырской ограды..

Есть бесчисленное множество будничных, серых человеческих дел, которые напоминают это выметание сора: всеми этими делами создаются, разумеется, ценности в высокой степени относительные и временные. Но когда в эти серые дела человек вносит религиозное послушание и служение, когда он вкладывает в них чувство беззаветной любви к Богу, к родине или даже просто к близким людям, о которых он заботится, он тем самым созидает нечто неумирающее и бесконечно дорогое, что на веки останется. Ибо этим самым он в лице своем являет образ Божий на земле. Возможно, что публицистическая деятельность Соловьева была сплошь ошибочна: возможно, что от нее не осталось ни единой живой мысли и что все созданные ею относительные ценности сгорели. Одно во всяком случае остается на веки нерушимым и ценным: это смиренный образ монастырского послушника, который выполняет тяжелое, скучное ему дело не по внешнему принуждению, а потому что ему бесконечно дорога его обитель. Создавая относительные ценности, человек, сам того не замечая, делает нечто другое, неизмеримо более важное: он определяет себя самого, выковывает тот свой человеческий образ, который либо перейдет в вечную жизнь, либо станет добычей второй смерти. Созидание собственного своего образа по образу и подобию Божью и есть то подлинное, субстанциальное и творческое дело, к которому призван человек. Относительные ценности служат лишь средством для этого творчества, но сами по себе не выражают его сущности.

Однако в качестве средства эти ценности необходимы. И пища, которою мы питаемся, и одежда, в которую мы одеваемся, и здоровье, которым мы наслаждаемся, принадлежат к области благ относительных. И тем не менее, если я не позабочусь о пище, одежде и здоровье моих ближних, я сам понесу безотносительную утрату. Христос не хочет иметь ничего общего с теми, кто алчущего не

¹ Миросозерцание В. С. Соловьева, т. II, 414—415.

напитал, нагого не одел, а страждущего и находящегося в темнице не посетил. Поскольку относительные ценности служат средствами для осуществления любви, они приобретают высшее освящение, ибо они становятся способами явления безусловного и вечного в мире.

В числе других относительных ценностей такое освящение получает и государство в христианском общежитии. Человек, который равнодушно относится к одиночанию человеческого общества, к нарушению в нем всякого права и правды и к превращению людей в стаю хищных зверей, — тем сам доказывает полное отсутствие любви к ближнему. Не этим холодным и пассивным отношением к человечеству, а деятельным и самоотверженным ему служением человек готовит то последнее, заключительное явление Богочеловечества, которое завершает всемирную историю.

Таким образом, мысль о близости конца не обесценивает относительных ценностей, а только заставляет думать об их подчиненном значении. Мысль о Христе-Богочеловеке, грядущем в мир, не есть отрицание мирового процесса во времени, а осуществление его основного стремления, откровение его вечного смысла. Этот всеединный смысл объемлет в себе и вечное, и временное, и безусловное, и относительное. Об этом свидетельствует молитва Господня, которая просит Отца Небесного и о пришествии Царствия Божия, и о даровании хлеба насущного.

Публикация Ю. Сенокосова

Полемика

Андрей Шемакин

«ЧЕЛОВЕК ОТМЕНЯЕТСЯ!»?

Я вижу тени и обличья,
Я вижу, гневом обуян,
Лишь скудное многообразие
Творцом просыпанных семян.
Н. С. Гумилев. «Природа»

Что касается до меня лично,
то я чувствую только одно:
что история сдирает с меня кожу.
Н. Щедрин (М. Е. Салтыков).
«За рубежом»

Заглавие этой работы я позволил себе позаимствовать у замечательного английского писателя, философа и теолога Клайва Стейпла Льюиса (1898—1963), а знак вопроса добавил от себя. В нем, собственно, и выражено отношение к обозначенной проблеме. Отменяется ли человек в современном советском кино? Не как «герой», «характер», «индивидуум», «персонаж», а именно как человек — точка отсчета в любом типе культуры, или, по формулировке А. Ф. Лосева, как «личность в ее субстанции» (см. А. Ф. Лосев. «Человек». — Философские науки, № 10, 1988, с. 67). Определения можно множить, вплоть до марксовской «совокупности всех общественных отношений», но вопрос останется: когда, с какого момента, человек — субъект, познающий и оценивающий мир, превратился в проблему, то есть нечто, от себя самого отчужденное.

Понятно, что для фундаментального экскурса в историю нашего «сюжета», — как философско-антропологического, так и чисто искусствоведческого (начиная с рубежа XIX—XX веков), нет ни места, ни времени. «Довлеет днєви злоба его». Вот и обернемся на злобу дня, вслед за И. М. Шиловой, чья статья «Из чистилища... в ад» послужила непосредственным толчком к написанию этих заметок.

Итак, напомним диагноз критика: по сути в нашем кино ничего не изменилось, поменялся лишь знак — с положительного на отрицательный. Ранее кинематограф сулил своим героям награду за хорошее поведение (сиречь нравственный образ жизни), ныне же грозит всяческими карами вплоть до смерти. Цитирую: «Перед нами вновь аксиомы, фильмы-приговоры, исключающие принцип презумпции невиновности. Человек в кино вновь оказывается средством, только на сей раз средством тотального расчеловечения». То есть правда оказывается опять одной-единственной, и заранее приговоренный человек находится под угрозой исчезновения. Кого «не жалко», тот да погибнет!

О, если бы речь шла о «герое» (отыскать его в реальной жизни, и вся недолга) или «характере» (надо поднять уровень актерского мастерства и вспомнить уроки психологической школы в театре и кино), «личности» (наготове веер сюжетов, почерпнутых из истмата, допустим, «роль личности в истории и т. д.), или «индивидуальности» — тут примеров можно найти сколько угодно. Но проблема действительно фундаментальная: способен ли наш экран поведать о бытии человека как ценностной категории, выражающей действи-

тельные закономерности нашего существования? Пока что ответ отрицателен.

Причем тут важно вот что: художник отнюдь не «отказывается» от того, чтобы познавать реальность через человека. Он его — человека — не видит как факт, как «вещество существования» (А. Платонов). Гумилевские «тени» и «обличья» — видит. А человека — нет. Но только к человеку мы можем испытывать сострадание, только через него способны воспринять нравственные уроки не как надоедливое морализаторство, а как вехи единого духовного пути. Пока же нам предлагают некий комплекс идей, которые кочуют из фильма в фильм, образуя прихотливые и непредсказуемые сочетания. К примеру:

1) Идея бунта, свободы, то есть — возможности индивидуального самоутверждения вопреки обстоятельствам. Человек воспринимается извне социальной реальности.

2) Идея почвы, корней, мудрого смирения перед порядком вещей. Человек внутри целого, для него открывается возможность духовного сосуществования с народом, но с верой, без всяких там рефлексий.

3) Идея власти, переходящая в идею террора — добиться общественной гармонии или ее насильственной видимости, подавить все нежелательное.

4) Идея отказа, переходящая в мистическую идею — выход за пределы наличной реальности в космос ли, в наркотические грезы, в иноприродную идеологию. Человека как бы нет.

5) Идея потребления. Чем хуже, тем лучше. После нас — хоть потоп. Иметь все, чтобы мочь хоть что-то. Человек замещается вещью.

6) Идея театра. Реальность изначально неподлинна, и для того, чтобы ее все-таки постичь, чтобы остаться собой, нужна маска. Человек надевает личину.

И так далее. Нетрудно заметить, что выявляют три центральных коллизии. Первая — превращение человека в некий фантом. Номинально на экране может быть кто угодно, но этот кто-то — психологическая мнимость. В момент превращения его и ловит художник. Вторая коллизия — контакт человека с реальным миром. И он весьма проблематичен. То человек отступает, то мир обманывает, морочит. Наконец, коллизия третья: дело, оказывается, в самой природе человека. Там, где раньше виделся ответ, теперь — вопрос.

Посмотрим же, с чего все началось, когда на месте реального персонажа обнаружилась пустота, и с помощью чего она выявилась. Посмотрим на фильмы конца 70-х — начала 80-х годов, чтобы

уловить видимые следы начавшегося процесса.

Свято место пусто бывает

Героя фильма Г. Панфилова «Тема», снятого, как помнит читатель, по сценарию А. Червинского, мы застаем в момент душевного кризиса. И творческого. Он приехал в Суздаль писать пьесу о князе Игоре, а жизнь ему подбросила сюрприз. Он встретился с женщиной, заставившей его задуматься о том, сколь бездарно он жил и работал. Очень жесткий и терапевтически важный сюжет — герой выпадает из «рутины», ему кто-то открывает глаза, и далее нас прямо ведут к идее его духовного возрождения (или, напротив, смерти). В 80-е годы появилось немало таких фильмов, назову хотя бы «Полеты во сне и наяву», «Частная жизнь», «Серафим Полубес и другие жители Земли», не говоря уж о «Параде планет». Но в данном случае перед нами нечто иное.

Герой как бы сфокусировал на себе функциональные связи между всеми людьми, выведенными в фильме Панфилова. И каждый из них оказался на своем месте — кроме самого Кима, которого следовало бы устранить за ненадобностью — как лакмусовую бумажку, выявившую реальную тему картины.

Начнем с начала. Фронтовой друг Пащин, настоящий графоман (пишет прямо набедро), «лудильщик». Молодой милиционер Синицын, пишет стихи, обожает прозу Пащина («круто пишете, настоящая литература»), и честно пытается «соответствовать» своей «пассии» Сашеньке Николаевой. Далее, сама Сашенька, нашедшая новый символ веры, «бедного гения» — никому неведомого крестьянского поэта, уж точно не связанного ни с какой конъюнктурой: ни партийной, ни национальной. Но Ким, с готовностью учуяв поживу, хочет взять эту тему — и вся Сашенькина независимость должна уступить место чему-то другому, не столь чистому. Учительница Мария Николаевна, баба Маня, чудом сохранившая психологию, идеалы и вкусы 20-х годов, для нее то, что делает Ким — «удивительные, зовущие пьесы». Светик, аспирантка института культуры, преданное и абсолютно безмозглое существо. Творчество Кима, по ее понятиям, — вершина отечественной словесности. И, наконец, — как настаивают авторы — действительный талант, Андрей, ушел в могильщики и собирается за границу: здесь ему места нет. Да, еще жена — критикесса, ее голос слышен по телефону.

Жена хоть и бывшая, а Кима отшивает почем зря. Что же получается? Сама драматургия фильма — это литература о литературе, с внезапными совпадениями, гротескными смещениями и как бы натяжками. Будто Ким сам играет в пьесе. И когда он едва не погибает, возникает догадка: авторы не его наказывают, а выявляют суть проблемы.

В таком «раскладе» Ким оказывается лишним. И суть не в том, талантлив он или нет, а в том, что главная тема фильма — духовный вакуум. Он — и. о. писателя — плохого ли, как Пащин, или талантливого, который не признан и гоним, — как Андрей-похоронщик. Скажем еще раз, Ким — не величина, а возможность сфокусировать некие фундаментальные связи, образующиеся в мире, и они-то исследуются в фильме. Но этот парадокс «Темы» остался не замечен и по сей день. Драматургическая обманка сработала безукоризненно.

Дальше, однако, стало все труднее уходить от проблемы функциональности человека на экране. Можно было использовать готовую матрицу христианской притчи о Голгофе на материале Великой Отечественной и получить «Восхождение». Можно было начать говорить уже совершенно готовыми смыслами, образными выражениями «вечных» вопросов, как это сделал А. Тарковский. Герои «Сталкера» предстали уже в виде персонажей-обобщений Науки, Искусства, Рассуждающей Веры и воплощенной Любви. Некогда единый человек распался на функции — познавательную, описательную и духовную. Субъект оказался разъятым. Личность была взята под подозрение, ибо все ощутимей входила в противоречие с нормативно-догматическим складом официальной идеологии, требовавшей санкций по любому поводу, а санкции могли дать только традиция, миф, предание и пр. Субъект, познающий вновь открываемые закономерности мира, был не нужен, ибо реальность превращалась в призрак, мнимость, фантом. Табуировалось все подряд, — история, культура, личность. Время лишилось возможности быть продолженным в прошлое и в будущее.

В «Родне» Михалкова деревенскую (точнее, полугородскую) бабу окружили люди-маски, люди-оборотни, и хотя этот морок быстро рассеивался, впечатление неподлинности мира в противовес подлинности героини оставалось.

Апогей утверждения человека — функции на нашем экране — «Плюмбум» В. Абдрашитова — А. Миндадзе. В сценарии мальчик Руслан Чутко по кличке Плюмбум еще как-то меняется, — как жи-

вое существо. В фильме меняется фон действия, и он-то «проявляет» героя, вокруг которого, как водится, закипели споры, с традиционными обвинениями художников в подрыве нравственных основ бытия. Фон такой: от периферии — к центру. От заснеженной деревеньки, где в одном из домов расположились преступники с «подсадной уткой» — Плюмбумом, до массивного высотного здания прямо в центре Москвы, откуда падает невинная и невольная жертва девочка Соня. Плюмбум, писали критики, это явление. А ребенок-то здесь причем — возражали другие. Ребенку мы обязаны по-христиански сострадать, а вместо сострадания испытываешь ужас!.

И спор этот не разрешен до сих пор. В конце концов в Плюмбуме увидели «дьяволенка», что как раз и есть мистицизм чистой воды. Оставалось выяснить, откуда мистика?

От специфики наших общественных отношений. С нашей привычкой упрощать мир, деля его на черные и белые половинки, подходить к феномену Плюмбума — значило не увидеть его двунаправленности — на добро и зло разом. Критики искали душу — и либо не находили таковой вовсе, либо ее воображали. А Плюмбум выворачивался тенденцией. Мог принести добро. Мог — зло. В самом же в нем центра не было. Вот в чем суть. Так что не к Плюмбуму претензии. В пору, когда еще только начинали говорить о смысле и цели нашей истории, Абдрашитов и Миндадзе дали ее символическую версию. Заговорили — впервые! — о возможном продукте исторического развития, цель которого — очищать страну от чуждых (по разным причинам) «элементов».

И вот, зная последующее направление, в котором пошла мысль, ищущая ответа на вопрос «что с нами произошло», поиному смотришь финал. Финал — неудачный, дидактический, и к тому же сомнительный нравственно, зря камера вглядывается в умирающие глаза падающей девочки. Финал неудачен еще и тем, что загадка Плюмбума («Мальчик, ты кто?») так и не разгадана, коль скоро с него хотят брать пример иные тимуровцы. Представим теперь, что был бы снят другой конец, о котором режиссер и сценарист рассказали критику Алле Гербер: «Мог бы быть такой финал — он подходит к краю крыши, видит внизу тело Сони и, поскольку он — Плюмбум, ему ничего не делается, прыгает вниз? Склоняется над ней, и на общем плане картина кончается. На асфальте два ребенка, две жертвы. Один в переносном смысле, другая в бук-

вальном» (см. «Вадим Абдрашитов, Александр Миндадзе. Два портрета в одном диалоге». (Вопросы и отступления — Аллы Гербер. М. 1987, с. 27)). Я-то, грешным делом, думаю, что никакого «очищения», о котором пошла речь дальше, зритель бы не испытал. Он замер бы от ужаса. И это была бы капитуляция Абдрашитова как социального режиссера, исследующего расхождение социального и морального идеала.

...Ад истории и современности разверзался на глазах. И кино, как точно заметила И. Шилова, проследовало в преисподнюю — в надежде выбраться из функционально-ролевой метафоры человека. Оно возжаждало героя, попытавшись выразить распад мира и отношение персонажа к этому распаду. Оно отправилось на социальные окраины, туда, где человек выпадает из накатанной колеи жизни уже не волею драматурга (как специально «подстраивал» А. Червинский Киму Есенину кризис), а силою хода вещей как они есть.

Из огня да в полымя, или игра в бисер

«Трагедия в стиле рок» и «Интердевочка» должны были появиться. И то и другое тематическое поле воспринималось публикой с немалым интересом — и как победа гласности, и просто как факт, — оказывается, «все это» и у нас есть! И в том и в другом случае — бешеный успех, причем в случае с «Трагедией...» — преимущественно на кинорынке, «Интердевочка» же рискует побить все рекорды кинопроката. Стало быть, в данном случае проблемы человека не обойти. Нам предстоит увидеть жертвы наркомании и жертвы проституции (если вспомнить, что проститутка — не только «чуждый элемент», но и «падшая», а значит, достойна сострадания, которого так не хватало в так называемых «проблемных» фильмах — от «Темы» до «Плюмбума»).

Савва Кулиш в своей «Трагедии...» списывает все беды молодого поколения на «шестидесятников» — отцов. И снимает огромный эпизод, где все они — А. Филосов, В. Шаповалов, Б. Хмельницкий, В. Никулин, Т. Лаврова — вроде бы играют фактически самих себя, а сам режиссер тоже в этой когорте. Идут какие-то не очень внятные воспоминания, обрывки старых споров, неизжитая боль... А потом мы видим, как отца неожиданно арестовывают, обвиняя в хищениях. Сын в шоке, его «подбирает» некто Кассиус, который оказывается демоном зла. Опуская

сейчас все прочие звенья сюжета, задамся вопросом: откуда драматургическая схема?

А она — из 60-х... Перед нами упрощенная модель мифологических взаимоотношений «шестидесятников» с историей: ничего не знали — и внезапно на них «свалилось»: отец-кумир (Сталин) оказался негодяем. Все перевернулось. И надо вспомнить «Заставу Ильича», чтобы убедиться в имеющемся довольно-таки парадоксальном, — если сравнить исходный материал — сходстве. Но если в «Заставе...» судьба поколения заключалась в том, чтобы искать свой путь самостоятельно, в «Трагедии...» режиссер видит трагическую вину отцов именно в том, что они оставили своих, не ведающих зла детей посреди враждебного мира. При этом исходит из того, что дети — слепцы, способные потрястись до такой степени, что любому прохиндею ничего не стоит их совратить. Единственный достойный выход — самоубийство.

В столь откровенной сакрализации и ритуализации процесса передачи традиций из рук в руки (точнее, нарушений этого процесса) заложено фундаментальное свойство фильма: его вневременность. Воспоминания «шестидесятников» — для установления исторических координат, так же, как в свое время фильму «Москва слезам не верит», было необходимо, для вящей убедительности, ретро-вступление, ретро-кода. Все остальное — это проекция опыта «шестидесятников» на опыт сегодняшнего дня, разумеется, чисто условная. Поэтому, в отличие от живых «шестидесятников» в первой обширной сцене фильма, отец и сын суть отношение ко времени, а не персонажи. И отношение времени — к ним. Обоих оно толкает на самоубийство на грани героизма: сын чуть не сгубил злодея Кассиуса, а отец подорвал бандюг и себя, и нечестно заработанные деньги впридачу.

Воистину, человек — средство, ибо стал им. В этом — трагедия личности в эпоху застоя?

Вернемся к «интердевочке» Тане. Уж ей-то ничего не остается делать, как бежать на Запад от нашей бессмысленной жизни. И уж про нее не скажешь, что она есть функция чего-то или что является неким абстрактным отношением к чему-то. Живой человек! И — модель, удовлетворяющая ожиданиям положительного героя, непонятно почему попавшего в отрицательные.

Таков парадокс: все собственно положительные себя скомпрометировали, так помещем же их среди люмпенов и маргиналов, театрализирующих собственную

жизнь... Из всех возможных характеристик древнейшей профессии режиссер выбирает одну: театр. «Они» все время представляют что-то. Играют спектакль. Маленькое шоу. И для клиента, и для матери, сохранившей абсолютную наивность, невероятную для человека еще не старого и живущего в конце 70-х — начале 80-х годов. И героиня отлично чувствует себя в роли медсестры, и очень неуверенно — в роли «шлюхи». Актерское самочувствие накладывается на крайнюю условность персонажа, подчиненного законам жанра и одновременно — социальной мифологии. В результате мы почти ничего не узнаем о том, сколь разрушительны для личности подобные занятия, но зато лишний раз убеждаемся в социальных трудностях, могущих толкнуть личность на путь порока.

В случае с «Трагедией в стиле рок» личная судьба оборачивается моделью отношений «шестидесятников» к их отцам, в случае с «Интердевочкой» личность оказывается производной от требований жанра и социальных ожиданий. На окраинах оказалось пусто.

Но, быть может, стоит искать человека не на периферии информационного бума, а в его центре, где возможны парафразы нынешней политической ситуации, где человек в полноте ает какие-либо характерные черты нынешней эпохи, а не является производным от них?

Смотрим «Куколку» (реж. И. Фридрих) — поразительное свидетельство пребывания режиссера между открытием и тупиком. Напомню фабулу: девочка-спортсменка Таня Серебрякова, повредив во время соревнований позвоночник, попадает со своим нереализованным инстинктом лидерства — в школу, где начинается ее борьба с учительницей. Сначала Таня борется за влияние, потом — за любовь к однокласснику — Панову. В ход идут подкуп, шантаж и многое другое. В конце концов героиня пытается вернуться к спорту, прыгает, прыгает, и — опять что-то с позвоночником. Куколка так и не стала бабочкой.

Фильм метафоричен от начала до конца. В первых же кадрах, еще до того, как у Тани режиссер, находящийся за кадром, возьмет интервью, появится огромная, черная старуха, выпускающая свое дитяtko в этот страшный мир. Далее — кадры тренировок. Маленьких девчушек, словно в пыточной, гнут, ломают, к их тельцам подвешивают грузы. Немудрено, что они остаются маленькими.

А потом из этой тоталитарной системы — спорта, девочка попадает в школу — систему авторитарно-либеральную. В шко-

ле — свои законы, и чтобы победить, надо быть беспощадной. Тем более, что учительница держит класс не столько кнутом, сколько прянком: читает мораль, приглашает к себе на день рождения... Одним словом, борется за души. Она то ангел, что подчеркивается световоздушной средой, вокруг нее созданной (оператор В. Нахабцев), и невероятными, «струящимися» платьями, то вдруг змеится на ее губах почти дьявольская усмешка. И вдруг мы с изумлением замечаем, что и другим персонажам режиссер подыскивает аналогии. Таню часто сравнивают со зверьком, попавшим в клетку. А первый отбитый в соперничестве с учительницей Халява — «шестерка» — вдруг в какой-то момент предстает роботом-слухачом, железным дровосеком. «Прокручивая» в памяти фильм, вспоминаешь не лица, а состояния, позы, жесты, не слова, — а движения. Но это не движения полнокровных персонажей. Это действуют люди-функции, призванные метафорически выразить идею детства как жизни со сломанным хребтом, непоправимо безумной. На метафору переходности общества из тоталитарной системы в авторитарно-либеральную фильм «тянет». На психологически полнокровную историю соперничества двух женщин, на человеческую драму — нет.

«Куколка» — не житейская история, а сугубо личное высказывание о сегодняшних умонастроениях. Вне этой сферы остается только начало картины — в нем уже, собственно, все сказано. Остальное — комментарий к прошению о помиловании. Нас и детей наших.

Спаси и сохрани

Итак, человек, действительно, стал средством. Ранее его отсутствие осознавалось как пустота, как пробел в миропорядке, она зывала к восполнению. И вот уже функциональные персонажи легко вписываются в ту или иную модель. Но все же существует известная «маскировка». В новом фильме Абдрашитова — Миндадзе «Слуга» никакой маскировки нет. Перед нами — Ловец человеческих душ, принявший облик Кощея Бессмертного Административной системы.

О фильме «Слуга» много написано в статье И. Шиловой. Я же хотел обозначить только сам факт, так сказать, легализации нечистой силы (после фильмов «Храни меня, мой талисман», «Покаяние» и т. д.). Сей персонаж появляется словно для того, чтобы «закрывать тему», снять вопрос. Ибо ответ известен заранее — «бес попугал...»

На таком фоне новая лента С. Соловьева «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» не будет очень шокировать публику, — разве что эстетикой. Человек стал эластичен, он может вместить любое содержание, он давно уже стал эмблемой идеи. Сложность фильма Соловьева в том, что в нем запечатлен сдвиг и слом самой образной системы режиссера, а точнее, его система приспособливается им к тому, чтобы выразить наше время столь же академически строго, сколь «Асса» выразила время застоя, в том числе и через персонажей. Соловьев не утверждает, что человек прикинулся чем-то еще, кроме самого себя. Слом времен Соловьев исследует через посредство культуры, в которой человек — часть закономерная и органическая. В свое время в фильме «Сто дней после детства» режиссер предложил формулу: самоидентификация через культуру. Герой, Митя Лопухин, глядя в улыбку Джоконды, вслушиваясь в горячие речи лермонтовского Арбенина, постигал науку страсти нежной. Преемственность культуры оформлялась в подражании — во благо подражающему, обрегающему себя.

В новейшем фильме герой, тоже Митя, фактически уступает свое жилище компании пришельцев: дочери преуспевающего чиновника от номенклатуры, ее возлюбленному, зятю кэзгээшника, собственному дядюшке, готовому как на эмиграцию, так и на кооперативные махинации. В итоге, пройдя через многообразные искушения, мальчик находит выход: стать нахимовцем, как завещал дед. Отказаться от собственного выбора, собственной воли, чтобы вернуться к себе. Стилистический авангардист, Соловьев выступает в этой картине, как и в «Ассе» в роли абсолютного традиционалиста по мировоззрению. Выработанная культурой и историей модель поведения оказывается для юноши единственным спасением от распада всего и вся. В финале мы видим его среди других молодых матросов сворачивающим парус. Роскошный корабль под мощную музыку Б. Гребенщикова бороздит океан. Решение ли это проблемы личности — путем подстановки вместо самой личности взрастившую ее традицию? Разумеется, нет. Это лишь поиск ответа.

Другое направление поиска предлагает Роман Балаян, автор «Леди Макбет Мценского уезда». Действительно: раз человек либо превратился в функцию, либо обозначает собой некую пустоту, либо растворяется в жанровых моделях, подчиненных социальному заказу, либо размнивается на метафоры, либо повторяет некий исходный вариант, — ничего другого не остается,

как вернуться к неповторимости литературного прообраза, и запечатлеть классический сюжет, фактически — документально.

Результат выглядит обескураживающе. Балаян трактует не историю любви, а трагедию эгоцентризма. Судьба личности заложена в ней изначально. Героиня девочкой смотрится в зеркальце, монтажный стык — и смотрится уже каторжанка. Поэтому и возлюбленный — это лишь представление самой героини. Сплошной солипсизм. То он для нее — ухарь-купец, то — Лель, то Христос, а то — в тюремных сценах — настоящий панк. Это она его творит. А первоначальный импульс — праздность, лень душевная и физическая. Через всю картину проходит мотив лени, дремоты и — зеркала. Катерина Львовна (Н. Андрейченко) никого не желает видеть, кроме себя.

История Катерины Львовны, однако, используется Балаяном для уяснения собственных, давно волнующих его проблем, в частности — проблемы зла. Он уже не ищет «бесов» («Талисман»), не совращает интеллигента («Филер»). Он говорит: зло человека — в нем самом. Но кто же тогда, скажите на милость, человек?

И мы с изумлением замечаем, что человек на экране давно лишен полноценного и полнокровного бытия. В социальной реальности происходило медленное высвобождение личности из-под тоталитарного гнета, однако, высвободившись, она обнаружила, что общество все еще «проглочено» государством, а она, в свою очередь, отчуждена от власти и, следовательно, от практически несуществующих институтов гражданского общества. И ее отношения с другими людьми — суть отправление функций, а самоощущение — процесс абстрагирования от себя самой. Ничего удивительного, что личность расщепилась и предстает либо как биологический субъект (материально-телесный ее облик есть настоящая находка для кино), либо как символ-знак, подобие чего-то, что не есть она сама. Теперь нужно поистине героическое усилие, чтобы вернуть нам ощущение целостности конкретного человека. Александр Сокуров и пытается это сделать.

Его интерпретация «Мадам Бовари» (сценарий Юрия Арабова) называется «Спаси и сохрани», и в этом отчаянном обращении к Господу — вся суть дела. Героиня-француженка живет в чужезычном окружении, обретает сначала одного любовника, потом второго, входит в долги, запутывается — и гибнет. Перед нами проходит процесс умирания живой души, которая есть Женщина. Героиня — ее сыграла Сесиль Зервудаки — страшна. Не отталкивающая, а именно страшна, как может быть

страшен смертный грех. Духовная природа человека суть природа нравственная. И вот Эмма преступает одну и ту же заповедь, раз за разом. Любовь — единственная ценность, оставшаяся в этом мире, превращается в абсурд. По Сокурову это процесс космических масштабов, Страшный Суд, ужас которого в том, что искупления, освобождения — нет и быть не может (здесь налицо концептуальный спор с А. Тарковским, у которого всегда была вера в Воскресение и Искупление). Остается лишь разделить ощущение ужаса бытия и сострадать, не сострадая.

В момент смерти мы видим не лицо героини — маску Дьявола, где вместо глаз горят красные уголья. Фильм Сокурова и отличает какое-то мистериальное отношение к человеку как к полю борьбы Добра со Злом. «Спаси и сохрани» — трагическая мистерия, когда личность, как будто очищенная от всего «внешнего», всего «преходящего», именно берется как сущность и гибнет — как сущность, суть человеческая.

Для режиссера такая судьба — вероятно, еще одна метафора конца света, но он не подчиняет этой идее картину, эта идея проявляется на лице, где все страдания выражаются с помощью глаз. Возможно, что столь всеобъемлющий морализм — выход для того, чтобы обрести искомую целостность. Пусть в невероятном обнажении, когда тайное тайных — личная жизнь индивидуума лишена таинства бытия, когда человек весь как на ладони и нужно, чтобы он перешел на новые пути, чтобы не погибнуть, а для этого — показать, как он войдет в смерть.

Не знаю. Во всяком случае, в социальной жизни человека предстоит вернуть всю полноту бытия, от частного до общественного, а экрану, изрядно выхолощенному, вернуть ощущение жизни, пробивающейся сквозь кошмар, морок, страх за себя, всякого рода дьявольщину. Мы уже и забыли, как живут люди, мы лишь видим, что с ними сделали. Кинематограф воспользовался открывшимися возможностями и ввел массу новых изобразительных фактур, даже целых сюжетов, раскрепостившись внешне. Тем яснее его внутренняя закрепощенность. Иносказание перестало «срабатывать», а прямой смысл — прерогатива публицистики. Осталась шоковая терапия. Но для того, чтобы лечить, надо знать, что происходит с каждым кон-

кретным человеком, а не со всеми вместе, хотя в такого рода обобщениях есть великий соблазн «общечеловечности» и «сборности». Тот же Александр Сокуров исследует в документальном кино именно эти возможности, его принцип — рассказ о конкретном человеке. Совсем недавно он снял «Советскую элегию» — о Б. Н. Ельцине. И начинается она с кладбища — одного, где каждая могила находится в ограде, потом — другого, понее, где уже очень тесно, потом — третьего, уже без всяких оград подступившего к новому микрорайону.

А затем, без предупреждения, показываются лица вождей от Ленина в гриме рабочего Емельянова и до тов. Язова. В какой-то момент становятся неразличимы отбивки между кадрами, один портрет плавно переходит в другой, одно лицо проступает сквозь другое. Так сказать, выводится новый вид вождя. Потом — лаконичный рассказ о родителях Б. Н. Ельцина и о нем самом, а потом, после его прохода по пустым коридорам Госстроя, долгое молчание в кадре. Герой фильма смотрит беззвучный телевизор, где о нем, видимо, говорит Генсек. Итак, молчание, — и больше ничего. Лучший способ быть личностью — стать ею, то есть — самим собой.

Казалось бы, просто? Но нет, нам все еще нужно доказывать титанизм человека и народа, заявляя к тому же, что новая реальность создала нового человека. Ну вот, мы его и видим — нового. В каждом фильме. Может, вспомним, что есть просто человек (не путать с «простыми!», которого нет), не как цель природы, а как ее средство задать себе самой все новые и новые вопросы?

Пока же экран заморожен призраком Апокалипсиса, — даже если речь идет о школе, спорте или наркомании. Человек чувствует себя игрушкой неведомых ему сил. И самые благие критические порывы расшибаются об этот столбняк, и кинематограф в лучшем случае способен на самоиронию и даже самоотрицание (как в «параллельном кино»).

Выход из кризиса ищется каждым самостоятельно. В документальном кино он уже найден. Постепенно документально увиденная реальность будет входить в кино игровое, перерабатываться, будет возникать новые связи и отношения. А пока... мы в аду. В круге первом. Но нас еще никто не отметил.

ДИСКУРС И ПОВЕСТВОВАНИЕ

К постановке проблемы

Человеческая мысль фиксируется, передается, воспринимается в формах языка. Этот общезвестный постулат в равной мере справедлив по отношению ко всем типам сообщений: как к тем, что сформулированы в терминах естественных языков, так и к аудиовизуальным сообщениям, к числу которых относятся фильмы.

Лет двадцать назад зарождающаяся киносемиотика строила модели киноязыка на основании явных или скрытых параллелей с естественным языком. Такого рода лингвоцентризм вызвал острую дискуссию. Действительно, если сравнивать киноязык с естественным языком, не трудно доказать, что так называемый язык кино вовсе и не является языком в традиционном смысле слова: он не имеет двойного членения (то есть фонологического уровня), не обладает традиционной грамматикой и синтаксисом. Однако нет никаких оснований считать, что язык аудиовизуальных сообщений должен обладать перечисленными чертами. В кинематографе мысль выражается иным способом. Киноязык обладает особыми специфическими возможностями семантизировать пространство-время, строить на их основе субъектно-объектные отношения и предикативные связи. В этом смысле можно говорить, например, о монтажном коде кинематографа как о языковой системе в самом широком понимании этого термина.

Кинематографический текст является местом пересечения самых разнообразных смыслопорождающих процессов и различных языковых по своей функции стратегий, без понимания которых невозможен адекватный анализ смысла фильма.

К числу таких основополагающих языковых стратегий относится организация взаимоотношений дискурса и повествования в фильме. Эти взаимоотношения обладают мощным смысловым потенциалом и в словесных текстах, но в кинематографе они организуются иначе, чем, например, в литературе. Они пронизывают собой все кинематографические матери выражения: изображение, звучащее или письменное слово, шум, и музыку.

К дискурсу относятся те элементы фильма, которые находятся целиком в плане выражения. Дискурсивным можно считать все то, что относится к процессу высказывания, а следовательно, отсылает к авторской инстанции. Повествование охватывает сферу поведения и взаимоотношений персонажей. Передвижения героев в пространстве, их разговоры и т. д. условно можно отделить от того дискурса, который нам представляет эти сюжетные события. Один и тот же диалог может быть обличен в разную дискурсивную форму: он может быть снят на общем плане, подан «восьмеркой» через монтажное чередование планов или показан в движении камеры, перемещающейся от одного персонажа к другому. Форма дискурса в принципе не детерминирована повествованием. Ничто безусловно и априорно не навязывает режиссеру выбора «восьмерки» или общего плана для показа диалога. Форма дискурса является результатом свободного выбора постановщика фильма и непосредственно не влияет на содержание высказывания, понимаемое в повествовательных категориях. Какую бы форму для передачи диалога ни выбрал режиссер, содержание диалога от этого не меняется, не меняется, соответственно, и дальнейшее развитие событий в фильме.

Между тем в традиционном повествовательном кино автономия дискурса от повествования отнюдь не безгранична. Традиционное кино мыслит себя рассказчиком. Повествовательный слой в нем как бы подчиняет себе дискурс, который начинает «обслуживать» повествовательный уровень. Эту зависимость дискурса от интересов повествования мы наблюдаем в кинематографе постоянно. Если герой фильма идет по улице, то камера обычно движется таким образом, чтобы держать героя в кадре и в фокусе. Герой оказывается той инстанцией, которая заставляет камеру двигаться за собой, хотя в принципе режиссер вправе двигать камеру в любом направлении. Таким образом повествовательный слой выступает в качестве причины, определяющей события, происходящие в дискурсе. Хотя на самом деле именно дискурс детерминирует наше прочтение повествовательной линии, например, иерархию персонажей по значимости. Тот факт, что камера движется именно за этим человеком, указывает на то, что данный персонаж централен для данного повествования. Случайный прохожий выпадает из кадра, не воздействуя на режим работы камеры, вот почему именно движение камеры отводит ему статус «случайного».

Такой режим взаимодействия дискурса и повествования нейтрализует дискурсив-

ные элементы, делает их настолько прозрачными, что возникает иллюзия, будто повествование «течет само собой». Как отмечают современные исследователи, «повествование, содержащееся в дискурсе и в принципе ограниченное им, представляется внешним по отношению к нему (предшествующим в своем возникновении и последующим в своем окончании); кажется, что повествование выходит за рамки дискурса, который как бы включается в повествование»*.

Этот механизм отражается в мельчайших стратегиях кинематографического письма, например, на переходе от крупного плана к общему. Такого рода переход чаще всего мотивируется в повествовании. Скажем, на крупном плане мы имеем лицо говорящего персонажа, который кончил свою речь и должен встать. Для того чтобы герой, вставая, не выскочил из рамки кадра, большинство кинематографистов переходят в конце речи на общий план, позволяющий актеру относительно свободно передвигаться во внутрикадровом пространстве. Любопытен комментарий Хичкока и Трюффо к этой простой фигуре кинописьма:

Хичкок: «Когда сидящий персонаж встает, чтобы пройти по комнате, я никогда не меняю угол съемки и не отодвигаю камеру назад. Я всегда начинаю движение на крупном плане, на том же самом крупном плане, который я использовал, когда он сидел. В большинстве картин, когда два человека сидят и беседуют, вы сначала имеете крупный план одного, а потом крупный план другого, и так повторяется неоднократно, и вдруг камера отскакивает назад на общий план, чтобы показать, как один из персонажей встает, чтобы пройти. Это неправильный метод съемки». Трюффо: «Да, потому, что такого рода техника предшествует действию, вместо того, чтобы за ним следовать. Это позволяет публике догадаться, что один из персонажей сейчас встанет или что-то в этом роде. Иными словами, камера никогда не должна предвосхищать то, что последует»**.

В данном случае переход на общий план до вставания персонажа есть дискурсивный акт, выявляющий детерминирующую роль дискурса по отношению к повествованию, поскольку не герой определяет действия камеры, а как бы наоборот: отъезд камеры «заставляет» его встать. Отсюда понятная потребность такого мастера «саспенса», как Хичкок, подавить самостоятельность дискурса. Иную стратегию для съемки того же действия выбирает япон-

ский режиссер Ясудзиро Одзу, систематически и сознательно отказывающийся от рабского обслуживания повествования на уровне дискурса. Когда герой Одзу встает, камера почти никогда не следует за ним вверх или не отходит на общий план. Одзу разрезает действие монтажом, в первом кадре показывая начало вставания, а во втором в том же масштабе лицо встающего человека, возникающее снизу. Внешняя немотивированность такой монтажной фигуры сохраняет автономию дискурса.

Таким образом дискурс организует рассказ. Будучи теснейшим образом связанным с авторской позицией, дискурс, работая в повествовательном режиме, обещивает внятность повествования, его линейность. Одна из главных его функций — организация причинно-следственных взаимосвязей в тексте, из этой функции вытекает и его особая роль в формировании смысла фильма.

В данной статье мы попытаемся показать, каким образом функционирует киноязык сквозь призму обозначенной оппозиции дискурс — повествование. Наш анализ будет неизбежно носить частный характер, так что за его границы останется множество существенных вопросов. Чтобы не быть голословным, мы выбрали в качестве материала для анализа фильм Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Этот выбор обусловлен несколькими причинами.

Фильм Германа отличается редкой для нашего кинематографа системностью киноязыка. Взаимоотношения дискурса и повествования являются для него основной смысловой стратегией. Фильм вызвал восторженный отклик нашей критики и был единодушно признан крупнейшим кинематографическим событием последних лет. Между тем, непонимание языка этого фильма привело к поверхностности его оценок критикой. Большинство писавших о фильме столкнулись с очевидным противоречием: ощущение смыслового богатства фильма, остававшееся после просмотра, вступило в конфликт с декларативной бедностью и банальностью фабулы и известной плоскостностью персонажей. С точки зрения фабулы (или шире — повествования) в фильме мало что происходит. Начальник уголовного розыска Лапшин влюблен в актрису Адашову. Та не отвечает ему взаимностью и влюблена в писателя Ханина, в свою очередь равнодушного к Адашовой. Во время ареста банды Ханина раята, он выздоравливает и уезжает из города. Лапшин остается один.

Психологическая бедность персонажей выражается в слабой прорисовке нюансов

* Дюбуа Ж., Эдлин Ф. и др. Общая риторика. М., 1968, с. 306.

** Hitchcock by Francois Truffaut. N. Y., 1967, p. 203.

их отношений. Мы плохо себе представляем отношения Ханина и Лапшина. Отказ Адашовой не провоцирует каких-то особых психологических коллизий в поведении того же Лапшина. Мы вообще на редкость мало знаем о внутреннем мире героев и их проблемах.

Таким образом слой, обыкновенно наиболее полно вскрываемый критикой, слой повествования блокирует возможность нюансированного анализа. В большинстве случаев на такую ситуацию критика прореагировала однотипно. В массе рецензий на первый план был выдвинут особый реализм фильма, а основной его целью невольно была провозглашена скрупулезная реконструкция эпохи.

Приведем характерные цитаты из работ наших ведущих критиков:

Е. Стишова: «Режиссер Алексей Герман задался целью воссоздать образы персонажей нашей ближней истории ... У режиссера задача аналитическая: воссоздать быт людей, которые были выше быта»*.

В. Демин: «В новой своей работе «Мой друг Иван Лапшин» постановщик, похоже, чувствует себя археологом, восстанавливая по крупицам, по старым документам и фотографиям подробности нашей жизни полвека назад...

Так было, — объявляет нам фильм. — Было именно так. Так жили в середине тридцатых годов наши отцы и деды. Так они боролись и мечтали. Вот так дружили. Так легко и естественно переносили то, что нам кажется немислимыми тяготами быта. Пели э т и песни. Носили т а к и е прически. Говорили т а к и е слова»**.

Н. Зоркая: «Картина переносит зрителя в далекое, но не забытые 30-е годы. Поистине буквально, чудодейственно переносит, ибо в кадры ееходишь, как в ожившую фотографию, как в журнальные клише тогдашних «Огонька» или «СССР на стройке» с их зеленоватой или голубоватой, а то и коричневатой печатью»***.

Таким образом, смысловое богатство фильма приписывается не фабуле, но реконструкции («Так было»). Такой взгляд во многом вообще перенес разговор о фильме во внелитературную плоскость: спорят, так ли было на самом деле в 30-е годы, ищут исторические анахронизмы. Понятно, что историческая реконструкция не может быть самоцелью искусства. Есть некоторые основания сомневаться в ее полно-

те и достоверности у Германа. Показательна в этом смысле точка зрения такого тонкого аналитика, как Ю. М. Лотман: «...переносятся характеры из других сфер, в частности, из нашей современной жизни, наши современные характеры, которые очень отличались от характеров сороковых годов. Это, между прочим, мне видится в таких для многих держущихся на ретро-истине фильмах Германа. Они, по сути дела, используют ситуацию тридцатых годов или военную, с очень точным воспроизведением быта, для переконструкции современной жизни. Это отнюдь не унижает их, а по-моему, даже отвечает некоторым законам искусства. ... Для человека, который помнит жизнь 30-х годов, и тем более хорошо помнит военный быт, конечно, видно, что это совсем другая задача». Показательно, что и сам режиссер далеко не убежден в достоверности своей реконструкции: «...когда мне говорят: «Вы воссоздали то время», мне, конечно, это приятно слышать, но кто его знает — может быть, оно и не совсем такое было»**

Автор и повествователь

Поскольку в дискурсе наиболее полно проявляется авторский голос, следует особо остановиться на том, как текст «Лапшина» конструирует своего автора.

Фильму предпослана дотитровая экспозиция. Такого рода прологи были особенно популярны в 60-е годы, в период бурного становления «авторского» кинематографа.

Пролог начинается длинным хаотичным движением камеры по квартире рассказчика. Вначале в кадре возникает старая фарфоровая статуэтка, затем камера сползает вниз по шкафу, нагруженному папками и бумагами, затем фиксирует старый радиоприемник и т. д. Прежде чем в фонограмме включается голос рассказчика, мы слышим его дыхание, откашливание. Таким образом первое же движение камеры задается нам как субъективный план, мир предстает увиденным глазами автора повествования. Но неожиданно кадр прерывается быстрым движением справа налево молодой человек, которого мы не успеваем рассмотреть. Одновременно закадровый голос вводит последующее повествование как авторскую исповедь: «Это мое объяснение ...объяснение в любви к людям, рядом с которыми прошло мое

* Стишова Е. Близкое прошлое. — «Искусство кино», 1985, № 6, с. 46—47.

** Демин В. Хроника недавней эпохи. — «Учительская газета», 1985, 25 июля.

*** Зоркая Н. Сквозь даль времен. — «Труд», 1985, 23 июня.

* В интервью, данном 1 июня 1986 г. Ю. Г. Цивьяну и автору статьи.

** Герман А. Кино произрастает из поэзии. Беседа с Т. Иенсен. Вопросы литературы, № 12, 1986, с. 150.

детство». В том же тексте мотивируется будущая конструкция фильма — наличие в ней сюжетных «провалов», субъективность: «Память услужливо выхватывает лица, обрывки фраз». Камера между тем движется по квартире, останавливается на мальчике, сидящем на лестнице и что-то пилящем напильником. И вновь закадровый комментарий: «Это мой внук — хороший мальчик». Это обозначение в кадре, как м о е г о внука, окончательно привлекает взгляд камеры к взгляду рассказчика. Камера, однако, продолжает блуждать по дому, пока не обнаруживает на террасе старого дома за столом того самого молодого человека, который промелькнул в начале трэвлинга. Тот смотрит снизу вверх прямо в камеру. Трэвлинг прекращается статичным кадром. Казалось бы, бесцельные блуждания камеры пришли к цели своих хаотических поисков. Этот человек и есть повествователь, от его лица пойдет рассказ. Таким образом, весь план, первоначально прочитывающийся нами как субъективный, таковым не являлся. Рассказчик получает «внешнюю фокализацию», он отделяется от авторской инстанции, идентифицируемой с камерой. Камера блуждала в поисках источника закадрового голоса и остановилась, обнаружив его в кадре.

Так в самом начале фильма происходит первоначальная идентификация рассказчика с автором, а затем их расслоение. Рассказывает один, показывает другой. Дискурс приобретает двух отправителей. В действительности Герман прибегает к еще большему расслоению авторской инстанции.

Привязывание звука к изображению в кинематографе основывается на обнаружении источника звука. Покуда источник не обнаружен, текст фильма слонится на звуковой и изобразительный. Поэтому идентификация источника является операцией «склеивания» текста и одновременно соединения дискурса и повествования, так как звук, не имеющий локализации в повествовательном слое, имеет дискурсивный характер. Демонстрация рассказчика в прологе, стыкуя дискурс и повествование, одновременно расслаивает авторскую инстанцию. Упрощение на одном уровне оборачивается усложнением на другом. Отметим также, что отсутствие звуковой перспективы в интерпретации голоса рассказчика мешает идентифицировать его с движущимся в квартире живым человеком.

Закадровый голос в прологе объясняет: «Что-то помню я сам, что-то рассказал отец». И на протяжении всего фильма наряду с мальчиком-рассказчиком возникает иной свидетель, его отец.

Рассказчик в детстве в сюжет не интегри-

рован, он чистый свидетель, носитель зрения. При этом комментирующий голос принадлежит пожилому рассказчику, а зрение — мальчику, так что и сам повествователь расщеплен надвое и как бы видит себя со стороны. Когда после названия фильма и до титров в кадре появляется бритый затылок мальчика, голос из «будущего» комментирует: «Это я, мне 9 лет». После завершения титров мы видим ребенка-рассказчика возле портрета Ворошилова, затем камера скользит по комнате Лапшина влево, и мальчик встает и пересаживается влево, чтобы быть в кадре. При этом переход мальчика влево оказывается единственной «причиной» внешнего немотивированного движения камеры (мальчик скользит почти незаметно на втором плане, скрывая свое воздействие на конфигурацию дискурса). Повествователь оказывается персонафицированной дискурсивной инстанцией. Мальчик сидит фронтально напротив камеры, а закадровый голос рассказчика комментирует: «Говорили все больше о будущей войне». И сразу же за этой репликой начинаются рассуждения о стратегии. Рассказчик предвосхищает события, ведет их за своим знанием, организует их из будущего. Но не только нынешний повествователь обладает способностью видеть прошлое, но и мальчик-рассказчик в диегезисе* фильма обладает скрытой возможностью смотреть из прошлого как бы в наши дни. Среди многих персонажей фильма он один из немногих, кто обладает правом смотреть в камеру. Взгляд в камеру в принципе табуирован в повествовательном кинематографе потому, что он выявляет наличие камеры и непосредственно вступает в контакт со зрителем, присутствия которого обязаны не замечать герои повествования. Такое право смотреть из прошлого нам в глаза отдано мальчику как носителю дискурса. Мальчик пользуется этим правом неоднократно. После завершения дня рождения Лапшина гости уходят, камера неподвижно фиксирует дверной проем в коридор, пока в нем не появляется мальчик и не смотрит прямо в объектив. То же самое происходит и в ином эпизоде, когда Окошкина (сотрудника Лапшина, живущего в его квартире) отправляют за дровами. Камера также фиксирует дверной проем коридора, появляется мальчик, он смотрит в объектив и выходит. В той же мизансцене мальчик возникает и после приступа Лапшина, и в конце фильма, после возвра-

* диегезис — термин из «Поэтики» Аристотеля, в современной науке означает пространственно-временную целостность повествовательного мира фильма.

щения Лапшина к себе в квартиру и расставания с Адашовой и Ханниным.

Существенно также и то, что мальчик постоянно дается во внешней фокализации. Взгляд камеры, часто имеющий субъективный характер, никогда не идентифицируется с его взглядом. Он лишь смотрит из диегезиса на нас, но диегезис никогда не предстает с его точки зрения. Персонафицированный автор оказывается внешним свидетелем, размыкателем реальности и в силу этого чрезвычайно своеобразной дискурсивной инстанцией. Итальянский исследователь Франческо Кассетти, специально изучавший функцию взгляда в камеру, справедливо указывает: «...взгляды и слова, направленные в камеру, открывают то, что обычно спрятано, — камеру и ее работу; они также открывают единственное чужеродное пространство, единственное внекадровое пространство, которое не может стать внутрикадровым — зал, расположенный напротив экрана; таким образом они разрывают ткань вымысла вторжением металлингвистического сознания — «мы в кино», — выявляющего характер игры и тем самым ее разрушающего. В этом смысле они обозначают то место, где фильм сжигает сам себя»*.

Взгляд в камеру, выявляя наличие автора и зрителя, подчеркивает сам факт существования дискурса и зрительно отражает его изнутри повествования, особым образом ориентируя его «на меня». Но эта обращенность ко мне есть фундаментальная черта всякой дискурсивности. История существует сама по себе, повествование не имеет ориентации на адресат. Такая ориентация придается ему через дискурс, исходящий от человека (автора) и направленный к человеку (читателю). Как указывает американский киновед Рик Олтмен, «критерий внятности текста есть в конечном счете критерий его ориентированности на меня, имплицитной дискурсивности»**. С этой точки зрения взгляд мальчика в камеру является в той же мере дискурсивным элементом, что и закадровый голос взрослого повествователя (голос, слышимый только зрителем и направленный только на него).

Таким образом, голос «из-за камеры» оказывается зеркально связанным со взглядом в камеру изнутри фильма. Повествователь, расщепляясь на голос и взгляд, себя молодого и пожилого, сохраняет в расщеленности сложное единство (единство зрения и слуха, дискурсивно ориентированное на зрителя).

Авторская инстанция фильма строится как многоступенчатая конструкция. В результате взгляд извне постоянно смешивается со взглядом изнутри. Рассказчик выносится из диегезиса и одновременно помещается в него, но помещается таким образом, чтобы через повторяющиеся взгляды в камеру взрывать замкнутость повествовательного пространства-времени (диегезиса). Рядом с персонажами повествования, живущими внутри сюжета, оказываются персонажи-свидетели, способные выйти из сюжета и идентифицироваться с дискурсом. «Реальность» теряет замкнутый на себя характер. При этом вопрос о том, чьими глазами мы видим события, систематически не получает однозначного ответа.

Актанты

Вероятно, двумя самыми сильными типами интриг являются любовная и детективная. Обе они в какой-то мере представлены в фильме, хотя их повествовательная сила чрезвычайно ослаблена. Детективная линия с ее хитросплетениями разрушена настолько, что лишь по касательной затрагивает героев. Любовный треугольник, несмотря на то, что он в итоге не складывается, имеет большее значение для повествования. Именно его участники являются главными носителями интриги в фильме. Они резко отграничены от остальных персонажей и являются, с точки зрения современной нарратологии*, — актантами, то есть персонажами, выполняющими в повествовании определенную функцию. В фильме три актанта: Лапшин, Адашова и Ханнин.

Интрига фильма по преимуществу строится вокруг женщины (Адашовой). Характерно при этом, что среда, окружающая Лапшина и наиболее полно представленная в его «служебной квартире», совершенно лишена женского присутствия. Это мужской мир, мир без интриги. В нем и сам Лапшин теряет свойства актанта. В какой-то мере именно отсутствие женщины делает соратников Лапшина служителями «идеи», слугами Закона**. Единственный приятель Лапшина, крутящий на стороне романы, а затем вступающий в брак —

* Раздел семиотики, изучающий вопросы повествования.

** Такой механизм сублимации служения женщине в служение закону характерен для классического кинематографа. Разбор этого механизма на примере «Молодого мистера Линкольна» Джона Форда см. «Young Mr. Lincoln» de John Ford. — Cahiers du cinéma, № 223, août-sept. 1970, p. 29—47.

* Casetti F. Les yeux dans Les yeux. — «Communications», n°38, 1983, p. 79.

** Altman R., The Technology of the Voice, part II — Iris, v. 4, № 1, 1986, p. 115.

Окошкин — буквально изгоняется Лапшиным из коллектива, чтобы в конце уйти от жены и вновь вернуться в мужское братство. Даже мальчик-повествователь, живущий со своим отцом, не имеет матери, о которой ни разу не упоминается в фильме. Ханин включается в коллектив только после смерти его жены.

Женщины в изобилии существуют в двух противопоставленных и зеркально взаимосвязанных мирах — в театре и вокруг банды Соловьева. Весь эпизод взятия банды строится под аккомпанемент истерики женщин, теряющих по воле угрозыска своих мужчин. Угрозыск выступает как активное десексуализирующее начало (ср. со стремлением Лапшина «исправить проститутку» в сцене с Катькой-Наполеоном: «Ты грязь оставь. Ну, специфику всякую, детали. Ты самое главное рассказывай, как исправлять-ся будешь»).

Но активное повествование, как было сказано, связано именно с женщиной. Персонажи любовного треугольника — актанты — обладают особым статусом. Ханин — писатель, Адашова — актриса, сами они являются производителями текстов. Лапшин занимает рядом с ними несколько иное положение. В какой-то момент и Ханин, и Адашова обращаются к Лапшину с просьбой «приблизить» их к реальности. Адашова просит Лапшина познакомить ее с реальной проституткой, роль которой она исполняет в театре, Ханин просит взять его с собой на ловлю банды.

С точки зрения теории повествования, речь идет о пересечении «семантической» границы, отделяющей персонажные миры. Как показал Ю. М. Лотман, выход из своего мира в иной — одна из важнейших черт, отличающих активного героя (действителя, актанта) от пассивного. «В отношении к границе сюжетного (семантического) поля действитель выступает как преодолевающий ее, а граница в отношении к нему — как препятствие»*. Пересечение семантической границы актантом, как правило, чревато серьезными последствиями. Поэтому закономерно, что оба случая приводят к драматическим результатам, в фильме актанты не выдерживают непосредственного контакта с иной «реальностью». Ханин получает ножевую рану, проститутка Катька-Наполеон унижает Адашovu на глазах Лапшина (задирает ей лобку, навязывая ей то самое поведение шлюхи, в образ которой внешне пытается вжиться актриса). Таким образом, Лапшин выступает как неудачный посредник между «реальностью» и миром актантов, то есть фабу-

лой. И эта его неловкость выражается и в его неумении овладеть любимой женщиной и в физической ущербности — контузии.

Мир актантов — всецело игровой и в этом он контрастно противостоит миру других персонажей. Вообще в фильме подчеркнута наличие игрового пласта в самом широком смысле слова. Это не только театр, в котором играет Адашова, и два его спектакля «Пир во время чумы» Пушкина и «Аристократы» Погодина, дающие ясный комментарий к происходящему и тесно связанные с темой банды Соловьева. Это и многочисленные розыгрыши, концентрирующиеся вокруг Окошкина: он выдает себя за кладовщика, вызывая по телефону какую-то Клаву из весовой, ему подсовывают в постель никелированный шар, его разыгрывает Адашова, выдавая себя за его жену, и т. д. Розыгрыш Окошкина Адашовой — это перевод в театральные отношения с Ханниным, присутствующим тут же. Выдавая себя за жену Окошкина, Адашова театрализует и делает публичным свое стремление быть женой Ханнина. Существовало, что этот мотив розыгрыша завершает всю линию отношений актрисы и писателя. В своей последней реплике в сцене расставания с Ханниным Адашова говорит: «Ханин, миленький, возьми меня с собой. Возьми меня с собой! Я здесь помру... ладно, это шутка, это розыгрыш называется». (Ср. с постоянными приглашениями Ханнина Лапшину поехать с ним.)

В начале фильма начфин Джатиев и уполномоченный Точилин показывают номер самостоятельности «Итальянский летчик-фашист над Абиссинией, или Коричневая чума» (ср. с пьесой Пушкина), который один из зрителей комментирует так: «Прямо художественные артисты получают». При этом этот импровизированный театр непосредственно смыкается с темой Ханнина, который как раз работает над книгой о летчике. Отметим также, что в театре, во время небольшой вечеринки (также своего рода театрального зрелища) объявляют о том, что в театр завезены настольные игры «Ночной полет» (название романа Сент-Экзюпери). Герои фильма все время играют в шахматы и т. д.

Но наибольшей концентрации этот игровой слой достигает в радиусе действия Адашовой и Ханнина. Эти фигуры ощутимо трансформируют коды репрезентации в фильме, переключая их в театральные регистры. После театрального розыгрыша на площади, когда Адашова выдает себя за жену Окошкина, Лапшин и Ханин отвозят ее на мотоцикле к дому. Фары мотоцикла высвечивают, подобно театраль-

* Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970, с. 291.

ным софитам, двор, куда уходит актриса. Характерен разговор Ханина и Лапшина в этот момент:

Ханин: «Поехали, больше ничего не будет».

Лапшин удивлен такой репликой приятеля: «Что не будет?»

Ханин: «Ничего не будет». И гасит фары мотоцикла, как бы выключая театральную репрезентацию сцены. «Больше ничего не будет» — означает: представление кончилось.

Двор Адашовой вообще место «театральных» представлений. Как пародия на романтический театр решена сцена, когда Лапшин ночью влезает в окно к актрисе. В подтексте здесь «Дон Жуан» и, вероятно, «Ромео и Джульетта» (сцена у балкона). Страх Адашовой, что Лапшин разбудит ненавистных соседей, звучит прямо пародийно. Ср. у Шекспира:

Джульетта:

«Как ты попал сюда? Скажи, зачем?

Ведь стены высоки и неприступны.

Смерть ждет тебя, когда хоть кто-нибудь Тебя здесь встретит из моих родных.

Ромео:

Я перенесся на крылах любви:

Ей не преграда — каменные стены.

Любовь на все дерзает, что возможно, И не помеха мне твои родные».

(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

Но речь идет не просто о введении театральных кодов и подтекстов. Театральная репрезентация в отличие от кинематографической предполагает наличие зрителя непосредственно в пространстве производства текста. Адашова — актриса, и она проходит сквозь фильм в окружении особого слоя персонажей — свидетелей, зрителей, ее действия обладают повышенным градусом публичности, они осуществляются для наблюдателя в кадре.

Адашова все время существует в фильме под пристальным взглядом какого-то неизвестного человека. Когда она общается с Катьей-Наполеон в угрозыске, внимание камеры сосредоточено не столько на ней, сколько на красноармейце, плящемся на актрису и проститутку. Но предельно систематично эта структура проведена во всех сценах общения с Лапшиным. Первая встреча их на улице во время покупки дров. Стоит Лапшину и актрисе остаться на секунду вдвоем, к ним подходит неизвестный человек в кепке и почти нагло их рассматривает, а затем направляет взгляд в камеру: он свидетель со стороны, персонификация зрения, знающая о существовании дискурсивной инстанции. Следующее свидание: Лапшин на мотоцикле догоняет трамвай, в котором едет Адашова, чтобы пригласить ее в угрозыск.

В течение всего разговора протагонистов за ними фронтально к камере стоит человек и беззвучно смотрит на героев, почти прямо в камеру. Далее: Лапшин привозит дрова в театр, возле театра его встречает Адашова и благодарит. Но с героев камера смещается на шофера и человека с усами, пристально изучающих Лапшина и актрису. Следующий разговор состоится на вечеринке в театре. На первом плане вне фокуса Лапшин и актриса, в фокусе находится неизвестный человек (как потом выясняется, сумасшедший театральный портной), он повернут к камере фронтально и смотрит перед собой немигающим тяжелым взглядом. И, наконец, в пародийной сцене у «балкона» неизвестно откуда появляется навязчивый свидетель, услужливо подставляющий лестницу (Федька) и как зритель наблюдающий всю сцену у дома. Когда после свидания Лапшин падает в грязь, вылезая из окна Адашовой; он невольно комментирует ситуацию: «Шапито с боржомом!» Общение с Адашовой постоянно вводит Лапшина в ситуацию театральной репрезентации, в которой он чувствует себя неловко. Театрализация репрезентативной системы мгновенно сказывается на поведении следователя, он становится неловким, падает, играет шута. И эта несвойственная ему роль навязана ему женщиной-актрисой с самого начала. В сцене представления Лапшина актерам в качестве «местного Пинкертона» те неожиданно посреди улицы начинают ему аплодировать. Ханин также чрезвычайно публичен. Даже его неудачная попытка самоубийства происходит перед зеркалом, создающим квазисвидетеля. Сразу после сцены самоубийства все в том же растворе двери появляется мальчик-рассказчик (свидетель, зритель) и смотрит в камеру. Затем Ханин закрывает себя с головой одеялом и изображает покойника (предвосхищая трагический ход дальнейших событий). Таким образом, вся сцена попытки самоубийства представлена сквозь театральные коды. Однако более непосредственно с темой Ханина связаны иные коды — кинематографические, а именно коды вестерна и гангстерского фильма*. Писатель постоянно зовет Лапшина на Алдан стать золотоискателем, он отправляется на взятие банды как на жизненное приключение, и, вероятно, именно его присутствие воздействует на эпизод поединка Лапшина с

* Ср. с интересом Германа к вестерну еще в период работы над фильмом «Проверка на дорогах», который первоначально задумывался как «русский вестерн, точнее — антивестерн». Герман А. Кино произрастает из поэзии, с. 145.

Соловьевым, в котором легко различим пародический вестерн (существенно, что этот поединок отделен от остального эпизода ранением Ханина и отправкой его в больницу — то есть отъездом Лапшина с места действия). Поединок пародирует центральную сцену классических вестернов и триллеров, «gun-fight», то есть финальное столкновение антагонистов. Он может строиться как схождение двух людей с винчестерами или револьверами в пустынном пространстве городка. Движение Лапшина к спрятавшемуся за сараем бандиту дается в соответствии с этой традицией. Характерно, что в тот момент, когда Лапшин стреляет в Соловьева, бандит виден далеко на общем плане, а правую часть кадра занимает рука Лапшина с пистолетом. Такая точка зрения из-под руки стреляющего — кодифицирована в сценах «gun-fight'a». Отметим также, что включение Лапшина в репрезентацию американского фильма опять сопровождается его падениями, он ударяется о крышу сарая (пародически снижая образец и выявляя свою неспособность в нем функционировать). Он убивает Соловьева, отбросившего оружие, таким образом, нарушая этический кодекс вестерна, а в итоге в припадке физической слабости заползает в какой-то чулан, выявляя свое поражение в системе «gun-fight'a». Укажем также, что функции актантов косвенно связаны с поэтикой вестерна и триллера: шериф и актриса (или проститутка) — классические персонажи этих жанров.

Таким образом, в отношениях актантов существует известная симметрия. Лапшин неудачно вводит Адашову и Ханина в свой мир, те в свою очередь крайне неловко организуют вступление Лапшина в систему собственной репрезентации. Поражения актантов отмечают границы отведенных для них репрезентативных систем. Существенно также показательное членение эпизода взятия банды на две части. Первая (до ранения Ханина) строится по законам мира Лапшина и кончается трагедией писателя, вторая перестраивается по законам вестерна и кончается кошмаром для следователя.

Тот факт, что актанты (кроме Лапшина) порождают собственные репрезентативные системы, позволяет интерпретировать их как генераторов собственного дискурса в фильме. Тем самым в языке фильма подтверждается типичное для классического повествовательного кино представление о том, что дискурс порождается повествованием. Но театрализованный дискурс актантов резко отличается по своей форме от дискурса автора-рассказчика. Он как бы не задевает структуры киноязыка Германа, он целиком реа-

лизуется внутри диегезиса и дан как внешняя по отношению к миру фильма система, основанная на оппозиции актер — зритель в кадре. Два персонажа, наиболее активно включенные в повествование, в силу этого предстают как фигуры внешние по отношению к миру иных персонажей. Они втягивают в фильм собственную репрезентацию, подвергаемую ироническому отторжению как систему фальшивую, игровую. Театр в фильме — плохой, провинциальный театр. Мир главных актантов, мир линейного логического повествования выпадает из авторского дискурса через неорганичность ему их собственных дискурсов.

Такая ситуация полностью мотивируется и на уровне сюжета. Адашова тянется к Ханину как носителю близкого ей репрезентативного мира, или, иными словами, близкой точки зрения на реальность. Оба они в конце фильма уезжают, исчезая из мира Лапшина. Оба заданы изначально как временные фигуры — «гастролеры» (показателен выбор А. Миронова и Н. Руслановой на эти роли — двух звезд, «гастролирующих» среди непрофессионалов и менее известных исполнителей). Их появление в фильме, как и вкрапление в него их дискурсов, выступает в качестве своего рода «гастролей» актантного (сильного) повествования в чужеродном ему универсуме. При этом эта «гастроль» дискурсов осмысливается и в репликах актантов. В конце фильма происходит следующий разговор между Лапшиным и Адашовой.

Адашова: «А что Катя-Наполеон?»

Лапшин: «В лагерь поехала».

Адашова: «Это хорошо. А к нам вон ленинградцы приезжают. Они не мы. На них уже все билеты проданы...»

Отправление живого человека в лагерь описывается актрисой как гастроль, тем более что оно совпадает с концом собственных гастролей Адашовой. На судьбу прототипа проецируется жизнь актера (таким образом темы уголовного и театрального миров вновь декларативно смыкаются — как сферы двух сильных интриг и двух чужеродных дискурсов). При этом уход одних гастролеров в конце подготавливает приезд других (ленинградцы), создавая безостановочную дискурсивную карусель. В этом же контексте читается и финальный отъезд Лапшина на переподготовку.

Лапшин: «А я на переподготовку уезжаю».

Занадворов: «Переподготовка, подковка, перековка».

Окошкин: «Рокировка»...

Таковы последние реплики героев филь-

ма, имитирующие бессмысленный набор слов, но в действительности включающие действие Лапшина в эту систему перекодировок: перековка — слово само по себе описывающее операцию перекодировки и связанное с главной темой погонинской пьесы и лагерьной жизни, рокировка — заключительная тема игры и перестановки фигур.

Дискурс автора-рассказчика

Авторский дискурс фильма контрастно реализуется на двух уровнях. С одной стороны, это работа камеры, с другой — межэпизодный монтаж.

Работа камеры. Пространство фильма членится на три типа: комната, коридор и натура, каждый из которых определяет режим работы камеры, то есть тип дискурса. Отсюда и семантическая оппозиция этих типов пространства в фильме.

Из интерьеров наиболее активно используется комната Лапшина, пространственно ориентированная на вечно зияющий дверной проем, ведущий в коридор. Этот дверной проем почти недоступен для вторжения в него камеры, он часто вырезает, фрагментирует действия персонажей, происходящие в иных частях квартиры и данные нам сквозь него. Фронтальность дверного проема сближает его с зеркалом сцены. Но действия на этой сцене организованы совершенно не театрально, они не вписываются в раму. В комнате Лапшина камера ведет себя внешне совершенно немотивированно, постоянно блуждая в пространстве и выхватывая какие-то, казалось бы, случайные действия. Нельзя сказать, чтобы эта случайность была лишена логики. Часто, например, камера следит за персонажами, то есть работает в повествовательном режиме. Но объекты для слежения она выбирает предельно нелогично. В первой трети фильма, например, наиболее активное воздействие на дискурс, то есть работу камеры, оказывает наименее повествовательно существенный персонаж — ворчливая старуха Патрикеевна (единственная женщина в квартире). Ее сила влияния на дискурс при полном повествовательном ничтожестве поразительна. Стоит ей появиться в комнате, как камера начинает почти автоматически следовать именно за ней, оставляя без внимания Лапшина и более близких ему героев. Характерно, что Патрикеевна не просто «пустой» персонаж, своего рода «антиактант», но существо явно мешающее жизни героев, их мелкий бытовой антагонист. Привилегия, отдаваемая ей камерой,

декларируется как антиповествовательный, антиперсональный режим ее функционирования. Любопытно, что дискурсивная сила Патрикеевны резко ослабевает после появления в квартире Ханина, дающего ей денег и тем завоевывающего ее благосклонность. В собственной комнате Лапшин представляет малый интерес для камеры, она его почти игнорирует.

Второй тип пространства — коридор. В фильме необычно большое количество длинных извилистых коридоров, по которым практически всегда быстрой походкой проходит Лапшин. Именно коридор — его абсолютное царство. Проходы Лапшина по коридорам в квартире, в уголовном розыске, в бараке, где прячется банда, всегда сопровождаются движением камеры, так или иначе с ним связанным. В коридоре дискурс «привязывается» к актанту. Семантически коридор — промежуточное пространство между внешним и внутренним мирами. Он отдан Лапшину как посреднику.

Проходы по коридору снимаются необычно. Первая сцена в уголовном розыске. Камера движется по коридору, периодически замирая, поворачиваясь из стороны в сторону, в фонограмме дается звуковой трэвинг. Возникает ощущение подчеркнутой субъективности плана. Коридор дан как бы глазами Лапшина. Наконец камера останавливается перед дверью в кабинет, неожиданно из-за камеры в кадр входит Лапшин, тем самым меняя фокализацию дискурса с внутренней на внешнюю. Камера двигалась перед Лапшиным, как бы толкаемая им. Взгляд Лапшина мы вынуждены в конце прохода приписать автору. Таким образом, коридор оказывается местом передачи точки зрения от персонажа к автору. Коридор задается в силу этого и как место дискурсивного сдвига. Характерно также, что когда Лапшин входит в кабинет, где его ожидает Катя-Наполеон, он практически выпадает из поля зрения. Внимание камеры отдается проститутке. Комната лишает Лапшина повествовательной силы. В проходе через коридор барака точка зрения камеры уже полностью идентифицируется с точкой зрения Лапшина. Действие повествовательно более сильное (ловля банды) настолько активизирует дискурсивную функцию героя, что позволяет ему слиться с автором.

Невозможность для камеры проникнуть в дверной проем в комнате Лапшина выражает энергетическую силу границы между пространствами. Но тот факт, что сам дверной проем постоянно притягивает к себе взгляд камеры (многие панорамы кончаются его фиксацией) указывает

на мощный заряд повествовательной (а следовательно, и смысловой) энергии, заложенный в эту пространственную границу.

Третий вид пространства — натура. Здесь метод съемки комнаты соединяется с типом трэвлинга, типичного для коридора, но с одной поправкой. Идущий Лапшин чаще всего здесь дан со спины, камера не опережает героя (как в коридоре), но следует за ним. Тем самым блокируется идентификация актанта с автором. Камера работает в повествовательном режиме, хотя и с неожиданными отклонениями, она может вдруг потерять Лапшина и уйти в сторону. Так во время первого прохода по городу она то уходит вправо, чтобы остановиться на статуе в парке, или отклоняется влево куда-то за Окошкиным, или замирает на мальчишке-паралитике. Во время прохода к бараку она неожиданно останавливается на женщине с ребенком. От действующих персонажей она переходит на свидетелей. На натуре камера действует в гибридном режиме, соединяя активную локализацию на актанте в проходах по коридору с полной дискурсивной автономией сцен в комнатах.

Существенное место в съемках природы занимают проезды. В проездах участвуют Лапшин на мотоцикле, постоянно колесящий по городу, и грузовик, на котором перевозят трупы, раненого Ханина и дрова. Проезды мотивируют наиболее интенсивное движение камеры в кадре, и через них неоднократно стыкуются между собой эпизоды. Движения здесь обладают повышенной энергетической силой, позволяющей переходить из эпизода в эпизод. Так, после проезда по городу на мотоцикле, единственного субъективного плана, где камера идентифицируется с едущим Лапшиным, резким стыком включается движение камеры в коридоре угрозыска, уже описанное как первоначально субъективное, а затем «объективное». При этом стыковка эпизодов здесь дается также и за счет однотипного звукового трэвлинга.

Целый ряд проездов строится на сложных взаимодействиях грузовика и мотоцикла, позволяющих точно так же неожиданно менять режим работы камеры. В сцене вывоза трупов (жертв банды Соловьева) снимаемый сзади грузовик отъезжает, за ним начинает двигаться камера. Ощущение такое, что мы смотрим на грузовик глазами следующего за ним на мотоцикле Лапшина, неожиданно в кадр въезжает мотоцикл с Лапшиным, заставляя нас переинтерпретировать фокализацию с внутренней на внешнюю, затем мотоцикл уезжает в сторону, увозя за собой камеру. Грузовик неоднократно используется как ложная фокализация повествования, затем

оказывающаяся немотивированным дискурсивным выбором. Он вводится в кадр именно для восстановления сложной дискурсивной стратегии, проходящей через весь фильм и невозможной без него в сценах проездов, где сама быстрота движения как бы исключает возможность «случайных» персонажей. Так, та же структура в точности воспроизведена в эпизоде, где Лапшин, Ханин и Адашова направляются на центральную площадь (эпизода, завершающемся розыгрышем Окошкина Адашовой). Камера следует сзади за грузовиком (это следование сзади — характерная черта стиля). В фонограмме идет чтение стихов, подчеркивающее субъективность плана. Вдруг в кадр въезжает мотоцикл с героями (переинтерпретация фокализации), и далее грузовик и мотоцикл въезжают на площадь, где пути их расходятся. Грузовик в данном случае оказался ничем не связанным с мотоциклом*.

Межэпизодный монтаж. Мы уже указали на «энергетическую» функцию проездов в межэпизодном монтаже. Энергия движения здесь играет первостепенную роль и помогает склеивать эпизоды, систематически обрывающиеся как бы до того, как повествовательная их энергия полностью выработана. Эпизод на уровне повествования может оборваться почти в случайном месте, зато на дискурсивном уровне их связь организована очень мощно. Притом с точки зрения межэпизодного монтажа (относящегося целиком к сфере дискурса) то, что второстепенно для повествования, обретает особое значение.

Вернемся к фокализационным «играм» в эпизодах проездов. Мы указали, что сцена вывоза трупов строится на первоначальном следовании за грузовиком и последующем уходе камеры в сторону за мотоциклом. Но сразу же вслед за этим мы опять следуем за грузовиком, и вновь из-за него выезжает мотоцикл Лапшина. Ока-

* Динамическая сила проездов в принципе увеличивает шок от дискурсивных сдвигов. Самый необычный из известных нам эпизодов со сменой фокализации в проезде включен в фильм замечательного индийского режиссера Ритвика Гатака «Не механическое» («Аджантрик», 1958). Герой едет в машине. Проезд дан субъективным планом, так что мы видим на экране лишь змеящуюся ленту дороги, которая становится все более извилистой. Неожиданно за резким поворотом прямо на камеру вылетает та самая машина, из которой, как предполагалось, снимался весь план. Необъяснимая смена фокализации (мы не только «ехали» не в той машине, но даже в противоположном ей направлении) создает такой психологический шок у зрителя, что вызывает ощущение настоящей автомобильной катастрофы.

зывается, что речь уже идет о другом эпизоде. Грузовик везет дрова к театру. Сцены, разделенные в пространстве и во времени, стыкуются через повтор дискурсивной ситуации и однотипную дистрибуцию точек зрения. То, что разделено в повествовании, крепко связано в дискурсе. Когда через некоторое время та же ситуация с грузовиком и мотоциклом повторена при въезде Лапшина, Ханина и Адашовой на площадку и, как было показано выше, уже совершенно немотивирована повествовательно, сильная тематическая мотивировка остается. Этот случайный грузовик везет все те же дрова, которые сопровождали первое знакомство Лапшина с актерами театра и Адашовой, те же дрова, что Лапшин уже привозил в театр. Эта тема дров оказывается столь плотно связанной с театром, что их новое появление в кадре воздействует на дискурс, переводя весь дальнейший эпизод — розыгрыш — в театральный регистр.

Характерно, что театр и дрова неожиданно стыкаются и с любовной линией в жизни Лапшина. Когда он привозит дрова в театр, администратор благодарит его: «Ну спасибо. Спасибо, Иван Васильевич. Слава тебе, о Гименей, Иван Васильевич». Актер перебивает администратора: «Какой Гименей — Прометей».

Вообще грузовик, преследуемый на мотоцикле Лапшиным, — это своего рода символический челнок, соединяющий линию смерти (перевозка трупов и раненого Ханина — в подтексте телега с мертвецами из «Пира во время чумы») с темой театра и любви. В этом смысле упоминание Гименея выглядит также весьма символическим, ведь Гименей, согласно греческой традиции (Пиндар, фрагм. 139), внезапно умер на свадьбе Диониса и одной из его возлюбленных (а согласно Аполлодору, был воскрешен великим врачом Асклепием).

Межэпизодный монтаж целого ряда эпизодов сделан таким образом, чтобы почти закамуфлировать монтажный стык и придать повествовательно разорванным эпизодам видимость дискурсивного единства. Эпизод с самоубийством Ханина, например, кончается затемнением, в котором высвеченной остается лишь лампа под потолком. Затем следует короткая перебивка с парходом на реке (такого рода перебивки с рекой и парходом — единственные фрагменты, полностью выпадающие из повествования), и далее в кадре вновь возникает лампа под потолком, указывая на возвращение в пространство прошедшего эпизода. В действительности действие уже происходит не на квартире Лапшина, но в уголовном розыске. Идет

эпизод допроса бандита. Он кончается проходом Лапшина по коридору угрозыска к комнате, где сидят Ханин и Занадворов. Занадворов готовит суп. В следующем эпизоде Лапшин, Ханин и Адашова на квартире актрисы едят суп (как бы приготовленный в предыдущей сцене). Таким образом, оборванность повествования постоянно компенсируется чрезвычайно плотной подгонкой эпизодов в дискурсе, своего рода дискурсивным «замазыванием» повествовательных швов. Отсюда двойственное общее впечатление от фильма как от текста одновременно намеренно фрагментарного и пластически почти нечленимого.

Такое впечатление поддерживается и на уровне внутриэпизодного монтажа, где количество монтажных стыков сведено к минимуму и заменено постоянным движением камеры. При этом Герман почти полностью отказывается от классического приема переброски точки зрения камеры на 180°, особенно типичного для традиционных диалогических сцен (восьмерка). Восьмерка является особым способом членения пространства, подчеркивающим способность камеры абсолютно свободно перебрасываться в пространстве. Камера у Германа слишком тесно связана со сложной инстанцией автора-повествователя, чтобы обладать такой абстрактной дискурсивной свободой (отметим также повышенную детерминированность восьмерки повествованием — переброска точки зрения детерминирована переходом речи от одного участника диалога к другому). Редкие восьмерки в фильме поэтому обладают особым семантическим весом. Так, камера меняет свое положение на 180° в сцене первой встречи Лапшина с Адашовой, а также в сцене их расставания. Она отмечает начало и конец актантной схемы фильма.

Авторский дискурс настолько тесно связан с присутствием почти физически ощущаемого повествователя, что лишь в крайних случаях обретает полную свободу от мира персонажей. Такие отрывы от персонажного мира наиболее ярко выражены в коротких внедиегетических перебивках, изображающих реку или парход на реке. Они сопровождаются авторским голосом и немотивированной музыкой, подчеркивающими их изоляцию от происходящих событий. Эти кадры реки соединяются с эпилогом, показывающим реку с суденышком в современном Унчанске (опять в сопровождении музыки и закадрового комментария). Такой выброс этих перебивок в современность подчеркивает их связь с автором, живущим в настоящее время. Между тем в конце фильма они приобретают дополнительную мотивировку в самом

сюжете, так как связываются с парохом, увозящим Ханина, и сценой ухода Адашовой в сторону пристани. В итоге они выступают как авторское предвидение финала интриги, как своеобразные повествовательные «пророчества», относящиеся к развязке повествования.

Для понимания их места в фильме важна навязчивая музыкальная тема, неотвратимая в первых двух кадрах реки и получающая диегетическую мотивировку в сцене отъезда Ханина, когда оркестр вводится в пространство рассказа. Фонограмма фильма в принципе работает в том же режиме, что и повествование, обеспечивая смену фокализаций. Когда Лапшин везет Адашову в угрозыск на мотоцикле и в изображении дается субъективный план проезда, в фонограмме возникает закадровое пение: «Хазбулат удалой», проезд неожиданно заканчивается бабой, сидящей на телеге и поющей песню. Обнаружение источника звука в конце плана меняет статус песни с внедиегетического на внутридиегетический. Характерно, что само это соскальзывание в фонограмме с дискурсивного уровня на повествовательный сопровождается единственным полностью субъективным проездом в фильме. Отсутствие смены фокализации в изображении компенсируется сменой режима чтения в звуке. Герман постоянно разрушает однозначную модальность рассказа.

Смысловая стратегия

Нет особой необходимости умножать количество примеров. Выше нами рассмотрены основные фигуры организации взаимоотношений дискурса и повествования в фильме. Репертуар использованных Германом приемов довольно ограничен, но все они ориентированы в одном направлении. С одной стороны, режиссер систематически расслаивает дискурсивную инстанцию, мешая ясной идентификации автора-повествователя, «сбивая» режим чтения. С другой стороны, он настойчиво отслаивает дискурсивный слой от актантового повествования. Эти две процедуры на самом поверхностном уровне чрезвычайно усложняют чтение фильма и превращают его текст в зыбкую многослойную конструкцию. Именно на этом основывается поразительный эффект реальности фильма. Относительная точность бытовых деталей имеет в данном случае подчиненный характер.

Однако та фильмическая реальность, которую создает Герман, ни в коем случае не может быть отождествлена с подлинной исторической реальностью

30-х годов, ведь она включает в себя целый ряд репрезентативных систем, вбирает в себя сложную иерархию взглядов (репрезентация актантов, дискурс автора, дискурс сегодняшнего повествователя, дискурс повествователя в тексте и т. д.).

Спрашивается: для чего Герману понадобилась эта сложная конструкция и какова ее функция в общей смысловой стратегии фильма?

Все три фильма режиссера посвящены нашей истории. Этот интерес к истории не случаен. Словом «история» мы определяем два различных явления: эмпирическую реальность, переживающуюся людьми определенной эпохи, и ее осмысление, описание, историографию. Между историей как эмпирической реальностью и историей как осмысляющим ее текстом существует зияние. Ни один текст не в состоянии до конца адекватно описать эмпирию, он неизбежно подвергает ее логизации, иерархизации, отбору, то есть обработке по законам словесного или иного художественного отражения. Доминирующей моделью для художественного описания реальности являются модели художественных текстов. Как показал американский исследователь Хайден Уайт, в сфере сюжетной обработки истории доминируют четыре модели: романная, сатирическая, комическая и трагическая формы*. Те же модели функционируют и в историческом кинематографе**. Понятно, что подобные полухудожественные структуры исторического сознания не могут быть адекватны той реальности, в которой по ним осмысляется исторический процесс.

Таким образом, классическое актантовое повествование по отношению к истории является априорно ложным. Протагонисты такого повествования неизбежно оказываются в трагическом разладе с действительностью, хотя сами этого не осознают, так как история и их место в ней представляются им относительно понятными, соответствующими более или менее простым схемам.

Отказ дискурса, то есть автора, обслуживать актантовое повествование в фильме, его подчеркнутая автономия означают отказ признать театральные и традиционные кинематографические модели репрезентации адекватными реальности. Автономия камеры как бы указывает, что подлинные события происходят вне повествовательных схем. Таким образом, организация дискурса выступает как форма критики логизирую-

* White H. *Metahistory: the Historical Imagination in Nineteenth Century Europe*. Baltimore, 1973.

** Polan D. *la Poétique de L'Histoire: «Me tahistory» de Hayden White.* — *Iris*, v. 2, № 2, 1984, p. 31 — 40.

щего и оптимистического исторического сознания, притом критика на языковом уровне включена в сам мир фильма. Чрезвычайно важен крах актантной схемы в фильме: отношения главных героев ни к чему не приводят, театрально запутавшись узелок не завязывается до конца, протагонисты исчезают в толпе «случайных» людей, расходятся и растворяются в реальности. Участие в повествовательной схеме кончается конфузом, ранением, пустотой.

Сильный дискурс фильма и подчеркнутое наличие авторской инстанции ткет свою сеть причинно-следственных связей (что особенно очевидно в процедурах соединения различных эпизодов), о существовании которых не догадываются герои. Они живут, осознавая реальность по своей схеме, но включены в иную схему, связанную с дискурсом. Грубо говоря, странные появления и движения грузовика в большей мере определяют логику авторского рассказа, чем помыслы героев. Но автор, проникая в 30-е годы через фигуру повествователя, ведет свой рассказ из далекого будущего. Это расщепление автора создает скользящую во времени точку зрения на события, которые в полной мере невозможно увидеть ни изнутри той эпохи, ни из современного далека. Таким образом, реальность фильма задается как постоянный переход с внутренней фокализации на внешнюю. Автор как главная причина событий так же неуловим, как отражающаяся в его сознании действительность. И только в стремительном переходе (эпизоды в коридорах) возникает кратковременная смычка автора и героя, дискурса и повествования. Главный герой фильма задается как посредник, как человек, ткущий связи между мирами и системами репрезентации. Отсюда и его особая функция в фильме и его способность в короткие моменты переходов привязывать дискурс к себе.

В финале фильма, когда Адашова навсегда уходит от Лапшина и растворяется в толпе, из глубины пространства на камеру идет один из актеров труппы с галошей в руке. Он поворачивается в сторону стоящего вне кадра Лапшина и говорит: «Галоши потерял. Вот дела!» Этот странный, случайный персонаж замещает исчезающего актанта, и по-видимому, не случайно. Потеря возможного счастья неожиданно подменяется потерей галош. Можно предположить, что этот крошечный эпизод ненавязчиво отсылает зрителя к «Вишневому саду» Чехова* и к сказке Андерсена «Калоши счастья» (к другой сказке — русской народной — отсылает «эксперимент» с лисой и петухом в живом уголке

театра — ср. также с фольклорным, «лисьим» именем Патрикеевны). Эти галоши возникают в фильме еще раз в эпизоде подчеркнутой символичности. Окошкин спотыкается в коридоре о галоши и разбивает зеркало. Занадворов комментирует: «Очень плохая примета. И, между прочим, для всех». Эта реплика оказывается не пустой, но выступает в качестве «оператора» монтажа. Следом за ней и разбитым зеркалом монтируется самый страшный эпизод фильма — погрузка трупов.

Роковая роль потерянных, «заблудившихся» галош особенно ясно вскрывается через Андерсена. При сравнении фильма со сказкой бросается в глаза очевидная близость сюжетных ядер. В сказке фигурирует театр, один из его героев полицейский чиновник, встречающийся с поэтом и завидующий его свободе, неожиданно оказывается автором негодной трагедии и т. д. Но самое существенное не это: в «Калошах счастья» неожиданным образом описан метод построения дискурса в «Лапшине». Эти самые калоши позволяют путешествовать во времени и пространстве, так что мертвое тело остается в одном месте, а душа путешествует в другом (ср. с расщеплением авторской инстанции в фильме). В эпизоде в театре у Андерсена рассказывается история о ведунье («Бабушкины очки»), которая знала обо всем, что произойдет в будущем.

Это видение событий из будущего и превращает действительность, эмпирическую историю в текст (у Андерсена в театр), «жизнь» персонажей в тексте отмечена роковой предопределенностью: их судьба уже заранее известна автору. Именно поэтому путешествие во времени не может принести счастья. У Андерсена последний владелец калош — студент — декламирует: «Я хочу прийти к конечной и счастливейшей цели земного бытия, самой счастливой из всех» (ср. с высказыванием Лапшина: «Вычистим землю, посадим сад,

* Герман отсылает к последнему действию «Вишневого сада», когда в суматохе финальных сборов перед окончательным расставанием героев Лапшин предпринимает попытку объясниться с Варей. Мотив пропавших калош проходит через все четвертое действие:

«Трофимов (...) А калош моих нет!
Варя (из другой комнаты). Возмите вашу гадость!
(Выбрасывает на сцену пару резиновых калош.)
Трофимов. Что же вы сердитесь, Варя? Гм... Да это не мои калоши! ...

Варя. Петя, вот они, ваши калоши, возле чемодана.
(Со слезами.) И какие они у вас грязные, старые...»
и т. д.

Ссылка на Чехова существенна для театрального пласта фильма; показательно, что владелец калош — актер.

и еще сами успеем погулять в том саду», словами, которые он произносит после вывоза трупов). Желание студента парадоксальным образом исполняется — и он засыпает «смертным сном». Внутри повествования герой стремится к идеальному счастью, но взгляд из будущего, из сферы дискурса всегда противоречит этому повествовательному оптимизму. Автор знает, что жизнь героя кончается его смертью. Между этими полюсами знания (знания персонажа из прошлого и знания автора из будущего) располагается скользкая во времени действительность, действительность как сложное взаимоналожение повествования и дискурса. История в конечном счете предстает как продукт двух движений: ее участников из прошлого в будущее и ее описания данного нам из будущего в прошлое.

Фильм, строящийся как безостановочный поиск контакта с ушедшей реальностью, воспринимается зрителем как статическое и адекватное отражение минувшей истории. Этот удивительный эффект говорит о многом: не есть ли ощущение действительности продукт непрерывного движения, смены мотивировок и фокализаций, разобщенного блуждания дискурса и повествования, иными словами, безостановочного становления и перехода на уровне языковых стратегий текста?

Рассмотренная смысловая стратегия, как уже указывалось, — одна из многих, реализующихся в тексте фильма. Данный анализ призван показать возможную методику анализа фильма на основе оппозиции повествование — дискурс. Предложенный подход строится на первоначальном выявлении сильного ядра повествовательной схемы — актантной цепи — и формального анализа тех языковых процедур, с помощью которых эта схема воплощается в фильме. Существенное значение для такого анализа имеет выявление рассогласованности дискурса и повествования. Можно утверждать, что эти моменты рассогласованности с точки зрения смысла фильма являются наиболее существенными.

Такой подход исключает возможность подмены категорий повествования и дискурса традиционными понятиями содержания и формы. Даже если свести дискурсивные процедуры (движения камеры, монтаж и т. д.) к понятию формы, нет оснований рассматривать повествовательный слой фильма как сферу содержания (особенно если учесть, что этот слой, как было показано, может порождать собственную репрезентацию). Но дело не только в

этом. Оппозиция повествование — дискурс не может описываться в рамках традиционных представлений об адекватности формы содержанию, так как семантический потенциал этой оппозиции заключен именно в их неадекватности, рассогласованности.

Значимая рассогласованность повествования и дискурса на самом поверхностном уровне реализуется в десинхронизации поведения персонажей и «поведения» камеры. Особую роль здесь также играет смена фокализаций дискурса. Взгляд камеры может идентифицироваться со взглядом персонажа (внутренняя фокализация), со взглядом повествователя (как это чаще всего происходит в фильме Германа) или абстрактного автора. Фокализация через повествователя подразумевает присутствие в диегезисе незримого и вместе с тем обладающего физическими свойствами человека-свидетеля. Такая фокализация предполагает, например, съемку с высоты человеческого роста, движение камеры, соответствующее скорости движения идущего или едущего человека и т. д. Фокализация через абстрактного автора позволяет дискурсу принимать форму свободных монтажных перебросов («восьмерка»), самых необычных ракурсов или сверхкрупных планов.

Смена дискурсивных фокализаций меняет характер причинно-следственных связей в тексте. Она же воздействует на характер зрительской идентификации с фильмом и остроту ориентированности текста на зрителя.

В конечном счете смена характера дискурса меняет тип нашего знания в тексте: в одном случае мы знаем столько, сколько персонаж фильма, в другом — столько, сколько свидетель, а в третьем — получаем допуск до сверхзнания автора. Смена этих типов знания неотделима от временной направленности текста из прошлого в будущее и из будущего в прошлое. Таким образом, смена дискурсивных фокализаций воздействует на характер протекания времени в фильме и уровень его исторической рефлексивности.

И, наконец, подчеркнутость дискурса в фильме отсылает нас к его функции метаречи. Поскольку повествовательный слой как бы существует вне воздействия кинематографиста, то его присутствие целиком связано с дискурсом. Чем ярче последний выявляется, тем активнее ощущение кинематографа. Метафункция дискурса как раз и связана с его указанием на кинематографичность происходящего на экране. Поскольку дискурс одновременно строит пространственно-временные связи фильма, его логическую континуальность, то, по выражению фран-

цузского киноведа Франсуа Жоста, «он способствует конструированию диегезиса, при этом задавая его как чистый кинематографический вымысел»*. «Мой друг Иван Лапшин» превосходно демонстрирует эту парадоксальную закономерность: чем сильнее дискурс, чем мощнее ощущение кинематографа в фильме, тем интенсивнее и ощущение реальности в нем. Наша история здесь предстает в формах под-

черкнуто авторского рассказа, и от того она приобретает подлинно исторический масштаб. Дискурсивная критика повествования превращает историю в текст, а текст — в историю.

* Jost F. Discours cinématographique, narration: deux faons d'envisager le problème de l'énonciation — Théorie du film. P., 1980, p. 124.



НАШИ АВТОРЫ

АГЕЕВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ (род. в 1958 г.). Закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии в 1979 г., Высшие сценарные курсы в 1987 г. (мастерская В. Черныха). Автор сценариев фильмов «Куколка» (1988 г., реж. И. Фридберг, сцен. «Неспортивная история» опубликован в альманахе «Киносценарий» № 1, 1987 г.), «Наша дача» (1989 г., реж. Г. Шенгелия), «Адвокат» (1989 г., реж. И. Хамраев) и др. фильм по сценарию «Избери себе жизнь, чтобы жить» ставит реж. Е. Цыплакова.

БЕЛОШНИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1952 г.). Закончил режиссерский факультет ВГИКа в 1986 г. (мастерская Ю. Озерова). Автор сценария и постановщик фильма «Ловкач и Хиппоза» (1988 г.), а также автор сценариев фильмов «В знак протеста» (1988 г., реж. Л. Павловский), «Ай лав ю, Петрович» (1989 г., реж. В. Коллегаев), «Палач» (1989 г., реж. Д. Рождественский).

ВОРОНКОВ ДМИТРИЙ СПАРТАКОВИЧ (род. в 1955 г.). Закончил философский факультет Уральского Государственного университета в 1983 г. и сценарный факультет ВГИКа в 1989 г. (мастерская К. Парамоновой и И. Кузнецова). Автор сценария короткометражного фильма «Лопух» (1987 г., реж. В. Поздняков), а также сценариев «Комсомольский секретарь» (1987 г.), «Шуренок» (1988 г. в соавт. с А. Назаровой), «Муздин» (1989 г.). Сценарий «Мemento мори» — дипломная работа.

ИВЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ (род. в 1940 г.). Закончил физический факультет Азербайджанского Государственного университета в 1963 г. и сценарный факультет ВГИКа в 1970 г. (мастерская К. Парамоновой). Автор сценариев документальных и научно-популярных фильмов «Будни Абдумуратовых» (1971 г., реж. Н. Азимов), «Вернулся солдат с фронта» (1977 г., сцен. и реж. пост.), «Кельбаджарские старики» (1981 г., реж. М. Рыбаков) и др. Сценарий «Почетный председатель» снимает реж. Т. Скабард.

ЛИТВИНОВА РЕНАТА МУРАТОВНА. Закончила сценарный факультет ВГИКа в 1989 г. (мастерская К. Парамоновой и И. Кузнецова). По ее сценариям ставятся фильмы «Ленинград, ноябрь» (в соавт. с О. Морозовым, реж. А. Шмидт и О. Морозов), «Очень любимая Рита, последняя с ней встреча» (реж. А. Аяпова). Сценарий «Принципиальный и жалостливый взгляд Али К.» — дипломная работа.

НИКОНОВА ЛАРИСА ЛЬВОВНА. Закончила сценарный факультет ВГИКа в 1985 году (мастерская Н. Фигуровского). Автор сценариев «Городские цветы» (1985 г.), «Вчера...» (1986 г.), «Переулок» (1987 г.), «Ладога» (1987 г.), «Солнечные дни» (1988 г.), «Юрмала» (1988 г.).

СЕНОКОСОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ — см. «Киносценарии» № 4, 1989 г.

ТРУБЕЦКОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1863—1920). Выдающийся русский религиозный философ, правовед и общественный деятель. Автор книг: «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V. веке», М., 1892; «Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке», Киев, 1879; «Философия Ницше», М., 1904; «Социальная утопия Платона», М., 1908; «Мирозозерцание В. С. Соловьева» в 2-х томах, М., 1913; «Умозрение в красках», М., 1916; «Метафизические предположения познания», М., 1917. и др.

ХУСНУТДИНОВА РОЗА УСМАНОВНА. Закончила Высшие сценарные курсы в 1970 г. (мастерская В. Соловьева). Автор сценариев фильмов «Алпамыс идет в школу» (1976 г., реж. А. Корсакаев), «Триптих» (1977 г., реж. А. Хамраев), «Возвращение чувств», «Ришад — звук Зифы» (1977, 1981 гг., оба — реж. М. Оsepьян), «Невеста для брата» (1980 г., реж. Б. Шманов), «Орнамент» (1982 г., реж. А. Альпиев), «Воспоминание о гранатовом дереве» (1984 г., реж. Ш. Махмудбеков, Г. Турабов), «Дилетант» (1987 г., реж. А. Канчибеков, Д. Соданбек) и др.

ЧИКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1950 г.). Закончил Ленинградский институт авиационного приборостроения в 1974 г. и Высшие сценарные курсы в 1981 г. (мастерская Б. Метальникова). Автор сценария фильма «Дамское танго» (1983 г., реж. С. Мамилов). По своему сценарию поставил короткометражный фильм «Красный обоз» (1988 г.). Автор сценариев «Кому колдует кукушка» (альманах «Киносценарии» № 2, 1985 г.), «Кого любишь — выбирай!» (1984 г.), «Пока не прилетели гуманоиды» (1985 г.), «Августовские потери» (1986 г.), «Метастазы» (1989 г., в соавт. с И. Гамаюновым).

ШЕМЯКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1955 г.). Закончил филологический факультет Московского Государственного университета в 1977 г. Кандидат филологических наук. Младший научный сотрудник ИМЛИ им. Горького. Автор статей по проблемам советского кино.

ЯМПОЛЬСКИЙ МИХАИЛ БЕНЕАМИНОВИЧ — см. «Киносценарии» № 4, 1989 г.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «КИНОСЦЕНАРИИ» ЗА 1989 ГОД

СЦЕНАРИИ

АГЕЕВ И., БЕЛОШНИКОВ С.— «Избери себе жизнь, чтобы жить...» № 6.
АГИШЕВ О., ИСХАКОВ Д., ИШМУХАМедОВ Э.— Зона вне критики. № 1.
АДАМАЦКИЙ И., ШМИДТ Е.— Арабеск. № 2.
АКИМОВ В.— Володя. № 5.
АРАБОВ Ю.— Ангел истребления. № 3.
БОДРОВ С., ВАСИЛЬЕВА И.— Прекрасные времена. № 2.
ВАУЛИН Т.— Будь и думай! № 4.
ВОРОНКОВ Д.— Мemento мори. № 6.
ГАБРИЛОВИЧ Е.— Отец. Дочь. Сын. Внук. № 5.
ГРИГОРЬЕВ Е.— Мальчишки и девчонки. № 1.
ДОБРОДЕЕВ Б.— Воспоминание о Павловске. № 2.
ЗАЛОТУХА В.— После войны — мир. № 3.
ЗАНУССИ К.— Защитные цвета. № 1.
ЗАРИЧНАЯ Е.— Футбол: когда шансы равны. № 5.
ЗВЕРЕВА М.— Украденное свидание. № 2.
ЗУЛЬФИКАРОВ Т.— Возвращение Ходжи Насреддина. № 4.
ИВЧЕНКО В.— Почетный председатель. № 6.
КОВАЧ А.— Хозяин конезавода. № 3.
КОСТИН В.— Мария. № 2.
КРИНИЦЫНА А.— Осколок «Челленджера». № 3.
ЛИТВИНОВА Р.— Принципиальный и жалостливый взгляд Али К. № 6.
ЛОБАЧЕВСКАЯ Е.— Интерны. № 3.
ЛОПУШАНСКИЙ К.— Посетитель музея. № 1.
ЛОЩИЛИН И.— Караул. № 1.
МЕРЕЖКО В.— Собачий пир. № 2.
МЕТАЛЬНИКОВ Б.— Трое не очень счастливых мужчин. № 5.
МО ЯНЬ, ЧЖУ ВЭЙ, ЧЭНЬ ЦЗЯНЬЮЙ — Красный гаолян. № 5.
НИКОНОВА Л.— Переулочек. № 6.
ОСТЕР Г.— До первой крови. № 5.
ПОПОГРЕВСКИЙ П.— Главный специалист. № 5.
РАУДАМ Т.— Человек, которого не было. № 4.
РОШАЛЬ Л.— Площадь Революции. № 4.
СУВОРОВ В., БАЛАЯН В.— Раскинулось море широко... № 1.
ФАЙНБЕРГ В.— Слезы первые любви... № 5.
ФЕДЯНИН Ю.— Как мы жили во время

войны... № 4.

ХАЛЗАНОВ Б.— Травма после нас. № 4.
ХУАН ШУЦИНЬ — Человек. Демон. Страсть. № 6.
ХУСНУТДИНОВА Р.— Не переводя дыхания. № 6.
ЧИКОВ В.— Неужели листопад? № 6.
ЧУБИНИШВИЛИ Д.— Жертва. № 1.
ШВЫРЁВ Ю., ВОЛОЦКИЙ М.,— Думу свою донести людям. № 3.
ШЕПТУНОВА М.— Только для сумасшедших. № 2.

ИЗ АРХИВА МАСТЕРОВ

МЕДВЕДКИН А.— Дурень ты, дурень! № 1.
СОЛОГУБ Ф.— Барышня Лиза. № 2.
ТЫНЯНОВ Ю.— Обезьяна и колокол. № 3.
ЧАЯНОВ А., БРАГИН А.— Победа над солнцем. № 5.

ПУБЛИЦИСТИКА

АНТОНОВ А.— Предел отчуждения. № 2.
ВОЛОЦКИЙ М.— Найти в душе место... № 5.
ЗАКОЯН Г.— Национальность и культура. № 4.
МИТЮШОВ С.— Заполненные мысли. № 2.
ШУМАКОВ С.— Взрыв. № 1.
ЮЛИНА Н.— Женщина и патриархат. № 2.

ПУБЛИКАЦИЯ

БЕРДЯЕВ Н.— Судьба русского консерватизма. Культура и политика. № 5.
КУЛЕШОВ Л.— Письмо С. Зайцеву. № 1.
ТРУБЕЦКОЙ Е.— Из книги «Смысл жизни». № 6.
ФЕДотов Г.— Русский человек. № 4.
ФРАНК С.— Этика нигилизма. № 3.
ШУКШИН В.— Фильму — быть или не быть. № 3.

КРИТИКА

КЛЕЙМАН Н.— Подвиг мастера. № 1.
НУСИНОВА Н., ЦИВЬЯН Ю.— Сологуб — сценарист. № 2.

РЯЗАНОВА О.— Художник—легенда. № 2.
СЭПМАН И.— Неизвестный сценарий Ты-
нянова. № 3.
ТРАУБЕРГ Л.— Маленький великий чело-
век. № 3.
ТРОШИН А.— «Арсенал» тронулся! № 1.
ШВЫРЕВ Ю.— К творческой истории неосу-
ществленного замысла Шукшина. № 3.
ШЕМЯКИН А.— «Человек отменяется»?
№ 6.
ШИЛОВА И.— В поисках утраченной любви.
№ 2.
ШИЛОВА И.— Из чистилища в ...ад. № 4.
ШУМАКОВ С.— В чем истина? № 3.
ЯМПОЛЬСКИЙ М., ЦИВЬЯН Ю.—
Д. РОБИНСОН— Он считал себя гражда-
нином мира. № 3.

ЯНГИРОВ Р.— К истории одной киноуто-
пии. № 5.

ТЕОРИЯ

ДРЕЙЕР К.— Фантазия и цвет. № 2.
ЗАКОЯН Г.— Авангард. Опыт освобожде-
ния. № 1.
МАМАРДАШВИЛИ М.— «Третье» состоя-
ние. № 3.
ПАЗОЛИНИ П.— Сценарий как структура,
тяготеющая к иной структуре. № 4.
ЯМПОЛЬСКИЙ М.— Власть как зрелище
власти. № 5.
ЯМПОЛЬСКИЙ М.— Дискурс и повество-
вание. № 6.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ СЦЕНАРИИ:

А. Солженицын «Знают истину танки!»

М. Кураев «Семь монологов в открытом море»

Н. Филиппова «Края далекие»

И. Квирикадзе «Румяный Дон Жуан плачет»

С. Параджанов «Саят-Нова», «Исповедь», «Лебединое озеро — зона»

1р.20к.
70434

6

КИНОСЦЕНАРИИ

1989